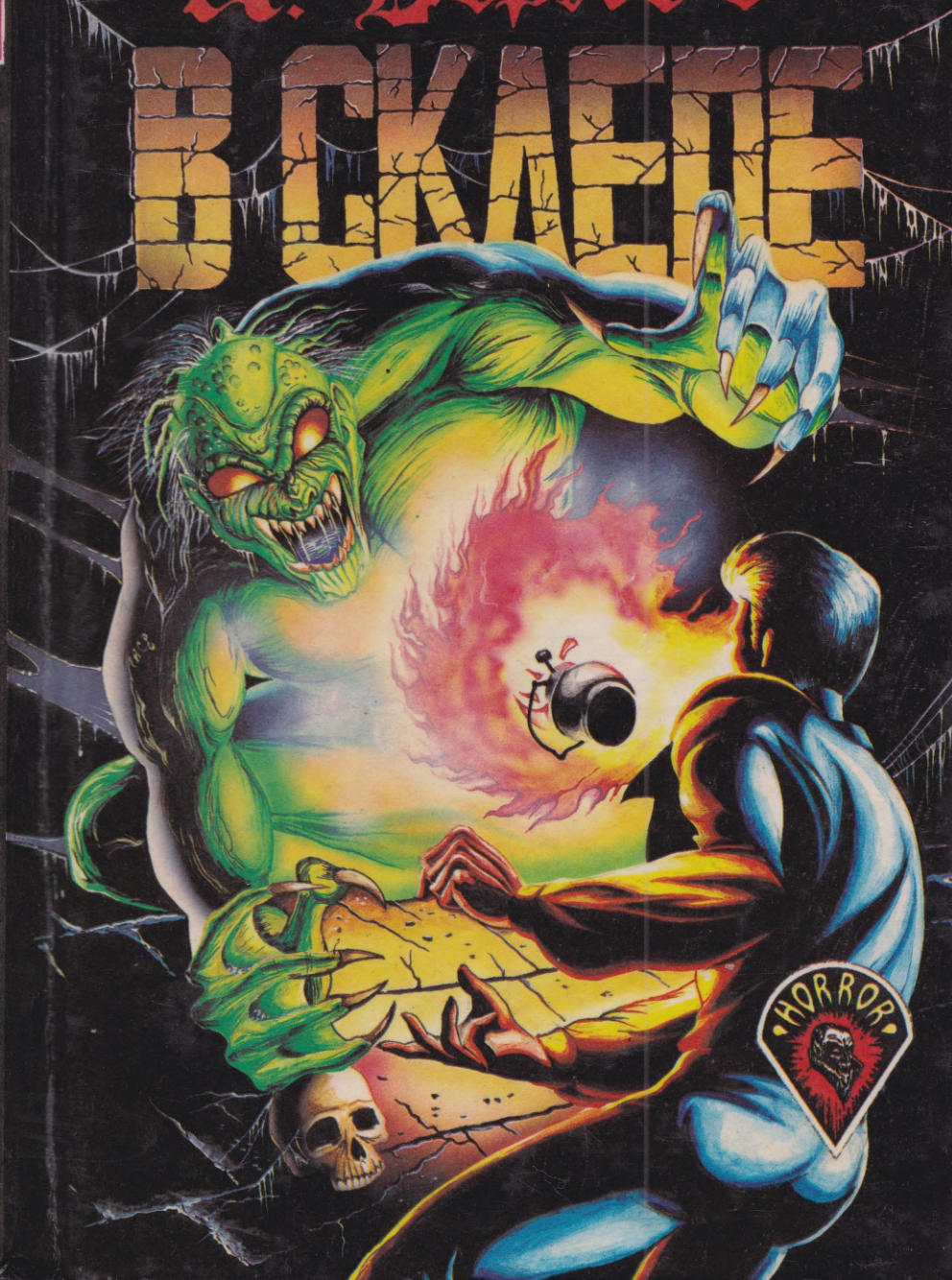




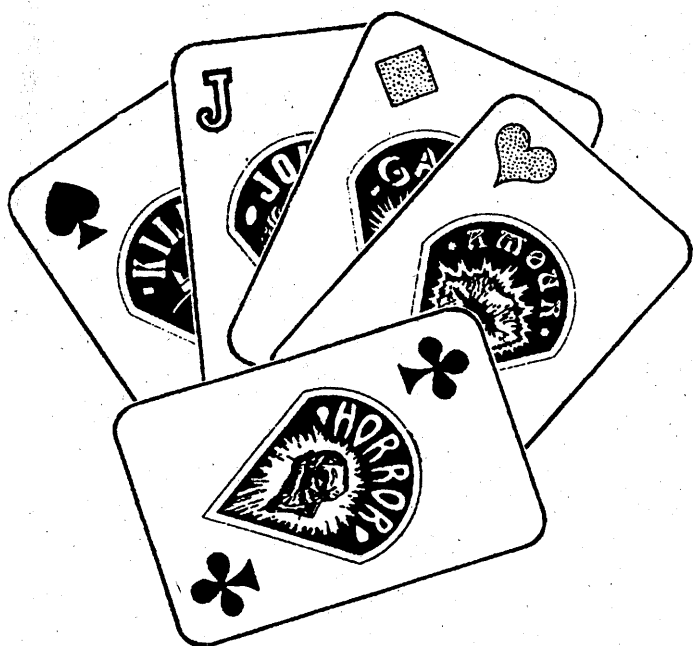
Х. Ларккрафт А. Дерлет

В СКЛЕПЕ

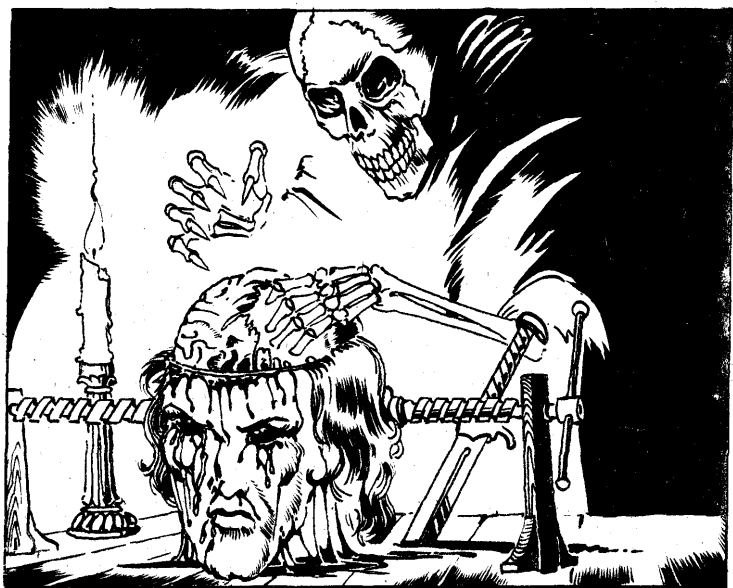
В СКЛЕПЕ







**Х. Ф. ЛАВКРАФТ
А. У. ДЕРЛЕТ
В СКЛЕПЕ**



**РИПОЛ
Джoker
1993**

ББК 84.7 США
Л 13

Серия «HORROR»
Сборник рассказов ужасов

Автор и составитель серии
Андронкин Кирилл Юрьевич

Главный художник
Атрошенко Сергей Петрович

Главный редактор
Молчанова Ирина Давидовна

Редактор
Левкович Фанни

Художник
Хромов А.А.

Корректоры
Мещерякова Г.А.
Плющ В.Г.

Технический редактор
Дырын Ш.Ш.

Компьютерный набор
Рожкова В.Б.

Если вы любите по-настоящему страшный, изначально жуткий рассказ, словно вобравший в себя весь смрад и стоны разграбленного кладбища, то это книга предназначена исключительно для вас!

Ф $\frac{4703040100}{070219-93}$ без объявл.

ISBN 5-87012-023-6

РИПОЛ, Джокер, 1993

Перевод Э. Серовой, П. Лебедева, Т. Мусатовой, Т. Талановой, 1993

Оформление А. Хромова, 1993

Составление серии К. Андронкина, 1993

Предисловие

Отечественному читателю предстает уникальная возможность познакомиться с творчеством классиков американской и мировой литературы, работавших в жанре, так называемого «ужасного», «страшного», «сверхъестественного» рассказа. В многочисленных зарубежных изданиях и публикациях на эту тему имена Ховарда Филиппа Лавкрафта (1890 — 1937) и Августа Уильяма Дерлета (1909 — 1971) стоят рядом, хотя к тому времени, когда слабого, больного с детства Лавкрафта, дожившего лишь до сорока шести лет, безвременно свело в могилу неизлечимое заболевание почек, его друг и соратник по писательскому труду еще только вступал в пору своего творческого расцвета.

Август Дерлет первым дал возможность широкому читателю познакомиться с творческим наследием своего покойного друга. Более того, он взял на себя труд завершения и последующего издания многих его неоконченных работ, которые, как знать, возможно, еще не один год пролежали бы неопубликованными в архивах Лавкрафта, как это, к сожалению, было при его жизни — жизни до обидного короткой, в общем-то лишенной сколь-нибудь значительных событий, преимущественно уединенной.

Лавкрафт родился в городе Провиденс, штат Род-Айленд. С раннего детства он отличался слабым здоровьем и вел преимущественно затворнический, иногда ночной образ жизни. Органически не перенося холода, он часто по несколько месяцев не выходил из дома. Пристрастие к блужданиям по ночному городу однажды окончилось для него весьма плачевно — он переохладился и в шоке свалился прямо на улице. Изредка выбираясь в Сент-Августин, Чарльстон, Нетч, Новый Орлеан и другие старые города Северной Америки, он с головой уходил в исследование старинных зданий и изделий антиквариата, а находясь в родном Провиденсе, сутками не выходил из библиотеки своего деда, где проглатывал одну книгу за другой. Обладая феноменальной памятью, он накопил за многие годы невероятное количество сведений из всех мыслимых областей зна-

ния, включая нравы и традиции XVIII века — того самого периода, в котором, как он указывал в своей обширной, насчитывавшей более ста тысяч писем, переписке, ему самому всегда хотелось бы жить.

Известно лишь несколько фотографий Лавкрафта — на них он запечатлен высоким, худым — почти тощим, — очень бледным, с живыми, яркими глазами, а его крупный, выдающийся вперед подбородок никак не соответствовал мягкому, спокойному характеру. Словарный запас Лавкрафта был поистине грандиозен, и во время ночных бесед, которые он обожал, проявлялось все необыкновенное богатство и изящество его устной речи. Еще будучи подростком, он вел в городской газете Провиденса «Колонку астронома», и в эти же годы написал свои первые «страшные» рассказы в традициях произведений Эдгара По и Лорда Дансени.

Жанр «сверхъестественного» был его излюбленным направлением в литературе. Меньше, чем за два десятилетия своей писательской деятельности, он стал подлинным мастером «мрака и жути», равных которому, пожалуй, не было во всей Америке. Многие критики сходятся во мнении, что он, в сущности, и стал родоначальником жанра «ужасов» на североамериканском континенте, а Стивен Кинг даже назвал его «Темным и причудливым королем рассказа ужасов XX века».

Первые произведения Лавкрафта на тему сверхъестественного были преимущественно чистой фантастикой, но вскоре он стал все более привносить в них элементы космического и спиритуального ужаса, что особенно заметно в таких его рассказах, как «Зов Цтулху», «Данвичский ужас», «Тень над Иннсмаутом» и других. Едва ли в литературной Америке с начала нынешнего столетия появлялось произведение, наполненное ужасом в большей степени, чем «Крысы в стенах», а про его «Чужака» поначалу вообще поговаривали, что он представляет собой неопубликованный рассказ Эдгара По, и будь он напечатан именно под такой фамилией, никто бы не усомнился в этом.

Вскоре после того, как его работы стали появляться в дешевых популярных журналах, Лавкрафт стал постепенно создавать цикл мифов и легенд, получивших впоследствии название «мифа Цтулху» по названию одного из рассказов «Зов Цтулху». Примечательно, что уже после смерти писателя этот миф столь активно использовался в творчестве других авторов жанра, что ныне количество произведений на эту тему значительно превышает то, что было создано самим Лавкрафтом.

Он писал о своем творчестве: «Несмотря на значительное разнообразие моих рассказов, все они имеют под собой одно фундаментальное знание или верование, суть которого сводится к следующему. Когда-то, в далеком прошлом, землю населяла раса таинственных существ — Стариков или Старожилов, которые впоследствии погрязли в творимых ими деяниях зла и пороках, за что были изгнаны за пределы планеты другими, еще более древними Старшими или Верховными богами. Последние, однако, несмотря на свое всемогущество, оказались довольно мягкосердечными существами, в результате чего невежественные смертные, испорченные соблазнами запретных знаний, изложенных в таинственных книгах типа «Некрономикона» и других, позволили Старикам вернуться на землю — либо создали обстановку, благоприятствующую такому возвращению, которое должно вскоре произойти». По мнению многих критиков, нетрудно заметить значительное сходство данного мифа с известными христианскими верованиями относительно изгнания с небес сатаны и восставших ангелов. Интересно и то, что в течение ряда лет после этого многие любознательные читатели и серьезные исследователи литературы безуспешно пытались отыскать подлинник «Некрономикона», что, естественно, оказалось невозможным. Однако ради удовлетворения их любопытства один мистификатор написал и издал эту книгу, что вызвало настоящий переполох среди читающей публики.

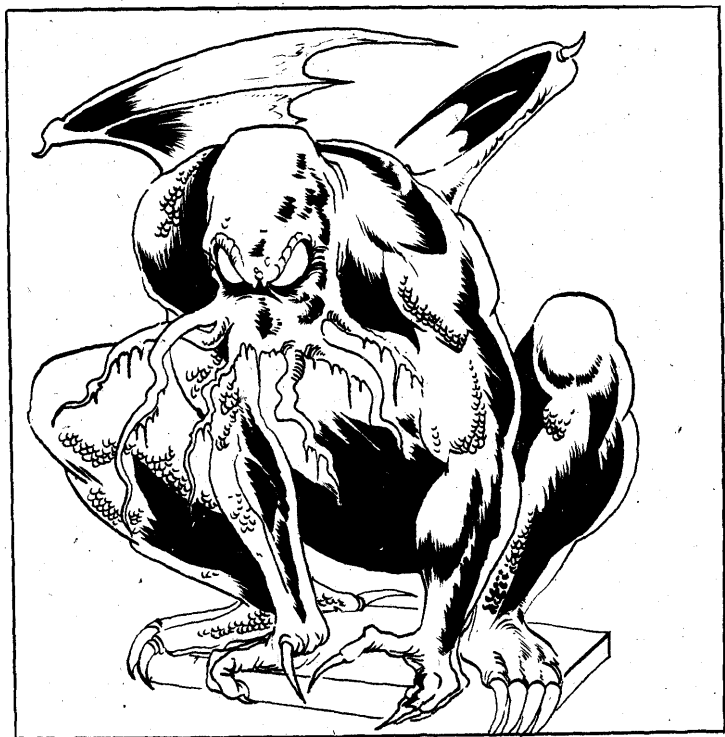
Несмотря на явно оригинальную канву многих сюжетов, при жизни Лавкрафта была издана лишь одна книжка его рассказов общим тиражом 150 (!) экземпляров. Кстати, сам он считал недостойным писателя творить «по заказу» и за деньги, предпочитая получать средства для жизни преимущественно литературным редактированием и корректорской правкой чужих рукописей, да и те выполнял за мизерную плату.

После кончины Лавкрафта его друг и сподвижник А. Дерлет решил исправить жестокую несправедливость судьбы и опубликовать как готовые произведения писателя, так и его незаконченные рукописи, предварительно лично доведя их до состояния готовности. Столкнувшись с прохладным отношением к этой идее со стороны крупных издателей, он сам, в содружестве с Д. Уондреем, основал собственное издательство «Эркхам хауз». Уже первые массовые публикации рассказов Лавкрафта вызвали огромный интерес к его творчеству со стороны многомиллионной публики, а одно из последних переизданий избранных его работ было датировано 1987 годом!

В нашем издании, которое будет состоять из двух томов, вы сможете познакомиться едва ли не со всеми лучшими произведениями как самого Х. Лавкрафта, так и с теми, которые были дописаны за него А. Дерлетом. А затем вас ждет сборник произведений, созданных уже одним А. Дерлетом.

Х. Ф. Лавкрафт

«ЗОВ ЦТУЛХУ»





«Можно предположить, что еще сохранились представители тех могущественных сил или существ... свидетели того страшно далекого периода, когда сознание являло себя в формах и проявлениях, исчезнувших задолго до прихода волны человеческой цивилизации... в формах, память о которых сохранили лишь поэзия и легенда, назвавшие их богами, чудовищами и мифическими созданиями всех видов и родов...»

Элджернон Блэквуд

I. Ужас в глине

Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых тянет в своем направлении, до сих пор причиняли нам мало вреда; однако настанет день и объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такие ужасающие виды реальной действительности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья.

Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх величии космического цикла, в котором весь наш мир и человеческая раса являются лишь временными обитателями. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь застыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрытых успокоительным оптимизмом. Однако не они дали мне возможность единственный раз заглянуть в эти запретные эпохи: меня дрожь пробирает по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот проблеск, как все грозные проблески истины, был вызван случайным соединением воедино разрозненных фрагментов — в данном случае одной старой газетной заметки и записок умершего профессора. Я надеюсь, что никому больше не удастся совершить подобное соединение; во всяком случае, если мне суждена жизнь, то я никогда сознательно не присоединю ни одного звена к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор тоже намеревался хранить в тайне то, что узнал, и наверняка уничтожил бы свои записи, если бы внезапная смерть не помешала ему.

Первое мое прикосновение к тому, о чем пойдет речь, случилось зимой 1926-27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж Геммел Эйнджелл, заслуженный профессор

в отставке, специалист по семитическим языкам Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Эйнджелл получил широкую известность как специалист по древним письменам, и к нему часто обращались руководители крупнейших музеев; поэтому его кончина в возрасте девяноста двух лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию значительно усиливали и загадочные обстоятельства, его сопровождавшие. Смерть настигла профессора во время его возвращения с места причала парохода из Ньюпорта; свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то негром, по виду — моряком, неожиданно появившимся из одного из подозрительных темных дворов, выходивших на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Вильямс-стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле, и, после долгих путаных дебатов, пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека, вызванной подъемом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе, однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились — и даже более: в конце концов я счел его мало вероятным.

Будучи наследником и душеприказчиком своего двоюродного деда, который умер бездетным вдовцом, я должен был тщательно изучить его архивы; с этой целью я перевез все папки и коробки к себе в Бостон. Основная часть отобранных мною материалов была впоследствии опубликована Американским Археологическим Обществом, но оставался еще один ящик, содержимое которого я нашел наиболее загадочным и который не хотел показывать никому. Он был заперт, причем я не мог обнаружить ключ до тех пор, пока не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Тут мне, наконец, удалось открыть ящик, однако, сделав это, я столкнулся с новым препятствием, куда более сложным. Ибо откуда мне было знать, что означали обнаруженный мной глиняный барельеф, а также разрозненные записи и газетные вырезки, находившиеся в ящике? Неужели мой дед в старости оказался подвержен самым грубым суевериям? Я решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство прежде трезвого рассудка старого ученого.

Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно пять на шесть дюймов; он был явно современного происхождения. Тем не менее изображенное на нем ничуть ни отвечало современности ни по духу, ни по замыслу, поскольку, при всей причудливости и разнообразии кубизма и футуризма, они редко воспроизводят ту

загадочную регулярность, которая таится в доисторических письменах. А в этом произведении такого рода письма безусловно присутствовали, но я, несмотря на знакомство с бумагами и коллекцией древних рукописей деда, не мог их идентифицировать с каким-либо конкретным источником или хотя бы получить малейший намек на их отдаленную принадлежность.

Над этими иероглифами располагалась фигура, которая явно была плодом фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точно определить ее природу. Это было некое чудовище, или символ, представляющий чудовище, или просто нечто рожденное больным воображением. Если я скажу, что в моем воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возникли одновременно образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то, думается, я смогу передать дух изображенного существа. Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями; причем именно *общий контур* этой фигуры делал ее столь пугающе ужасной. Фигура располагалась на фоне, который должен был, по замыслу автора, изображать некие циклопические архитектурные сооружения.

Записи, которые содержались в одном ящике с этим барельефом вместе с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора Эйнджелла, причем, видимо, в последние годы жизни. То, что являлось, предположительно, основным документом, было озаглавлено «КУЛЬТ ЦТУЛХУ», причем буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись была разбита на два раздела, первый из которых имел заглавие — «1925 — Сны и творчество по мотивам снов Х. А. Уилкокса, Томас-стрит, 7, Провиденс, Лонг-Айленд», а второй — «Рассказ инспектора Джона Р. Легресса, Вьенвилль-стрит, 121, Новый Орлеан, А. А. О. — собр. 1908 — заметки о том же + свид. Проф. Уэбба». Остальные бумаги представляли из себя краткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц, сновидений весьма необычных, выдержки из теософских книг и журналов. (в особенности — из книги У. Скотта-Эллиота «Атлантис и потерянная Лемурия»), все остальное же — заметки о наиболее долго действовавших тайных культовых обществах и сектах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники как «Золотая ветвь» Фрезера и книга мисс Мюррей «Культе ведьм в Западной Европе». Газетные вырезки в основном касались случаев особенно причудливых психических расстройств, а также вспышек группового помешательства или мании весной 1925 года.

Первый раздел основной рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой

темноволосый молодой человек, нервически-возбужденный, явился к профессору Эйнджеллу, принес с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий и потому влажный. На его визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкоккс и мой дед узнал в нем младшего сына из довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в Художественной Школе Род-Айленда и проживал в одиночестве в Флер-де-Лиз-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкоккс был не по годам развитой юноша, известный своим талантом и своими чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать. Он называл себя «психически гиперсензитивным», а добропорядочные степенные жители старого коммерческого района считали его просто «чудаком» и не воспринимали всерьез. Почти никогда не общаясь с людьми своего круга, он постепенно стал исчезать из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже Клуб Искусств Провиденса, стремившийся сохранить свой консерватизм, находил его почти безнадежным.

В день своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления, сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифах на барельефе. Говорил он в мечтательной и высокопарной манере, которая позволяла предположить в нем склонность к позерству и не вызывала симпатии; неудивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что все это не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкоккса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он счел нужным их запомнить и впоследствии воспроизвести письменно, носили поэтический и фантастический характер, что было весьма типично для его разговоров и, как я мог убедиться в дальнейшем, вообще было его характерной чертой. Он сказал: «Разумеется, он совсем новый, потому что я сделал его прошлой ночью во сне, где мне явились странные города; а сны старше, чем созерцательный Сфинкс или окруженный садами Вавилон».

И вот тогда он начал свое бессвязное повествование, которое пробудило дремлющую память и завоевало горячий интерес моего деда. Предыдущей ночью случились небольшие подземные толчки, наиболее ощутимые в Новой Англии за последние годы; это очень сильно повлияло на воображение Уилкоккса. Когда он лег спать, то увидел совершенно невероятный сон об огромных Циклопических городах из Титанических блоков и о взметнувшихся до неба монолитах, источавших зеленую илистую жидкость и начиненных потаенным ужасом. Стены и колонны там были покрыты иероглифами, а снизу, с какой-то неопределенной

точки звучал голос, который голосом не был; хаотическое ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук и, тем не менее, Уилкоккс попытался передать его почти непроницаемым сочетанием букв — «Цтулху фхтагн».

Эта вербальная путаница оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и расстроило профессора Эйнджелла. Он опросил скульптора с научной дотошностью, и с неистовой сосредоточенностью взялся изучать барельеф, над которым, не осознавая этого, во время сна работал юноша и который увидел перед собой, очнувшись, продрогший и одетый в одну лишь ночную рубашку. Как сказал впоследствии Уилкоккс, мой дед сетовал на свою старость, так как считал, что именно она не позволила ему достаточно быстро распознать иероглифы и изображения на барельефе. Многие из его вопросов казались посетителю совершенно посторонними, в особенности те, которые содержали попытку как-то связать его с различными странными культами, сектами или сообществами; Уилкоккс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне его признание в принадлежности к какому-либо из широкораспространенных мистических или языческих религиозных объединений. Когда же профессор Эйнджелл убедился в полном невежестве скульптора в любых культовых вопросах, равно как и в области криптографии, он стал добиваться от своего гостя согласия сообщать ему о содержании последующих сновидений. Это принесло свои плоды, и после упоминания о первом визите рукопись содержала сообщения о ежедневных приходах молодого человека, во время которых он рассказывал о ярких эпизодах своих ночных видений, где всегда содержались некие ужасающие циклопические пейзажи с нагромождениями темных, сочащихся камней, и всегда там присутствовал подземный голос или разум, который монотонно выкрикивал нечто загадочное, воспринимавшееся органами чувств как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто встречавшихся набора звуков описывались буквосочетаниями «Цтулху» и «Р'льех».

23-го марта, продолжала рукопись, Уилкоккс не пришел; обращение не его квартиру показало, что он стал жертвой неизвестной лихорадки и был перевезен в свой семейный дом на Уотермэн-стрит. Той ночью он кричал, разбудив других художников, проживавших в доме, и с тех пор в его состоянии чередовались периоды бреда с полным беспамятством. Мой дед сразу же телефонировал его семье и с тех пор внимательно следил за состоянием больного, часто обращаясь за информацией в офис доктора Тоби на Тейер-стрит, который, как он узнал, был лечащим врачом. Пораженный лихорадкой мозг больного населяли странные видения, и врача, сообщавшего о них, время от времени охватывала дрожь. Видения эти содержали не только

то, о чем прежде рассказывал юный Уилкоккс, но все чаще упоминались гигантские создания, «в целые мили высотой», которые расхаживали или неуклюже передвигались вокруг. Ни разу он не описал эти объекты полностью связно, но те отрывочные слова, которые передавал доктор Тоби, убедили профессора, что существа эти, по-видимому, идентичны безымянным чудовищам, которых изобразил молодой человек в своей «сонной скульптуре». Упоминание этого объекта, добавлял доктор, всегда предшествовало наступлению летаргии. Температура больного, как ни странно, не очень отличалась от нормальной; однако все симптомы указывали скорее на настоящую лихорадку, чем на умственное расстройство.

2-го апреля около трех часов пополудни болезнь Уилкоккса неожиданно прекратилась. Он сел в своей кровати, изумленный пребыванием в доме родителей и не имевший никакого представления о том, что же произошло в действительности и во сне начиная с ночи 22 марта. Врач нашел его состояние удовлетворительным, и через три дня он вернулся в свою квартиру; однако, более не смог оказать никакой помощи профессору Эйнджеллу. Все следы причудливых сновидений полностью исчезли из памяти Уилкоккса, и мой дед прекратил записи его ночных образов спустя неделю, в течение которой молодой человек пунктуально сообщал ему совершенно заурядные сны.

Тут первый раздел рукописи заканчивался, однако сведения, содержащиеся в отрывочных записях, давали дополнительную пищу для размышлений — и столь много, что лишь присущий мне скептицизм, составлявший в то время основу моей философии, мог способствовать сохранению недоверчивого отношения к художнику. Упомянутые записи представляли собой содержание сновидений различных людей и относились именно к тому периоду, когда юный Уилкоккс совершал свои необычные визиты. Похоже, что мой дед развернул весьма обширные исследования, опрашивая почти всех своих знакомых; к кому мог свободно обратиться, об их сновидениях, фиксируя даты их появлений. Отношение к его просьбам, видимо, было различным, но в целом он получил так много откликов, что ни один человек не справился бы с ними без секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, однако заметки профессора были подробными и включали все значимые детали ночных видений. При этом «средние люди», обычные представители деловых и общественных кругов — по традиции считающиеся в Новой Англии «солью земли» — давали почти полностью негативные результаты, хотя время от времени среди них встречались тяжелые, плохо сформированные ночные видения — имевшие место всегда между 23 марта и 2 апреля, то есть в период горячки юного Уилкоккса. Люди науки оказались чуть более подверженными аффекту, хотя всего

лишь четыре описания содержали мимолетные проблески странных ландшафтов, да в одном случае упоминалось наличие чего-то аномального, вызвавшего страх.

Прямое отношение к теме исследования имели только сновидения поэтов и художников, и я предполагаю, что если бы была использована возможность сопоставить их содержание, не удалось бы избежать самой настоящей паники. Скажу больше, поскольку самих писем от опрошенных здесь не было, я подозревал, что имели место наводящие вопросы или даже, что данные были подтасованы под желаемый результат. Вот почему я продолжал думать, что Уилкоккс, каким-то образом осведомленный о материалах, собранных моим дедом раньше, оказал внушающее воздействие на престарелого ученого. Короче говоря, отклики эстетов давали волнующую картину. Начиная с 28 февраля и по 2 апреля очень многие из них видели во сне весьма причудливые вещи, причем интенсивность сновидений была заметно выше в период лихорадки скульптора. Больше четверти сообщений содержали описание сцен и полувзвук, похожих на те, что приводил Уилкоккс; некоторые из опрошенных признавались, что испытали сильнейший страх перед гигантским непонятным объектом, появлявшимся под конец сна. Один из случаев, описанный особенно подробно, оказался весьма печальным. Широко известный архитектор, имевший пристрастие к теософии и оккультным наукам, в день начала болезни Уилкоккса впал в буйное помешательство и скончался через несколько месяцев, причем он почти непрерывно кричал, умоляя спасти его от какого-то адского существа. Если бы мой дед в своих записях вместо номеров указывал подлинные имена своих корреспондентов, то я смог бы предпринять какие-то собственные попытки расследования, но за исключением отдельных случаев такой возможности у меня не было. Последняя группа дала наиболее подробные описания своих впечатлений. Меня очень интересовало отношение всех опрошенных к исследованиям, предпринятым профессором. На мой взгляд, хорошо, что они так и не узнали об их результатах.

Вырезки из газет, как я выяснил, имели отношение к различным случаям паники, психозов, маниакальных явлений и чудачеств, происшедшим за описываемый период времени. Профессору Эйнджеллу, по-видимому, потребовалось целое пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным, а источники сообщений разбросаны по всему земному шару. Здесь было сообщение о ночном самоубийстве в Лондоне, когда одинокий человек с диким криком выбросился во сне из окна. Было и бессвязное послание к издателю одной газеты в Южной Африке, в котором какой-то фанатик делал зловещие предсказания на основании видений, явившихся

ему во сне. Заметка из Калифорнии описывала теософскую колонию, члены которой, нарядившись в белые одежды, все вместе приготовились к некоему «славному завершению», которое, однако, так и не наступило; сообщение из Индии осторожно намекало на серьезные волнения среди местного населения, возникшие в конце марта. Участились оргии колдунов на Гаити; корреспонденты из Африки также сообщали об угрожающих признаках народных волнений. Американские военные на Филиппинах отметили факты тревожного поведения некоторых племен, а нью-йоркские полицейские были окружены возбужденной толпой впавших в истерику левантийцев в ночь с 22 на 23 марта. Запад Ирландии тоже был полон диких слухов и пересудов, а живописец Ардуа-Бонно, известный приверженностью к фантастическим сюжетам, выставил исполненное богохульства полотно под названием «Пейзаж из сна» на весеннем салоне в Париже в 1926 году. Записи же о беспорядках в психиатрических больницах были столь многочисленны, что лишь чудо могло помешать медицинскому сообществу обратить внимание на это странное совпадение и сделать выводы о вмешательстве мистических сил. Этим зловещим подбором вырезок все было сказано и я сегодня с трудом могу представить, что какой-то бесчувственный рационализм побудил меня отложить все это в сторону. Однако тогда я был убежден, что юный Уилкоккс осведомлен о более ранних материалах, упомянутых профессором.

II. Рассказ инспектора Легресса

Материалы, которые придали сну скульптора и его ба- рельефу такую значимость в глазах моего деда, составляли тему второго раздела обширной рукописи. Случилось так, что ранее профессор Эйнджелл уже видел дьявольские очертания безымянного чудовища, ломал голову над неизвестными иероглифами и слышал зловещие звуки, которые можно было воспроизвести только как «Цтулху»; причем все это выступало в такой внушающей ужас связи, что жадный интерес профессора к Уилкокксу и поиск все новых подробностей были вполне объяснимыми.

Речь идет о событиях, пришедших в 1908 году, то есть семнадцатью годами ранее, когда Американское Археологическое Общество проводило свою ежегодную конференцию в Сент-Луисе. Профессор Эйнджелл в силу своего авторитета и признанных научных достижений, играл существенную роль во всех обсуждениях; и был одним из первых, к кому обращались с вопросами и проблемами, требующими экспертной оценки.

Главным и наиболее интересным среди всех неспециалистов на этой конференции был вполне заурядной внешности мужчина средних лет, прибывший из Нового Орлеана для того, чтобы получить информацию, недоступную тамошним местным источникам. Его звали Джон Рэймон Лэгресс, и по профессии он был полицейским инспектором. С собой он привез и сам предмет интереса — гротескную, омерзительного вида и, по всей видимости, весьма древнюю каменную фигурку, происхождение которой было ему неизвестно.

Не стоит думать, что инспектор Лэгресс хоть в какой-то степени интересовался археологией. Напротив, его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол, фетиш, или что-то еще, была конфискована в болотистых лесах южнее Нового Орлеана во время облавы на сборище, как предполагалось — колдовское; причем обряды, связанные с ним, были столь отвратительны и изощрены, что полиция не могла отнестись к ним иначе, как к некоему темному культу, доселе совершенно неизвестному и куда более дьявольскому, чем самые мрачные африканские колдовские секты. По поводу его истоков, кроме отрывочных и малоправдоподобных сведений, полученных от задержанных участников церемонии, ничего не было выяснено; поэтому полиция была заинтересована в любых сведениях, любых суждениях специалистов, которые помогли бы объяснить устрашающий символ и, благодаря ему, добраться до первоисточников культа.

Инспектор Лэгресс был явно не готов к тому впечатлению, которое произвело его сообщение. Одного вида привезенной им вещицы оказалось достаточно, чтобы привести всех собравшихся ученых мужей в состояние сильнейшего возбуждения, они тут же столпились вокруг гостя, уставившись на маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с ее явной принадлежностью к глубокой древности, свидетельствовала о возможности заглянуть в доселе неизвестные и потому захватывающие горизонты античности.

Рука неизвестного скульптора вдохнула жизнь в этот жуткого вида объект; и вместе с тем в тусклую зеленоватую поверхность неизвестного камня были, казалось, вписаны века и даже целые тысячелетия.

Фигурка, медленно переходившая из рук в руки и подвергавшаяся тщательному осмотру, имела семь-восемь дюймов в высоту. Она изображала монстра, очертания которого смутно напоминали антропоидные, однако у него была голова осьминога, лицо представляло собой массу щупалец, тело было чешуйчатым, гигантские когти на передних и задних лапах, а сзади — длинные, узкие крылья. Это создание, которое казалось исполненным губительного противоестественного зла,

имело тучное и дородное сложение и сидело на корточках на прямоугольной подставке или пьедестале, покрытом неизвестными иероглифами. Кончики крыльев касались заднего края подставки, сидалище занимало ее центр, в то время как длинные кривые когти скрюченных задних лап вцепились в передний край подставки и протянулись под ее дно на четверть длины. Голова монстра была наклонена вперед, так, что кончики лицевых щупалец касались верхушек огромных передних когтей, которые обхватывали приподнятые колени. Существо это казалось аномально живым и, так как происхождение его было совершенно неизвестным, тем более страшным. Запредельный возраст этого предмета был очевиден; и в то же время ни одной ниточкой не была связана эта вещица ни с каким известным видом искусства времен начала цивилизации — так же, впрочем, как и любого другого периода.

Даже материал, из которого была изготовлена фигурка, остался загадкой, поскольку зеленовато-черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не напоминал ничего из известного в геологии или минералогии. Письмена вдоль основания тоже поставили всех в тупик: никто из присутствовавших не мог соотнести их с известными лингвистическими формами несмотря на то, что здесь собралось не менее половины мировых экспертов в этой области. Иероглифы эти, как по форме, так и по содержанию, принадлежали к чему-то страшно далекому и отличному от нашего человеческого мира; они выглядели напоминанием о древних и неосвященных циклах жизни, в которых нам и нашим представлениям не было места.

И все-таки, пока присутствующие ученые безнадежно качали головами и признавали свое бессилие перед лицом задачи, поставленной инспектором, нашелся в этом собрании человек, увидевший штрихи причудливой близости, смутного сходства этой фигурки монстра и письменных форм, его сопровождающих и того события, свидетелем которого он был, и о котором рассказал с некоторой неуверенностью. Им оказался ныне покойный профессор Уильям Чэннинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета, не без оснований признанный выдающимся исследователем.

Сорок восемь лет назад профессор Уэбб участвовал в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних рунических рукописей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось; будучи на западном побережье Гренландии, он столкнулся с необычным племенем вырождающихся эскимосов, чья религия, представлявшая собой своеобразную форму поклонения дьяволу, напугала его своей чрезвычайной кровожадностью и своими отвратительными ритуалами. Это было верование, о котором все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда с

содроганием; они говорили, что эта религия пришла из ужасных древних эпох, с времен, что были еще до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений были там и довольно странные традиционные обряды, посвященные верховному дьяволу или «торнасуку»; а для наименования последнего профессор Уэбб нашел фонетическое соответствие в названии «ангекок» или «жрецколдун», записав латинскими буквами как можно ближе к звучанию оригинала. Но в данном случае наиболее важен был фетиш, который хранили служители культа и вокруг которого верующие танцевали, когда утренняя заря загоралась над ледяными скалами. Фетиш, как заявил профессор, представлял собой очень грубо выполненный каменный барельеф, содержащий какое-то жуткое изображение и загадочные письмена. Насколько он припоминал, во всех своих основных моментах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежавшую сейчас перед ними.

Это сообщение, принятое присутствующими с изумлением и тревогой, вдвойне взволновало инспектора Легресса; он тут же принялся засыпать профессора вопросами. Поскольку он отметил и тщательно записал заклинания людей, арестованных его подчиненными на болоте, то просил профессора Уэбба как можно точнее припомнить звучание слогов, которые выкрикивали поклонявшиеся дьяволу эскимосы. За этим последовало скрупулезное сравнение деталей, завершившееся моментом подлинного и всеобщего изумления и благоговейной тишины, когда и детектив, и ученый признали полную идентичность фраз, использованных двумя сатанинскими культами, которых разделяли такие гигантские пространства. Итак, и эскимосские колдуны и болотные жрецы из Луизианы пели, обращаясь к внешне сходным идолам, следующее — предположение о делении на слова было сделано на основании пауз в пении — «Пх'нглуи мгл'нафх Цтулху Р'льех вгах'нагл фхтагн».

Легресс имел преимущество перед профессором Уэббом в том, что некоторые из захваченных полицией людей сообщили смысл этих звукосочетаний. По их словам, текст означал: «В своем доме в Р'льехе мертвый Цтулху спит, ожидая своего часа».

Тут уже инспектор Легресс, повинувшись общему настоятельному требованию, подробно рассказал историю, происшедшую с болотными служителями культа; историю, которой мой дед придавал большое значение. Его рассказ был воплощением мечты специалиста по мифологии или теософа, показывающим потрясающую распространенность космических фантазий среди таких примитивных каст и парий, от которых менее всего можно было этого ожидать.

Первого ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана посту-

пили отчаянные заявления из южных районов, местностей болот и лагун. Тамошние поселенцы, в основном грубые, но дружелюбные потомки племени Лафитта, были охвачены ужасом в результате непонятого явления, происшедшего ночью. Это было несомненно колдовство, но колдовство столь кошмарное, что им такое не могло даже придти в голову; некоторые из женщин и детей исчезли с того момента, как зловещие звуки там-тама начали доноситься из глубин черного леса, в который не решался заходить ни один из местных жителей. Оттуда слышались безумные крики и вопли истязаемых, леденящее душу пение, видны были дьявольские пляски огоньков; всего этого, как заключил напуганный посланник, люди уже не могли выносить.

Итак, двадцать полицейских, разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились на место происшествия, захватив с собой дрожащего от испуга скваттера в качестве проводника. Когда проезжая дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины и несколько миль в полном молчании шлепали по грязи через мрачный кипарисовый лес, под покровы которого никогда не проникал дневной свет. Страшные корни и свисающие с деревьев петли испанского лишайника окружали их, а появлявшиеся время от времени груды мокрых камней или обломки сгнившей стены усиливали ощущение болезненности этого ландшафта и чувство депрессии. Наконец, показалась жалкая кучка хижин, поселок скваттеров и доведенные до истерики обитатели выскочили навстречу. Издалека слышались приглушенные звуки там-тамов; и порыв ветра иногда приносил с собой леденящий душу крик. Красноватый огонь, казалось, просачивался сквозь бледный подлесок, запуганные скваттеры наотрез отказались сделать хоть один шаг по направлению к сборищу нечестивых и поэтому инспектор Легресс со своими девятнадцатью полицейскими дальше пошел без проводников.

Местность, в которую вступали сейчас полицейские, всегда имела дурную репутацию, и белые люди, как правило, избегали здесь появляться. Ходили легенды о таинственном озере, в котором обитает гигантский бесформенный белый полип со светящимися глазами, а скваттеры шепотом рассказали, что в этом лесу дьяволы с крыльями летучих мышей вылетают из земляных нор и в полночь водят жуткие хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до того, как здесь появились индейцы, до того, как появились люди, даже до того, как в этом лесу появились звери и птицы. Это был настоящий кошмар и увидеть его означало умереть. Люди старались держаться от этих мест подальше, но нынешний колдовской шабаш происходил в непосредственной близости от их поселка, и скваттеров, по всей видимости, само по себе место сборища пугало куда сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли.

Лишь только поэт или безумец мог бы отдать должное тем звукам, которые доносились до людей Легресса, продиравшихся сквозь болотистую чашу по направлению к красному свечению и глухим ударам там-тама. Есть, как известно, звуки, присущие животным, и звуки, присущие человеку; и жутко становится, когда источники их вдруг меняются местами. Разнужданные участники оргии были в состоянии звериной ярости, они взвизгивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, прорывавшимися сквозь толщу ночного леса и вибрировавшими в ней, подобно смрадным испарением из бездны ада. Время от времени беспорядочное улюлюкание прекращалось, и тогда слаженный хор грубых голосов начинал распевать страшную обрядовую фразу:

«Пх'нглуи мглв'нафх Цтулху Р'льех вгах'нагл фхтагн».

Наконец полицейские достигли места, где деревья росли пореже, и перед ними открылось жуткое зрелище. Четверо из них зашатались, один упал в обморок, двое в страхе закричали, однако крик их, к счастью, заглушала безумная какофония оргии. Легресс плеснул болотной водой в лицо потерявшему сознание товарищу и вскоре все они стояли рядом, дрожа и почти загнипнотизированные ужасом.

Над поверхностью болота располагался травянистый островок, площадью примерно в акр, лишенный деревьев и довольно сухой. На нем в данный момент прыгала и извивалась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, которых могли представить и изобразить разве что художники самой причудливой и извращенной фантазии. Лишенное одежды, это отродье топталось, выло и корчилось вокруг чудовишного костра кольцеобразной формы; в центре костра, появляясь поминутно в разрывах огненной завесы, возвышался большой гранитный монолит примерно в восемь футов, на вершине которого, несоразмерно миниатюрная, покоилась резная фигурка. С десяти виселиц, расположенных через равные промежутки по кругу, свисали причудливо вывернутые тела несчастных исчезнувших скваттеров. Именно внутри этого круга, подпрыгивая и вопя, двигаясь в нескончаемой вакханалии между кольцом тел и кольцом огня, бесновалась толпа дикарей.

Возможно это было лишь игрой воспаленного воображения, но одному из полицейских, экспансивному испанцу, послышалось, что откуда-то издали доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению, и отзвук этот шел из глубины леса, хранилища древних страхов и легенд. Человека этого, Жозефа Д. Галвеса, я впоследствии опрашивал, и он действительно оказался чрезвычайно впечатлительным. Он уверял даже, что видел слабое биение больших крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы

за самыми дальними деревьями — но тут, я думаю, он стал жертвой местных суеверий.

На самом деле, полицейские оставались в состоянии ступора всего несколько мгновений. Чувство долга возобладало: хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские полагались на свое оружие и решительно двинулись вперед. В течение последовавших пяти минут шум и хаос стали совершенно неописуемыми. Дубинки полицейских наносили страшные удары, грохотали револьверные выстрелы, и, в результате, Легресс насчитал сорок семь угрюмых пленников, которым он приказал одеться и выстроиться между двумя рядами полицейских. Пятеро участников колдовского шабаша были убиты, а двое тяжело раненных были перенесены на импровизированных носилках своими плененными товарищами. Фигурку с монолита, разумеется, сняли и Легресс забрал ее с собой.

После того как изнурительное путешествие завершилось, пленники были тщательно допрошены и обследованы в полицейском управлении. Все они оказались людьми смешанной крови, чрезвычайно низкого умственного развития, да еще и с психическими отклонениями. Большая часть из них была матросами, а горстка негров и мулатов, в основном из Вест-Индии, или португальцев с островов Кэйп-Верде, привносила оттенок колдовства в этот разнородный культ. Но еще до того, как были заданы все вопросы, выяснилось, что здесь речь идет о чем-то значительно более древнем и глубоком, чем негритянский фетишизм. Какими бы дефективными и невежественными ни были эти люди, они с удивительной последовательностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования.

Они поклонялись, по их собственным словам, Великим Старейшинам, которые существовали еще за века до того, как на земле появились первые люди, и которые пришли в совсем молодой мир с небес. Эти Старейшины теперь ушли, удалились вглубь земли и под дно моря; однако их мертвые тела рассказали свои секреты первому человеку в его снах, и он создал культ, который никогда не умрет. Это был именно их культ, и пленники утверждали, что он всегда существовал и всегда будет существовать, скрытый в отдаленных пустынях и темных местах по всему миру, до тех пор, пока великий жрец Цтулху не поднимется из своего темного дома в великом городе Р'льехе под толщей вод, и не станет властелином мира. Наступит день, и он, когда звезды будут им благоприятствовать, их призовет.

А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпытать никакими средствами, никакими мучениями. Человек никогда не был единственным обладателем сознания на Земле, ибо из тьмы рождаются образы, которые посещают немногих верных и верующих. Но это не

Великие Старейшины. Ни один человек никогда не видел Старейшин. Резной идол представляет собой великого Цтулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто не может теперь прочесть древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом из тех, которые передаются только шепотом и никогда не произносятся вслух. А заклинение, которое они распевают, означает лишь одно: «В Р'льехе, в своем доме мертвый Цтулху спит в ожидании своего часа».

Лишь двое из захваченных пленников оказались вменяемыми настолько, чтобы их можно было повесить, всех же прочих разместили по различным лечебницам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах, и уверяли, что убийства совершали Чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, которые с незапамятных времен находятся в глуши леса. Однако больше об этих таинственных союзниках ничего связного узнать не удалось. Все, что полиция смогла выяснить, было получено от весьма престарелого метиса по имени Кастро, который клялся, что бывал в самых разных портах мира и что он беседовал с бессмертными вождями культа в горах Китая.

Престарелый Кастро припомнил отрывки устрашающих легенд, на фоне которых блекнут все рассуждения теософов и которые представляют человека и весь наш мир, как нечто недавнее и временное. Были эпохи, когда на земле господствовали иные Существа, и они создали большие Города. Как рассказывал бессмертный Китаец, останки этих Существ еще могут быть обнаружены: они превратились в циклопические камни на островах Тихого океана. Все они умерли задолго до появления человека, но есть способы, которыми можно их оживить, особенно когда звезды вновь займут благоприятное положение в цикле вечности. Ведь Они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения.

Великие Старейшины, продолжал Кастро, не целиком состоят из плоти и крови. У них есть форма — ибо разве эта фигурка не служит тому доказательством? — но форма их не воплощена в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, Они смогут перемещаться из одного мира в другой, но пока звезды расположены плохо. Они не могут жить. Однако, хотя Они больше не живут, но Они никогда полностью и не умирали. Все Они лежат в каменных домах в Их огромном городе Р'льехе, защищенные заклетами могущественного Цтулху, в ожидании великого возрождения, когда звезды и Земля снова будут готовы к их приходу. Но и в этот момент освобождению Их тел должна способствовать какая-нибудь внешняя сила. Заклęcia, которые делают Их неуязвимыми, одновременно не позволяют Им сделать первый шаг,

поэтому теперь они могут только лежать без сна в темноте и думать, пока бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во вселенной, поскольку форма их общения — это передача мыслей. Так что даже сейчас Они разговаривают друг с другом в своих могилах. Когда, после бесконечного хаоса, на Земле появились первые люди, Великие старейшины обращались к самым чутким из них при помощи внедрения в них сновидений, ибо только таким образом мог Их язык достичь сознания людей.

И вот, прощелтал Кастро, эти первые люди создали культ вокруг маленьких идолов, которых показали им Великие Старейшины: идолов, принесенных в давно стершиеся из памяти века, с темных звезд. Культ этот никогда не прекратится, он сохранится до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тайные жрецы поднимут великого Цтулку из его могилы, чтобы оживить Его подданных и восстановить Его власть на земле. Время это легко будет распознать, ибо тогда все люди станут как Великие Старейшины — дикими и свободными, окажутся по ту сторону добра и зла, отбросят в сторону законы и мораль, будут кричать, убивать и веселиться. Тогда освобожденные Старейшины раскроют им новые приемы, как кричать, убивать и веселиться, наслаждаясь собой, и вся земля запыхает всеуничтожающим огнем свободы и экстаза. До тех пор культ, при помощи своих обрядов и ритуалов, должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчества об их возрождении.

В прежние времена избранные люди могли говорить с погребенными Старейшинами во время сна, но потом что-то случилось. Великий каменный город Р'льех, с его монументами и надгробиями исчез под волнами; и глубокие воды, полные единой первичной тайны, сквозь которую не может пройти даже мысль, оборвали и это призрачное общение. Но память никогда не умирает, и верховные жрецы говорят, что город восстанет вновь, когда звезды займут благоприятное положение. Тогда из земли восстанут ее черные духи, призрачные и забытые, полные молвы, извлеченной из-под дна забытых морей. Но об этом старый Кастро говорить не вправе. Он резко оборвал свой рассказ, и в дальнейшем никакие попытки не могли заставить его говорить. Странно также, что он категорически отказался описать *размеры* Старейшин. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди безвестных пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности Ирем, Город Колонн. Это верование никак не связано с европейским культом ведьм, и практически неизвестно никому, кроме его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намека на него, хотя, как рассказывал бессмертный Китаец, в «Не-

кромомиконе» безумного арабского автора Абдулы Альхазреда есть строки с двойным смыслом, которые начинающий может прочесть по своему усмотрению, в частности такой куплет, неоднократно являвшийся предметом дискуссий:

«Вечно лежать без движения может не только мертвый,
А в странные эпохи даже смерть может умереть».

Легресс, на которого все это произвело глубокое впечатление, безуспешно пытался узнать, получил ли подобный культ историческое признание. По всей видимости, Кастро сказал правду, утверждая, что он остался полностью скрытым. Специалисты из университета в Тулэйне, куда обратился Легресс, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал, теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области и вновь не смог услышать ничего более существенного, чем гренландская история профессора Уэбба.

Лихорадочный интерес, вызванный на собрании специалистов рассказом Легресса и подкрепленный показанной им фигуркой, получил отражение в последующей корреспонденции присутствовавших специалистов, хотя почти не был упомянут в официальных публикациях археологического общества. Осторожность — всегда является первой заботой ученых, привыкших сталкиваться с шарлатанством и попытками мистификации. На некоторое время Легресс передал фигурку идола профессору Уэббу, однако, после смерти последнего, получил ее обратно и она оставалась у него, так что увидеть загадочную вещьцу я смог лишь совсем недавно. Это в самом деле довольно жуткого вида произведение, несомненно очень похожее на «сонную скульптуру» юного Уилкокса.

Неудивительно, что мой дед был весьма взволнован рассказом скульптора, ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть, если учесть, что он уже знал историю Легресса о загадочном культе, а тут перед ним был молодой человек, который увидел во сне не только фигурку и точные изображения иероглифов, обнаруженных в луизианских болотах и гренландских льдах, но и встретил во сне по крайней мере три слова, в точности повторяющих заклинания эскимосских сатанистов и луизианских уродцев? Естественно, что профессор Эйнджелл тут же начал свое собственное расследование; хотя по правде сказать, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот, каким-то образом узнав о злополучном культе и выдумав серию так называемых «сновидений», решил продлить таинственную историю, втянув в это дело моего деда. Записи сновидений и вырезки из газет, собранные профессором, были, разумеется, серьезным подкреплением его догадок; однако мой рационализм и экстравагантность проблемы в целом привели меня к

выводу, который я тогда считал наиболее разумным. Поэтому, тщательно изучив рукопись еще и еще раз и соотнеся теософические и антропологические суждения с рассказам Легресса, я решил поехать в Провиденс, чтобы высказать справедливые упреки в адрес скульптора, позволившего себе столь наглый обман серьезного пожилого ученого.

Уилкоккс все еще проживал в одиночестве во Флер-де-Лиз-Билдинг на Томас-стрит, в здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию архитектуры семнадцатого века, выставлявшую собой оштукатуренный фасад среди очаровательных домиков колониального стиля в тени самой изумительной георгианской церкви в Америке. Я застал его за работой и, осмотрев разбросанные по комнате произведения, понял, что передо мной на самом деле выдающийся и подлинный талант. Я был убежден, что он со временем станет одним из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине, затем отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мэйчен создал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в своих стихах и живописных полотнах.

Смуглый, хрупкого сложения и несколько неряшливого вида, он вяло откликнулся на мой стук в дверь и, не поднимаясь с места, спросил что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес: видимо, в свое время мой дед разбудил в нем любопытство, анализируя его странные сновидения, хотя так и не раскрыл перед ним истинной причины своего внимания. Я также не прояснил для него этой проблемы, но тем не менее постарался его разговорить.

Спустя очень короткое время я смог полностью убедиться в его несомненной искренности, поскольку манера, в которой он говорил о своих снах, рассеяла мои подозрения. Эти сновидения и их след в бессознательном сильнейшим образом повлияли на его творчество. Он показал мне чудовищную статую, контуры которой оказали на меня такое воздействие, что заставили едва ли не задрожать от заключенной в ней мощной и темной силы. Он не мог припомнить никаких иных впечатлений, вдохновивших его на это творение, помимо своего «сонного барельефа», причем контуры фигуры возникали под его руками сами собой. Это был, несомненно, образ гиганта, созданный его бредом во время горячки. Очень скоро стало совершенно ясно, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настоячивые расспросы моего деда наводили его на какие-то мысли; тут, признаться, я вновь подумал, что он каким-то образом мог быть наведен на свои кошмарные образы.

Он рассказывал о своих снах в необычной поэтической манере, пробуждая меня воочию увидеть ужасающие картины сырого циклопического города из скользкого зеленоватого кам-

ня — чья геометрия, по его словам, была совершенно неправильной — и явственно расслышать непрерывный полусознательный зов из-под земли: «Цтулху фхтагн! Цтулху фхтагн!»

Слова эти составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Цтулху, лежащему в своем каменном склепе в Р'льехе, и я, несмотря на укоренившийся во мне рационализм, почувствовал глубокое волнение. «Уилкоккс, — подумал я, — все-таки слышал раньше об этом культе, возможно мельком, случайно, и вскоре позабыл о нем, а воспоминание это растворилось в массе не менее жутких вещей, прочитанных в книгах и бывших плодом его фантазии. Позднее, в силу его острой впечатлительности, эти воспоминания нашли воплощение в снах, в барельефе, и в этой жуткой статуе, которую я увидел сегодня; таким образом его мистификация была ненамеренной». Молодой человек относился к тому типу людей, чья склонность к аффектации и дурные манеры раздражали меня; однако, это ничуть не мешало отдать должное его таланту и искренности. Мы расстались вполне дружески и я пожелал ему всяческих успехов, которых несомненно заслуживал его художественный дар.

Проблема таинственного культа продолжала меня волновать, время от времени мне удавалось встретиться с коллегами деда и узнать их точку зрения на его истоки. Я посетил Новый Орлеан, побеседовал с Легрессом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить кое-кого из живых пленников-уродцев. Старик Кастро, к сожалению, умер несколькими годами раньше. То, что я смог получить из первых рук, подтвердило известное мне из рукописи моего деда и, тем не менее, вновь взволновало меня; теперь уже я не сомневался, что напал на след совершенно реальной, исключительно тайной и очень древней религии, научное открытие которой сделает меня известным антропологом. Моей тогдашней установкой по-прежнему оставался абсолютный материализм (*хотелось бы мне, чтобы и теперь он сохранился!*), и меня крайне раздражало своей непозволительной алогичностью совпадение по времени невероятных сновидений и событий, в том числе отраженных и в газетных вырезках, которые собрал покойный профессор Эйнджелл.

И вот тогда я начал подозревать, а сегодня уже могу утверждать, что *я это знаю* — смерть моего деда была далеко не естественной. Он упал на узкой улочке, идущей вверх по холму, кишмя кишавшей всякими заморскими уродами, после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди служителей культа в Луизиане было много людей смешанной крови и моряков, и меня несколько не удивили сообщения об отравленных иголках и других тайных методах, столь же бесчеловечных и древних, как тайные обряды и ритуалы. Да,

в самом деле, Лэгресса и его людей никто не тронул, однако, в Норвегии загадочной смертью закончил свой путь моряк, бывший свидетелем подобной оргии. Разве не могли сведения о тщательных расследованиях, которые предпринял мой дед после получения данных о снах скульптора, достичь чьих-то ушей? Я думаю, что профессор Эйнджелл умер потому, что слишком много знал или, по крайней мере, мог узнать слишком много. Суждено ли мне уйти так же, как ему, покажет будущее, ибо я уже сейчас знаю слишком многое...

III. Морское безумие

Если бы небесам захотелось когда-нибудь совершить для меня благодеяние, то таковым стало бы полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, которое побудило меня бросить взгляд на одну бумагу. Виной ситуации ничего не могло бы заставить меня посмотреть на этот старый номер австралийского журнала «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года. Он ускользнул от внимания и той фирмы, которая занималась сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда.

К тому времени я почти оставил изучение того, что мой дед назвал «Култ Цтулху», и находился в гостях у одного своего друга, ученого из Патерсона, штат Нью-Джерси, хранителя местного музея, довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то образцы камней из запасников музея, я обратил внимание на странное изображение на старой бумаге, постеленной на полке под камнями. Это как раз и был «Сиднейский бюллетень», о котором я упомянул, а картинка же представляла собой выполненное методом автотипии изображение страшной каменной фигурки, почти идентичной той, которую Лэгресс обнаружил на болотах.

С жадностью вытащив журнал из-под драгоценного груза коллекции, я внимательно просмотрел заметку и был разочарован ее малым объемом. Содержание ее, однако, было необычайно важным для моих изрядно выдохшихся поисков и поэтому я аккуратно вырезал заметку из журнала. В ней сообщалось следующее:

«ОБНАРУЖЕНО ТАИНСТВЕННОЕ БРОШЕННОЕ СУДНО»

«Неусыпный» Прибывает с Неуправляемой Новозеландской Яхтой на Буксире. Один Живой и Один Мертвый Обнаружены на Борту. Рассказ об Отчаянной Битве и Гибели на Море. Спасенный Моряк Отказывается Сообщить Подробнос-

ти Странного Происшествия. У Него Обнаружен Причудливый Идол. Предстоит Расследование.

Грузовое судно «Неусыпный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпараисо, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире пробитую и неуправляемую, но прекрасно вооруженную паровую яхту «Бдительная» из Данедина, Новая Зеландия, которая была замечена 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту.

«Неусыпный» покинул Вальпараисо 25 марта и 2 апреля значительно отклонился к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн. 12 апреля было обнаружено брошенное судно; яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой, однако затем там заметили одного живого человека в полубессознательном состоянии и одного покойника, умершего не менее недели назад.

Оставшийся в живых сжимал в руках страшного каменного идола неизвестного происхождения, примерно футовой высоты, в отношении которого специалисты Сиднейского университета, Королевского Общества, а также Музея Колледж-стрит признали свою полную неосведомленность. Сам оставшийся в живых матрос утверждает, что обнаружил эту вещь в салоне яхты, в небольшом резном алтаре довольно грубого образца.

Этот человек, после того как пришел в чувство, рассказал весьма странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йохансеном, норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда, которая отплыла в Каллао 20 февраля, имея на борту команду из одиннадцати человек.

Он рассказал, что «Эмма» задержалась в пути и была отнесена к югу от своего курса сильным штормом 1-го марта, и 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы встретила «Бдительную», управляемую странной и зловещего вида командой из канаков и людей смешанной расы. Получив повелительное требование повернуть назад, капитан Коллинз, отказался выполнить его; и тут странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из батареи медных пушек, составлявших вооружение яхты.

Команда «Эммы», как сказал оставшийся в живых, приняла вызов и, хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести шхуну бортом к борту яхты, проникнуть на нее и вступить в схватку с диким экипажем на палубе. В результате этой схватки они были принуждены

перебить всех дикарей, хотя тех было несколько больше, из-за их яростного и отчаянного, хотя и довольно неуклюжего сопротивления.

Трое из экипажа «Эммы» были убиты, среди них — капитан Коллинз и первый помощник Грин; оставшиеся восемь под командой второго помощника Йохансена взяли на себя управление захваченной яхтой, двигаясь своим курсом с целью определить, были ли у экипажа яхты причины требовать от них его изменения.

На следующий день они увидели маленький остров и, причалив, высадились на него, хотя никто из них не знал ранее о его существовании в этой части океана; шестеро почему-то погибли на этом острове, причем в этой части своего рассказа Йохансен стал крайне сдержанным и скрытным, сообщив лишь о том, что они упали в глубокую расщелину в скалах.

Позднее, по всей видимости, он и его оставшийся в живых напарник сели на яхту и попытались управлять ею, но 2 апреля оказались жертвами шторма.

С этого момента и по день своего спасения 12 апреля, Йохансен мало что помнит, в частности не может указать, когда умер его напарник, Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была вызвана какими-либо явными причинами и, по всей вероятности, произошла в результате перевозбуждения или атмосферных явлений.

Из Данедина по телеграфу сообщили, что «Бдительная» была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана, и что она пользовалась дурной репутацией по всему побережью. Ей владела группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, чьи частые сборища и ночные путешествия в лесную чащу давали пищу для немалого любопытства; она вышла в море в большой спешке сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта.

Наш оклендский корреспондент сообщает, что «Эмма» и ее экипаж имели чрезвычайно высокую репутацию, а Йохансена характеризует как трезвомыслящего и достойного человека.

Адмиралтейство назначило расследование этого происшествия, которое начнется уже завтра; в ходе расследования будет предпринята попытка получить от Йохансена более обширную информацию, чем данная им в настоящее время.

Вот и вся заметка вместе с фотоснимком дьявольского изображения; но какую же цепь ассоциаций она вызвала у меня! Ведь все это было бесценными новыми сведениями относительно культа Цтулху и подтверждало, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. В самом деле, каким мотивом руководствовался смешанный экипаж, когда приказал «Эмме» повернуть назад, столкнувшись с ней на своем

пути с ужасным идолом? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро членов экипажа «Эммы» и о котором помощник Йохансен так не хотел рассказывать? Что было вскрыто в ходе расследования, предпринятого адмиралтейством, и что знали об этом гибельном культе в Данедине? И самое главное — какая глубокая и сверхъестественная связь существовала между этими датами и различными поворотами событий, зафиксированных моим дедом? Наличие такой злой связи было очевидным...

1 марта — по-нашему — 28 февраля в соответствии с международной демаркационной линией суточного времени — были землетрясение и шторм. Из Данедина «Бдительная» и ее шумный экипаж вышли весьма поспешно, как будто подчиняясь чьему-то настоятельному требованию, и в это же время на другом конце земли поэты и художники начали видеть в своих снах странный, пропитанный сыростью циклопический город, а юный скульптор вылепил во сне из глины фигурку наводящего ужас Цтулху. 23 марта экипаж «Эммы» высаживается на неведомом острове, где оставляет потом шестерых мертвецов; и именно в этот день сны чувствительных людей приобретают особую яркость, и кошмар их усиливается сценой преследования гигантским монстром, в этот же день архитектор сходит с ума, а скульптор неожиданно впадает в горячечный бред! А что же сказать по поводу шторма 2 апреля — дня, когда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются и когда Уилкоккс чудесным образом избавляется от странной лихорадки? Что все это означает — наряду с намеками старого Кастро об ушедших под толщу вод Старейшинах, пришедших со звезд, и их грядущем царствовании; культе верующих в них и *их способности владеть сновидениями*? Неужели я балансирую на самом краю космического ужаса, лежащего за пределами того, что может постичь и вынести человек? Если это так, то второе апреля каким-то образом остановило ту чудовищную угрозу, которая уже начала осаду души Человечества.

В тот же вечер, отправив несколько телеграмм, я попрощался со своим хозяином и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее, чем через месяц я уже был в Данедине, где, однако, мало что было известно о странных служителях небывалого культа, которые порой заходили в портовые таверны. Разного рода отбросы общества были слишком банальной темой для упоминания; хотя ходили смутные слухи относительно одного путешествия, совершенного этими уродцами в глубь острова, во время которого с отдаленных холмов были слышны приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени.

В Окленде я узнал, что по возвращении Йохансена *его русые волосы оказались совершенно седыми*; вернувшись после поверхностного и неполного допроса в Сиднее, он продал свой коттедж на Вест-стрит в Данедине и вместе с женой уехал к себе в Осло. О своем необычайном приключении он рассказывал друзьям не больше, чем сообщил представителям адмиралтейства, так что они не могли ничего добавить и помогли мне лишь тем, что дали его адрес в Осло.

После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и участниками адмиралтейского суда. Я видел «Бдительную», ныне проданную и используемую как торговое судно, на Круговом Причале Сиднейской бухты, но ее внешний вид ничего не добавил к моим сведениям. Скрюченная фигурка со своей жуткой головой, драконьим туловищем, крыльями и покрытым иероглифами пьедесталом теперь хранилась в музее Гайд-Парка; я долго и внимательно осматривал ее, обнаружив вещь, выполненную с исключительным искусством, столь же таинственную, пугающе древнюю и внеземную по материалу, как и меньший по размеру экземпляр Легресса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовишной загадкой, поскольку на земле не существует такого камня, из которого она могла быть изготовлена. Тут я с содроганием вспомнил слова старого Кастро, которыми он описывал Легрессу Старейшину: «Они пришли со звезд и принесли с собой Свои изображения».

Все это настолько захватило меня, что я направился в Осло для встречи с Йохансеном. Добравшись до Лондона, я пересел там на корабль, отправлявшийся в норвежскую столицу, и в один из осенних дней вышел на набережную в тени Эдеберга.

Йохансен проживал, как я узнал, в Старом Городе короля Харольда Хаардредра, сохранявшего имя «Осло» на протяжении всех веков, пока больший город маскировался под именем «Христиания». Я немного проехал на такси и вскоре с бьющимся сердцем постучал в дверь чистого старинного домика с оштукатуренным фасадом. Женщина в черном с печальным лицом выслушала мои объяснения и на неуверенном английском сообщила ошелолившую меня новость:

— Густав Йохансен умер.

Он прожил совсем недолго после своего возвращения, сказала его жена, потому что события 1925 года его надломили. Он рассказал ей не больше, чем всем остальным, однако оставил большую рукопись — «Технические Детали», как он говорил — на английском языке, вероятно для того, чтобы уберечь свою жену от риска случайно с ней ознакомиться. Однажды, когда он проходил по узкой улочке близ Готенбургского дока, из чердачного окна одного из домов на него упала

связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое матросов-индийцев помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия медицинской помощи. Врачи не нашли никакой очевидной причины смерти и приписали ее сердечной недостаточности и ослабленному состоянию.

С тех пор меня снедает постоянный и навязчивый темный страх и я знаю, что он не оставит меня, пока я не найду свой конец, «случайно» или еще как-нибудь. Убедив вдову, что ознакомление с «Техническими Детальями» — цель моего столь долгого путешествия, я смог получить рукопись и начал читать ее на обратном пути в Лондон.

Это было неприятное и довольно бессвязное сочинение — попытка простого моряка написать задним числом дневник происшедших с ним событий — день за днем восстановить то самое ужасное последнее путешествие. Я не могу передать его дословно, учитывая всю туманность изложения, повторы и перегруженность излишними деталями, но я постараюсь следовать сюжету так, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющей в борта корабля, стал для меня постепенно настолько невыносимым, что я вынужден был заткнуть свои уши ватой.

Йохансен, слава Богу, хотя увидел и Город и Существо, узнал не все. Но описанного им вполне хватило, чтобы я лишился спокойного сна. Стоит мне лишь подумать о том, что таится совсем рядом с нашей жизнью, о проклятиях, пришедших сюда с седых звезд и спящих теперь под толщей морских вод, об известном зловещему культу и им хранимом, как ужас пронизывает меня до мозга костей.

Путешествие Йохансена началось именно так, как он сообщил комиссии адмиралтейства. «Эмма», груженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и почувствовала на себе полную силу вызванной подземным толчком бури, которая подняла со дна моря ужасы, наполнившие сны многих людей. Впоследствии корабль снова подчинился управлению и стал быстро продвигаться вперед, пока не оказался остановленным «Бдительной» 22 марта, и я смог почувствовать горечь и сожаление помощника капитана, когда он описывал, как подверглась обстрелу, а затем и затонула их шхуна. С нескрываемым отвращением он сообщал о смуглолицых служителях культа, находившихся на борту «Бдительной». По-видимому в них было что-то такое, что-то небывало гнусное, отчего их уничтожение превращалось почти в священный долг — именно поэтому Йохансен с нескрываемым недоумением воспринял обвинение самого себя и своих людей в жестокости, прозвучавшее во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, люди Йохансена мчались вперед на захваченной яхте, пока, находясь в 47 градусах 9 минутах южной широты

и 126 градусах 43 минутах западной долготы, не наткнулась на береговую линию, где посреди липкой грязи и ила обнаружили поросшую тростником каменную кладку, которая была не чем иным, как материализованным ужасом этой планеты — кошмарным городом-трупом Р'льехом, построенном в незапамятные доисторические времена гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там лежали великий Цтулху и его несметные полчища, укрытые в зеленых осклизлых каменных усыпальницах, посылавшие те самые послания, которые в виде ночных кошмаров проникали в сны чутких людей, а верных слуг призывали в поход с миссией освобождения и возрождения своих повелителей. Обо всем это Йохансен и не подозревал, но видит Бог, вскоре он увидел столько, что этого было вполне достаточно!

Я предположил, что только самая верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, под которой лежал великий Цтулху, выступала над поверхностью воды. Когда же я подумал о протяженности той части, что уходит вглубь, у меня сразу же возникла мысль о самоубийстве. Йохансен и его матросы были охвачены благоговейным ужасом перед лицом космического величия этого влажного Вавилона древних демонов, и, по всей видимости, без всякой подсказки догадались, что это не могло быть творением нашей или же любой другой цивилизации с планеты Земля. Трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного резного монолита, от ошеломляющего сходства колоссальных статуй и барельефов со странной фигуркой, обнаруженной в корабельном алтаре «Бдительной», явно чувствуется в каждой строке бесхитростного повествования помощника капитана.

Не имея представления о том, что такое футуризм, Йохансен, тем не менее приблизился к нему в своем изображении города. Вместо точного описания какого-либо сооружения или здания, он ограничивается только общими впечатлениями от гигантских углов или каменных плоскостей — поверхностей слишком больших, чтобы они были созданы на этой планете, вдобавок покрытых устрашающими изображениями и письменами. Я упомянул здесь его высказывания *об углах*, поскольку это напомнило мне один момент в рассказе Уилкокса о его сновидениях. Он сказал, что *геометрия* пространства, явившегося ему во сне, была аномальной, неэвклидовой и пугающе наполненной сферами и измерениями, отличными от привычных нам. И вот теперь малограмотный матрос почувствовал то же самое, глядя на ужасную реальность.

Йохансен и его команда высадились на отлогий илистый берег этого чудовищного акрополя, и стали, скользя, караб-

каться вверх по титаническим, сочащимся влагой блокам, которые никак не могли быть лестницей для смертных. Даже солнце на небе выглядело искаженным в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой, а угроза и опасность злобно притаилась в этих безумных, ускользающих углах резного камня, где второй взгляд ловил впадину на том месте, на котором первый обнаруживал выпуклость.

Нечто очень похожее на страх охватило всех путешественников еще до того, как они увидели что-либо кроме камней, ила и водорослей. Каждый из них убежал бы, если бы не боязнь подвергнуться насмешкам со стороны остальных, и потому они только делали вид, будто что-то ищут — как оказалось, совершенно безрезультатно — какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте.

Португалец Родригес был первым, кто забрался на подножие монолита и крикнул, что обнаружил нечто интересное. Остальные подбежали к нему и все вместе с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. Она была похожа, писал Йохансен, на дверь амбара; они все сразу поняли, что это именно дверь из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя они не смогли решить: лежит ли она плоско, как дверь-люк, или стоит косо, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкоккс, геометрия здесь была совершенно неправильной. Нельзя было с уверенностью сказать, расположены море и поверхность земли горизонтально или нет, поскольку относительное расположение всего окружающего фантасмагорически менялось.

Брайден нажал на камень в нескольких местах, но безуспешно. Тогда Донован аккуратно ошупал всю дверь по краям, нажимая на каждый участок по отдельности. Он карабкался вдоль гигантского покрытого плесенью камня — то есть, можно было подумать, что он карабкается, если только вещь эта все-таки не лежала горизонтально. Затем очень мягко и медленно панель размером в акр начала опускаться вниз и они поняли, что она балансировала в неустойчивом равновесии.

Донован соскользнул вниз вдоль косяка, присоединился к своим товарищам, и теперь они все вместе наблюдали за странным снижением чудовищного резного портала. В этом фантастическом мире призматического искажения, плита двигалась совершенно неестественно, по диагонали, так что все правила движения материи и законы перспективы казались нарушенными.

Дверной проем был черным, причем темнота казалась почти *материальной*. Через какие-то мгновения этот мрак вырывался наружу, как дым после многовекового заточения, а по мере того как он вливался в сморщенное горбатое небо на хло-

пающих перепончатых крыльях, на глазах у них стало меркнуть солнце. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад, а отличавшийся острым слухом Хоукинс уловил отвратительный хлюпающий звук, доносившийся снизу. И вот тогда, неуклюже громохкая и источая слизь, перед ними появилось Оно и наощупь стало выдавливать Свою зеленую, желеобразную безмерность через черный дверной проем в испорченную атмосферу ядовитого безумного города.

В этом месте рукописи почерк бедняги Йохансена стал почти неразборчивым. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, двое умерли тут же, на месте — по его мнению, просто от страха. Существо описать было невозможно — ибо нет языка, подходящего для передачи таких пучин кричащего вневременного безумия, такого жуткого противоречия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или, точнее, ковыляющая горная вершина. Боже праведный! Что же удивительного в том, что на другом конце земли выдающийся архитектор сошел с ума, а бедный Уилкоккс, получив телепатический сигнал, заболел лихорадкой? Зеленое, липкое порождение звезд, пробудилось, чтобы заявить свои права. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего древнему культу не удалось добиться всеми своими ритуалами, было по чистой случайности осуществлено кучкой совершенно безобидных моряков. После миллиардов лет заточения великий Цтулху был вновь свободен и жаждал насладиться этой свободой.

Трое были сметены гигантскими когтями прежде, чем кто-то из них пошевелился. Упокой Господь их душу, если где — нибудь в этой Вселенной есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэрера и Энгстром. Паркер подскользнулся, когда оставшиеся в живых, потеряв голову от страха, неслись к лодке по гигантским ступеням, покрытым зеленой коркой, и Йохансен уверял, что Паркер был словно проглочен каменной кладкой. В конце концов до лодки добежали только Брайден и сам Йохансен: они отчаянно начали грести к «Бдительной», а чудовище шлепнулось в воду и теперь, теряя время, барахталось у берега.

Несмотря на явную нехватку рабочих рук им удалось запустить «Бдительную» и отплыть. Медленно набирая ход, яхта начала вспенивать эту мертвую воду, а между тем, возле каменных нагромождений гибельного берега, который никак нельзя было назвать землей, титаническое Существо что-то бормотало и пускало слюни, как Полифем, посылающий проклятия вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Цтулху, многократно более мощный, чем легендарные Циклопы, начал преследование, поднимая гигантские волны

своими космическими гребками. Брайден потерял рассудок. С того момента он все время только смеялся с короткими паузами до тех пор, пока смерть не настигла его. Йохансен же почти в полном отчаянии бродил по палубе, не зная, что предпринять.

Однако Йохансен все-таки не сдался. Зная, что Существо без труда настигнет «Бдительную», даже если двигаться на всех парах, он решился на отчаянный шаг: установив машину на самый полный, взлетел на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны и закипела соленая вода. Когда же машина вновь набрала полные обороты, храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее его чудовищное желе, возвышавшееся над грязной пеной кормой дьявольского галеона. Чудовищная верхняя часть головоногого с развевающимися щупальцами поднималась почти до бушприта стойкой яхты, но Йохансен вел корабль вперед.

Раздался взрыв, как будто лопнул гигантский пузырь, за ним — отвратительный звук разрезаемой титанической медузы, сопровождаемый зловонием тысячи разверстых могил. За один миг корабль накрыло едкое и ослепляющее зеленое облако, так что была видна лишь яростно кипящая вода за кормой; и хотя — Боже всемилостивый! — разметавшиеся ключья безымянного посланца звезд постепенно *воссоединялись* в свою тошнотворную первоначальную форму, дистанция между ним и яхтой стремительно увеличивалась.

Все было кончено. С того момента Йохансен сидел в рубке, рассматривал фигурку идола, да еще время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после отчаянной гонки, поскольку силы, казалось, полностью оставили его. Затем был шторм 2 апреля и сознание Йохансена начало затуманиваться. Возникло ощущение вихревого призрачного кружения в водоворотах бесконечности, бешеной скачки сквозь вертящиеся вселенные на хвосте кометы, хаотических бросков из бездны на луну и оттуда назад, в бездну, сопровождавшееся истерическим хохотом веселящихся древних богов и зеленых, машущих перепончатыми крыльями и гримасничающих бесов Тартара.

Посреди этого сна пришло спасение — «Неусыпный», адмиралтейский суд, улицы Данедина и долгое возвращение домой в старый дом у Эдеберга. Он не в состоянии был рассказать о случившемся — его приняли бы за сумасшедшего. Перед смертью он должен был описать происшедшее, но так, чтобы жена ничего не узнала. Смерть представлялась ему благодеянием, если только она могла все стереть из его памяти.

Таков был документ, который я прочел, и затем положил в жестяной ящик рядом с барельефом и бумагами профессора

Эйнджелла. Сюда же будут помещены и мои собственные записи — свидетельство моего здравого рассудка и, таким образом, соединится в единую картину то, что, как я надеюсь, никто больше не сможет собрать воедино. Я заглянул в глаза вселенского ужаса и с этих пор даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но, я думаю, что мне не суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йохансен, так же предстоит покинуть этот мир и мне. Я слишком много знаю, а ведь культ все еще жив.

Цтулху тоже еще жив, и, как я предполагаю, снова обитает в каменной бездне, хранящей его с тех времен, как появилось наше солнце. Его проклятый город вновь ушел под воду, ибо «Неусыпный» беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма; но его служители на земле все еще вопят, танцуют и приносят человеческие жертвы вокруг увенчанных фигурками идола монолитов в пустынных местах. Должно быть, он пока еще удерживается в своей бездонной черной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадке безумия. Кто знает исход? Восставший может уйти в бездну, а опустившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение вселенской мерзости спит в глубине, ожидая своего часа, а смрад гниения расплзается над гибнущими городами людей. Настанет время — но я не должен и не могу думать об этом! Молю об одном — коль мне не суждено будет пережить эту рукопись, пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не дадут другим людям ее прочесть.

Х.Ф.Лавкрафт

ТЕНЬ НАД ИННСМАУТОМ





I

В течение всей зимы 1927-28 годов официальные представители федерального правительства проводили довольно необычное и строго секретное изучение состояния находящегося в Массачусетсе старого иннсмаутского порта. Широкая общественность впервые узнала обо всем этом лишь в феврале, когда была проведена широкая серия облав и арестов, за которыми последовало полное уничтожение — посредством осуществленных с соблюдением необходимых мер безопасности взрывов и поджогов — громадного числа полуразвалившихся, пришедших в почти полную негодность и, по всей видимости, опустевших зданий, стоявших вдоль береговой линии. Не отличающиеся повышенным любопытством граждане отнеслись к данной акции всего лишь как к очередной, пусть даже и достаточно массивной, но все же совершенно спонтанной попытке властей поставить заслон на пути контрабандной поставки в страну спиртных напитков.

Более же любознательные люди обратили внимание на небывало широкие масштабы проведенных арестов, многочисленность задействованных в них сотрудников полиции, а также на обстановку секретности, в которой проходил вывоз арестованных. В дальнейшем не поступало никаких известий о суде или хотя бы о предъявлении каких-либо обвинений; более того, никто из задержанных впоследствии не объявился в американских тюрьмах. Позже поползли разноречивые слухи о каком-то якобы крайне опасном заболевании, концентрационных лагерях, размещении арестованных по многочисленным военным и военно-морским тюрьмам, однако все эти кривотолки не имели под собой сколько-нибудь реальной основы. Иннсмаут лишился значительной части своих жителей, и лишь в последнее время стали появляться признаки некоторого оживления его общественной жизни.

Жалобы на призыв властей, поступавшие от многочисленных либеральных организаций, рассматривались и изучались в ходе долгих конфиденциальных слушаний, вслед за чем представители высоких инстанций совершили инспекционные поездки по ряду тюрем. Как ни странно, в результате подобных инспекций их устроители заняли по столь взволновавшему их ранее вопросу крайне пассивную, если не сказать более того — молчаливую позицию. Долше всех сопротивлялись представители прессы, однако и они в конце концов проявили готовность к сотрудничеству с правительственными органами. Лишь одна-единственная бульварная газетенка, на которую практически никто и ни-

когда не обращал внимания по причине дешевой сенсационности большинства ее публикаций, поместила на своих страницах сообщение о некоей глубинной подводной лодке, якобы выпустившей в пучину моря неподалеку от так называемого «рифа Дьявола» серию торпед, в каких-то полутора милях от гавани Иннсмаута.

Сами жители этого города и его округа довольно живо обсуждали меж собой произошедшие события, однако предпочитали не распространяться на этот счет в общении с посторонними лицами. Жизнь научила их крепко держать язык за зубами, а потому не было никакой пользы от попыток силой вытянуть из них дополнительные сведения. Кроме того, они и на самом деле знали весьма мало, да и сама обширная зона пустынных и безлюдных соленых болот, являвшихся доминирующей чертой ландшафта тех мест, практически полностью изолировала их от каких-либо контактов с жителями глубинных районов страны.

Что касается меня, то я все же намерен бросить своеобразный вызов и нарушить заговор молчания относительно упомянутых событий. Я уверен, что результаты моих действий окажутся настолько широкомасштабными, что вызовут буквально состояние шока и жуткого отвращения по поводу всего того, что было обнаружено в Иннсмауте в ходе тех грандиозных полицейских рейдов и облав. Более того, то, что они выявили в ходе своих действий, может иметь далеко неоднозначное объяснение. Я не берусь судить, в какой степени отражает реальное положение вещей даже та информация, которая была сообщена мне лично, и все же имею достаточно оснований отказаться от любых новых попыток докопаться до более глубокой истины. Лично я имел возможность в максимально возможной для любого неспециалиста степени ознакомиться с данным делом, и потому предпочитаю воздержаться от выработки той или иной конкретной позиции, которая может подвигнуть меня на еще более решительные действия.

Дело в том, что это я в состоянии страшной паники бежал из Иннсмаута ранним утром 16 июля 1927 года, и именно мне принадлежит авторство тех испуганных призывов к правительственным органам как можно скорее провести необходимое расследование и предпринять конкретные и срочные меры, которые привлекли внимание к этому делу.

До тех пор, пока это дело было, как говорится, свежим, и являлось объектом официального расследования, я вполне умышленно хранил молчание; однако сейчас, когда оно превратилось в историю, уже не привлекающую к себе пристальных взоров даже самых любопытных людей, я решил уступить своей давнишней жажде поделиться собственными впе-

чатлениями о нескольких страшных часах, проведенных в переполненном нездоровыми слухами, зловещем порту, который с полным основанием можно назвать портом смерти и сатанинского порока. Сам по себе такой рассказ поможет мне обрести веру в себя и в свои возможности, а также убедиться в том, что я был отнюдь не первым человеком, поддавшимся заразе кошмарных галлюцинаций. Кроме того, это поможет мне собраться с силами перед намеченным принятием определенного важного и ужасного шага.

Я никогда не слышал об Иннсмауте — вплоть до того самого дня, когда он в первый и — пока — в последний раз предстал перед моим взором. В те дни я отмечал свое совершеннолетие в туристической поездке по Новой Англии, включавшей в себя посещение достопримечательностей, антикварных магазинов и мест, связанных с различными ветвями нашего генеалогического древа — в частности, из древнего Ньюбэрипорта я планировал отправиться прямо в Эркхам, где сохранились фамильные корни моей матери. Своей машины у меня не было, а потому я путешествовал на поезде и попутных автомашинах, всякий раз стремясь подобрать наиболее дешевый способ передвижения. В Ньюбэрипорте мне посоветовали отправиться в Эркхам как раз на поезде, и именно находясь у касс тамошнего вокзала и терзаясь сомнениями по причине дороговизны билета, я впервые услышал о существовании такого города как Иннсмаут. Коренастый и весьма смекалистый кассир, который, судя по его речи, не был уроженцем тех мест, проникся симпатией к моему желанию проявлять во всем разумную экономию и предложил совершенно неожиданный выход из моего затруднительного положения.

— Вы могли бы воспользоваться автобусом, — проговорил он, правда, с некоторым сомнением в голосе, — хотя он и следует не совсем тем маршрутом, который вам нужен. Автобус проходит через Иннсмаут — возможно, слышали про такой городишко, — и поэтому люди его недолюбливают. Водитель в нем некий Джо Сарджент, ему, похоже, нечасто удается завлечь пассажиров отсюда или из Эркхама. Сам автобус также из Иннсмаута, и удивляюсь, что он вообще до сих пор ходит. Поезд в нем довольно дешевый, хотя мне редко доводилось видеть в салоне больше двух-трех пассажиров, да и те исключительно парни из самого Иннсмаута. Отправляется он с Площади — это рядом с аптекой Хэммонда — два раза в день, ровно в десять утра и в семь вечера, если ничего в последнее время не изменили. С виду, конечно, ужасная колымага, но об удобствах ничего не знаю, поскольку сам я никогда им не пользовался.

Вот тогда-то я впервые и услышал об Иннсмауте. Любые упоминания маленьких городков, не обозначенных на турис-

тских картах или в путеводителях, заслуживали определенного интереса, а та странная манера, в которой кассир делал мне свои намеки, лишь подогрела мое любопытство. Город, способный вызвать у его соседей столь очевидную неприязнь, определенно был в чем-то необычным и явно заслуживал внимания досужего туриста, а коль скоро перед Эркхамом автобус делал там довольно продолжительную остановку, я мог бы задержаться и немного побродить по его улицам. Одним словом, я попросил кассира немного подробнее рассказать мне об этом городе. Откликнувшись на мою просьбу, он говорил, тщательно подбирая слова, и в голосе его, как мне показалось, отчетливо звучали нотки некоторого превосходства.

— Иннсмаут? Ну что ж, это небольшой городишко, расположенный в устье Мэнаксета — это у них река так называется. Перед войной 1812 года был почти настоящим городом-портом, но за последние сто лет, или около того, пришел в явный упадок. Ветку из Роули несколько лет назад закрыли, так что железнодорожного сообщения с ним сейчас нет. Пустых домов, можно сказать, намного больше, чем жителей, а о бизнесе и говорить не приходится — разве что рыбаки да ловцы омаров. За покупками приезжают в основном сюда, в Эркхам или в Ипсвич. Было у них когда-то несколько мельниц, да только теперь все это быльем поросло, разве что осталась одна фабрика по очистке золота, да и та работает нерегулярно. Правда, фабрика эта — солидное дело, и старик Марш, ее хозяин, похоже, будет побогаче самого Креза. Сам он, конечно, старый пень, из дома почти не выходит. Поговаривают, что в свое время он подхватил какую-то кожную болезнь или что-то там себе поранил, вот и старается не показываться на людях. А дело это основал его дед, капитан Обед Марш. Мать нынешнего Марша, кажется, была иностранкой, говорят, уроженкой каких-то островов в южных морях, а потому большой шум поднялся, когда он пятьдесят лет назад взял себе в жены девушку из Ипсвича. Так всегда бывает, когда речь заходит о парнях из Иннсмаута, а здешние парни, да и те, что из соседних городов, вообще стараются помалкивать, если в их жилах течет хоть немного иннсмаутской крови. Хотя, на мой взгляд, дети и внуки Марша вроде бы ничем не отличаются от самых обычных людей. Некоторые даже здесь иногда бывают, хотя самых старших детей, надо вам сказать, я что-то давненько уже не видел. И старика самого тоже никогда не встречал.

А почему все недолюбливают Иннсмаут? Что же вам сказать, молодой человек, я бы просто посоветовал не особенно прислушиваться к тому, что люди вообще здесь говорят. Их трудно бывает раскачать, но если уж они разойдутся, то потом не остановишь. И про Иннсмаут они болтают — в основном

перешептываются — уже лет сто, не меньше, и, как мне представляется, не столько не любят его, сколько побаиваются. Послушаешь некоторые из их рассказов, так просто со смеху помрешь — насчет того, что старый капитан Марш водил дела с самим дьяволом и помогал его бесенятам поселиться в Иннсмауте; потом еще что-то насчет поклонения сатане и тех несчастных, которых приносили ему в жертву где-то неподалеку от причала — говорят, в 1845 году, или что-то около того, люди случайно наткнулись на то место. Да только сам я из Пэнтон — это в штате Вермонт — и такую болтовню никогда не одобрял.

Послушали бы вы, что рассказывают здешние старожилы про черный риф, что расположен неподалеку от наших берегов — они называют его рифом Дьявола или Дьявольским рифом, кто как. Большую часть времени он выступает из воды, а если и скрывается под ней, то не очень глубоко, но все равно его вряд ли можно назвать островом. Так вот, поговаривают, что изредка на этом рифе можно видеть целый выводок, племя этих самых дьяволов — сидят там вразвалку или шастают взад-вперед возле пещер, которые расположены в верхней его части. На вид это довольно неровное, словно изъеденное, место примерно в миле от берега. В старину, говорят, моряки здоровенный крюк делали, только бы не приближаться к нему.

Но это только те моряки, которые сами родом не из Иннсмаута. И на капитана Марша они зуб имеют, вроде бы, потому, что он якобы иногда по ночам во время отлива высаживался на этом рифе. Может, так оно и было, потому как место это довольно любопытное, так что, возможно, он там пиратский клад искал, а может и нашел; но люди поговаривают, что он водил там какие-то дела с дьяволом. Так что, как мне кажется, именно капитан Марш и был причиной того, что за рифом этим установилась такая недобрая слава.

Было это все еще до эпидемии 1846 года, когда больше половины жителей Иннсмаута эвакуировали. Никто тогда толком не понял, в чем там было дело, скорее всего какую-то заморскую болезнь привезли из Китая или еще откуда. А картина вроде бы и в самом деле была страшная — бунты, кажется, были и еще что-то мерзкое, только за пределы города это так и не вышло, — а сам город после этого пришел в ужасное состояние. В общем, уехали оттуда люди, сейчас, пожалуй, человек триста или четыреста осталось, не больше.

Но самое главное во всем этом деле, как мне представляется, просто расовые предрассудки и надо вам сказать, я не осуждаю людей, у которых они имеются. Я и сам терпеть не могу этих иннсмаутских парней, и ни за что на свете не ступлю в их город ногой. Да вы и сами, наверное, слышали — хотя по выговору вы, похоже, с запада, — какие дела имели

наши моряки в портах Африки, Азии и в других южных морях, где-то там еще, и каких чудных людей они иногда с собой оттуда привозили. Слышали, наверное, про одного жителя Салема, который вернулся домой с женой-китайкой, а кроме того поговаривают, что где-то возле Кейп-Кода и до сих пор есть поселение выходцев с Фиджи.

В общем, похоже на то, что есть что-то необычное и в иннсмаутских парнях. Место это всегда было отрезано от остальной территории болотами и речушками, а потому трудно сказать наверняка, что там у них и как. Однако все почти уверены, что капитан Марш, когда плавал на своих трех кораблях в двадцатых и тридцатых годах, привез с собой каких-то аборигенов. Да и сегодня в облике иннсмаутцев чувствуется примесь каких-то странных черт — не знаю даже как это выразить поточнее, только как глянешь на них, так сразу мороз по коже пробирает. Вы и сами заметите это, когда глянете на Сарджента, если, конечно, поедете его автобусом. У некоторых из них такие узкие головы и плоские носы, а глаза сильно нависают, так прямо и кажется, будто они вообще у них никогда не закрываются. Да и с кожей у них что-то не в порядке — грубая она у них какая-то, словно запаршивленная, а шея по бокам сморщенная, словно кто ее помял. И лысеют очень рано, совсем молодыми. Те, кто постарше, вообще уроды, хотя, надо признать, я ни разу не видел среди них ни одного по-настоящему глубокого старика. Не удивлюсь, если узнаю, что они умирают от одного взгляда на себя в зеркало!

И животные их терпеть не могут — раньше, когда еще машины не изобрели, у них такие проблемы с лошадьми были, что не знаешь куда и деться.

Ни здесь, ни в Эркхаме, ни в Ипсвиче с ними никто не хотел иметь дела, да и сами они, когда кто-нибудь приезжал к ним в город или пытался рыбачить в их водах, вели себя замкнуто, нелюдимо. И вот ведь странно — у всех рыбаков повсюду сети, бывало, пустые, а эти в своей гавани прямо обловятся, а если тягаться с ними кто вздумает, то куда там, любого обставят! Сюда они обычно прибывали по железной дороге — кто пешком по шпалам, а кто на поезде, а когда ветку на Роули закрыли, стали пользоваться этим вот автобусом.

Да, есть в Иннсмауте и гостиница, Джилмэн-хауз называется, хотя это так, одно название, да и только. Не советовал бы вам в ней останавливаться. Лучше переночуйте здесь и поезжайте завтра утром десятичасовым автобусом, а вечером сядете там на восьмичасовой автобус до Эркхама. Был у нас один фабричный инспектор, который несколько лет назад останавливался в этом самом Джилмэн-хаузе, так после этого он еще долго выступал со всякими мрачными намеками на-

счет этого места. У них там, похоже, собирается довольно странная компания, потому что он слышал за стеной всякие голоса — и это несмотря на то, что в соседних комнатах никто не жил, — да такие, что у него кожа мурашками покрывалась. Ему тогда показалось, что это была какая-то незнакомая, словно чужая речь, но особенно ему не понравился там один голос, который изредка встревал в разговор. Очень неестественный, странный — чавкающий, как выразился тот инспектор, — а потому он даже не рискнул раздеться и лечь спать. Так и просидел всю ночь, а как только рассвет забрезжил, дал тягу оттуда. По его словам, беседа эта тоже продолжалась чуть ли не до самого утра.

Этому инспектору — Кейси его фамилия — было что порассказать о том, как следили за ним иннсмаутские парни, но он постоянно был начеку. По его словам, фабрика Марша — довольно странное место, и представляет собой старую мельницу, построенную у нижних водосбросов Мэнаксета. То, что он рассказал, целиком совпадало с тем, что я и сам слышал: бухгалтерские книги в полнейшем беспорядке, и вообще, как ему показалось, никто там толком не ведет никаких учетов. Знаете, постоянно ходили всякие слухи насчет того, где этот Марш вообще берет золото, которое потом очищает. Вроде бы и закупок особо больших никогда не делали, а несколько лет назад отправили на кораблях громадную партию слитков.

Поговаривали и о довольно странных драгоценностях, которые моряки и люди с фабрики иногда тайком продавали на сторону, и которые пару раз видели на тамошних женщинах. Кое-кто объяснял все это тем, что старый капитан Обед наторговал золото во время своих заходов в разные заморские порты, поскольку он всегда увозил с собой в плавание целые ящики стеклянных бус и прочих безделушек, которые моряки обычно дарят или обменивают на что-нибудь у туземцев. Другие считали, да и до сих пор считают, что он отыскал на рифе Дьявола старинный пиратский клад. Но тут есть одна странная штука. Старый капитан вот уже шестьдесят лет как Богу душу отдал, а со времен Гражданской войны у них не было ни одного мало-мальски крупного судна, и все же Марши продолжают скупать всякие безделушки — в основном бусы и какую-то резиновую дребедень, так, во всяком случае, говорят. А может, этим иннсмаутцам просто нравится цеплять их себе на шею, а потом разглядывать себя в зеркало — черт их знает, может, они и сами ничем не лучше каннибалов, что живут в южных морях, и гвинейских дикарей.

Та эпидемия, что разразилась в сорок шестом, похоже, вытравила из города всю его лучшую кровь. Во всяком случае, сейчас там живет черт-те знает кто, да и Марш, равно как и

другие богатеи, тоже ничуть не лучше остальных. Как я уже сказал, на сегодня там жителей максимум человек четыреста, и это несмотря на то, что, по слухам, пустых домов у них — хоть пруд пруди. Мне лично представляется, что люди эти — всего лишь «белый мусор», как выражаются у нас на юге, — бесчестные, коварные, любят все тайком делать, втихую. Ловят уйму рыбы и омаров, а потом вывозят товар на грузовниках. Чудно как-то все же получается — кругом рыбы кот наплакал, а они аж сети порой вытащить не могут.

И никто никогда не может толком проследить за перемещением этих людей, или хотя бы разобраться с их численностью — школьные инспектора и счетчики переписи, бывало, с ног сбиваются, а все бестолку. И, скажу вам по правде, заезжие туристы в Иннсмауте не в чести. Я сам лично слышал, что несколько приезжих бизнесменов и правительственных чиновников исчезли там совершенно бесследно, а еще один вообще рассудка лишился — он сейчас в больнице в Дэнвере. Наверное, так его эти черти напугали.

В общем, будь я на вашем месте, ни за что не отправился бы туда на ночь глядя. Сам я там ни разу в жизни не был, и никакого желания не имею ехать к ним в гости. Впрочем, думаю, днем вам там будет довольно безопасно, хотя здешние жители стали бы вас и от такой поездки отговаривать. Но, раз уж вы такой любитель всяких достопримечательностей и прочей старины, то Иннсмаут — это как раз то, что вам нужно.

После разговора с кассиром я часть вечера провел в публичной библиотеке Ньюбэрипорта, пытаюсь отыскать дополнительную информацию об Иннсмауте. Попытавшись расспрашивать местных жителей в магазинах, закусочных, гаражах и на бензозаправочных станциях, я обнаружил, что на все мои расспросы они реагируют еще более странно, чем даже предсказывал кассир, а потому решил не тратить время на попытки преодолеть их инстинктивную скрытность. Была в их поведении какая-то мрачная подозрительность, как-будто они чувствовали что-то дурное в каждом, кто проявлял повышенный интерес ко всему, что имело отношение к Иннсмауту. Заглянув в местное отделение «Христианского союза молодежи», я поговорил с клерком, который и вовсе стал отговаривать меня от поездки в это мрачное, гнетущее место; да и люди в библиотеке высказывали, в общем-то, такое же мнение. Одним словом, в глазах достаточно образованных людей Иннсмаут представлял неким оплотом общественного упадка и загнивания.

Библиотечные исторические справочники по интересовавшему меня региону также оказались весьма малоинформативными, если не считать скудных сведений о том, что город был основан в 1643 году, до Революции был известен

как оживленный порт. В начале девятнадцатого века там располагалась крупная военно-морская база, а впоследствии в нем сохранилась лишь небольшая фабрика, работавшая на энергии Мэнаксета. Эпидемия и народные волнения 1846 года освещались весьма слабо, словно эта страница ложилась позорным пятном на всю историю округа.

Столь же скудной была информация о том упадке, в который пришла жизнь города в дальнейшем, хотя в целом данное обстоятельство не подвергалось сомнению. После Гражданской войны вся промышленная активность ограничивалась лишь деятельностью золотоочистной компании Марша, а торговля золотыми слитками являлась единственным сколь-нибудь значительным дополнением к традиционно распространенному в этих местах рыболовству. Крупные рыболовецкие компании со временем стали составлять им все большую конкуренцию, систематически снижая цену на свою продукцию, однако в самой рыбе в районе Иннсмаутской гавани недостатка никогда не ощущалось. Иностранные суда редко занимались промыслом в тех местах, хотя и были кое-какие косвенные и тщательно маскируемые признаки того, что поляки и португальцы пытались, было, забрасывать свои сети, однако были изгнаны самым решительным образом.

Наиболее интересными оказались упоминания о драгоценных украшениях, смутно ассоциируемых с Иннсмаутом. Тема эта весьма заинтересовала местную общественность, поскольку на этот счет даже высказывались эксперты Мискатонского университета в Эрххаме, а некоторые из образцов экспонировались в демонстрационном зале Исторического общества в Ньюбэрипорте. Фрагментарные описания этих изделий не изобиловали особыми подробностями и оказались в общем-то весьма прозаичными, однако за ними явно просматривался скрытый намек на некие странные обстоятельства. Было во всех этих описаниях нечто настолько странное и даже соблазнительное, что я никак не мог выбросить эту информацию из головы и, несмотря на довольно поздний час, решил осмотреть местный образец — как мне сказали, это было крупное изделие необычной формы, служившее чем-то вроде тиары, — если, конечно, это окажется возможным.

Библиотекарь написал короткую рекомендательную записку руководителю Общества, мисс Анне Тилтон, которая жила неподалеку от них, и после короткой беседы эта престарелая дама была настолько любезна, что лично проводила меня в отдельно стоящее здание, поскольку время еще было не позднее и позволяло совершить подобный осмотр. Коллекция и в самом деле произвела на меня сильное впечатление, однако я был одержим лишь одной мыслью — поближе рассмотреть причуд-

ливый экспонат, поблескивавший в лучах электрического освещения в угловом стенном шкафу помещения.

Не надо было обладать повышенной восприимчивостью к красоте, чтобы невольно затаить дыхание при виде плода странной, чуждой и пышной фантазии, покоившегося на пурпурной бархатной подушке. Даже сейчас я лишь с большим трудом могу описать, что именно увидел, хотя это, несомненно, была некая разновидность тиары, как о том гласила пояснительная табличка. Высокая опереди, она имела широкое и причудливо изогнутое по бокам обрамление, как если бы предназначалась для головы, имеющей непривычное, даже нелепое эллиптическое очертание. Сделана она была в основном из золота, хотя примесь какого-то загадочного и более светлого вещества смутно намекала на то, что на самом деле это был довольно необычный сплав золота с каким-то столь же прекрасным, но совершенно неведомым мне металлом. Она находилась в прекрасном состоянии и можно было часами любоваться ее поразительными, загадочными и совершенно нетрадиционными контурами — некоторые из них были строго геометрическими, а в отдельных явно прослеживались мотивы морской тематики, выгравированные или отлитые по основному фону с неподдельным мастерством и талантом подлинного художника.

Чем дольше я смотрел на это изделие, тем больше оно завораживало меня; но было в этом великолепии что-то такое, что вызывало смутное беспокойство, хотя я и не взялся бы более конкретно описать охватившее меня в те мгновения состояние. Поначалу я подумал, что именно странная, явно неземная кратота украшения оказала на меня столь разительное и тревожное впечатление. Все остальные предметы искусства, которые мне когда-либо доводилось видеть, имели отношение ко вполне конкретному расовому или национальному стилю, либо же, следуя некоторым модернистским традициям, начисто отвергали любой намек на какой-то конкретный стиль. Эта же тиара была чем-то совершенно иным и не принадлежала ни к одному, ни к другому направлению. Изготовлена она была посредством филигранно отточенной техники, причем не имевшей никакого отношения к западной или восточной, старинной или современной культурам, и совершенно не походила на все то, что мне доводилось видеть среди музейных экспонатов прежде. Создавалось впечатление, что существо, ее создавшее, происходило и вовсе с совершенно другой планеты.

Тем не менее, вскоре я обнаружил, что моя тревога имела под собой второе, не менее сильное основание, суть которого сводилась к характеру как строгих геометрических, так и сугубо изобразительных символов, которыми была украшена

поверхность тиары. Узоры эти наводили на мысль об отдаленных тайнах и невообразимых безднах космоса и монотонной морской пучины, и в своем хитросплетении производили почти зловещее впечатление. Были среди изображений некие зловещие чудовища — с виду наполовину рыбы, наполовину земноводные, — поражавшие воображение своей отвратительной гротескностью и неукротимой яростью, и поневоле возбуждавшие завораживающие и тревожные псевдовоспоминания, как если бы они вызывали образы, порожденные в глубинах клеток и тканей, где еще сохранились функции самого что ни на есть древнего и первобытного свойства. Иногда мне даже казалось, что каждая черточка этих отвратительных полурыб-полулягушек наполнена концентрированной смесью неведомого и нечеловеческого зла.

По странному контрасту с внешним видом тиары история ее появления в музее, прозвучавшая из уст мисс Тилтон, показалась мне весьма короткой и даже прозаической. В 1873 году ее оставил в ломбарде на Стэйт-стрит в качестве залога за какую-то ничтожную сумму денег пьяный иннсмаутский матрос, впоследствии убитый в уличной драке. В музей Общества она попала непосредственно из рук владельца ломбарда, после чего заняла в экспозиции место, подобающее ее пышному великолепию. С тех пор было принято считать, что она имеет какое-то восточно-индийское или индо-китайское происхождение, хотя подобные оценки, разумеется, носили самый приблизительный характер.

Сама мисс Тилтон провела скрупулезное сравнение всевозможных версий относительно происхождения тиары и ее появления в Новой Англии, и была склонна считать, что это украшение является составной частью древнего пиратскогоклада, в свое время обнаруженного капитаном Обедом Маршем. Подобная точка зрения нашла свое серьезное подкрепление и в том, что сразу после того, как украшение было выставлено для всеобщего обозрения, со стороны семейства Маршей стали поступать предложения продать им тиару, причем за очень крупную сумму; следовало признать, что они и поныне продолжают выступать с аналогичными идеями, однако Общество уже неоднократно заявляло им, что не продаст тиару ни при каких условиях.

Провожая меня к входной двери, добрая дама прямо сказала, что особой популярностью «пиратская» теория происхождения состояния Марша пользовалась именно в кругах местной интеллигенции. Ее собственное отношение к мрачному Иннсмауту — в котором она, кстати сказать, не бывала ни разу в жизни — заключается в полнейшем презрении, как к опустившейся и растратившей всякое человеческое достоинство человеческой

общности. При этом она заметила, что слухи насчет поклонения его жителей культу дьявола отчасти имеют под собой реальное основание, поскольку там и поныне якобы существует некая культовая группа, со временем набравшая силу и даже подчинившая себе все местные ортодоксальные церкви.

Называется эта группа, как сказала женщина, «Тайный орден Дэгона», и в эти края, несомненно, проникла откуда-то с востока, когда рыбный промысел иннсмаутцев грозил вот-вот прекратить свое существование. Столь необычайную живучесть подобной секты сама она склонна объяснять вполне естественными причинами, а именно тем, что вскоре после ее создания рыбаки вновь стали возвращаться с ловли с большими уловами. Одним словом, довольно скоро она приобрела доминирующее влияние во всем городе, вытеснив все прежние религиозные общины и избрав в качестве своей резиденции старое здание Масонского зала на Нью-Черч Грин.

Всего этого оказалось вполне достаточно для набожной мисс Тилтон, чтобы она на пушечный выстрел не приближалась к древнему городу, ставшему цитаделью упадка и разорения, тогда как для меня последнее обстоятельство стало дополнительным стимулом для крепнувшего желания как можно скорее его посетить. К моим прежним интересам сугубо архитектурного и исторического профиля сейчас прибавилась также известная толика антропологического пыла, а потому я стал с нетерпением поджидать, когда истекнут часы, отведенные на ночной отдых, чтобы как можно скорее отправиться в путешествие в этот загадочный город.

II

Незадолго перед тем, как часы пробили десять раз, я уже стоял перед зданием аптеки Хэммонда на старой рыночной площади в ожидании иннсмаутского автобуса. По мере приближения назначенного часа я заметил, что место, где я находился, все более превращалось в некий изолированный островок, тогда как массы людей, спешивших по делам в самых различных направлениях, определенно стремились оказаться подальше от него. Таким образом, я воочию убедился в справедливости слов железнодорожного кассира относительно неприязни горожан как к самому Иннсмауту, так и ко всему, что было с ним связано, даже к его автобусу. Через несколько минут я заметил появившийся из-за угла небольшой и невероятно старый драндулет отвратительного грязно-серого цвета, который прогрохотал по Стэйт-стрит, сделал

разворот и подкатил к тротуару, на котором я стоял. Я сразу же понял, что это именно то транспортное средство, которого я ожидал, причем моя догадка вскоре нашла свое подтверждение в едва читаемой вывеске над лобовым стеклом автобуса: «Эрххам — Иннсмаут — Ньюбэрипорт».

В салоне сидело всего три пассажира — двое смуглых, довольно угрюмых мужчин и парень, — и когда автобус остановился, они неуклюже выбрались из него и молча, как-то даже крадучись, направились вверх по Стэйт-стрит. Водитель тоже вышел из своей кабины и я проводил его взглядом, пока он переходил дорогу в направлении аптеки, где, очевидно, намеревался сделать какие-то покупки. Это, как я понял, и был Джо Сарджент, о котором рассказывал мне кассир; однако не успел я еще как следует рассмотреть черты его лица, как меня внезапно охватило, словно волной захлестнуло, чувство смутной неприязни и даже брезгливости, которую я не мог ни понять, ни объяснить. Мне почему-то показалось вполне естественным, что местные жители избегают ездить на автобусе, которым управляет подобный человек, и вообще стараются свести к минимуму любые контакты как с ним самим, так и с его земляками.

Когда водитель вышел из аптеки, я пристальнее пригляделся к нему, пытаясь уяснить для себя причину внезапно нахлынувшего чувства. Это был худой мужчина ростом где-то под метр восемьдесят, с покатыми плечами, одетый в потрепанное гражданское платье синего цвета и потертую кепку для гольфа. На вид ему было, пожалуй, лет тридцать пять, хотя странные глубокие складки по бокам шеи сильно старили этого человека, особенно если не присматриваться к его туповатому, невыразительному лицу. У него была узкая голова, выпученные водянисто-голубоватые глаза, которые, как мне показалось, никогда не моргали, плоский нос, скошенные лоб и подбородок и странно недоразвитые уши. Его подбородок и толстая верхняя губа, равно как и покрытые крупными порами сероватые щеки, были практически лишены какой-либо растительности, если не считать редких желтоватых волосков, которые где курчавились, а где лежали прилизанными, слипшись в неровные и нерегулярные прядки, тогда как сама кожа была какой-то шершавой и шелушащейся, словно от неведомой мне хронической болезни. Руки у него были крупные, покрытые толстыми венами, и также очень неестественного серовато-голубоватого оттенка. На фоне довольно массивных кистей пальцы смотрелись нелепо короткими и, казалось, были постоянно подогнуты, даже вжаты в толщу ладоней. Пока он возвращался к автобусу, я обратил внимание и на его неуклюжую, покачивающуюся походку, а также на то, что ступни были просто гигантского размера. Чем дольше я смотрел на них, тем сильнее

меня охватывало недоумение: как же он умудряется находить себе обувь нужного размера.

Ко всему прочему у него был какой-то неряшливо-засаленный вид, что лишь усиливало мое отвращение к его внешнему виду. По всей видимости, он работал или жил где-то поблизости от рыболовецких доков, поскольку за ним тянулся шлейф резкого, характерного рыбьего запаха. И все же, если в его жилах и текла какая-то чужеродная кровь, то я даже не решался предположить, какой именно расе она могла принадлежать. Все странности и нелепости его внешности были определенно не азиатского, полинезийского или негроидного происхождения, и все же я теперь во многом понимал людей, считавших его чужаком, хотя самому мне показалось, что речь здесь может идти не столько о чужеземном облике, сколько о биологическом вырождении.

Обнаружив, что кроме меня других пассажиров на этот рейс явно не предвиделось, я испытал явную досаду, поскольку мне по какой-то непонятной причине отнюдь не улыбалась перспектива совершить поездку наедине с таким водителем. Однако, когда настало положенное время, я был вынужден укротить свои привередливые сомнения и проследовал за водителем в салон, сунув ему при входе долларовую бумажку и пробормотав одно-единственное слово: «Иннсмаут». Он протянул мне сдачу в сорок центов и на мгновение окинул меня довольно любопытным взглядом, хотя при этом и не вымолвил ни слова. Я выбрал себе местечко подальше от кабины, но с той же стороны, где сидел и он — уж очень хотелось во время поездки полюбоваться панорамой береговой линии.

Наконец ветхий транспорт резко чихнул и, окутываемый облаками выхлопных газов, шумно загрохотал по мостовой мимо старых кирпичных зданий, выстроившихся вдоль Стэйт-стрит. Я поглядывал на проходящих за окном людей и мне почему-то показалось, что все они избегают смотреть в сторону проезжающего мимо них автобуса, или, точнее, стараются делать вид, что не смотрят на него. Вскоре мы свернули налево на Хай-стрит, где дорога оказалась более ровной и гладкой. Путь наш пролегал мимо величавых старинных особняков раннего республиканского периода, и еще более старых колониальных фермерских домов, затем мы миновали Лоувер-Грин и Паркер-ривер, пока наконец не выехали на длинную и монотонную дорогу, тянувшуюся вдоль открытого всем ветрам побережья.

День выдался довольно теплый и солнечный, однако песчаный, кое-где поросший осокой и приземистым кустарником ландшафт становился с каждым километром пути все более пустынным. Из своего окна я видел синие воды и песчаную

линию Сливового острова — к тому времени мы почти вплотную приблизились к берегу, оказавшись на узкой проселочной дороге, которая ответвлялась от основного шоссе, связывавшего Роули с Ипсвичем. Я не замечал никаких построек, а по состоянию дорог предположил, что движение в этой части местности особой оживленностью не отличалось. На невысоких, изъеденных ветрами и непогодой телеграфных столбах было натянато всего два провода. Временами мы проезжали по грубо сколоченным деревянным мостам, перекинутым через образованные приливом протоки, обширная сеть которых простиралась далеко вглубь и делала этот район еще более изолированным и уединенным.

Однажды я заметил давно истлевшие пни и почти полностью разрушенные остатки каменного фундамента, чуть выступавшего над зыбучими песками — это напомнило мне страницы какой-то книги об истории этой местности, в которой говорилось, что некогда это был благодатный и плотно заселенный людьми район. Все изменилось, как в ней говорилось, почти внезапно — сразу после эпидемии 1846 года, — и, если верить старинным преданиям, имело какую-то связь со скрытыми дьявольскими силами. На самом же деле, как я полагал, все объяснялось лишь неразумной вырубкой леса вдоль береговой линии, что лишило местность ее естественной защиты и открыло путь для нашествия подгоняемых ветрами песков.

Вскоре Сливовый остров окончательно исчез из виду и мы увидели раскинувшийся слева от нас безбрежный простор Атлантического океана. Наша узкая дорога стала круто забираться вверх, и я испытал странное чувство беспокойства, глядя на маячивший впереди одинокий горный хребет, где изрытая колеями лента дороги, казалось, смыкалась с голубым небом. Складывалось такое впечатление, будто автобус намеревался продолжать свое бесконечное восхождение, оставляя позади себя населенную людьми землю и стремясь сомкнуться с неизведанной тайной верхних слоев воздуха и сводчатого небосклона. Запах моря приобрел зловещий скрытый смысл, а молчаливо наклонившаяся, напряженная спина и узкая голова водителя стали казаться мне особенно ненавидимыми. Взглянув на него, я заметил, что задняя часть его черепа, как и щеки, почти лишена волосяного покрытия, и лишь клочки желтоватой растительности, покрывают сероватую, шелушащуюся поверхность его затылка.

Наконец мы достигли вершины холма и я смог окинуть взглядом раскинувшуюся внизу обширную долину, где Мэнаксет сливался с притоками и устремлялся к северу вдоль вытянутой вереницы скалистых гор, а затем поворачивал к мысу Анны. В дымке просматривавшегося вдалеке горизонта

я смог различить расплывчатые очертания одиноко стоявшей горы — это был Кингспорт-хэд, увенчанный старинной и древней постройкой, о которой было сложено так много легенд. Однако уже через мгновение все мое внимание было привлечено более близкой панорамой, раскинувшейся прямо под нами. Это был тот самый окутанный мрачными тенями подозрения и всеобщей неприязни Иннсмаут.

Я увидел простиравшийся впереди и внизу довольно крупный город, заполненный компактными постройками, однако в нем определенно ощущался непривычный дефицит зримой, осязаемой жизни. Над хитросплетением черных дымоходов не курился ни единый дымок, а три высокие некрашенные колдобкольные холодно маячили на фоне омываемого морем горизонта. Вершина одной из них порядком разрушилась, а несколько ниже в ней и в еще одной — в ее соседке — чернели круглые отверстия, оставшиеся от некогда располагавшихся в них башенных часов. Необъятная для взора масса провисающих двускатных крыш и заостренных фронтонов домов с пронзительной ясностью свидетельствовали о явном и далеко зашедшем упадке, а по мере того как мы продвигались по пустынной дороге, я мог со все большей отчетливостью видеть, что во многих крышах зияют черные провалы, а некоторые обвалились целиком. Были там и большие, квадратные дома, выстроенные в георгианском стиле, с унылыми куполообразными крышами. Располагались они преимущественно вдали от кромки воды и, возможно, именно поэтому пара из них имела относительно крепкий вид. В сторону материка тянулась проржавевшая, поросшая травой железнодорожная ветка, обрамленная покосившимися телеграфными столбами — на сей раз без проводов, — и едва различимые полосы старых проселочных дорог, соединявших город с Роули и Ипсвичем.

Самые явные признаки упадка отмечались вблизи от береговой линии, хотя в самой ее середине я смог различить белую башню довольно неплохо сохранившегося кирпичного строения, отдаленно напоминавшего какую-то небольшую фабрику. Длинная кромка гавани была обильно засорена песком и огорожена старинного вида каменными волноломами, на которых я начал смутно различать крохотные фигурки сидящих рыбаков; у самого дальнего края ее виднелось то, что походило на остатки фундамента некогда стоявшего там маяка. Песчаный язык как бы образовывал внутреннюю поверхность береговой линии гавани, и я увидел стоявшие на нем ветхие хибарки, застывшие в непосредственной близости от полосы суши рыбацкие плоскодонки со спущенными в воду якорями, и беспорядочно разбросанные по берегу рыбацкие корзины для рыбы и омаров. Единственное глубокое

место, как мне показалось, находилось там, где русло реки, протекавшей за башенной постройкой, поворачивало на юг и соединялось с океаном у дальнего края волнолома.

То там, то здесь виднелись остатки полуразрушенных причалов, чуть нависавших над водой своими исковерканными, напроочь сгнившими краями, причем те из них, которые уходили дальше на юг, казались наиболее истлевшими и заплесневелыми. А дальше, уже в океанском просторе, я смог различить — даже несмотря на высокий прилив — длинную черную полосу едва выступавшей над водой суши, которая, несмотря на всю свою неопределенность и размытость, почему-то показалась мне довольно зловещей. Насколько я мог судить, это и был риф Дьявола. Глядя на него, я ощутил странное и почти неуловимое влечение к этому месту, которое, видимо, было призвано лишь усилить уже успевшее сформироваться у меня под воздействием услышанного мрачное отращение к этому месту. Следовало признать, что этот едва различимый отголосок нового чувства показался мне даже более тревожным, чем первоначальное впечатление от города.

Проезжая мимо старых, опустевших фермерских домов, каждый из которых отличался от соседних лишь степенью своего разрушения, мы не встретили ни единой живой души. Вскоре, однако, я заметил несколько заселенных жилых построек — в окнах некоторых из них вместо разбитых стекол виднелись драные половики, а в захламленных дворах повсюду валялись ракушки и тела дохлых рыб. Пару раз мне на глаза попадались фигуры апатичных на вид людей, копавшихся в неряшливых огородах или собиравших на пропахшем рыбой пляже каких-то моллюсков, да группки грязных ребятшек с обезьяноподобными лицами, которые играли подле заросших бурьяном крылец своих домов. Вид этих людей показался мне даже более гнетущим, чем самые унылые городские постройки, поскольку в лицах и движениях почти всех их отмечались характерные признаки, которые вызывали у меня инстинктивную неприязнь и даже отвращение, хотя я и не мог толком разобраться в природе этого чувства. На какое-то мгновение мне показалось, что эти специфические особенности внешности напоминали мне некую картинку, которую я, возможно, видел уже когда-то, испытывая при этом приступ отчаянной меланхолии и ужаса, однако довольно скоро подобные псевдовоспоминания улетучились из моего сознания.

Как только автобус спустился в город, до меня стал доноситься отчетливый и стабильный звук падающей воды, прорывавшийся на фоне неестественного спокойствия и тишины. Покосившиеся, некрашенные дома стояли здесь более плотной чередой, окаймляя дорогу с обеих сторон и своим видом

все же в большей степени, нежели все то, что мы видели до сих пор, походя именно на городские постройки. Передо мной открылась типичная уличная панорама, и кое-где я мог различить те места, где некогда пролегали вымощенные булыжником и окаймленные кирпичными бордюрами тротуары. Все эти дома, как мне показалось, были совершенно необитаемы, а в ряде мест между ними зияли громадные проемы, и лишь по остаткам полуразвалившихся дымоходов и стен подвалов можно было предположить, что некогда там также стояли дома. И над всем этим зависал всепроникающий, удушающий рыбный запах, тошнотворнее и противнее которого мне еще не приходилось встречать ни разу в жизни.

Вскоре начали появляться первые развилки и перекрестки: ответвлявшиеся налево вели в сторону моря — к царству немощных, грязных улиц и окончательно развалившихся домов; правые же уводили туда, где еще чувствовалось присутствие бывшего городского великолепия. Я по-прежнему не встречал на улицах местных жителей, хотя кое-где уже попадались признаки явной заселенности: то там, то здесь мелькали занавески на окнах, попадалась редкая машина, припаркованная у края тротуара. Сами тротуары здесь пребывали в заметно более благополучном состоянии, и хотя большинство домов представляли из себя весьма старые строения — деревянные и кирпичные конструкции начала девятнадцатого века, — они все же производили впечатление по-настоящему жилых зданий. Во мне неожиданно вспыхнул огонь истинного любителя антиквариата, и потому вскоре я, со все возрастающим интересом всматриваясь в богатое убранство этого старинного, но пришедшего в полный упадок города, почти позабыл и про отвратительную вонь, и про свое отвращение к этому зловещему месту.

Однако прежде, чем достичь пункта своего назначения, я все же был вынужден испытать еще одно ощущение самого что ни на есть неприятного и даже мучительного свойства. Автобус въехал на некое подобие городской площади, на противоположных краях которой стояло по церкви, а в самом центре располагались забрызганные грязью остатки того, что в прошлом, очевидно, должно было быть клумбой. Повернув голову направо в сторону находившегося недалеко перекрестка, я увидел массивное и громоздкое здание с колоннами. Его некогда белая штукатурка к настоящему времени обрела землисто-серый цвет и порядком облупилась, а висевшая на фронте вывеска, исполненная золотым по черному, казалась настолько полинявшей и выгоревшей, что я лишь с очень большим трудом разобрал начертанные на ней слова: «Тайный орден Дэгона». Так вот, значит, где в прошлом располагалась масонская ложа, а ныне обосновала свое логово секта

поклонников языческих культов! Пока я вчитывался в полустершиеся буквы надписи, мое внимание внезапно было отвлечено хрипловатым звоном явно треснувшего колокола, висевшего на противоположной стороне улицы, и я сразу же повернул голову и выглянул в окно со своей стороны автобуса.

Звук исходил от довольно приземистой каменной церкви, внешний вид которой явно указывал на то, что построена она была намного позже окружавших ее домов, причем создатели ее определенно решили предпринять неуклюжую попытку подражать традициям готики и потому соорудили непропорционально высокий первый этаж с забранными ставнями окнами. Хотя стрелки на часах с той стороны здания, которая предстала моему взору, отсутствовали, я понял, что эти грубоватые, хриплые удары означали одиннадцать часов. Сразу вслед за этим из моего сознания улетучились все мысли о времени, поскольку на их место бурным потоком хлынули ярко очерченные образы, преисполненные непередаваемого ужаса, причем произошло это еще даже до того, как я успел понять, что именно произошло. Дверь в церковь была распахнута, обнажая зиявший за ней прямоугольник угольного мрака, и пространство этого прямоугольника пересек, или мне это лишь показалось? — какой-то субъект. Сознание мое опалила вспышка мгновенно пережитого кошмара, который показался мне еще более ужасным именно потому, что при ближайшем и рациональном осмыслении его, в нем, вроде бы, не было ничего кошмарного.

Это был явно живой человек, первый — если не считать водителя автобуса, — которого мне довелось увидеть после того, как мы въехали в собственно город, и будь я в более спокойном состоянии, мне, возможно, и не показалось бы во всем этом ничего странного и, тем более, пугающего. Спустя несколько мгновений я уяснил себе, что это был ни кто иной как пастор, облаченный в довольно необычное одеяние, очевидно, изобретенное после того как «Орден Дэгона» видоизменил ритуалы местных церквей. Предмет, который поначалу привлек мое внимание и привел в состояние невероятного душевного трепета, представлял собой тиару, являвшую почти точную копию того экспоната, который накануне вечером показывала мне мисс Тилтон. Следуя прихоти моего воображения, этот предмет придавал неясным очертаниям лица, и всему неуклюже выдшагивавшему обладателю его в некоем подобии рясы, выражение зловещего, невыразимого гротеска. Вскоре я решил, что в данном случае не может идти никакой речи о каком-то вмешательстве пугающих псевдовоспоминаний. Так уж ли странно было то, что некий местный таинственный культ избрал в качестве одного из своих атрибутов и

символов столь уникальный головной убор, являвшийся близким и понятным для всех его последователей хотя бы по той простой причине, что был составной частью обнаруженного здешними жителями клада ?

Вскоре на тротуарах по обеим сторонам площади появились тощие фигуры молодежого и довольно отталкивающего вида мужчин, которые шли как по-одиночке, так и группами по двое-трое. На нижних этажах некоторых из полуразвалившихся домов кое-где располагались маленькие магазинчики с выцветшими, едва читаемыми вывесками, а кроме того из окон автобуса я разглядел пару припаркованных к тротуару грузовиков. С каждой минутой шум падающей воды становился все отчетливее и громче, пока я наконец не увидел сооруженную прямо по ходу нашего движения довольно глубокую запруду, через которую был перекинут широкий мост с металлическими перилами, упиравшийся противоположным своим концом в просторную площадь. Проезжая по мосту, я вертел головой, стараясь запечатлеть картину по обе стороны от запруды, и увидел несколько фабричных построек, расположившихся на самом краю поросшего травой, а кое-где и осыпавшегося обрыва. Далеко внизу бушевало море воды, извергаемое по меньшей мере тремя грандиозными потоками водосброса. В этом месте шум стоял просто оглушающий. Перебравшись на противоположную сторону реки, мы въехали на полукруглую площадь и остановились у стоявшего по правую руку от нас высокого, увенчанного куполом здания с остатками желтоватой краски на фасаде и потертой вывеской, возвещавшей о том, что это и есть Джилмэн-хауз.

Я с немалым облегчением вышел из автобуса и сразу же понес свой чемодан к стойке портье, размещавшейся в глубине изрядно потрепанного вестибюля гостиницы. На глаза мне попался всего лишь один-единственный человек — это был довольно пожилой мужчина, лишенный признаков того, что я уже начал про себя называть «иннсмаутской внешностью», — но я решил не расспрашивать его пока ни о чем из того, что так волновало и тревожило меня все это время, поскольку, как подсказывала мне моя память, именно в этой гостинице, по слухам, не раз происходили весьма странные вещи. Вместо этого я вышел на площадь и внимательным, оценивающим взглядом окинул открывшуюся передо мной панораму.

С одной стороны вымощенного булыжником пространства тянулась полоска реки; другая была заполнена вереницей стоявших полукругом кирпичных домов с покосившимися крышами, относившихся примерно к периоду 1800 года. От площади отходило несколько улиц, тянувшихся на юго-вос-

ток, юг и юго-запад. Лампы на фонарях были маленькие и явно маломощные, однако я не стал предаваться унынию, вспомнив, что намерен покинуть этот город еще до наступления темноты, хотя луна, по-видимому, обещала быть довольно яркой. Все здания здесь пребывали в довольно сносном состоянии, причем примерно в дюжине из них размещались работавшие в данный час магазинчики: в одном располагалась бакалейная лавка, в других — унылого вида крохотный ресторан, аптека, небольшая база оптовой торговли рыбой, рядом еще одна, а в самом дальнем, восточном углу площади, у реки, размещался оффис единственного в городе промышленного предприятия — золотоочистной компании Марша. Я заметил примерно с десяток людей и четыре или пять легковых автомобилей и грузовиков, беспорядочно разбросанных по всей площади. Без лишних слов было ясно, что именно здесь находится центр деловой активности и социальной жизни Иннсмаута. Где-то вдали в восточном направлении просматривалось водное пространство гавани, на фоне которой возвышались останки некогда величественных и прекрасных георгианских колоколен. Взглянув в сторону противоположного берега реки, я увидел белую башню, венчавшую то, что, как мне показалось, и было фабрикой Марша.

По какой-то причине я решил начать свое знакомство с городом именно с бакалейной лавки, владельцы которой, как мне показалось, не были коренными жителями Иннсмаута. В ней я застал одного паренька лет семнадцати и с удовлетворением обнаружил, что он отличается достаточной смекалкой и приветливостью, что сулило мне получение самой необходимой информации, как говорится, из первых рук. Как я вскоре обнаружил, он и сам был очень расположен к тому, чтобы поговорить, и потому я достаточно быстро выяснил, что ему осточертел и этот постоянный рыбный запах, и все эти замкнутые, угрюмые жители города. Разговор с любым приезжим был для него сущим удовольствием. Сам он был родом из Эркхама, а здесь жил с одной семьей, прибывшей из Ипсвича, но при первой же возможности был готов уехать отсюда куда глаза глядят. Его родным очень не нравилось то, что он работает в Иннсмауте, однако руководство компании, которой принадлежит этот магазин, решило направить его именно сюда, а ему никак не хотелось терять эту работу.

По его словам, в Иннсмауте нет ни публичной библиотеки, ни торговой палаты, а мне он порекомендовал просто походить по городу и самому все осмотреть. Улица, по которой я приехал на эту площадь, называлась Федерал-стрит; к западу от нее располагались старинные обители первых жителей города — Брод-, Вашингтон-, Лафайет- и Адамс-стрит, — тогда

как к востоку, в сторону побережья, начинались сплошные трущобы. Именно в этих трущобах — на Мэйн-стрит — я наткнулся на старые георгианские церкви, но все они были уже давно покинуты прихожанами. По его словам, находясь в этих кварталах, лучше не привлекать к себе внимания, особенно к северу от реки, поскольку люди там довольно угрюмые и даже злобные. Кстати, несколько заезжих путешественников исчезли именно в том районе.

Определенные зоны города считались чуть ли не запретной территорией. В частности, не рекомендовалось подолгу прохаживаться поблизости от фабрики Марша, возле действующих церквей или около того самого здания с колоннами на Нью-Черч Грин, где расположен сам «Орден Дэгона». Церкви это довольно необычные, поскольку не поддерживают абсолютно никаких контактов с другими аналогичными религиозными учреждениями страны и в своей деятельности используют самые что ни на есть причудливые и странные церемонии и одеяния. Вера их определенно построена на ереси и таинственных обрядах, якобы способных обеспечить чудодейственную трансформацию, ведущую к своего рода телесному бессмертию на этой земле. Духовный наставник молодого бакалейщика — доктор Уоллес из методистской церкви в Эшбери — настоятельно рекомендовал ему не посещать ни одну из подобных церквей в Иннсмауте.

Что же до местных жителей, то он и сам толком ничего о них не знает. Они очень скрытные и нелюдимые, вроде зверей, что живут в берлогах, и едва ли кто-нибудь знает что-то конкретное о том, как они проводят время, когда не заняты своей беспорядочно организованной рыбалкой. Если судить по тому, какое количество спиртного они употребляют, то можно предположить, что они чуть ли не день-деньской лежат в повалку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, они поддерживают между собой отношения своеобразного темного братства и взаимопонимания, причем объединяет их именно презрение и ненависть к окружающему миру, как если бы сами они принадлежали к какой-то иной и явно более предпочтительной для них сфере жизни. Внешность их, особенно эти выпученные глаза, которые еще никому не доводилось видеть хотя бы единожды моргнувшими, сама по себе достаточно отталкивающая, а голоса и тем более омерзительны. Страх забирает, когда слышишь их пение в церквях по ночам, и особенно во время их главных праздников или чего-то вроде торжественных соборий, которые устраиваются дважды в год — 30 апреля и 31 октября.

При всем при этом они обожают воду и любят купаться как в реке, так и в гавани. Особой популярностью пользуется

плавание наперегонки до рифа Дьявола, причем, похоже, буквально каждый из них готов и способен принять участие в таких весьма непростых состязаниях. Когда речь заходит об этих людях, то имеются в виду относительно молодые их представители; что же до стариков, то на тех якобы и вовсе страшно смотреть. Иногда, правда, бывают и среди них исключения, и тогда в их внешности нет абсолютно никаких отличий по сравнению с обычными людьми, как, например, у того портье в гостинице. Многие задаются вопросом, что происходит с этими самыми стариками, и вообще не является ли «иннсмаутская внешность» неким своеобразным признаком какого-то заболевания, которое с возрастом захватывает человека все больше.

Разумеется, лишь очень редкий недуг способен вызвать с достижением зрелости столь обширные и глубокие изменения в самой структуре человеческого тела, включая деформацию костей черепа. Однако, даже видя столь необычные последствия таинственного заболевания, совершенно невозможно судить о том, какие последствия оно влечет для человеческого организма в целом. При этом молодой продавец прямо заявил, что составить более или менее целостное представление по этому поводу крайне сложно, поскольку никому еще не удавалось — вне зависимости от того, сколько времени он прожил в Иннсмауте — установить личные отношения с кем-либо из местных жителей.

По его глубокому убеждению, многие из них внешне еще более ужасны, чем даже самые страшные из тех, кто хотя бы изредка, но все же появляется на людях — их вообще держат взаперти в особых помещениях. Иногда до людей доносятся поистине необычные, жуткие звуки. Поговаривают, что покосившиеся портовые хибары к северу от реки соединены между собой подземными коридорами, что позволило превратить их в самый настоящий «муравейник» для таких чудовищных уродов. Невозможно даже предположить, что за чужеродная кровь — если, конечно, дело именно в ней — течет в их жилах и отчего они делаются именно такими. Отмечались случаи, что они умышленно скрывали своих стариков, когда к ним в дома наведывались разные правительственные чиновники из внешнего мира.

По словам моего собеседника, не имеет никакого смысла расспрашивать самих аборигенов обо всем, что связано с этим местом. Единственный, кто иногда пускался в подобные разговоры, был довольно дряхлый, хотя и выглядевший вполне нормально старик, который жил в лачуге на северной окраине города и проводил свое время, прогуливаясь поблизости от пожарной станции. Этому седовласому старцу по имени Ээ-

док Аллен было девяносто шесть лет, и помимо того, что рассудок его, похоже, с годами заметно ослаб, он к тому же слыл отчаянным забудыгой. Это был довольно странный и весьма настороженный тип, который к тому же постоянно оглядывался через плечо, как будто чего-то или кого-то опасался, и в трезвом состоянии категорически отказывался разговаривать с любым чужаком. Однако он был почти не в силах устоять перед дармовой выпивкой, а напившись, бывало, пускался в воспоминания и свистящим шепотом описывал некоторые фантастические истории из своей жизни. Впрочем, из подобных бесед с ним можно было вынести лишь самый минимум заслуживающей внимания информации, поскольку все его истории сильно смахивали на бред душевнобольного, изобилующий загадочными и обрывочными намеками на невероятные чудеса и ужасы, которые могли быть порождены лишь его собственной нездоровой фантазией. Ему никто не верил, и к тому же местным жителям очень не нравилось то, что в сильном подпитии он часто разговаривает с чужаками, а потому появляться с ним на людях и, тем более, в присутствии посторонних пускаться в какие-то расспросы было довольно небезопасно. Возможно, именно от него и пошли все эти дичайшие слухи и кривотолки, которые вот уже много лет смущали окружавший Иннсмаут люд.

Отдельные «пришлые» обитатели города время от времени также бросали разрозненные, малопонятные и двусмысленные фразы аналогичного содержания, словно намекая на то, что на самом деле знают куда больше, чем говорят, а потому было вполне вероятно, что между рассказами старого Зэдока и уродливыми аборигенами Иннсмаута существовала какая-то вполне реальная связь. Остальные жители города никогда не выходили из дому с наступлением темноты просто потому, что «так было принято», а кроме того, здешние улицы были настолько грязными и зарушенными, что едва ли какому-то нормальному человеку пришла бы в голову мысль бродить по ним в ночное время.

Что же до производственной активности, то следовало прямо признать, что то количество рыбы, с которой возвращались рыбаки, было просто поразительным, хотя самим им это с каждым годом приносило все меньше и меньше выгоды, поскольку цены продолжали падать и нарастала конкуренция со стороны крупных фирм-поставщиков. Главным же бизнесом города оставалась, естественно, золотоочистная фабрика, коммерческий оффис которой находился всего в нескольких десятках метров от того места, где мы с молодым бакалейщиком вели нашу беседу. Самого старика Марша нынешнее поколение горожан никогда не видело, хотя он и выезжал из-

редка на производство, сидя в закрытой и плотно зашторенной машине.

Ходила масса слухов относительно того, как выглядит нынче Марш. Некогда он слыл чуть ли не щеголем, и люди утверждали, что он и поныне носит допотопный эдвардианский сюртук, довольно изящно пригнанный даже по его теперешней, крайне уродливой фигуре. Многие годы в конторе всем заправляли его сыновья, но в последнее время они также стали избегать появления на людях, оставив ведение дел представителям более молодого поколения семьи. Внешне сыновья и дочери Марша сильно изменились, особенно те, что были постарше, и поговаривали, что здоровье их с каждым годом становится все хуже.

Одна из дочерей Марша являла собой поистине омерзительную, похожую на рептилию-женщину, которая в изобилии напяливала на себя всевозможные причудливые драгоценности, изготовленные явно в тех же традициях, что и загадочная тиара из музея в Ньюбэрипорте. Моему собеседнику также неоднократно доводилось видеть на ней подобные украшения, которые, по мнению окружающих, являлись частью какого-то старинного клада — то ли пиратского, то ли и вовсе дьявольского. Священники и остальные церковнослужители, или как они там сами себя называли, по особым случаям напяливали себе на головы аналогичные украшения, хотя редко кому удавалось встретить такие вещи в повседневной действительности. Других образчиков подобных драгоценностей молодому бакалейщику самому видеть не доводилось, хотя, по словам других людей, они у аборигенов водились в изобилии.

Марши, равно как и три других, также тщательно оберегаемых рода местных жителей — Уэйты, Джилмэны и Элиты — вели подчеркнуто уединенный образ жизни. Обитали они в громадных домах на Вашингтон-стрит, причем некоторые из них — те, что были внешне наиболее уродливы и омерзительны — никогда не появлялись на людях и постоянно пребывали в скрытых от посторонних глаз убежищах. Время от времени поступали сообщения о смерти того или иного члена какой-либо из этих старинных династий.

Предупредив меня насчет того, что многие из городских указателей и надписей со временем пришли в негодность, а то и вовсе исчезли, молодой человек любезно согласился начертить мне некое подобие плана города, указав на нем основные пункты, которые могли бы привлечь мое внимание. Едва взглянув на него, я сразу понял, сколь неоценимую помощь может оказать мне даже такая импровизированная карта, и тут же со словами искренней благодарности упрятал

ее в карман. С сомнением отнесясь к кулинарным достоинствам близлежащего ресторана, я ограничился тем, что купил побольше сырных крекеров и имбирных вафель, чтобы чуть позже заменить ими традиционный ленч. Моя последующая программа заключалась в том, чтобы побродить по главным улицам города, попытаться поговорить с каждым попавшимся мне по пути жителем, не относящимся к числу аборигенов, и поспеть к восьмичасовому автобусу на Эркхам. Сам по себе город, как я уже успел убедиться, представлял собой замечательный образчик всеобщего упадка и общественного разложения, однако, не будучи увлеченным изучением социологических проблем Иннсмаута, я решил ограничиться обзором его архитектурных достопримечательностей.

Так я и начал свое осмысленное, хотя во многом и запутанное путешествие по узким, окруженным мрачными трущобами улицам. Пройдя по мосту и повернув в сторону одного из грохочущих потоков воды, я оказался почти рядом с фабрикой Марша, которая показалась мне странно тихой для промышленного предприятия подобного рода. Ее здание стояло у самого края крутого обрыва рядом с мостом, и довольно недалеко от места соединения нескольких улиц, некогда являвшегося, по-видимому, центром общественной жизни города, на смену которому после Революции пришла нынешняя городская площадь.

Пройдя по узенькому мосту, я попал в совершенно безлюдный район, сама атмосфера которого заставила меня невольно поежиться. Просевшие, а кое-где и обвалившиеся, прижатые друг к другу двускатные крыши образовывали причудливый зубчатый узор, над которым возвышался довольно непрезентабельного вида обезглавленный шпиль старинной церкви. В некоторых домах вдоль Мэйн-стрит явно кто-то обитал, хотя основная часть домов была давно заброшена. Спускаясь по немощным боковым улочкам, я видел многочисленные черные, зияющие оконные проемы заброшенных хибар, некоторые из которых сильно наклонились набок, угрожающе нависая над полуразвалившимися фундаментами. Сам по себе вид этих оконных глазниц был настолько неестественен и пугающ, что мне стоило немалой храбрости свернуть в восточном направлении и двинуться еще дальше в сторону океанского побережья. Жутковатые ощущения, которые я испытывал при виде опустевших домов, нарастали даже не в арифметической, а скорее в геометрической прогрессии по мере того, как увеличивалось количество окружавших меня поразительно ветхих построек, отчего создавалось впечатление, будто я оказался в некоем мини-городе полнейшего запустения. Один лишь вид этих бесконечных

улиц, пропитанных упадком и смертью, в сочетании с представлением о массе опустевших, гниющих черных комнат, отданных на разорение вездесущим паукам и извивающимся червям, невольно порождал атмосферу поистине первобытного, животного страха и отвращения, разогнать которую едва ли смогла бы даже самая жизнестойкая оптимистическая философия.

Фиш-стрит была столь же пустынной, как и Мэйн-стрит, хотя и отличалась от нее изобилием кирпичных и каменных складских помещений, находившихся, надо сказать, в прекрасном состоянии. Почти как две капли воды на нее походила и Уотер-стрит, с тем лишь отличием, что в ней имелись просторные проемы, откуда начинался путь к портовым причалам.

За все это время я не повстречал ни единой живой души, если не считать сидевших в отдалении, на волноломе рыбаков, и не услышал ни звука, помимо плеска накатывавших на берег гавани приливных волн да отдаленного грохота мэнаксетского водопада. Постепенно город начинал все больше действовать мне на нервы и я, возвращаясь обратно по расшатанному мосту на Уотер-стрит, то и дело украдкой оглядывался назад. Мост на Фиш-стрит, судя по имевшемуся у меня плану, и вовсе был разрушен.

К северу от реки стали попадаться признаки убогой, нищенской жизни — в некоторых домах на Уотер-стрит занимались упаковкой рыбы; изредка попадались залатанные крыши с едва дымящимися трубами; откуда-то доносились разрозненные, непонятные звуки, а кроме того, кое-где стали попадаться скрюченные, еле переставляющие ноги человеческие фигуры, медленно передвигающиеся по грязным, немощеным улицам. И все же, даже несмотря на все эти слабые проблески жизни, следовало признать, что на меня это чахлое подобие людского существования производило еще более гнетущее впечатление, чем даже запустение южной части города. Одно обстоятельство особо резко бросалось в глаза: люди здесь казались намного более злобными и отталкивающими, чем в центральной части города, отчего я несколько раз ловил себя на мысли о том, что нахожусь в какой-то фантастической, враждебной среде, сущность которой, однако, по-прежнему оставалась совершенно неуловимой для моего сознания. Ясно было одно: неестественная, гнетущая напряженность местных жителей проявлялась здесь в более ярком виде, нежели в глубине города, и если специфическая «иннсмаутская внешность» являлась не просто отражением состояния психики, а самой настоящей болезнью, то следовало предположить, что портовые районы попросту стали убежищем на-

ибо более тяжелых и запущенных случаев таинственного недуга. Одно обстоятельство, однако, вызывало у меня особо острое раздражение — это были те самые разрозненные, смутные, неясные звуки, которые я слышал в самых неожиданных местах. По самой своей логике они вроде бы должны были исходить из жилых домов, однако странным образом ощущались наиболее явно именно поблизости от явно заброшенных, давно заколоченных построек. Там словно кто-то беспрерывно чем-то поскребывал, шелестел, шуршал, а изредка загадочно хрипел, отчего мне на ум пришли слова бакалейщика о неких таинственных подземных туннелях. Неожиданно я невольно задумался о том, как же на самом деле звучат голоса местных жителей. В этом квартале мне еще ни разу не довелось слышать человеческой речи, хотя, откровенно говоря, особого желания к тому даже и не возникало.

Дойдя лишь до двух некогда явно прекрасных, а ныне превращенных в развалины церквей на Мэйн- и Черч-стрит, я поспешил покинуть эти мерзкие портовые трущобы. Следующим пунктом моего путешествия должна была бы стать площадь Нью-Черч Грин, однако мне почему-то не хотелось снова проходить мимо той церкви, в дверном проеме которой я заметил проскользнувшую фигуру необъяснимым образом напугавшего меня священника или пастора в нелепой сутане и странной золотой тиаре. Кроме того, бакалейщик прямо предупреждал меня о том, что церкви и зал «Ордена Дэгона» были как раз теми самыми местами, рядом с которыми посторонним людям показываться лишний раз никак не следует.

Поэтому я продолжил продвижение по Мэйн-стрит, потом свернул в сторону центра и благополучно подошел к Нью-Черч Грин с севера, после чего вступил на территорию основательно потрепанного района некогда аристократических Брод-, Вашингтон-, Лафайет- и Адамс-стрит. Несмотря на то, что эти некогда определенно величавые городские артерии ныне пребывали в крайне запущенном и неухоженном состоянии, их окруженное древними вязами пространство все еще хранило остатки бывшего достоинства. Я переводил взгляд с одного особняка на другой и видел, что многие из них пребывали в ветхом, убогом состоянии, перемежая собою обширные участки замусоренных пустырей, однако в двух-трех окнах, как мне показалось, я заметил некоторые признаки жизни. На Вашингтон-стрит стояла вереница из четырех или пяти таких домов, причем каждый находился в прекрасном состоянии, с изысканно подстриженными лужайками и садами. Самый шикарный из них — с широкими, расположенными террасами цветниками, тянувшимися до самой Лафайет-стрит, — как я понял, принадлежал старику Маршу, пресловутому владельцу золотоочистной фабрики.

На всех этих улицах я не заметил присутствия ни единого человека, и почему-то припомнил, что за все блуждание по городу мне на глаза не попадались ни собаки, ни кошки. Другое обстоятельство, которое не на шутку озадачило меня в облике даже наиболее хорошо сохранившихся и ухоженных домов, было то, что на всех их трех этажах, и даже в мансардах, окна были плотно закрыты ставнями. Скрытность и непонятная конспиративность являлись, пожалуй, неотъемлемыми чертами этого мрачного города забвения и смерти, хотя меня неотступно продолжало преследовать ощущение, что за мной буквально повсюду присматривает некий потаенный, внимательный и никогда не мигающий взгляд.

Я невольно вздрогнул, услышав с располагавшейся где-то левее от меня старинной звонницы троекратный удар надтреснутого колокола, и тут же отчетливо вспомнил очертания приземистой церкви, откуда донесся этот звук. Следуя по Вашингтон-стрит в направлении реки, я вступил в новую зону некогда процветавшей здесь промышленности и торговли. Вскоре я увидел впереди себя остатки развалившейся фабрики, затем еще нескольких аналогичных строений; в облике одного из них смутно угадывались остатки некогда существовавшей железнодорожной станции, а правее — крытого моста, по которому также были проложены рельсы.

Неподалеку от себя я увидел еще один мост, уже обычный — явно ненадежное ныне сооружение было украшено предупреждающим транспарантом, однако я решил все же рискнуть и вновь оказался на южном берегу реки, где отмечались признаки хоть какой-то жизни. Неприметные, вяло бредущие куда-то личности украдкой бросали в мою сторону косые взгляды, тогда как более нормальные лица взирали на меня с холодным любопытством. Определенно, Иннсмаут становился все более невыносимым и потому я направился по Пэйн-стрит в сторону главной площади в надежде найти там хоть какое-нибудь транспортное средство, способное доставить меня в Эркхам еще до того, как настанет казавшийся мне столь далеким час отправления моего зловещего автобуса.

Именно тогда я обратил внимание на располагавшееся слева от меня полуразвалившееся здание пожарной станции, и сразу заметил старика с красным лицом, косматой бородой, водянистыми глазами и в неопикуемых лохмотьях, который, беседуя с двумя довольно неопрятными, но все же не показавшимися мне похожими на аборигенов пожарными, сидел на скамье рядом со входом. Как я понял, это и был Зедок Аллен — тот самый полусумасшедший, чуть ли не столетний выпивоха.

III

Пожалуй, я поддался какой-то неожиданной и извращенной прихоти, а может, просто уступил неведомому мне зову темного и зловещего прошлого — во всяком случае, я внезапно принял решение изменить ранее намеченные планы. Прежде я твердо намеревался ограничиться в своих исследованиях исключительно творениями архитектуры, хотя даже одного этого оказалось достаточно, чтобы у меня возникло страстное желание как можно скорее уехать из этого богопротивного города всеобщего упадка и разрухи. И все же при одном лишь взгляде на старого Эздока Аллена мысли мои потекли по совершенно иному руслу и заставили меня невольно замедлить шаг.

Я был практически уверен в том, что старик не сможет поведать мне ничего нового, разве что сделает несколько туманных намеков относительно каких-нибудь диких, наполовину бессвязных и невероятных легенд; более того, меня прямо предупреждали, что встречи и разговоры с ним могут быть весьма небезопасными. И все же мысль об этом древнем свидетеле омерзительного городского упадка, воспоминания которого простирались к годам некогда процветающего мореплавания и бурной промышленной активности, казалась мне настолько соблазнительной, что я попросту не мог устоять перед открывавшейся передо мной неожиданной перспективой. В конце концов, какими бы странными и безумными ни казались те или иные мифы, они, как правило, на поверку оказываются всего лишь символами или аллегориями всего того, что происходило на самом деле — а старый Эздок, несомненно, был живым свидетелем всего того, что происходило в Иннсмауте и вокруг него на протяжении последних девяноста лет. Короче говоря, любопытство одолело соображения осторожности и здравого смысла, и я с присущей молодости самонадеянностью посчитал, что мне все же удастся собрать разрозненные крупички подлинной истории, отделив их от той мешанины словесного мусора, который, как я полагал, вывалится из чрева этого старика под воздействием доброй порции виски.

Я знал, что с ним не следует заговаривать прямо здесь и сразу, поскольку это, несомненно, не ускользнуло бы от внимания пожарных, и они могли бы каким-то образом воспрепятствовать осуществлению моих планов. Вместо этого я решил загодя запастись бутылкой соответствующего напитка, благо дело, юный бакалейщик подробно описал мне место, где подобный продукт водился в изобилии. После этого я

намеревался с подчеркнуто праздным видом прохаживаться поблизости от пожарной станции в ожидании того момента, когда старый Зедок наконец отправится в свое очередное бесцельное блуждание по городу. Паренек также сказал, что старик отличается странной для его возраста неугомонностью и редко проводит на одном месте более часа, от силы двух.

Кварта виски и в самом деле оказалась вполне легкой, хотя и дороговатой находкой, которую я обрел в каком-то замызганном магазинчике на Эллиот-стрит. Лицо обслуживавшего меня грязноватого продавца несло на себе слабые признаки пресловутой «иннсмаутской внешности», хотя манеры его в целом были достаточно учтивыми и вполне нормальными — пообтерся, наверное, за время долгого общения с жизнелюбивой публикой, к числу которой принадлежали водители грузовиков, скупщики золота и им подобные «чу-жаки», изредка посещавшие Иннсмаут.

Вновь вернувшись к пожарной станции, я увидел, что судьба и впрямь улыбнулась мне, поскольку из-за угла стоявшей на Пэйн-стрит мрачной гостиницы, которая, как я уже упоминал, называлась Джилмэн-хауз, шаркая, появилась высокая, изможденная фигура Зедока Аллена. В соответствии с заранее разработанным планом, я без труда привлек внимание старика тем, что оживленно помахивал только что приобретенной бутылкой, и вскоре обнаружил, что он изменил свой маршрут, и теперь волочил ноги уже где-то у меня за спиной, с тоской поглядывая на заветную приманку. Я же тем временем свернул на Уэйт-стрит и не спеша направился к заранее облюбованному и самому глухому и уединенному участку этого и без того безлюдного района.

Ориентируясь по самодельной карте, любезно предоставленной мне юным бакалейщиком, я уверенно держал курс на полностью заброшенный участок южной части портовых сооружений, который уже имел неудовольствие посетить в этот день. Единственные люди, которых подметил мой внимательный взгляд, были сидевшие на отдаленном волноломе рыбаки, а пройдя несколько кварталов в южном направлении, я становился невидимым даже для них. Там я рассчитывал найти пару относительно сохранившихся скамеек или каких-нибудь других пригодных для сидения приспособлений, чтобы предаться пространной беседе с Зедоком Алленом. Однако еще до того как я достиг Мэйн-стрит, у меня за спиной послышалось хриплое, надтреснутое «Эй, мистер!», после чего я обернулся, позволил старику наконец нагнать меня и сделать внушительный глоток из им же откупоренной бутылки.

Продолжая идти в окружении вездесущего запустения, я начал осторожный зондаж своего собеседника, однако вскоре

обнаружил, что развязать ему язык было не столь просто, как я на то рассчитывал. Наконец я увидел довольно широкий проем между домами, который вел в направлении причалов между рассыпающимися кирпичными стенами, утопавшими в густых зарослях репейника и прочей сорной травы. Груды поросших мхом камней у самой кромки воды показались мне вполне пригодными для сидения, а кроме того, местечко это оказалось довольно надежно укрытым от посторонних взоров остовом некогда стоявшего здесь массивного склада. Именно здесь я намеревался приступить к тайной, задушевной беседе со старым Эздоком, а потому уверенно повел своего спутника к мшистым валунам. Запах тлена и разрухи был сам по себе достаточно отвратителен, а в смеси с одуряющей рыбной вонью казался и вовсе невыносимым, однако я твердо намерился вопреки любым обстоятельствам добиться поставленной цели. До отхода моего вечернего автобуса на Эрхам оставалось около четырех часов, а потому я принялся выдавать старому забулдыге все новые и новые порции желанного напитка, тогда как сам ограничил себя довольно скудным сухим пайком, призванным заменить мне традиционный ленч. В своих подношениях я, однако, старался соблюдать известную меру, поскольку не хотел, чтобы хмельная словоохотливость Эздока переросла в бесполезное для меня ступорозное оцепенение. Примерно через час его уклончивая неразговорчивость стала постепенно давать трещины, хотя старик по-прежнему и к вящему моему разочарованию отклонял любые попытки перевести разговор на темы, связанные с Иннсмаутом и его покрытым мраком прошлым. Он довольно охотно болтал на темы современной жизни, продемонстрировав неожиданно широкие познания в том, что касалось газетных публикаций, а также обнаружил явную склонность к философскому нравоучительству с типичным провинциально-деревенским уклоном.

Когда подходил к концу второй час подобного времяпрепровождения, я начал уже опасаться, что приобретенной мною квартиры окажется недостаточно для достижения желанного результата, и стал подумывать о том, не оставить ли его здесь, а самому сходить еще за одной бутылкой. И именно тогда, причем исключительно по воле случая, а отнюдь не в результате моих настойчивых расспросов, свистящий, хрипловатый голос старого пьянчуги заставил меня приблизиться к нему почти вплотную и напряженно вслушиваться буквально в каждое произнесенное им слово. Спина моя была обращена к пропахшему рыбой морю, тогда как старик сидел лицом к нему, и, видимо, что-то привлекло к себе его блуждающий взгляд и заставило пристальнее всмотреться в чернеющую

полоску невысокого рифа Дьявола, который то скрывался, то внезапно снова отчетливо и даже завораживающе появлялся из-под волн. Увиденное зрелище, похоже, вызвало у него какое-то неудовольствие, поскольку он тут же разразился серией коротких ругательств, завершившихся доверительным шепотом и вполне осмысленным и понимающим взглядом. Он чуть подался вперед, ухватил меня за лацканы плаща и прошипел несколько слов, которые я достаточно хорошо разобрал и запомнил.

— Именно так все и началось — в этом проклятом месте. С глубоководья все и началось... Врата ада — в самой бездне, в пучине, дна которой ни каким лот-линем ни за что не достать. Только старому капитану Обеду удалось это сделать — смог все же найти что-то такое, что оказалось даже для него слишком большим — на островах южных морей это было.

В то время все у нас здесь шло наперекосяк. Торговля катилась под гору, мельницы перестали приносить доход — даже новые, — а лучшие наши парни погибли в войне двенадцатого года или затерялись вместе с бригам *«Элизи»* или *«Рэйнджером»* — баржа такая была — оба Джилмену принадлежали. У Обед Марша было три судна — бригантина *«Колумбия»*, бриг *«Хетти»* и барк *«Суматранская королева»*. Он был единственный, кто плавал через Тихий океан и торговал с Ост-Индией, хотя Эсдрас Мартин на своей шхуне *«Малайская невеста»* ходил даже дольше — до самого двадцать восьмого года.

Никто тогда не мог сравниться с капитаном Обедом — о, старое сатанинское отродье! Ха-ха! Я помню еще те времена, когда он проклинал наших парней за то, что ходят в христианскую церковь и вообще терпеливо и покорно несут свою ношу. Любил повторять, что надо бы им найти себе лучших богов — как тем парням, что в Индии живут, — и тогда боги, якобы в обмен на поклонение, принесут нам много рыбы и по-настоящему откликнутся на наши мольбы.

Мэтт Элиот — его первый напарник был, — тоже много чего болтал, только он был против того, чтобы парни увлекались язычеством. Много рассказывал об острове к востоку от Отахайты, на котором полно всяких каменных развалин, да таких старых, что еще и свет не видывал. Вроде тех, что лежат в Понапее — это в Каролине, — но только с резными лицами, похожими на те, что на острове Пасхи. И еще там был один маленький островок — после вулкана остался, — и на нем тоже остались развалины, только резба там уже другая была, а руины все такие, словно давным-давно под водой находились, и картинки на них резные — сплошные чудовища, все изрезанные...

Так вот, сэр, этот Мэтт сказывал, что тамошние жители ловят столько рыбы, сколько их утроба вместить может, и все носят браслеты, побрякушки какие-то, и на голову украшения — и все резные, с картинками, вроде тех, что были на руинах на том маленьком острове — то ли рыбы-лягушки, то ли лягушки-рыбы, но все в разных позах, и вообще ходят как люди. И никак было не дознаться у них, откуда они все это взяли; а матросы все удивлялись, как это они могут столько рыбы ловить, когда даже на соседнем острове ее нет. Мэтт тоже голову ломал над этим, и капитан Обед тоже. Обед еще заметил тогда, что многие симпатичные молодые парни с этого острова вдруг куда-то исчезают — год назад были, и нет их, — а стариков там вообще почти нет. И еще ему показалось, что многие из тамошних парней чудные какие-то, лицом даже хуже туземцев-канаков.

В общем, потом Обед все же дознался до правды. Не знаю, как он это сделал, но после этого стал торговать с ними в обмен на те золотый штучки, что они носили. Узнал, откуда они все родом, и не могут ли принести еще таких же золотых украшений, а в конце услышал от них историю про их старого вождя — Валакеа, так они его звали. Никто не мог, лишь капитан Обед смог добраться до их желтолицего дьявола, да, только капитан мог читать их души как книги. Хе-хе! Никто теперь мне не верит, когда я об этом рассказываю, да и вы, молодой приятель, тоже, наверное, не поверите, хотя как посмотришь на вас — у вас такой же острый глаз, какой был у Обед.

Шепот старика стал почти неслышим, но я внутренне содрогался от его зловещих и, казалось, вполне искренних слов, хотя и понимал, что все это могло оказаться не более, чем бреднями пьяницы.

— Ну вот, сэр, Обед узнал, что были там такие люди, которых на земле еще никто не видывал, — а даже если и услышит кто о них, все равно ни за что не поверит. Похоже на то, что эти самые канаки, или как их там звали, отдавали своих парней и девушек в жертву каким-то существам, что жили под водой, а взамен получали чего душе угодно. А встречались они с этими существами на маленьком острове, где были те развалины, и похоже на то, что те самые картинки с рыбами-лягушками, это то, на кого эти существа были похожи. И вообще, с них были сделаны эти рисунки. Может, они были чем-то вроде морских людей, от которых и пошли все эти рассказы про русалок. Под водой у них были всякие города, а остров этот они специально подняли со дна моря. Похоже, в каменных домах еще обитали какие-то живые существа, когда остров так вдруг поднялся на поверхность.

Именно поэтому канаки и решили, что те под водой живут. Увидели их и сильно перепугались тогда, а потом и сделку заключили, хотя давно это уже было.

Эти твари любили, когда люди приносили им себя в жертву. Веками их принимали, но со временем забыли путь наверх. Что они делали со своими жертвами, об этом я вам ничего не скажу, да и Обед тоже, пожалуй, не тот человек, которого об этом надо спрашивать. Но для туземцев это все равно было выгодно, потому как трудные времена они тогда переживали, ничего у них не получалось. И они приносили свои жертвы дважды в год — в канун мая и дня всех святых, в общем, регулярно. И еще отдавали им кое-какие резные безделушки, которые сами же делали. А что существа эти давали им взамен — это рыбы до отвала — похоже, они ее им со всего моря сгоняли, — да ещё золотые, или там похожие на золотые, побрякушки и всякие вещи.

Ну так вот, как я сказал, встречались они с этими существами на том вулканическом островке — на каноэ плыли туда, прихватив свои жертвы, — а обратно привозили золотистые украшения. Поначалу эти существа никогда не выходили на главный остров, но со временем и туда стали навещаться. Похоже на то, что им очень хотелось породниться с местными туземцами, даже вместе праздники стали справлять по большим дням — в канун мая и дня всех святых. Понимаете, похоже на то, что они могут жить как в воде, так и на суше — амфибии, так, кажется, называются. Канаки сказали им, что парни с других островов могут перебить их, если дознаются обо всех этих делах, но те им сказали, что их это не волнует, и что они, если захотят, могут сами перебить и вытравить всю человеческую расу, вроде того как однажды то же проделали какие-то Старожилы, кем бы они там ни были. Но сейчас им просто не хочется этого, вот потому они и лежат себе спокойно, когда кто-нибудь приплывает на остров.

Когда дело дошло до спаривания с этими рыбами-лягушками, то канаки поначалу поартачились, но потом узнали что-то такое, отчего иначе посмотрели на это дело. Вроде бы то, что люди, якобы, всегда находились в родстве с морским зверьём, что вообще человек когда-то вышел из моря, а потому надо устроить всего лишь небольшую переделку, чтобы все вернулось на свои места. Они и сказали канакам, что если потом пойдут дети, то сначала, пока молодые, они будут похожи на людей, а со временем станут все больше походить на этих существ, пока наконец совсем не уйдут под воду и не станут навечно жить там. И самое важное во всем этом, молодой человек, это то, что как только они станут рыбами и

будут жить под водой, то превратятся в бессмертных. И существа эти сами по себе никогда не умирали, разве что если их убивали в какой-то схватке.

Ну так вот, сэр, похоже на то, что Обед как-то дознался, что у этих канаков в жилах течет рыба́ья кровь от этих глубоководных существ. Когда они старели и у них начинали появляться «рыбьи» признаки, они не показывались на людях, пока время не приходило — тогда они навсегда уходили жить в море. Были среди них и те, кто не так сильно был похож на тех существ, а некоторые вообще никогда не достигали той стадии, чтобы уйти под воду, но с основной частью происходило именно то, что говорили эти существа. Те, которые рождались похожими на рыб, преображались совсем скоро, а те, что были почти как люди, иногда доживали на острове лет до семидесяти, и даже больше, хотя временами и они спускались под воду, чтобы, как говорится, потренироваться в плавании. Те парни, что навсегда спускались под воду, иногда возвращались, чтобы навестить тех, что остались на суше, и иногда получалось, что человек разговаривает со своим прапра- в общем, пятикратным прадедом, который покинул землю несколько веков назад.

После этого все они позабыли про то, что такое смерть — за исключением гибели в войнах с племенами соседних островов, да жертвоприношений подводным богам; ну, разве еще если змея ядовитая укусит, или чума какая поразит, прежде чем они успеют спуститься под воду. В общем, стали они ждать-поджидать, когда же с ними произойдет превращение, которое на поверку оказалось не таким уж страшным. Просто прикинули и решили, что то, что приобретали, намного больше того, что при этом теряли, да и сам Обед, как я понимаю, тоже пришел к такому же выводу, когда хорошенько помозговал над историей, которую рассказал им этот самый Валакеа. Что же до этого Валакеа, то он был одним из немногих, в ком совершенно не было рыба́ьей крови — он принадлежал к королевскому роду, который вступал в брак только с такими же царственными особами с соседних островов.

Валакеа показал и растолковал ему многие заклинания и обряды, которые надо совершать, когда имеешь дело с морскими существами, а также показал некоторых парней в деревне, которые уже начали постепенно терять человеческий облик. А вот самих тварей, которые в море живут, не показал ни разу. Под конец он дал ему какую-то смешную штуку, вроде волшебной палочки, что ли, сделанную из свинца или чего-то вроде того, и сказал, что при помощи ее можно будет заманивать рыбу откуда угодно и сколько хочешь. Вся идея заключалась в том, чтобы бросить ее в воду и произнести

нужное заклинание. Балакеа разрешил пользоваться ею по всему свету, так что если кому-то где-то понадобится рыба, он может в любой момент поймать ее столько, сколько захочет.

Мэтту вся эта история очень не понравилась, и он хотел, чтобы Обед держался подальше от этого острова. Но капитан тогда уже помешался на этой затее, потому как обнаружил, что может по дешевке скупать золото, причем в таком количестве, что должен всерьез заняться этим бизнесом. Так продолжалось много лет кряду, и Обед получил столько золота, что даже смог построить свою фабрику — как раз на том самом месте, где была старая мельница Уэйта. Он решил не продавать золото в том виде, в каком оно к нему попадало, то есть в этих цацках, поскольку могли возникнуть всякие вопросы. И все же члены его экипажа иногда толкали налево какую-нибудь побрякушку, хотя он и взял с них слово молчать; да и сам иногда позволял своим женщинам что-нибудь поносить, но только выбирал, чтобы было похоже на человеческие украшения.

Ну вот, так продолжалось до тридцать восьмого — мне тогда было семь лет, — когда Обед обнаружил, что от тех островитян почти никого не осталось. Похоже на то, что люди с других островов почуяли, откуда ветер дует, и решили взять все это под свой контроль. Как знать, может они сами порастаскивали все те волшебные знаки, которые, как говорили сами морские существа, были для них важнее всего. Люди они были набожные, а потому не оставили там камня на камне — ни на главном острове, ни на маленьком вулканическом островке, — кроме разве лишь самых крупных развалин, к которым и подступиться-то было трудно. В некоторых местах там потом находили такие маленькие камушки, вроде талисманов, что ли, а на них нарисовано было то, что сейчас называют, кажется, свастикой. Может, это были знаки самих Старожилов. Все парни того племени поразбрелись кто куда, от золотых вещей тоже никаких следов не осталось, а про самих этих канаков даже словом боялись обмолвиться. Вообще стали говорить, что на том острове никогда и в помине не было людей.

Для Обеда все это, разумеется, было страшным ударом — видеть, в какой упадок пришла вся его торговля. Да и по всему Иннсмауту рикошетом отскочило, потому как во времена мореплавания если капитану жилось хорошо, то и команда чувствовала себя не худо. Большинство мужчин совсем приуныли и стали списываться на берег, но и там проку было мало, потому как рыбная ловля пошла на убыль, да и мельницы, можно сказать, почти не работали.

Вот тогда-то Обед и стал поносить всех и проклинать на

чем свет стоит за то, что, дескать, верили в своего христианского бога, да что-то не очень он им помог за это. А потом стал рассказывать им про других людей, которые молились другим богам, зато получали за это все, что душе было угодно. И еще сказал, что если найдется кучка крепких парней, которые согласятся пойти за ним, то он попробует сделать так, чтобы снова появились и золото, и рыба. Разумеется, они плавали с ним на «Суматранской королеве», видели те острова и потому понимали, о чем идет речь. Поначалу им не очень-то хотелось столкнуться с теми существами, о которых они были много наслышаны, но поскольку сами они толком ничего не знали, то постепенно стали верить Обеду и спрашивать его, что им надо сделать, чтобы все стало как прежде, чтобы вера их принесла им то, чего они хотели.

В этом месте старик совсем затих, стал что-то почти беззвучно бормотать себе под нос и впал в состояние напряженной и явно боязливой задумчивости. Время от времени он тревожно поглядывал себе через плечо, а иногда устремлял нервный взгляд в сторону маячившего в отдалении черного рифа. Я попытался, было, заговорить с ним, но он ничего не ответил, и я смекнул, что надо позволить ему прикончить

бутылку. Как ни странно, меня крайне заинтересовали все эти безумные небылицы, поскольку, как мне казалось, они представляли собой огрубленные аллегории, основывавшиеся на всех жизненных перипетиях Иннсмаута, а в дальнейшем приукрашенные богатым воображением, во многом подпитанным обрывками из старинных легенд. Разумеется, я ни на секунду не допускал мысли о том, что его рассказ имел под собой сколь-нибудь реальную почву, и все же следовало признать, что повествование это было наполнено самым неподдельным ужасом, хотя бы по той простой причине, что в нем упоминались странные ювелирные украшения, столь явно схожие со зловещей тiarой, которую я видел в Ньюбэрипорте. Возможно, эти драгоценности действительно привозились с какого-то далекого и уединенного острова, а кроме того, нельзя было исключать, что автором всех этих диких подробностей был отнюдь не мой горький пьяница, а сам покойный капитан Обед.

Я протянул Эздоку бутылку и он осушил ее до последней капли. Мне было странно наблюдать то, что алкоголь, похоже, ничуть не забирал старика, поскольку в его голосе совершенно не чувствовалось характерных для пьяных людей глухих, хриловатых ноток. Он облизнул горлышко бутылки и спрятал ее в карман, после чего начал кивать и что-то еле слышно нашептывать себе под нос. Я наклонился поближе к нему, стремясь уловить хотя бы слово, и мне показалось, что

под густыми, пожелтевшими усами промелькнуло некое подобие сардонической ухмылки. Он и в самом деле что-то говорил, и мне удалось довольно неплохо расслышать все, что он пробормотал.

— Бедный Мэтт... он всегда был против этого... пытался привлечь парней на свою сторону, а потом подолгу беседовал с пастором... все было бестолку... сначала они прогнали из города протестантского священника, потом методистского; с тех пор я ни разу не видел нашего Неистового Бэбкока — он заправлял прихожанами-баптистами. О, Иегова, дождутся они гнева твоего! Сам я тогда еще совсем щенком был, но все равно видел и слышал все, что там творилось. Дэгон и Ашторет — Сатана и Вельзевул... Идолы Канаана и филистимлян... страхи вавилонские — *Мене, мене текел упарсин...*

Он снова умолк и по взгляду его водянистых глаз я понял, что спирт все же брал свое — старик действительно был близок к ступорозному состоянию. Однако, стоило мне легонько потрясти его за плечо, как он с неожиданной живостью повернулся ко мне и снова принялся бормотать что-то почти невразумительное.

— Ну как, не поверили мне, да? Хе-хе-хе, но тогда скажите, молодой человек, зачем капитан Обед и двадцать его парней взяли за правило плавать глухими ночами к рифу Дьявола и хором распевать там свои песни, да так громко, что при соответствующем ветре их можно было даже в городе услышать? Ну, что вы мне на это ответите? И еще скажите, зачем он всегда бросал в воду какие-то тяжелые предметы, причем по другую сторону рифов, на глубине, где подводная их часть обрывается в бездну, да такую, что еще никому не удавалось до дна достать? Скажите, что он сделал с той свинцовой штуковиной, которую ему дал Валакеа? Ну как, юноша? И что они там выкрикивали, когда собирались в канун мая и еще перед днем всех святых, а? И почему новые церковные пасторы — в прошлом матросы — носят свои диковинные наряды и надевают на голову всякие золотые украшения вроде тех, что привозил капитан Обед? Ну как, можете вы на все это мне ответить?

Сейчас его водянистые глаза смотрели на меня почти враждебно, пылая маниакальным блеском, а грязная седая борода даже поблескивала, словно назлектризованная. Старый Эздок, похоже, заметил, как я невольно отпрянул назад, потому что тут же зловеще захихикал.

— Э-хе-хе-хе! Ну как, начинаете соображать? Может, хотели бы оказаться на моем месте в те дни, когда я по ночам глазел на море, стоя на крыше своего дома? И потом, скажу я вам, маленькие дети всегда любят подслушивать, так что я

был в курсе всего, о чем судачили в те времена, что говорили про капитана Обед и тех парней, которые плавали на риф! Хе-хе-хе! А что вы скажете насчет той ночи, когда я тайком взял старую отцовскую подзорную трубу, принес ее на крышу и увидел через нее, что весь риф усеян какими-то блестящими существами, которые, как только взошла луна, сразу же попрыгали в воду? Обед с парнями только еще плыли на лодке, а те твари уже соскочили в воду, причем с другой, глубоководной стороны рифа, и назад больше не вернулись... Что бы вы сказали, если бы сами оказались на месте щенка, видевшего все эти фигуры, которые *вовсе и не были человеческими фигурами?*.. Ну, как вам это?.. Хе-хе-хе...

У старика определенно начиналась истерика, а меня всего вдруг начало колотить от непонятно откуда нахлынувшей тревоги. Потом он опустил свою искривленную лапу мне на плечо, и я понял, что он тоже отчаянно дрожит, причем отнюдь не от безудержного веселья.

— А представьте себе, что однажды ночью вы видите, как Обед отправился к рифу на своей лодке, груженной чем-то большим и тяжелым, а на следующий день все узнают, что из одного дома пропал молодой парень. Хей! Видел ли кто хотя бы раз после этого Хирама Джилмена, или Ника Пирса, или Луэлли Уэйта, или Адонирама Саусвика, или Генри Гаррисона? Хе,хе,хе,хе... Существа эти изъяснялись при помощи знаков, которые подавали своими руками... а руки у них, похоже, ловкие были...

Ну так вот, сэр, именно тогда-то Обед и стал снова подниматься на ноги. Люди видели на трех его дочерях такие украшения, которых у них в жизни не было, да и дымок стал куриться над его фабрикой. И другие парни тоже зажили припеваючи — рыбы в гавани стало хоть пруд пруди, и видели бы вы, какие пароходы с грузом мы снаряжали перед их отправкой в Эркхам, Ньюбэрипорт и Бостон. Именно тогда Обед снова восстановил старую железную дорогу. Несколько рыбаков из Кингспорта прослышали про невиданные уловы здешних парней и наведались сюда на своем шлюпе, да только все они куда-то пропали, так что никто их с тех пор не видел. Вот тогда-то наши парни и организовали этот самый «Тайный орден Дэгона», прикупив для него здание старой масонской ложи... Хе,хе,хе,хе! Мэтт Элиот был масоном и возражал против того, чтобы дом продавали им, но вскоре и он куда-то исчез.

Помните, я говорил, что поначалу Обед ничего не хотел менять в жизни островитян-канаков? Думаю, что сначала у него и в мыслях не было заниматься каким-то скрещиванием с этим племенем, не надо ему было выращивать людей, ко-

торые будут уходить под воду ради бессмертной жизни. Все, что ему требовалось, это золото, за которое он готов был платить большую цену, и те, другие, тоже вроде бы некоторое время этим ограничивались...

В сорок шестом в городе, однако, начали кое над чем задумываться. Слишком часто стали пропадать люди, очень уж дикие стали читаться проповеди на воскресных сборищах и чересчур много разговоров пошло об этом самом рифе. Кажется, и я тоже приложил к этому свою руку — рассказал члену городского управления о том, что видел с крыши своего дома. Как-то однажды они — то есть Обед и его парни — организовали на рифе что-то вроде сходки, и до меня донеслась какая-то пальба, которая велась между несколькими лодками. На следующий день Обед и еще тридцать два его человека оказались в тюрьме, а все вокруг гадали и толковали, в чем там дело и какое обвинение им могут предъявить. О, Боже, если бы хоть кто-нибудь смог заглянуть вперед... хотя бы на несколько недель, в течение которых никто не исчезал и никого не сбрасывали в море...

Зедок все больше выказывал признаки страха и утомления, а потому я дал ему возможность немного передохнуть, хотя между делом с тревогой поглядывал на часы. Приблизилось время прилива и усилившийся шелест волн, казалось, отчасти привел его в чувство. Лично я был даже рад этому приливу, поскольку надеялся, что на большой воде не столь резко будет ощущаться омерзительный рыбный запах. Между тем я снова стал внимательно вслушиваться в его шепот.

— В ту ужасную ночь... я увидел их. Я снова был у себя на крыше... скопления их... чуть ли не настоящие толпы покрывали своими телами поверхность всего рифа, а потом поплыли через гавань в сторону устья Мэнаксета... Боже, что творилось в ту ночь на улицах Иннсмаута... они колотили в наши двери, но отец не открывал... Толпы мертвецов и умирающих... выстрелы и вопли... крики на старой площади и центральной площади в Нью-Черч Грин — ворота тюрьмы нараспашку... какое-то воззвание... измена... все это называли чумой, когда люди вошли внутрь и обнаружили, что половина наших парней отсутствует... никто не спасся, только те, что были с Обедом, и еще эти существа, или кто там они были... а потом все успокоилось, хотя больше своего отца я никогда не видел...

Старик тяжело дышал, лоб его покрылся обильной испариной, рука, сжимавшая мое плечо, напряглась.

— Наутро все прояснилось — но после них остались следы... Обед взял все под свой контроль и сказал, что намерен многое изменить... сказал, что остальные тоже будут молить-

ся с ними в назначенный час, а в некоторых домах появятся, как он сказал, *гости*... им хотелось смешаться с нашими людьми, как они поступили с канаками, и никто не мог остановить их. Далеко зашел этот Обед... словно совсем взбесился. Говорил, что они принесут нам все — рыбу, сокровища, но и мы дадим им все, чего они пожелают...

Внешне как будто ничего не изменилось, только нам приходилось вести себя с этими чужаками совсем смирно, если, конечно, жизнь была дорога.

Всем нам пришлось принести присягу на верность Ордену Дэгона, а потом пришел черед второй и третьей клятв, которые кое-кто из нас тоже произнесли. За все это они могли оказать какую-нибудь услугу, или наградить чем-нибудь особым — золотом или вроде того, а сопротивляться им было бесполезно — их ведь там, под водой, целые полчища. Обычно они не поднимались на поверхность и не трогали людей, но если что-то *понуждало* их к этому, то тогда сладу с ними не было никакого: Мы не дарили им резных амулетов, как это делали туземцы из южного моря, но и не знали, что им надо, потому как канаки не раскрывали ни перед кем своих секретов.

От нас требовалось только регулярно приносить им кого-нибудь в жертву, снабжать всякими дикими безделушками да еще давать приют в городе — вот тогда они готовы были оставить нас в покое. И еще они терпеть не могли посторонних, чужаков, чтобы слухи о них не просочились за пределы города — новому человеку прежде надо было помолиться за них. Так все мы и оказались в этом «Ордене Дэгона» — зато дети никогда не умирали, а просто возвращались назад к матери Гидре и отцу Дэгону, от которых мы все когда-то произошли... *Йа! Йа! Цтулху фхтагн! Ф'нглуи мглев'нафх Цтулху Р'лия вга-нагл фхтага...*

Старый Эздок быстро впадал в состояние полного бреда, тогда как я продолжал сидеть, затаив дыхание. Несчастный старик — до каких галлюцинаций довел его хмель, а плюс ко всему это окружающее запустение, развал и хаос, сокрушившие столь богатый на выдумку разум! Вскоре он застонал и по его изборожденным глубокими морщинами щекам заструились слезы, терявшиеся в густой бороде.

— Боже, что же довелось мне повидать с той поры, когда я был пятнадцатилетним мальчишкой. Мене, мене, текел, упарсин! Как исчезали люди, как они накладывали на себя руки — когда слухи об этом достигали Эркхама, Ипсвича, или других городов, там считали, что мы здесь все с ума посходили, вот как вы сейчас считаете, что я тоже помешался... Но Боже мой, что мне довелось повидать за свою жизнь! Меня бы уже давно прикончили за все то, что я знаю, только

я успел произнести вторую клятву Дэгона, а потому меня нельзя трогать, если только их суд не признает, что я сознательно рассказал о том, что знаю... но третью клятву я не произнесу — я скорее умру, чем сделаю это...

А потом, примерно когда Гражданская война началась, стали подрастать дети, которые родились после того сорок шестого года, да, некоторые из них... Я тогда сильно перепугался и никогда больше после той ужасной ночи не подсматривал за ними, и больше никогда их не видел — на всю жизнь тогда посмотрелся. Нет, ни разу больше не видел, ни одного. А потом я пошел на войну, и если бы у меня хватило тогда ума, то ни за что бы не вернулся в эти места, уехал бы потом куда глаза глядят, только подальше отсюда. Но парни написали мне, что дела идут в общем-то неплохо. Это, наверное, потому, что после шестьдесят третьего в городе постоянно находились правительственные войска. А как война закончилась, снова настали черные времена. Люди стали разбегаться — мельницы не работали, магазины закрывались, судоходство прекратилось, гавань словно задышалась — железная дорога тоже остановилась. Но *они*...они никогда не переставали плавать вверх и вниз по реке, туда-сюда, постоянно прибывая со своего проклятого, сатанинского рифа — и с каждым днем все больше окон заколачивалось, а из домов, в которых вроде бы никто не должен жить, раздавались какие-то звуки...

Люди из других мест часто рассказывают про нас всякие истории — да и вы тоже, как слушаешь ваши вопросы, видать, наслышаны. Говорят обо всяких странных вещах, которые им вроде бы то там, то здесь мерещатся, или об украшениях, которые непонятно откуда взялись и неясно из чего сделаны. Но всякий раз никто не говорит ничего конкретного. Никто ничему не верит. Все эти золотые драгоценности называют пиратским кладом, говорят, что люди в Иннсмауте больные, или вообще не в себе. А те, кто живет здесь, тоже стараются пореже встречаться с незнакомцами и чужаками, побыстрее выпроводить их отсюда, советуют поменьше совать нос куда не следует, особенно в вечернее время. Собаки всегда лаяли на них, лошади отказывались везти, хотя когда машины появились, все опять стало нормально.

В сорок шестом капитан Обед взял себе новую жену, которую *никто в городе ни разу не видел*. Поговаривали, что он вроде бы сам-то не хотел, да ОНИ заставили, а потом прижил от нее троих детей : двое еще молодыми куда-то исчезли, а третья — девушка — внешне совсем нормальная, как все, даже в Европу ездила учиться. Обед потом обманным путем выдал ее за одного парня из Эркхама — тот ни о чем даже не догадался. Но на большой земле с иннсмаутскими

парнями никто не желает сейчас иметь дело. Барнаба Марш, который сейчас заправляет делами фабрики, является внуком Обеда и его первой жены, но отец его — Онесифор, старший сын Обеда — тоже женился на одной из них, причем *с тех пор ее никто даже в глаза не видел.*

Сейчас для Барнабы как раз настало время превращения. Веки на глазах сомкнуть уже не может, да и весь меняется. Говорят, одежду он пока носит, но скоро спустится под воду. Может, уже и так пробовал — они иногда это делают, для разминки, что ли, а уж потом спускаются окончательно. На людях его не видели уже восемь, а то и все десять лет. Не знаю, как с ним живет его бедная жена — она сама родом из Ипсвича, а его лет пятьдесят назад чуть не линчевали, когда он пытался за ней ухаживать. Сам Обед умер в семьдесят восьмом, да и от следующего за ним поколения тоже в живых никого не осталось — дети от *первой* жены умерли, а остальные... Бог знает...

Рокот приливных волн становился все громче, и по мере усиления прилива настроение старика постепенно менялось от сентиментальной слезливости к настороженности и даже страху. Время от времени он делал паузы в своем рассказе и все так же оглядывался через плечо, или бросал взгляды в сторону рифа, и, несмотря на всю абсурдность его рассказа, я не мог избавиться от ощущения, что также разделяю его настороженность. Вскоре голос его зазвучал громче, как-то пронзительнее, словно он пытался за счет напряжения голосовых связок хоть немного приободрить себя.

— Ну, а вы-то сами что ничего не скажете? Как вам самому-то живется в таком городе, где все гниет и разваливается, за заколоченными дверьми кто-то копошится, кричит, свистит, ползает по темным подвалам и чердакам, а вам самому то и дело хочется оглянуться? А? Как нравится каждую ночь слышать какое-то завывание, что доносится со стороны зала «Ордена Дэгона», и догадываться, *какие звуки примешиваются к этому вою?* По душе ли слышать все эти песнопения, что долетают в канун мая и в день всех святых со стороны нашего ужасного мыса? Как вам все это? Или считаете, что старик совсем спятил, а? Так вот, скажу вам, молодой человек, что *все это еще не самое худшее!*

Сейчас Эдок уже почти срывался на крик, причем безумные интонации его голоса начинали всерьез пугать меня.

— И не надо тарашиться на меня такими глазами — я сказал Обеду Маршу, что он попадет в ад и навсегда там останется! Хе-хе... В аду, вот и все! И до меня ему не добраться — я ничего такого не сделал и никому ни о чем не рассказывал...

А вы, молодой человек?... Ну ладно, если раньше никому не рассказывал, то вам сейчас расскажу! А вы сидите спокойно

и слушайте, да, слушай меня, сынок, — я об этом еще никому не рассказывал... Я сказал, что после той ночи никогда больше за ними не подглядывал — *но я все равно кое-что разузнал!*

Хочешь узнать, что такое настоящий кошмар, а? Ну так вот, самый настоящий кошмар это не то, что эти морские дьяволы уже сделали, а что они *еще только собираются сделать!* Они годами приводили в город своих тварей, которых поднимали с самых морских глубин — в последнее время, правда, стали чуть реже это делать. Дома, что стоят к северу от реки между Уотер- и Мэйн-стрит, просто кишат ими — самими дьяволами и теми, которых они *приволокли с собой*; и когда они будут готовы... Я сказал, когда они подготовятся..!

Ты слышишь меня?! Говорю тебе, я знаю, *что это за твари* — я видел их *однажды ночью, когда... иех-аххх-ах! е' яххх...*

Вопль старика прозвучал настолько неожиданно и был наполнен таким нечеловеческим страхом, что я едва не свалился в обморок. Его глаза, устремленные мимо меня в сторону зловонного моря, были готовы буквально вылезти из орбит, тогда как на лице запечатлелся ужас, достойный персонажа греческой трагедии. Костлявая рука старика с чудовищной силой впилась мне в плечо, но сам он даже не пошевелился, когда я также повернулся, желая посмотреть, что же такое он там разглядел.

Мне показалось, что я не вижу ничего особенного. Разве что полоса приливной волны в одном месте оказалась чуть уже и словно внезапно подернулась мелкой рябью, тогда как окружавшие ее волны были одинаково ровными и гладкими. Но теперь уже сам Зэдок лихорадочно затряс меня — я повернулся, чтобы увидеть, в какую маску трагического ужаса превратилось его лицо, а сквозь подрагивающий шепот наконец прорвался и настоящий голос:

— *Уходи отсюда! Уходи скорее! Они увидели нас — уходи и спасай свою жизнь! Не теряй ни минуты — теперь они уже знают...* Беги, скорее, *уноси ноги из этого города...*

Еще одна тяжелая волна выплеснулась на осыпающийся остов некогда существовавшего здесь причала, и тотчас же приглушенный шепот старика перерос в новый нечеловеческий, леденящий кровь вопль: *«Й-яаахххх!... яхааааа!...»*

Прежде, чем я успел хотя бы немного прийти в себя, он ослабил хватку, снял с моего плеча свою ладонь и ошалело бросился в сторону улиц, чуть забирая к северу, чтобы обогнуть развалины старой складской стены.

Я снова посмотрел на море, но теперь там уже точно ничего не было; затем поднялся, вышел на Уотер-стрит и глянул вдоль нее в северном направлении, хотя там, похоже, уже простыл и след Зэдока Аллена.

Едва ли мне удастся описать то настроение, которое произвел на меня этот эпизод — мучительный, жалкий, но одновременно безумный, какой-то гротескный, вселяющий ощущение непередаваемого ужаса. Паренек из бакалейной лавки предупреждал меня, что может произойти нечто подобное, и все же реальность превзошла все мои ожидания, вызвав в душе чувство полнейшего смутения и глубокой тревоги. Какой бы наивной ни казалась мне услышанная история, явная искренность тона и неподдельный страх Эздока передались и мне, вызвав все более усиливающееся беспокойство, слившееся воедино с моим прежним отращением и к этому городу, и к зависшей над ним мрачной тени порока и гибели.

Возможно, позже мне удастся тщательно просеять все полученные сведения и отобрать среди них крупницы истины, отделив их от наслоений исторических аллегорий, хотя тогда мне хотелось лишь одного — по крайней мере на время выкинуть все это из головы. К счастью, срок назначенного отъезда приближался с отрадной неотвратимостью — мои часы показывали пятнадцать минут восьмого, — а потому я постарался настроить свои мысли на самый что ни на есть нейтральный и практический лад, и быстро зашагал по пустынным улицам в направлении гостиницы, чтобы забрать свой багаж и сесть на долгожданный автобус, который должен был отправиться ровно в восемь.

Несмотря на то, что золотистый свет усталого летнего солнца придавал древним крышам и осыпающимся дымоходам оттенок некоей романтической прелести и даже умиротворенности, я почему-то то и дело робко оглядывался через плечо. Что и говорить, я горел желанием как можно скорее покинуть этот пропахший зловонием и окутанный страхом Иннсмаут, и очень рассчитывал на то, что в городе все же отыщется еще какой-нибудь автобус помимо того, которым управлял зловещего вида парень по фамилии Сарджент. Впрочем, несмотря на всю свою спешку, я все же изредка оглядывался по сторонам и замечал, что буквально с каждого тихого угла окружавших меня улиц открывался вид на какую-нибудь примечательную архитектурную деталь, тем более, что по приблизительным подсчетам, мне вполне должно было хватить получаса, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее меня от гостиницы.

Изучая предоставленную мне бакалейщиком импровизированную схему города и стараясь отыскать маршрут, кото-

рым мне до этого еще не доводилось воспользоваться, я вместо уже знакомой мне Марш-стрит решил добраться до городской площади по другой улице. Уже на подходе к ней я заметил несколько разрозненных групп каких-то людей, которые, как мне показалось, о чем-то тайком перешептывались друг с другом, а затем, достигнув площади, увидел, что у дверей Джилмэн-хауза собралась довольно внушительная толпа праздной на вид публики. Пока я получал свой багаж, они, казалось, не сводили с меня своих выпученных, водянистых, немигающих глаз, а потому я искренне, хотя во многом и безосновательно понадеялся на то, что они не окажутся моими спутниками в предстоящем путешествии.

Где-то незадолго до восьми показался грохочущий автобус, в салоне которого сидело три пассажира. Когда он остановился, один из парней с подчеркнуто грозным видом подошел к спустившемуся на тротуар водителю и пробормотал ему несколько неразборчивых слов. Затем Сарджент выволок из салона пакеты с почтой и газетами и прошел в фойе гостиницы, тогда как пассажиры — та же троица, которую я имел возможность наблюдать утром в Ньюбэрипорте, — прошаркала к тротуару и обменялась несколькими гортанными словами со стоявшими там бездельниками, причем то, что мне удалось услышать из их реплик, никак не походило на английский язык. Я поднялся в салон и занял то же самое место, на котором ехал сюда, однако еще до того как мне удалось как следует устроиться, вновь появился Сарджент, принявшийся что-то бормотать своим хриловатым, надтреснутым и в целом довольно мерзким голосом.

Как вскоре выяснилось, мне чертовски не повезло. По его словам, что-то случилось с двигателем — пока ехал из Ньюбэрипорта, все, вроде бы, было в порядке, а сейчас вот взял и забарахлил, так что ехать на таком автобусе в Эркхам никак нельзя. Увы, до конца дня починить его не удастся, а кроме него в городе сейчас нет никакого свободного транспорта, на котором можно было не то, чтобы до Эркхама добраться, а и вообще куда-то уехать из Иннсмаута. Сарджент еще некоторое время выражал свое сожаление, однако мне не оставалось ничего иного, как заночевать в заведении Джилмэна. Как знать, может мне удастся договориться о приемлемой цене за номер, однако это и в самом деле оставалось единственным, что я мог сделать в сложившейся ситуации.

Охваченный горькой тоской от столь неожиданного крушения всех моих планов, и отчаянно ненавидя саму мысль о том, что придется провести ночь в этом затхлом, полутемном городе, я спустился из автобуса и вновь вошел в вестибюль гостиницы, где мрачноватый и довольно странный ночной

клерк сказал мне, что я могу остановиться в номере 428. Располагался он на предпоследнем этаже, по его словам, был довольно просторным, цена была вполне подходящей, всего один доллар в сутки.

Подавляя в себе все воспоминания о том, что мне довелось услышать в Ньюбэрипорте об этой гостинице, я расписался в книге гостей, уплатил доллар и позволил портье отнести свой чемодан. После этого я и сам поплелся вслед за угрюмым служителем наверх, преодолев три пролета поскрипывающих лестничных ступеней и пройдя по запыленным коридорам, в которых, как мне показалось, не было заметно ни малейших признаков жизни. Предназначавшаяся мне комната оказалась довольно мрачной, с самой простой, дешевой мебелью и двумя окнами, выходившими на довольно темный, окаймленный невысокой кирпичной стеной внутренний двор. Чуть выше проступала панорама тянувшихся в западном направлении ветхих крыш, а за ними в отдалении маячили просторы заболоченной сельской местности. В дальнем конце коридора располагалась ванна — гнетущее, чуть ли не античных времен помещение с древним мраморным умывальником, жестяным обогревателем, тусклой электрической лампочкой и заплесневелыми деревянными панелями, едва прикрывавшими водопроводные трубы.

Поскольку было еще довольно светло, я снова вышел на площадь и огляделся в поисках места, где можно было бы поужинать, по-прежнему ловя на себе крайне недружелюбные взгляды праздных зевак. С учетом того, что лавка знакомого бакалейщика была уже закрыта, мне пришлось воспользоваться услугами того самого ресторана, который был отвергнут мною поначалу. Согбенный, узкоголовый мужчина со ставшими уже почти для меня привычными выпученными, немигающими глазами да плосконосая девица с невероятно толстыми и неуклюжими руками взялись за мое обслуживание. К своему немалому облегчению я обнаружил, что основная часть продуктов, которыми пользовались в этом заведении, представляла из себя консервы и расфасованные пакеты. С меня хватило миски овощного супа с крэкерами, сразу после чего я вернулся в свою унылую комнату, предварительно купив у по-прежнему угрюмого портье лежавшие на рахитичной стойке вечернюю газету и какой-то засиженный мухами журнал.

Когда стало смеркаться, я включил чахлую электрическую лампочку, висевшую над изголовьем дешевой металлической кровати, и попытался продолжить начатое ранее чтение. Мне хотелось чем угодно занять свой мозг, поскольку я отчетливо понимал, что не испытаю никакого удовольствия,

если стану и дальше терзать себя мыслями обо всех уродствах этого древнего, изъеденного следами порчи города, тем паче, что я все еще находился в его полной власти. Безумная история, которую мне довелось услышать из уст престарелого пьяницы, отнюдь не сулила приятных сновидений, а потому я решил, что чем реже буду вспоминать его дикие, водянистые глаза, тем будет лучше.

Помимо этого я решил не особенно сосредоточивать свое внимание на том, что неизвестный мне фабричный инспектор рассказал кассиру железнодорожного вокзала в Ньюбэрипорте о Джилмэн-хаузе и призрачных голосах его ночных постояльцев. Было бы гораздо лучше и спокойнее также вытеснить из своего сознания образ того человека в тиаре, которого я заметил в черном дверном проеме местной церкви — лицо это переполняло меня таким ужасом, что новые воспоминания о нем причинили бы моему рассудку лишние и совершенно ненужные страдания. Возможно, мне действительно удалось бы отвлечься от столь безрадостных дум, не будь окружавшая меня обстановка гостиничного номера столь неприглядной и затхлой. Именно эта могильная заплесневелость в сочетании с всепроникающим, зловонным и, казалось, пропитавшим весь город рыбьим запахом, вновь и вновь подталкивала мой утомленный рассудок к мыслям о смерти и разложении.

Другое обстоятельство, которое вызвало у меня немалое беспокойство, заключалось в том, что на внутренней стороне двери моей комнаты не было никакой защелки или задвижки. Первоначально таковая существовала, о чем отчетливо свидетельствовали оставшиеся следы от шурупов, однако сравнительно недавно запоры почему-то были сняты. Скорее всего, по причине их поломки — в столь ветхом строении буквально на каждом углу встречались какие-то дефекты и неисправности. Несколько раздосадованный данным обстоятельством, я принялся осматривать комнату и вскоре, к своему немалому удивлению, обнаружил лежавшую на шкафу для белья дверную задвижку, причем, судя по расположению отверстий на ней и на двери, мне показалось что это была именно та, недавно снятая. Чтобы хотя бы немного отвлечься от мрачных раздумий и переживаний, я принялся прилаживать задвижку на прежнее место, для чего воспользовался портативным и весьма удобным набором инструментов, в который входила и отвертка, и с которым я никогда не расставался во время своих поездок. Задвижка и в самом деле встала точно на свое прежнее место, и я облегченно вздохнул, когда обнаружил, что смогу перед сном относительно надежно за-

переть дверь. Дело было даже не в том, что я имел какие-то реальные опасения на этот счет — просто, находясь в заведениях подобного типа и класса, всегда приятно иметь перед глазами хоть какой-то атрибут, любой, пусть даже самый примитивный символ безопасности. На двух боковых дверях, соединявших мой номер с соседними, задвижки были на месте, но я все же позаботился о том, чтобы как следует подвинтить удерживающие их шурупы.

Раздеваться я все же не осмелился, а просто снял плащ, галстук и обувь, и вознамерился читать до тех пор, пока сон окончательно не сморит меня. Вынув из чемодана карманный фонарь, я переложил его в карман брюк, чтобы иметь возможность взглянуть на часы, если неожиданно проснусь посреди ночи. Сон, однако, никак не приходил. Когда я прекратил анализировать свои мысли, то к собственному неудовольствию обнаружил, что словно непроизвольно к чему-то прислушиваюсь — совершенно непонятному и одновременно жутковатому. Похоже, рассказ того инспектора все же оказал на меня более тревожное впечатление, нежели мне казалось прежде. Я снова попытался, было, читать, но вскоре обнаружил, что не способен воспринять ни строчки.

Спустя некоторое время мне показалось, что я и в самом деле слышу доносящееся из коридора размеренное поскрипывание ступеней и половиц, как если бы по ним кто-то шёл, и невольно удивился тому, что именно в столь поздний час комнаты гостиницы вдруг стали заполняться постояльцами. Голосов, правда, слышно не было, и до меня внезапно дошло, что пол поскрипывает как-то необычно, словно передвигающийся по нему человек — или даже несколько людей — стараются ступать как можно более тихо, буквально крадучись. Мне это определенно не понравилось и я всерьез засомневался, стоит ли в подобной ситуации вообще стараться заснуть. Как я уже успел убедиться, город был населен поистине странными типами, а кроме того здесь, насколько мне было известно, уже отмечались случаи загадочного исчезновения людей. Не была ли эта гостиница вообще именно тем заведением подобного рода, где человека могут запросто убить, хотя бы ради денег? (По мне, правда, едва ли можно было сказать, что я купаюсь в роскоши и набит деньгами). Или, может, местные жители подобным диковатым способом выражают свою неприязнь к почему-то привлечшим их внимание приезжим? Не могли ли мои сегодняшние прогулки, сопровождавшиеся регулярным заглядыванием в самодельную карту, привлечь их повышенное внимание к моей скромной персоне? Я поймал себя на мысли о том, что и в самом деле, похоже, пребываю в довольно нервном состоянии, если даже не-

сколько случайных поскрипываний половиц в коридоре наводят меня на подобные мысли, — и все же с сожалением подумал о том, что невооружен.

Наконец я почувствовал как бремя усталости; в котором, однако, не было и намека на сонливость, стало слишком тяжелым, а потому запер наружную дверь на ключ, потом на недавно установленную задвижку, выключил свет и улегся на жесткую, неровную кровать, предварительно, как и задумал, сняв галстук и башмаки. В ночной тишине каждый слабый шорох казался чуть ли не оглушительным, а кроме того мое сознание буквально утопало в потоках хаотичных и весьма малоприятных мыслей. Я уже начал сожалеть о том, что выключил свет, однако чувство безмерной усталости не позволяло мне снова встать и подойти к выключателю. После довольно долгого и отчаянно томительного ожидания я вновь расслышал поскрипывание ступеней лестницы и половиц в коридоре, сменившееся мягким, но чертовски знакомым звуком, явившимся как бы зловещим завершением всех моих тревожных ожиданий. У меня не было и тени сомнений в том, что кто-то пытается — осторожно, робко, неслышно — отпереть дверь ключом.

Возможно, мои ощущения от осознания данного знака явной угрозы оказались не столь обостренными, как того можно было бы в подобной ситуации ожидать, но произошло это по той простой причине, что, своими предыдущими смутными страхами я уже отчасти подготовил нервы к подобному потрясению. Вроде бы без особого на то основания, я все это время был, можно сказать, на чеку, что явно дало мне некоторое преимущество в новых и пока не до конца понятных мне условиях сгущающейся опасности. И все же я не мог не признать, что переход от размытого и неконкретного предчувствия беды к реальному восприятию ее конкретных признаков оказал на меня поистине шокирующее воздействие, мощным ударом обрушившись на мой утомленный рассудок. Мне как-то даже в голову не пришло, что подобное шуршание могло быть всего лишь результатом самой банальной человеческой ошибки, и все, о чем я мог подумать в те минуты, сводилось лишь к чьей-то зловещей целеустремленности, а потому я застыл, скованный смертельной неподвижностью, и тревожно ожидая, какой же следующий шаг предпримет мой невидимый и непрощенный гость.

Спустя некоторое время осторожное шуршание стихло и я услышал, как кто-то отпер дверь в смежную, расположенную с северной стороны от меня комнату, после чего испытанию на прочность подверглась уже дверь, соединявшая эту комнату с моей. Убедившись в безуспешности своих попы-

ток — задвижка, к счастью, выдержала, — загадочный субъект, поскрипывая половицами, покинул помещение. Вскоре все эта последовательность действий и звуков повторилась, но уже со стороны южной от меня комнаты: вновь мягкий скрежет ключа или отмычки в замке, подергивание ручки двери и негромкое поскрипывание удаляющихся шагов. На сей раз слух подсказал мне, что таинственный взломщик удалился по коридору в сторону лестницы и стал спускаться по ней: он, очевидно, понял, что все его усилия так и останутся тщетными, а потому оставил — по крайней мере, на некоторое время — свои попытки, определенно вознамерившись обдумать сложившуюся ситуацию.

Та готовность, с которой я уже через несколько мгновений приступил к разработке конкретного плана действий, свидетельствовала о том, что внутренне я давно был готов к подобной надвигающейся угрозе, и в течение ряда часов подсознательно готовился к возможному бегству. Я сразу же смекнул, что не следует дожидаться повторения коварным незнакомцем попыток проникнуть ко мне в комнату или, тем более, уповать на то, что мне каким-то образом удастся противостоять подобному вторжению, а вместо этого надо как можно скорее уносить ноги. Первое, что я должен был сейчас сделать, это по возможности живым покинуть гостиницу, причем не по лестнице и через вестибюль, а каким-то иным путем.

Неслышно встав с кровати, я зажег фонарь и прошел к настенному выключателю висевшей над кроватью лампы, чтобы в тусклых лучах ее света распахнуть по карманам самые необходимые мне вещи для последующего бегства налегке. Послышался щелчок, однако ничего не произошло — электричество, похоже, было отключено. Я сразу понял, что в действие был пущен какой-то направленный против меня злобный и достаточно широкомасштабный план; хотя суть его по-прежнему ускользала от моего понимания. Я все так же стоял и щелкал бесполезным теперь выключателем, когда мой слух вновь различил доносившееся откуда-то снизу негромкое, приглушенное поскрипывание и, как мне показалось, чьи-то голоса. Спустя несколько секунд я, однако, понял, что глубокие, низкие звуки едва ли были натуральными человеческими голосами, поскольку хриплое, грубое твяканье и совершенно нечленораздельное бульканье не имели никакого отношения к нормальной человеческой речи. В тот же момент мне вновь на память пришло то, что сказал тот фабричный инспектор о звуках, доносившихся до него в ночи, когда он также находился в этой полуразвалившейся, омерзительной гостинице.

Воспользовавшись фонарем, я сунул в карманы кое-какие личные вещи, нацепил шляпу и на цыпочках прошел к окну, чтобы оценить свои шансы к бегству именно таким путем. Вопреки существовавшим официальным предписаниям, пожарной лестницы с этой стороны гостиницы не было, а потому под окнами моей комнаты на четвертом этаже простиралось лишь мощеное булыжником пространство внутреннего двора. Справа и слева к гостинице примыкали какие-то древние и столь же ветхие кирпичные постройки явно нежилого назначения; их покатые крыши отстояли на относительно небольшом, во всяком случае, вполне доступном для прыжка расстоянии. Чтобы достичь кромки любой из этих построек, мне, однако, нужно было находиться в комнате, отстоящей от моей собственной на пару номеров вправо или влево, и мой расчет сразу же приступил к проработке вариантов того, каким образом я смог бы осуществить необходимое перемещение.

О том, чтобы выйти в коридор, естественно, не могло быть и речи; мало того, что внизу сразу слышали бы звук моих шагов, но могло вообще получиться так, что дверь в нужную мне комнату окажется заперта. Таким образом, своей цели я мог бы достичь — если ее вообще можно было достичь, — лишь проходя через относительно менее прочные внутренние двери, соединяющие комнаты друг с другом, сокрушая при этом замки и задвижки силой своего корпуса и плеч, которым предстояло действовать наподобие тарана. Подобный план действий показался мне вполне приемлемым с учетом шаткости и непрочности всех здешних конструкций и запоров, хотя я и отдавал себе отчет в том, что подобную операцию не удастся провести совершенно бесшумно. Основной мой расчет делался на стремительность продвижения, а также на то, что преследователи не успеют разгадать мой замысел и отрезать пути к бегству, раньше меня открыв отмычкой дверь нужной мне комнаты. Свою собственную дверь я предварительно забаррикадировал изнутри при помощи небольшого комода, который передвигал медленными шажками, стараясь производить как можно меньше шума.

При этом я осознавал, что реальные шансы к спасению у меня весьма невелики, а потому, в общем-то, был готов к любой неприятности. В сущности, даже если мне удалось бы достичь крыш тех строений, это все равно не гарантировало успеха, поскольку после этого надо было еще спуститься на землю и покинуть сам город. Правда, на руку мне играло то обстоятельство, что соседние дома явно пустовали и пребывали в состоянии крайней разрухи, причем на каждом их этаже в изобилии зияли черные оконные проемы.

Вспомнив структуру карты, нарисованной молодым бака-

лейщиком, я смекнул, что наиболее предпочтительным путем к бегству будет маршрут, пролегающий в южном направлении, а потому решил начать с двери, которая вела именно в южную соседнюю комнату. Еще несколько секунд ушло на выяснение того факта, что открывалась она, к сожалению, на меня, а когда я отпер свой засов и обнаружил, что с другой стороны его дублирует точно такой же, причем запертый, то и вовсе убедился в ее абсолютной непригодности в качестве полигона для опробования моей физической силы. Мысленно вычеркнув из своего сознания данное направление к бегству, я, тем не менее, стал осторожно придвигать к этой двери кровать, поскольку не исключал, что прорываться ко мне могут также и отсюда.

Северная дверь открывалась, к счастью, от меня, а потому я решил — даже убедившись в том, что она также заперта на задвижку с противоположной стороны, — что мне предстоит именно на ней испытать свое счастье. Если бы мне удалось достичь крыш зданий на Пэйн-стрит и благополучно спуститься на землю, то, возможно, я смог бы проскользнуть через внутренний двор и соседние или противоположные строения, и оказаться на одной из соседних улиц. В любом случае, я намеревался первым делом достичь Вашингтон-стрит, а затем как можно скорее покинуть район городской площади. При этом мне, по возможности, следовало избегать Пэйн-стрит, поскольку именно на ней находилась пожарная станция, которая могла быть открыта даже ночью.

Перебирая в мозгу все эти мысли, я окидывал взглядом раскинувшееся подо мной унылое и жалкое море прогнивших крыш, в данный момент освещенных лучами почти полной луны. Справа от меня панораму пересекал чернеющий разрез устья реки, к которому словно приклеились постройки опустевшей фабрики и бывшей железнодорожной станции. А еще дальше простирались бездействующее полотно железной дороги и шоссе на Роули, которые тянулись через равнинную болотистую местность, усеянную островками более сухой и возвышенной, поросшей чахлым кустарником земли. Располагавшийся слева от меня участок территории, изрезанный притоками реки, казался ближе, а узкая дорога на Ипсвич белесо поблескивала в лучах лунного света. Со моей стороны гостиницы не была видна местность, простиравшаяся к югу, в направлении Эркхама, хотя именно туда я и намеревался в дальнейшем двигаться.

Я все еще пребывал в состоянии бесплодных раздумий над тем, когда именно мне предпринять атаку на северную дверь, и как это лучше всего сделать, чтобы получилось не особенно шумно, когда неожиданно заметил, что глухое бормотание

доносившееся откуда-то снизу, сменилось новым и более громким поскрипыванием половиц. Сквозь фрамугу входной двери внутрь комнаты проникли слабые, подрагивающие лучи света, а пол коридора протяжно застонал под воздействием громоздкой перемещающейся тяжести. Приглушенные голоса с каждой секундой звучали все более отчетливо, и вскоре сменились довольно решительным стуком в дверь.

На какое-то мгновение я затаил дыхание и замер на месте. Казалось, минула целая вечность, но мои ноздри тут же подсказали мне, что вездесущий и тошнотворный рыбный запах как-то внезапно окреп, словно сгустился, обретя особую резкость и отчетливость. Вскоре стук повторился — на сей раз это были уже более громкие и продолжительные удары. Я понял, что настало время действовать, быстро отодвинул засов северной двери и всем телом обрушился на нее. Во входную дверь, между тем, уже отчаянно барабанили, и я искренне надеялся на то, что эти звуки заглушат производимый мною грохот. Однажды начав свои попытки взломать дверь, я уже не мог остановиться, сокрушая тонкую перегородку и совершенно не обращая внимания на боль в левом плече и сотрясение всего тела. Прочность этой двери превзошла мои ожидания, однако я настойчиво продолжал свои попытки. Барабанный грохот во входную дверь между тем все усиливался.

Наконец моя преграда не выдержала, хотя и произошло это с таким оглушительным шумом, что снаружи его просто не могли не услышать. В тот же момент под сокрушительными ударами заколыхалась и дверь моей комнаты, — и в тот же момент в замочных скважинах входных дверей в соседние со мной комнаты зловеще заскрежетали ключи. Ворвавшись в смежное помещение, я первым делом устремился к входной двери и успел защелкнуть задвижку прежде, чем находившиеся в коридоре существа успели отпереть замок; однако даже сделав это, я не мог не расслышать, как наружный замок уже третьей двери — той самой, из окна которой я и намеревался совершить прыжок на простирившиеся внизу крыши домов — также пытаются отпереть ключом.

На какое-то мгновение меня охватило полное отчаяние, поскольку очутиться в замкнутом помещении, вообще лишенном окон — а именно такой и оказалась моя нынешняя обитель — представлялось мне полнейшим поражением. Меня захлестнула волна почти безумного, непередаваемого страха, но в тот же момент взгляд упал на освещенные лучом фонаря следы, оставленные на пыльном полу тем самым таинственным взломщиком, который не так давно пытался проникнуть отсюда в мою комнату. Вслед за этим я, все еще не избавившись от ощущения охватившей меня безнадежности,

машинально рванулся к противоположной соединительной двери, чтобы обрушиться на нее, сокрушить так же, как и ее предшественницу и — если только задвижка на входной двери в нее, как и на двери в эту, вторую комнату, окажется цела — успеть запереться изнутри, прежде чем ее успеют открыть ключом из коридора.

Судьбе было вольно дать мне небольшую передышку, поскольку соединительная дверь передо мной была не только не заперта, но и вообще распахнута настежь. Через какую-о секунду я влетел в третью комнату и тут же подпер плечом и бедром входную дверь, которая как раз начала, было, слегка приоткрываться вовнутрь. Мое неожиданное сопротивление явно застигло взломщика врасплох — он резко отпрянул, так что я смог без труда вставить задвижку в полагавшееся ей место на косяке двери. Остановившись и пытаясь хотя бы немного отдышаться, я услышал, что удары по двум соседним дверям несколько ослабли, зато послышались возбужденные голоса со стороны той боковой двери, которую я подпер каркасом кровати. Я понял, что мои преследователи все же ворвались в южную комнату и теперь энергично пытались взломать соединительную дверь между нею и моим временным жилищем. Однако одновременно с этим я вновь услышал характерный звук поворачиваемого ключа, причем доносился он уже со стороны входной двери следующей, расположенной к северу от меня комнаты, и тут же понял, что именно отсюда исходит наиболее реальная угроза.

Северная соединительная дверь была широко распахнута, но у меня не было времени проверять положение задвижки у входа, поскольку в замке его уже также начал поворачиваться ключ. Все, что мне оставалось сделать, это захлопнуть обе соединительные двери справа и слева от меня, и придвинуть к ним уже знакомые предметы — к одной комод, а к другой каркас кровати. В дополнение ко всем этим мерам я подтянул ко входной двери массивный мраморный умывальник. Разумеется, я отчетливо осознавал всю ненадежность подобного рода укреплений и все же надеялся на то, что они хотя бы недолго продержатся и, таким образом, я получу возможность выбраться в окно и спуститься на крыши зданий, выходивших на Пэйн-стрит. Однако даже в столь отчаянный момент самый жуткий страх у меня в душе вызывали отнюдь не сомнения в надежности моих временных бастионов — нет, меня буквально начинало колотить при одной лишь мысли о том, что за все это время никто из моих преследователей не произнес и даже не пробормотал на фоне непрерывного, запыхавшегося сопения, ворчания и приглушенного, завывающего гавканья ни одного членораздельного слова.

Передвинув мебель и бросившись к окну, я услышал еще более встревоживший меня гомон, устремившийся по коридору в направлении северной от меня комнаты, и одновременно заметил, что звуки ударов с южной стороны стихли. Стало ясно, что основная часть моих противников решила сконцентрировать усилия на весьма хилой и непрочной соединительной перегородке, взломав которую, они получили бы доступ непосредственно ко мне. Лунный свет за окном довольно ярко освещал кромку домов, и, мельком взглянув на них, я понял, что покатая и какая-то осклизлая поверхность крыш, на одну из которых мне предстояло приземлиться, делала мой прыжок довольно-таки рискованным мероприятием.

Прикинув складывающуюся обстановку, я остановил свой выбор на том окне, которое располагалось южнее, и намеревался опуститься на внутренний скат крыши, после чего докарабкаться до ближайшего слухового окна. Разумеется, я отдавал себе полный отчет в том, что даже оказавшись внутри одной из ветхих кирпичных структур, мне все равно не избежать преследования; и все же я надеялся на успех, намереваясь затеряться в бесчисленных зияющих дверных проемах домов и затемненных внутренних дворах, после чего в конце концов добраться до Вашингтон-стрит и выскользнуть из города в южном направлении.

Удары по северной соединительной двери сопровождались ужасающим грохотом, и я увидел, что тонкая деревянная панель начала трескаться. Несомненно, преследователи раздобыли и принесли какой-то массивный предмет и стали действовать им наподобие тарана. Как ни странно, «кроватьная» подпорка пока держалась, так что у меня появилась, по крайней мере, возможность испробовать свой шанс на спасение.

Лишь подойдя к окну вплотную, я обнаружил, что оно задрапировано тяжелыми бархатными шторами, цеплявшимися за перекладину вшитыми в них бронзовыми кольцами, и что ставни с наружной стороны снабжены массивной, выступающей наружу защелкой. Стремясь максимально обезопасить себя перед лицом предстоящего довольно опасного прыжка, я резко подергал за шторы и они, а вместе с ними и сама перекладина, свалились на пол; после этого я зацепил два кольца за выступ защелки и выбросил ткань наружу. Тяжелые складки опустились на прилегающую крышу, после чего я убедился, что и кольца, и задвижка вполне выдержат вес моего тела. Таким образом, цепляясь за шторы как за своего рода импровизированную веревочную лестницу, я стал спускаться вниз, оставляя позади омерзительное и наполненное всевозможными гадостями заведение, именовавшееся Джилмэн-хаузом.

Благополучно ступив на расшатанные шиферные пластины покато́й крыши, я довольно быстро, и даже ни разу не поскользнувшись, достиг ближайшего зияющего черного проема слухового окна. Глянув на окно гостиницы, которое покинул несколько секунд назад, я заметил, что оно оставалось по-прежнему неосвещенным и пустым, тогда как где-то в отдалении к северу, за рассыпающимися дымоходами виднелись зловеще поблескивающие огни зала «Ордена Дэгона», а также бывших баптистской и методистской церковей, образы которых тотчас же отчетливо и грозно всплыли в моем сознании. Во внутреннем дворе подо мной, казалось, не было ни души, а потому я продолжал питать робкую надежду улизнуть отсюда еще до того, как будет объявлена общая тревога. Посветив фонарем в проем слухового окна, я не обнаружил под ним ступеней; впрочем, высота была небольшой, а потому я ухватился за его край и стал сползать вдоль кирпичной кладки стены, после чего, разжав руки, приземлился на запыленный и захламленный сгнившими ящиками и бочками пол.

Помещение, в котором я оказался, имело довольно мерзкий вид, однако мне было уже не до впечатлений и эмоций, а потому я быстро устремился к лестничному пролету, на который наткнулся луч моего фонаря, успев при этом все же мельком глянуть на наручные часы — они показывали два часа ночи. Ступени отчаянно скрипели, но в целом казались достаточно надежными, а потому я опрометью бросился вниз и, миновав второй этаж, оборудованный под подобие амбара или сарая, оказался на полу первого. Там царило полнейшее запустение и потому каждому моему шагу вторило гулкое эхо. Наконец я достиг нижнего холла, в дальнем конце которого увидел едва различимый светящийся прямоугольник, который, как я смекнул, был призван обозначать выходящий на Пэйн-стрит дверной проем. Направившись, однако, в противоположную сторону, я установил, что задняя дверь также открыта, тут же бросился к ней и, перелетев через пять каменных ступенек, оказался на поросшем травой булыжном покрытии внутреннего двора.

Лунный свет сюда не проникал, однако я и без него мог достаточно неплохо ориентироваться даже без фонаря. В некоторых окнах Джилмэн-хауза можно было различить слабые проблески света и мне показалось, что я даже смутно слышу доносящиеся изнутри приглушенные голоса. Осторожно ступая в направлении Вашингтон-стрит, я обнаружил несколько распахнутых настежь дверей и юркнул в первую же, намереваясь таким образом выбраться наружу. Коридор за ней оказался темным, но когда я достиг противоположного

его конца, то обнаружил, что выходящая на улицу дверь наглухо заперта. Тогда я решил проверить следующее здание и стал пробираться обратно в сторону внутреннего двора, но, едва дойдя до порога, остановился как вкопанный.

В этот самый момент из распахнутых дверей Джилмэн-хауза вывалилась внушительных размеров толпа, состоявшая из весьма сомнительных на вид существ — в темноте раскачивались зажженные фонари, а воздух оглашался низкими, хриплыми криками, в которых не было абсолютно ничего похожего на английскую речь. Двигались они, надо сказать, весьма нерешительно, и, как я вскоре к собственному облегчению обнаружил, совершенно не представляли себе, куда я мог подеваться. И все же меня вновь охватил самый настоящий ужас при виде этих практически неразличимых в деталях, но одинаково ссутулившихся, шаркающих ногами и в целом крайне отталкивающих существ. Хуже всего было то, что в одном из них я опознал фигуру, облаченную в уже знакомый мне странный наряд и с тиарой на голове.

Когда толпа стала растекаться по внутреннему двору, я испытал новый приступ страха. А вдруг мне так и не удастся найти в этом строении выход на улицу? Рыбий запах сводил меня с ума и я стал всерьез опасаться, как бы от всей этой вони не свалиться в обморок. Ощупью пробираясь в направлении улицы, я открыл дверь в холл и вступил в пустынную комнату, оконные проемы которой были закрыты ставнями, хотя рам на самих окнах не было. В считанные секунды я выбрался наружу, после чего тщательно и осторожно вернул створки в прежнее положение.

Итак, я оказался на Вашингтон-стрит и в первое мгновение не увидел на ней ни единой живой души и ни огонька, если не считать белевшего над головой лунного диска. Вместе с тем, я явно различал доносившиеся с нескольких сторон хриплые голоса, звук шагов и какое-то странное шлепанье, которое отнюдь не походило на человеческие шаги. Мне нельзя было терять ни секунды. Я достаточно представлял себе направление дальнейшего продвижения и очень обрадовался тому обстоятельству, что фонари на столбах не горели, что, в общем-то, довольно часто наблюдалось по ночам в небогатых провинциальных городах. Некоторые звуки доносились откуда-то с юга, хотя я был твердо намерен двигаться именно в этом направлении. Кроме того, я знал, что по пути мне попадется немало пустующих домов, в распахнутые двери которых я всегда смогу юркнуть, спасаясь от возможных преследователей.

Шел я быстро, мягко ступая и стараясь держаться поближе к полуразрушенным каркасам домов. Лишившись во время

поспешного спуска из окна гостиницы своей шляпы и порядком растрепавшись, я, даже при встрече со случайным прохожим, имел немало шансов быть неузнанным. На Бэйтс-стрит я шмыгнул, было, в зияющий вестибюль одного из домов, но, натолкнувшись там на две неуклюжие фигуры, тут же снова оказался на улице, и стал приближаться к какому-то перекрестку. В этом районе я еще не успел побывать, но на карте молодого бакалейщика он был обозначен как довольно опасный, тем более, что в свете луны я был виден здесь, как на ладони. Я не стал пытаться обойти это место стороной, поскольку любые обходные пути были чреваты потерей драгоценного времени, а также перспективой оказаться на еще более освещенном месте. Самым разумным было просто и открыто пересечь его, что я и сделал, стараясь максимально имитировать шаркающую походку коренных жителей Иннсмаута, и моля Господа лишь о том, чтобы по пути не оказалось ни одного их живого представителя, по крайней мере из числа моих преследователей.

Я не имел ни малейшего представления о том, сколь велики были масштабы действий и численность моих преследователей, равно как и то, какую цель — помимо моей мысли — они при этом преследовали. В городе уже отмечались первые смутные признаки какой-то активности, однако я рассчитывал на то, что слухи о моем бегстве из гостиницы не успели получить достаточно широкого распространения. Я уже знал, что довольно скоро мне придется свернуть на какую-нибудь другую улочку, хотя и ведущую в том же направлении, поскольку понимал, что та толпа, что наведальась за мной в гостиницу, будет по-прежнему пытаться найти меня. Кроме того, я наверняка оставил немало следов в том старом доме, по которым можно было установить, каким образом я выбрался на улицу.

Открытое пространство, как я и предполагал, оказалось хорошо освещено, и в центре его я увидел остатки какой-то окруженной железной изгородью клумбы. К счастью, поблизости от меня никого не было, хотя со стороны городской площади продолжал доноситься странный и все нарастающий то ли гул, то ли рокот. Соседняя Саут-стрит оказалась очень широкой и чуть под уклон вела непосредственно к береговой линии — с нее открывалась довольно обширная панорама морской глади, и я искренне надеялся на то, что в данный момент никто оттуда не наблюдает за тем, как я пересекаю ярко освещенное лунным светом место.

Пока ничто не мешало моему продвижению и ни один звук не давал оснований подозревать, что преследователи приближаются. Оглянувшись, я непроизвольно и всего лишь на ка-

кую-то секунду сбавил шаг, чтобы посмотреть вдоль улицы в сторону моря, представлявшего сейчас собой великолепную, купающуюся в лучах лунного света панораму. Вдалеке за линией волноломов виднелась темная расплывчатая полоска рифа Дьявола, и, взглянув на него, я не мог в очередной раз не вспомнить те зловещие легенды, которые мне довелось услышать за последние полтора суток — легенды, в которых эта вереница зазубренных камней представляла как самые настоящие врата в царство бездонного ужаса и непостижимого уродства.

И в тот же миг, совершенно неожиданно для себя я увидел на отдаленном рифе перемежающиеся проблески света. В том, что они были вполне реальными, у меня не оставалось никаких сомнений, и потому они вновь пробудили в моем разуме слепой, не поддающийся никакому рациональному осмыслению страх. Мускулы тела мгновенно напряглись, готовые к стремительному и паническому рывку вперед, и лишь некая подсознательная осторожность да полугипнотическая замороженность удержали меня от поспешных действий. В довершение к этому жутковатому зрелищу я увидел, как схожие вспышки света вырываются также с куполообразной крыши Джилмэн-хауза, маячившей к северо-востоку позади меня — это была серия аналогичных, разделенных совершенно четкими промежутками миганий, которые, вне всякого сомнения, являлись ответными сигналами.

Стараясь сдерживать вереницу сменяющих друг друга импульсов и заново осознав всю ущербность своего ничем незащищенного, открытого для возможного обзора положения, я проворно, но по-прежнему отчаянно шаркая ногами, побрел дальше, одновременно стараясь не терять из виду тот дьявольский и зловещий риф, покуда контуры Саут-стрит оставляли мне возможность смотреть в сторону моря. Что означала вся эта загадочная процедура, я не имел ни малейшего понятия, хотя и можно было предположить, что она являлась составной частью какого-то странного ритуала, имевшего отношение к рифу Дьявола. Кроме того, я не исключал, что прибывшая на незамеченном мною судне какая-то группа людей просто зачем-то высадилась на этих зловещих камнях. Вскоре я стал поворачивать влево, оглябая чахлые остатки угасающей растительности, все так же поглядывая на освещенный призрачным сиянием летней луны океан и наблюдая за загадочными вспышками этих таинственных, непонятно откуда взявшихся бакенов.

Внезапно мой мозг пронзило осознание чего-то неимоверно ужасного, поистине ошеломляющего, лишившее меня последних остатков самоконтроля и заставившее опрометься, за-

быв про всякую маскировку, броситься бежать в южном направлении, мимо зияющих черных дверных проемов и порыбьи глазающих на меня окон домов, облепивших эту пустынную, кошмарную улицу. Дело в том, что на какое-то мгновение мой взгляд остановился на залитых лунным светом водах, заполнявших пространство между рифом и берегом, и я с ужасом обнаружил, что их поверхность была отнюдь не пустынной. Нет, сейчас они были заполнены кишашими ордами каких-то едва различимых существ, которые явно плыли в направлении города. Даже с того значительного расстояния, которое отделило меня от них, и с учетом мимолетности этого взгляда, я мог с определенностью сказать, что качающиеся головы и взмахивающие руки были совершенно чуждого людям, абсолютно ненормального вида, хотя сформулировать или хотя бы как-то осмыслить про себя, в чем именно эта ненормальность выражалась, я бы не взялся.

Мой отчаянный бег начал замедляться еще до того, как я достиг конца квартала, поскольку слева от себя я стал различать что-то похожее на шум или крики организованной толпы преследователей. Это был топот ног, гортанные звуки и тархтенье мотора, доносившиеся откуда-то со стороны Федерал-стрит. В считанные секунды мои планы претерпели коренные изменения — поскольку шоссе к югу от меня оказывалось, таким образом, заблокированным, мне следовало найти какой-то другой способ выбраться из Иннсмаута. Я сделал паузу и юркнул в пустой дверной проем, втайне радуясь тому, что смог преодолеть ярко освещенный лунным светом участок пути еще до того, как преследователи вышли на параллельную улицу.

То, что дошло до моего сознания несколько минут спустя, несколько охладило мой пыл. Я как-то неожиданно смекнул: раз преследователи двигались по соседней улице, то они, скорее всего не шли по моим горячим следам, то есть не гнались непосредственно за мной, а просто отсекали возможные пути к бегству из города. Но из этого напрашивался вполне логичный вывод о том, что все аналогичные дороги, ведущие из Иннсмаута, в настоящий момент или вскоре также будут заблокированы, поскольку никто не мог с определенностью сказать, каким именно путем я намерен воспользоваться. Если все действительно обстояло именно так, значит мне следовало покидать город отнюдь не по дорогам, а наоборот, держась как можно дальше от них. Но возможно ли это, если иметь в виду, что местность во всей округе испещрена бесчисленными заболоченными участками и мелкими речушками? На какое-то мгновение мой разум начал давать сбои — как от пронзительного осознания собственной беспомощности, так и от заметно усилившегося ощущения рыбьего запаха.

Именно тогда я вспомнил о давно заброшенной железнодорожной ветке, ведущей на Роули, чья основательно уложенная, покоящаяся на толстом слое щебня, поросшая травой и бурьяном полоса по-прежнему уходила в северо-западном направлении от располагавшейся неподалеку от реки заброшенной станции. У меня сохранялся шанс на то, что вся эта братия попросту забудет о ней, поскольку покрытая зарослями вереска пустынная полоса была весьма труднопроходима, и едва ли являлась именно тем путем, который избрал бы для себя отчаявшийся беглец. Я отчетливо видел ее из окна гостиницы и достаточно хорошо помнил путь к станции. В своей начальной части она довольно хорошо просматривалась со стороны дороги на Роули и с наиболее высоких точек в самом городе, но при желании по ней можно было некоторое расстояние проползти и остаться незамеченным за зарослями чахлой растительности. Как бы то ни было, иного выхода у меня не оставалось и я должен был испытать свой шанс.

Забравшись вглубь своего пустынного убежища, я вновь сверился с картой бакалейщика, подсвечивая ее лучом фонарика. Перво-наперво надо было каким-то образом добраться до самой железнодорожной ветки, и я сразу же подумал, что наиболее безопасным будет двинуться в сторону Бэбсон-стрит, затем повернуть на запад, после чего по довольно извилистой Бэнк-стрит, которая тянулась вдоль устья реки, пробраться к заброшенному и ветхому строению железнодорожной станции. Намерение направиться именно в сторону Бэбсон-стрит объяснялось моим нежеланием повторно выходить на тот открытый участок пути, который я уже пересекал, а также начинать продвижение в западном направлении с такой широкой улицы как Саут-стрит.

Оказавшись вновь на улице, я перешел на ее противоположную сторону, намереваясь как можно незаметнее продвигаться вперед. Со стороны Федерал-стрит по-прежнему доносились шумы, и, обернувшись, я вроде бы заметил проблеск света неподалеку от того дома, через который мне удалось скрыться из гостиницы. Стремясь поскорее покинуть этот район, я проворно затрусил вдоль домов, моля Бога лишь о том, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь досужему наблюдателю. Неподалеку от угла Бэбсон-стрит я не без тревоги заметил, что одно из строений было все еще обитаемым, что подтверждалось наличием на окнах штор; впрочем, свет внутри не горел, а потому мне удалось миновать его без каких-либо приключений.

На Бэбсон-стрит, которая пересекалась с Федерал-стрит и могла, таким образом, помочь мне локализовать местоположение моих преследователей, я старался держаться как

можно ближе к разваливающимся, неровным стенам домов; мне приходилось дважды замирать в дверных проемах, всякий раз, когда шум за спиной неожиданно усиливался. Открывавшееся впереди пустое пространство казалось широким, пустынным и залитым лунным светом, но теперь мне, к счастью, уже не надо было его пересекать. Теперь я начал смутно различать отголоски еще чьих-то приглушенных звуков, а осторожно выглянув из-за угла дома, увидел крытую машину, которая стремительно пересекла открытое пространство и устремилась в южном направлении.

Пока я так стоял и наблюдал, едва не задыхаясь от резко нахлынувшей волны рыбьей вони, омерзительность которой показалась мне особенно разительной после непродолжительного промежутка относительно свежего воздуха, мне удалось разглядеть группу неуклюжих, нелепо волочащих ноги существ, которые, чуть припрыгивая и шаркая ногами, тащились в том же направлении, что и машина, и тут же понял, что это была группа, которой, скорее всего, поручалось охранять дорогу на Ипсвич. Две из увиденных мною фигур были облачены в очень просторные одежды, причем голову одной украшала высокая, заостренная сверху тиара, сейчас ярко поблескивающая в лучах лунного света. Походка этого существа была настолько странной, что я невольно вздрогнул — мне показалось, что оно вообще не столько шло, сколько передвигалось прыжками.

Когда последний из членов группы скрылся из виду, я продолжил свое продвижение; проскользнув за угол, я поспешно перешел на другую сторону улицы, поскольку не мог исключать, что какой-нибудь отставший участник патрульной группы продолжает плестись сзади. Я по-прежнему слышал какие-то квакающие и постукивающие звуки, доносившиеся издалека со стороны городской площади, но все же преодолел начальный отрезок пути без каких-либо неприятностей.

Самые большие опасения у меня вызывала предстоящая перспектива очередного пересечения широкой и залитой лунным светом Саут-стрит, тем более, что с нее открывался вид на море, так что здесь мне пришлось бы пережить несколько весьма неприятных минут. Кто угодно мог выглянуть из окна или еще откуда-то, а, кроме того, любой отставший член патруля, удалявшегося по Элиот-стрит, также мог меня заметить. В последний момент я решил все же поумерить свою прыть и пересечь открытое место шаркающей походкой большинства коренных жителей Иннсмаута.

Когда перед моим взором вновь предстала панорама моря — на сей раз уже справа от меня, — я хотел, было, заста-

вить себя вообще не смотреть на него, и все же не смог удержаться, хотя это и был мимолетный и в общем-то косой взгляд, поскольку я по-прежнему продолжал шаркать в направлении маячившей впереди спасительной тени. Вопреки моим смутным ожиданиям, я не заметил на море особо злобующих перемен. Единственное, что могло привлечь мое внимание, была небольшая гребная шлюпка, направлявшаяся в сторону пустынных причалов — в ней я различил какой-то громоздкий, укрытый брезентом предмет. Хотя расстояние было немалым и я не мог разглядеть подробностей, мне показалось, что на веслах сидели какие-то типы с особо отталкивающей внешностью. Успел я различить также фигуры нескольких пловцов, тогда как на отдаленном черном рифе мерцало какое-то слабое, но вполне устойчивое сияние, а не те огоньки, которые мне довелось наблюдать прежде, причем цвет у этого бледного зарева был какой-то необычный, хотя я и не смог определить, какой именно. Поверх покатых крыш далеко впереди и чуть правее высился купол Джилмэн-хауза, хотя на сей раз он был объят почти непроглядной темнотой. Рыбья вонь, которая на несколько минут, казалось, рассеялась от легкого дуновения спасительного и милосердного ветра, нахлынула с новой, поистине одуряющей силой.

Не успел я еще до конца пройти улицу, когда услышал звуки шагов очередной группы, которая приближалась по Вашингтон-стрит с северной стороны. Как только она достигла широкого открытого пространства, откуда я впервые заметил столь встревожившие меня морские силуэты, мне стало ясно, что нас разделяет всего один квартал — и невольно ужаснулся при виде дьявольски аномальных лиц этих существ, и какой-то собачьей, явно недочеловеческой, согбенной поступи. Одно из них передвигалось просто по-обезьяньи, время от времени касаясь длинными руками земли, тогда как другое — в том странном наряде и тиаре — вообще не столько шло, сколько прыгало. Только тогда я смекнул, что это была та самая группа, которую я видел во дворе Джилмэн-хауза, и она, судя по всему, преследовала меня наиболее плотно. Когда несколько типов глянули в мою сторону, я едва, было, не застыл на месте от страха, однако все же как-то заставил себя тащиться вперед все той же якобы привычной мне, шаркающей походкой. Вплоть до настоящего времени я толком не знаю, заметили они меня или нет. Если да, то, значит, моя уловка сработала и они ничего не заподозрили, поскольку проследовали прежним курсом и пересекли открытое пространство, все время продолжая издавать какие-то квакающие, булькающие, омерзительно-гортанные звуки, в которых я не мог разобрать ни единого человеческого слова.

Вновь оказавшись в тени, я прежней рысцой миновал несколько покосившихся, рассыпающихся домов, стараясь как можно полнее раствориться в окружавшей меня ночной темноте. Перейдя на противоположную сторону улицы, я на ближайшем углу свернул на Бэйтс-стрит и побрел дальше, по-прежнему держась поближе к домам. Мне снова повстречались два дома, в которых можно было различить признаки жизни, а на верхнем этаже я даже заметил проблески слабого света, однако и на сей раз все прошло без каких-либо осложнений. Свернув на Адамс-стрит, я почувствовал себя в большей безопасности, однако пережил настоящий шок, когда из ближайшего дверного проема чуть ли не у меня под носом на улицу выскользнул какой-то человек. Он, правда, оказался вдрызг пьян, а потому я без особого труда достиг складских помещений на Бэнк-стрит.

Ни одной живой души нельзя было заметить на этой мертвой улице, тянувшейся вдоль устья реки, а шум падающей воды полностью заглушал мои шаги. До железнодорожной станции путь был неблизкий, и кирпичные громады складских помещений почему-то казались мне сейчас даже более опасными, чем фасады жилых домов. Наконец я увидел древнее сводчатое строение станции — точнее, то, что от нее осталось, — и направился прямо к путям, которые начинались у его дальнего конца.

Рельсы основательно проржавели, однако производили впечатление довольно целых, да и почти половина шпал также пребывала в достаточно нормальном, крепком состоянии. Идти, а тем более бежать по подобному покрытию было крайне трудно, однако я старался изо всех сил и в целом развил весьма приличную скорость. Некоторое время пути пролегли вдоль устья реки, однако вскоре я достиг длинного крытого моста, где они проходили над головокругительной бездной. В зависимости от нынешнего состояния моста мне предстояло определить маршрут дальнейшего передвижения. Если человек все же в состоянии пройти по нему, я так и сделаю; если же нет, придется вновь блуждать по улицам в поисках ближайшей, и хотя бы относительно безопасной переправы.

Громада похожего на сарай моста призрачно поблескивала в лучах лунного света, и я увидел, что по крайней мере на протяжении ближайших нескольких метров шпалы были на месте. Вступив на него, я включил фонарь и едва не был сбит с ног несметными полчищами вылетевших откуда-то летучих мышей. Ближе к середине моста между шпалами зияла довольно широкая брешь, и я всерьез беспокоился, что она станет непреодолимым препятствием, однако все же отважился на отчаянный прыжок и каким-то образом преодолел ее.

Мне было отрадно снова оказаться под лучами лунного света, когда своды моста оказались позади. Рельсы пересекали Ривер-стрит на одном с ней уровне, однако сразу после этого отклонялись в сторону, вступая в местность, которая все более походила на сельскую, и где с каждым шагом все меньше ощущался омерзительный, гнилостный запах Иннсмаута. Здесь мне уже пришлось вступить в единоборство с зарослями чахлах, но довольно колючих кустарников и ползучего вереска, основательно потрепавших мою одежду, однако я и не думал роптать, поскольку в случае неожиданной опасности они могли бы стать достаточно сносным укрытием от возможных преследователей. При этом я ни на минуту не забывал, что большая часть маршрута моего передвижения могла просматриваться с дороги на Роули.

Совершенно неожиданно началась заболоченная местность — здесь проходила только одна колея, стлавшаяся по невысокой, поросшей травой насыпи среди заметно поредевшего кустарника. Затем попался своеобразный островок более приподнятой суши — рельсы здесь проходили через прорытый в нем проход, окруженный с обеих сторон канавами, также обильно поросшими травой и кустарником. Данное естественное укрытие оказалось как нельзя более кстати, поскольку именно в этом месте дорога на Роули, если полагаться на результаты моей рекогносцировки из окна гостиницы, проходила в опасной близости от железнодорожного полотна. Сразу по окончании земляного проема она должна была пересекать его и удаляться на более безопасное расстояние. Пока же мне приходилось проявлять особую бдительность и радоваться уже тому, что железную дорогу, похоже, пока никто не патрулировал.

Непосредственно перед тем как войти в этот проем, я бросил короткий взгляд назад, однако преследования не обнаружил. С этого расстояния рассыпающиеся шпилы и крыши Иннсмаута, окруженные желтоватым, волшебным сиянием лунного света, казались очень даже симпатичными и чуть ли не воздушными, и я невольно подумал о том, как же прекрасно они смотрелись до того, как над городом зависла эта страшная тень неведомого проклятия. Вслед за этим, когда я перевел взгляд от города вглубь суши, мое внимание привлекло нечто не столь умиротворяющее и даже пугающее, причем настолько, что я поневоле на мгновение застыл на месте.

То, что я увидел — или мне это лишь показалось? — представляло собой некое волнообразное колыхание, которое наблюдалось далеко к югу. Вскоре я понял, что по дороге на Ипсвич передвигается громадная толпа неведомых мне существ. Расстояние было слишком большим, а потому деталей

я не различал, однако вид этой продвигающейся колонны меня крайне встревожил. Слишком уж странно она колыхалась и неестественно ярко поблескивала в лучах сместившейся к этому времени к западу круглой луны. Несмотря на то, что ветер дул сейчас в противоположном направлении, я вроде даже разобрал нечто похожее на отдаленный шум, а долетавшее до моих ушей какое-то дьявольское царапанье и мычание показались еще более отвратительными и грозными, чем все те звуки, которые мне доводилось слышать до этого.

В моем мозгу пролетела вереница самых неприятных и, более того, отчаянных догадок. Я почему-то подумал о тех кошмарных иннсмаутских тварях, которые, как мне рассказывали, безвылазно скрывались в гигантских, зловонных муравейниках, буквально заповивших все морское побережье. На память пришли и те неведомые мне пловцы, которых я видел далеко в море. Более того, если принять во внимание численность всех тех групп, которые мне уже довелось наблюдать в эту ночь, а также тех отрядов, которые в настоящее время, очевидно, охраняли выходявшие из города дороги, массовость новой толпы преследователей казалась странно большой для почти безлюдного Иннсмаута.

Откуда же могла взяться вся эта армада, в настоящий момент представшая перед моим взором? Неужели те древние, таинственные катакомбы и в самом деле были заполнены полчищами представителей невиданной и неизвестной никому жизни? А может, некое загадочное судно и в самом деле ссадило всех их на тот дьявольский риф? Но кто они и почему оказались здесь? Ведь если столь внушительный отряд бродит по дороге на Ипсвич, не могло ли оказаться так, что патрули и на других дорогах также существенно усилены?

Я вступил в поросший кустарником проем в насыпи и принялся медленно продвигаться по нему, когда в очередной раз почувствовал нахлынувшую неизвестно откуда волну тошнотворного рыбьего запаха. Неужели ветер столь стремительно изменил свое направление и стал задуть с моря, проносясь над всем городом? Скорее всего, так оно и было, поскольку я тотчас же стал различать шокировавшее меня гортанное бормотание, доносившееся с той стороны, где доселе не было слышно ни звука. Но теперь к ним примешивались и другие звуки — нечто вроде слитного, массового хлопанья или постукивания, почему-то навевавшего на меня образы самого отвратительного и жуткого свойства. Я просто не знал, что и подумать о той волнообразно колыхавшейся массе неведомых тварей, перемещавшейся по дороге на Ипсвич.

Внезапно все эти звуки и рыбья вонь как-то разом усили-

лись, окрепли, так что я на мгновение даже замер на месте, благодаря судьбу за то, что оказался на время прикрыт возвышающимся краем земляного проема. Именно здесь дорога на Роули проходила почти рядом со старым железнодорожным полотном, прежде чем через несколько десятков метров отклониться и уйти в противоположном направлении. Ко всему прочему по этой дороге сейчас что-то двигалось, так что мне оставалось ничего другого, кроме как упасть на землю и вжаться в нее в ожидании того момента, когда эта дикая процессия минует меня и скроется в отдалении. Хвала Всевышнему, что эти ублюдки не взяли с собой собак — хотя, едва ли это принесло бы им пользу с учетом той одуряющей, перешибающей любые посторонние запахи рыбьей вони, которая наполняла сейчас всю атмосферу. Укрывшись за кустами, обильно произраставшими в этой песчаной расщелине, я чувствовал себя в относительной безопасности, хотя и понимал, что загадочные твари вскоре пройдут не более, чем в ста метрах передо мной, и я смогу их разглядеть, тогда как они — если только судьба не сыграет со мной какую-нибудь злую шутку, — меня не заметят.

И все же мне вдруг стало жутко страшно даже просто поднять на них взгляд. Я увидел залитое лунным светом открытое пространство, которое им предстояло пересечь, и почему-то в мозгу промелькнула странная, даже нелепая мысль о том, как же они загрязнят, изгадят всю эту местность. Пожалуй, из всех иннсмаутских обитателей они были наиболее омерзительными — такими, которых никогда не захочешь вспомнить хотя бы для того, чтобы кому-то рассказать о них.

Вонь становилась просто невыносимой, а звуки представляли собой чудовищную смесь дикого побряхтывания, кваканья, завывания и лая, слившихся в единый, сплошной гомон, по-прежнему не имевший ничего общего с нормальной человеческой речью. Было ли это голосами моих преследователей? А может, они все же где-то нашли и взяли с собой собак, хотя за весь день мне ни разу не встретилось в городе ни одно из традиционных домашних животных. Это их похлопывание или постукивание казалось чудовищным, и я не смел даже взгляда поднять на порождавших его тварей, твердо вознамерившись держать глаза плотно закрытыми вплоть до того, как они не скроются в западном направлении.

Теперь толпа проходила почти напротив того места, где я находился — воздух был заполнен их хриплым гавканьем, а земля, казалось, подрагивала от нелепых, чуждых всему человеческому шагов. Я почти не дышал и собрал всю свою волю в кулак, лишь бы — не дай Бог! — не размежить веки.

Я и до настоящего времени не в состоянии точно опреде-

литель, были ли следовавшие за этим события реальностью или всего лишь кошмарной галлюцинацией. Недавние действия властей, предпринятые после моих отчаянных призывов и ходатайств, скорее всего подтвердят то, что это все же было чудовищной правдой, но не мог ли я в те минуты и в самом деле увидеть галлюцинации, порожденные псевдогипнотическим воздействием атмосферы древнего, околдованного, одурманенного города? Подобные города обычно обладают странной, неведомой нам силой, и мистическое наследство безумных легенд вполне способно повлиять на психику отнюдь не одного человека, оказавшегося среди тех мертвых, пропитавшихся омерзительной вонью улиц, нагромождений прогнивших крыш и рассыпающихся колоколен.

Так уж ли невозможно, чтобы в глубине той зависшей над Иннсмаутом тени таились бациллы самого настоящего, и к тому же заразного безумия? Кто может сказать, где проходит граница между реальностью и выдумкой, после того как услышит вещи вроде тех, что рассказал мне старый Эзек Аллен? Кстати, властям так и не удалось найти его и они не имеют ни малейшего представления о том, что с ним случилось. Где же кончается сумасшествие и начинается реальная действительность? Может ли быть такое, чтобы даже мои самые последние страхи оказались всего лишь жуткой иллюзией, фантастическим в своей нелепости бредом?

И все же я должен хотя бы попытаться рассказать о том, что, как мне казалось, своими глазами увидел в лучах подрагивающей, желтоватой луны — увидел подрагивающим и вздымающимся, прыгающим и ползущим по дороге на Роули прямо у себя перед глазами, пока лежал в густой траве того уединенного железнодорожного переезда. Разумеется, мне так и не удалось заставить себя не смотреть на происходящее; наверное, это было просто предначертано мне, ибо может ли кто-то сомкнуть глаза, когда в каких-то ста метрах от него струятся толпы, несметные орды квакающих и лающих порождений неведомой бездны, оглушая своими омерзительными голосами окрестности?

Мне казалось, что я был готов к самому худшему, и, в принципе, действительно был подготовлен к нему, если учитывать все то, что мне довелось увидеть раньше. Мои прежние преследователи и так были чудовищно аномальны, поэтому неужели я не смог бы перенести зрелище, к которому добавлен еще один новый фрагмент, элемент, доза этой самой уродливости, и взглянуть на существа, в которых вообще нет ни малейшего намека на что-то хотя бы отдаленно привычное и нормальное?

Я лежал, закрыв глаза, вплоть до тех пор, пока из како-

го-то пространства, располагавшегося практически прямо передо мной, не стал доноситься сильный и одновременно оглушающий шум. Я понимал, что в те минуты довольно значительная их часть как раз должна была проходить по тому месту, где края земляного проема чуть уплощались и шоссе пересекало железнодорожную линию — и в какое-то мгновение не мог уже более сдерживаться от того, чтобы не посмотреть, какие же новые кошмарные чудеса преподнесет мне косой свет желтоватой луны.

Казалось, это был настоящий конец — конец всему тому, что осталось на земле, конец любого крохотного остатка душевного спокойствия и веры в единство природы и человеческого разума. Ничто из того, что я мог вообразить и представить себе, даже если бы поверил каждому слову в сумасшедшем рассказе старого Эздока, не могло идти ни в какое сравнение с той бесовской, проклятой Богом реальностью, которая предстала — по крайней мере, я считаю, что так оно и было — перед моими глазами. Я уже пытался ранее делать отдельные робкие намеки на то, что это было, поскольку надеялся таким примитивным образом хоть ненамного отсрочить необходимость описания всего этого на бумаге именно сейчас. Возможно ли было такое, чтобы та самая планета, которая сотворила человека, действительно породила подобных существ; чтобы человеческие глаза, как объективно данный нам орган чувств, и в самом деле увидели нечто такое, на фоне чего все знание человека является лишь бледной, немощной фантазией и жалкой легендой?

И все же я видел их, передвигающихся бескрайним потоком — ползущих, прыгающих, припадающих к земле, блеющих, — видел эту массу вздымающейся нечеловеческой плоти, освещаемую призрачным лунным сиянием, извивающихся в зловещих корчах дикой сарабанды фантастического кошмара. На некоторых из них были высокие тиары, сделанные из того неведомого, белесо-золотистого металла... и те диковинные наряды, а один — тот, кто возглавлял всю эту процессию, — был облачен в некое подобие отвратительного плаща с горбом на спине, в полосатые брюки и фетровую шляпу, водруженную на бесформенный отросток, который, очевидно, призван был считаться головой.

Мне показалось, что в своей массе они были серовато-зеленого цвета, но с белыми животами. Большинство из них блестели и казались осклизлыми, а края их спин были покрыты чем-то вроде чешуи. Очертаниями своими они лишь отдаленно напоминали антропоидов, тогда как головы были определенно рыбы, с выпуклыми, даже выпученными глазами, которые никогда не закрывались. Сбоку на их шеях

виднелись трепещущие жабры, а между отростками длинных лап поблескивали натянутые перепонки. Они вразнобой подпрыгивали, отталкиваясь то двумя, а то всеми четырьмя конечностями, и я как-то даже обрадовался, что у них их было всего четыре. Их хриплые, лающие голоса, явно созданные для некоего подобия речи, несли в себе массу жутких и мрачных оттенков, с лихвой компенсировавших малую выразительность их морд.

И все же, несмотря на всю чудовищность своего облика, они не казались мне совершенно незнакомыми. Я слишком хорошо знал, какими они должны были быть, поскольку в моем мозгу отчетливо запечатлелись воспоминания о той тигаре из музея в Ньюбэрипорте. Это были те самые рыбо-лягушки, отображенные на драгоценном украшении — но теперь живые и ужасные, — и, глядя на них, я также знал, кого именно столь зловеще напомнил мне тот горбатый, украшенный тиарой священник, которого я видел в темном дверном проеме церкви.

Я даже не пытался хотя бы приблизительно подсчитать их численность, ибо понимал, что это совершенно невыполнимая задача. Я просто видел перед собой бесконечные, извивающиеся и содрогающиеся как тело червя волны — хотя мой испуганный, мимолетный взгляд смог выхватить лишь ничтожный фрагмент всей представшей передо мной картины. Но уже в следующее мгновение все это зловещее действо померкло передо мной, утонув пучине в спасительного и милосердного обморока — первого, который мне довелось испытать за всю свою жизнь.

V

Мягкий дневной дождь вывел меня из состояния глубокого забытья, и я обнаружил, что по-прежнему лежу в поросшем высокой травой искусственном ущелье, вдоль которого тянулись проржавевшие железнодорожные рельсы. Нетвердой походкой доковыляв до пролежавшего недалеке от меня шоссе, я не обнаружил на нем ни малейших следов ног, ни мазков свежей грязи. Рыбий запах также бесследно исчез. В сероватой дымке к юго-востоку от меня маячили исковерканные крыши и безглавые колокольни Иннсмаута, однако на всем протяжении пустынной, соляной, болотистой местности, куда простирался мой взгляд, я не заметил ни единой живой души. Часы на руке исправно показывали время и я понял, что проспал до самого утра.

Я отнюдь не был уверен в реальности всего того, что произошло со мной несколько часов назад, однако не мог отрицать очевидного факта, что за всем этим таилась некая грозная и неясная подоплека. Я должен был как можно скорее уйти из этого Богом проклятого города и, соответственно, сразу же стал проверять дееспособность своего двигательного аппарата. Несмотря на усталость, голод и пережитой ужас, я обнаружил, что вполне способен передвигаться, а потому медленно направился по грязной дороге в сторону Роули. Уже к вечеру я добрался до деревни, где смог перекусить и обзавестись хоть какой-то относительно сносной одеждой. Затем я успел на вечерний поезд до Эркхама, и уже на следующий день имел долгую и обстоятельную беседу с местными представителями официальных властей, которую позднее повторил уже в Бостоне.

Основные пункты всего того, что стало результатом этих обсуждений, уже известны широкой общественности, и я очень хотел — дабы не подвергать излишним мучениям чувство здравого смысла, — чтобы мне ничего не пришлось добавлять к данному описанию. Как знать, а вдруг меня и в самом деле постепенно охватывает какое-то безумие, а вместе с ним подступает еще больший ужас и ощущение нового невиданного чуда?

Нетрудно догадаться, что я отменил все последующие мероприятия своего запланированного отдыха, хотя прежде связывал немалые надежды с новыми сценическими, архитектурными и антикварными изысканиями. Не осмелился я также взглянуть на некий образчик ювелирного мастерства, который якобы хранился в музее Мискатонского университета. Тем не менее, свое пребывание в Эркхаме я использовал в целях пополнения информации сугубо генеалогического свойства — к сожалению, мне удалось сделать лишь самые поверхностные и поспешные записи, которые я, однако, надеюсь все же со временем расшифровать и сравнить с уже имеющимися сведениями. Руководитель тамошнего исторического общества — мистер Лэпхем Пибоди — оказал мне в этом любезное содействие и проявил необычайный интерес к тому обстоятельству, что я являюсь внуком Элизы Орне из Эркхама, которая родилась в 1867 году и в семнадцатилетнем возрасте вышла замуж за Джеймса Вильямсона из Огайо.

Как выяснилось, мой дядя по материнской линии много лет назад также бывал в этих местах и занимался поисками, во многом схожими с теми, которые вел я сам. Более того, мне сообщили, что семья моего деда в свое время наделала немало шума и была объектом пристального интереса в местных кругах. По словам мистера Пибоди, широкие дискуссии

тогда вызвала женитьба отца моей матери, Бенджамина Орне, состоявшаяся сразу после Гражданской войны, поскольку родословная невесты была поистине прелюбопытной. Как предполагалось, она являлась сиротой и была удочерена одним из членов нью-гэмпширского рода Маршей, точнее — тех Маршей, которые жили в графстве Эссекс, — однако образование она получила во Франции и очень слабо знала свою новую семью. Опекун перевел на ее счет в бостонском банке солидные средства, чтобы она могла безбедно жить со своей французской гувернанткой, хотя фамилия этого опекуна показалась жителям Эркхама совершенно незнакомой, а сам он на время исчез из виду, а потому со временем его права по суду перешли к этой самой гувернантке. Француженка — ныне уже давно покойная — отличалась крайней неразговорчивостью, и многие считали, что на самом деле она знала гораздо больше того, о чем рассказывала.

Однако наиболее обескураживающим оказалось то, что никто не мог припомнить, чтобы законные родители молодой женщины — Энох и Лидия (Месерв) Марш — когда-либо проживали в Нью-Гэмпшире. Высказывались предположения, что на самом деле она была отнюдь не приемной, а самой что ни на есть родной дочерью одного из членов рода Маршей — если на то пошло, у нее были типично их глаза. Но самое поразительное обстоятельство вскрылось лишь после ее ранней кончины, которая наступила при рождении моей бабушки — ее единственного ребенка. Успев к тому времени сформировать собственное и весьма нелицеприятное мнение о человеке по фамилии Марш, я, естественно, отнюдь не возрадовался тому обстоятельству, что он также является одной из ветвей на генеалогическом древе нашего семейства, равно как и не преисполнился горделивым чувством, узнав от мистера Пибоди, что и у меня самого глаза точь-в-точь как у покойного Марша. Тем не менее, я был бесконечно благодарен ему за предоставленную информацию, которая, в чем я несколько не сомневался, окажется весьма ценной, после чего попросил его также показать мне все те отнюдь не скудные записи и перечни архивных материалов, которые имели отношение к тщательно задокументированной истории семьи Орне.

Из Бостона я сразу же отправился домой в Толидо, после чего примерно месяц отдыхал, зализывая раны перенесенных мною потрясений. В сентябре я продолжил обучение на последнем, пятом курсе университета, и вплоть до июня следующего года был всецело погружен в учебный процесс и прочие университетские дела. Об иннсмаутском инциденте я вспоминал лишь в тех редких случаях, когда меня посещали пред-

ставители официальных властей по поводу моего памятного ходатайства к ним и просьбы максимально тщательно разобраться с этим кошмарным делом. Примерно в середине июля — то есть спустя ровно год после моей поездки в Иннсмаут — я провел неделю с семьей моей матери в Кливленде, сверяя полученную мною генеалогическую информацию с некоторыми семейными вещами и оставшимися документами и записями, а также размышляя над тем, какая же из всего этого получалась картина.

Нельзя сказать, чтобы я получал особое удовольствие от этой деятельности, поскольку атмосфера, царившая в доме Вильямсонов, неизменно угнетала меня. Был в ней какой-то смутный отпечаток некоей болезненности, да и моя мать при жизни также не поощряла моих визитов в свою бывшую семью, хотя сама неизменно приглашала отца, когда он приезжал в Толидо, погостить у нас в доме. Моя родившаяся в Эркхаме бабушка неизменно производила на меня странное, поистине устрашающее впечатление, а потому я отнюдь не горевал, когда она неожиданно исчезла. Мне тогда было восемь лет, и люди поговаривали, что она ушла из дома, не вынеся горя после самоубийства ее старшего сына Дугласа — моего дяди. Он застрелился вскоре после поездки в Новую Англию — несомненно, той самой поездки, благодаря которой его и запомнили в кругах Эркхамского Исторического общества.

Дядя был очень похож на нее, а потому тоже не очень-то мне нравился. Мне всегда было немного не по себе, а то и просто страшновато от их пристальных, немигающих взглядов. Моя собственная мать и дядя Уолтер никогда на меня так не смотрели. Они вообще были очень похожи на своего отца, хотя мой маленький бедный кузен Лоуренс — сын Уолтера — был почти точной копией своей бабушки вплоть до тех пор, пока какой-то серьезный недуг не вынудил его навсегда уединиться в лечебнице в Кэнтоне. Я не видел его четыре года, но мой дядя, регулярно навещавший его, как-то намекнул, что состояние его здоровья — как умственного, так и физического — крайне тяжелое. Видимо, именно это обстоятельство явилось главной причиной безвременной кончины его матери два года назад.

Таким образом, мой дед и его овдовевший сын Уолтер теперь составляли кливлендскую ветвь нашей семьи, над которой по-прежнему продолжала висеть тень былых воспоминаний. Мне все так же не нравилось это место, а потому я старался как можно скорее завершить свои исследования. Дед в изобилии снабдил меня всевозможной информацией и документами относительно истории и традиций нашего рода,

хотя по части прошлого ветви Орне мне пришлось опираться исключительно на помощь дяди Уолтера, который предоставил в мое распоряжение содержимое всех своих досье, включая записи, письма, вырезки, личные вещи, фотографии и миниатюры.

Именно изучая письма и картины, имевшие отношение к семейству Орне, я стал постепенно испытывать ужас в отношении своей собственной родословной. Как я уже сказал, общение с моей бабушкой и дядей Дугласом всегда доставляло мне массу неприятных минут. Сейчас же, спустя много лет после их кончины, я взирал на их запечатленные на картинах лица со все возрастающим чувством гадливости и отчужденности. Суть перемены поначалу ускользала от меня, однако постепенно в моем подсознании начало вырисовываться нечто вроде ужасающего сравнения, причем даже несмотря на неизменные отказы рациональной части моего разума хотя бы заподозрить что-то подобное. Было совершенно очевидно, что характерные черты их лиц начали наводить меня на некоторые мысли, которых раньше не было и в помине. — на мысли о чем-то таком, что, предстань оно передо мной со всей своей резкой и явной очевидностью, могло бы попросту повергнуть меня в состояние безумной паники.

Но самое ужасное потрясение ожидало меня тогда, когда дядя показал мне образцы ювелирных украшений семьи Орне, хранившихся в одной из ячеек банковского сейфа. Некоторые из них представляли собой весьма тонкие и изящные изделия, но была там среди прочего и коробка с довольно странными старыми вещами, которые достались им от моей таинственной прабабки, причем дядя с явным нежеланием и даже отвращением продемонстрировал их мне. По его словам, это были явно гротескные и даже отталкивающие изделия, которые, насколько ему было известно, никто никогда не носил на людях, хотя моей бабушке очень нравилось порой любоваться ими. С ними были связаны какие-то малопонятные приметы типа дурного глаза или неведомой порчи, а французженка-губернантка моей прабабки якобы прямо говорила, что их вообще нельзя носить в Новой Англии — разве что лишь в Европе.

Прежде, чем начать медленно, с недовольным ворчанием открывать коробку с этими изделиями, дядя предупредил меня, чтобы я не пугался их явно необычного и даже отчасти зловещего вида.

Художники и археологи, которым довелось видеть их, признавали высочайший класс исполнения и экзотическую изысканность этих изделий, хотя никто из них не смог определить, из какого материала они были изготовлены и в какой

художественной традиции выполнены. Среди них были два браслета, тиара и какое-то нагрудное украшение, причем на последнем были запечатлены поистине фантастические сюжеты и фигуры.

В ходе всех этих дядиных пояснений я пытался максимально сдерживать свои эмоции, однако лицо, похоже, все же выдало мой усиливающийся страх. Дядя явно встревожился и даже на время отложил демонстрацию изделий, желая проверить мое самочувствие. Я, тем не менее, попросил его продолжать, что он и сделал, по-прежнему храня на лице все то же выражение открытой неприязни и отвращения. Пожалуй, он допускал отчасти повышенной эмоциональной реакции с моей стороны, когда первый предмет — тиара — был извлечен из коробки, однако сомневаюсь, чтобы он мог допустить именно то, что произошло. Пожалуй, не ожидал происшедшего и я сам, поскольку считал себя вполне подготовленным и имел некоторое представление о том, какое зрелище должно было предстать перед моими глазами... и все же свалился в обморок — точно так же, как это произошло на том поросшем вереском и кустарником железнодорожном переезде год назад.

С того самого дня вся моя жизнь превратилась в череду кошмарных раздумий и жутковатых ожиданий, поскольку я не знал, сколько во всем этом зловещей правды, а сколько безумного вымысла. Моя прабабка также носила фамилию Марш и имела загадочное происхождение, а муж ее жил в Эркхаме — а разве не говорил старый Эздок, что дочь Обеда Марша, родившаяся от его брака с некоей таинственной чужеземкой, была обманным путем выдана замуж за какого-то господина из Эркхама? И что этот древний пьяница болтал насчет сходства моих глаз и глаз капитана Обеда? Да и тот эркхамский ученый тоже подметил, что глаза у меня — в точности как у Маршей. Так не был ли Обед Марш моим пра-прадедом? И кем же — чем же — была в таком случае моя пра-прабабка?

Впрочем, все это могло быть и чистым, хотя и безумным совпадением. Эти светло-золотистые украшения вполне могли быть куплены отцом моей прабабки, кем бы он ни был на самом деле, у какого-нибудь иннсмаутского матроса. А эти взгляды, запечатленные на лицах моей бабки и ее сына-самоубийцы, могли быть всего лишь плодом моей собственной фантазии — чистейшей воды выдумкой, приукрашенной воспоминаниями о том иннсмаутском инциденте, которые неотступно преследовали меня все эти месяцы и дни. Но почему тогда мой дядя покончил с собой именно после той памятной поездки по местам жизни предков в Новой Англии?

На протяжении более, чем двух лет я с большим или меньшим успехом отвергал все подобные сомнения. Отец способствовал получению мною хорошей должности в страховой компании, и я постарался как можно глубже погрузиться в атмосферу новой работы. Но зимой 1930-31 годов у меня начались странные сновидения. Крайне разрозненные и поначалу отнюдь не навязчивые, они с каждой неделей повторялись все чаще, получая при этом все более яркую окраску.

Передо мной словно расстилались бескрайние водные просторы, а сам я бродил по титаническим подводным галереям и лабиринтам, составленным из поросших водорослями циклопических стен, и рыбы были моими единственными спутниками в этих блужданиях. Вскоре стали возникать и новые образы, которые переполняли мою душу чудовищным страхом; но почему-то всякий раз лишь после того как я просыпался. Непосредственно во сне они меня совершенно не беспокоили — ведь я был одним из них, и носил какие-то причудливые, совершенно нечеловеческие украшения, бороздил их подводные пути и совершал чудовищные ритуальные процедуры в их располагавшихся на морском дне зловещих храмах.

Сны мои были наполнены такой массой причудливых видений и диких образов, что я смог запомнить лишь ничтожную толику увиденного, однако даже того, что сохранилось в моей памяти, с лихвой хватило бы на то, чтобы навеки прослыть безумцем, или, напротив, гением, если бы я осмелился записать все увиденное. Одновременно с этим я чувствовал, что некая неведомая и пугающая сила настойчиво пыталась вытащить меня из мира нормальной и здоровой человеческой жизни и ввергнуть в пучину непроглядной тьмы и чужеродного существования, что, конечно же, тяжелым камнем ложилось мне на душу. Состояние моего здоровья и даже внешность подверглись существенному ухудшению, так что в конце концов мне пришлось оставить свою работу и перейти на затворнический, почти неподвижный образ жизни инвалида. Меня словно поразил некий странный нервный недуг, отчего я временами в буквальном смысле был не в состоянии сомкнуть глаз.

Именно тогда я со все возрастающей тревогой стал рассматривать в зеркале собственное отражение. Едва ли человеку доставляет удовольствие наблюдать постепенно усиливающиеся признаки развития какого-то заболевания, но в моем случае было нечто более тонкое, неуловимое и одновременно обескураживающее. Мой отец также стал это подмечать и поглядывать на меня с явным недоумением, а подчас и с откровенным испугом. Что же во мне происходило? Не

могло ли так получиться, что я постепенно становился похожим на мою бабу и дядю Дугласа?

Однажды ночью мне приснился страшный сон, в котором я якобы встретился со своей бабушкой, причем встреча эта состоялась где-то под водой, в океанской пучине. Она жила в фосфоресцирующем дворце, состоящем из многочисленных террас, с садами, в которых произрастали странные, какие-то чешуйчатые, гнилостного цвета кораллы, образовавшие ветвистые, чем-то похожие на уродливые деревья посадки. Старуха довольно тепло поприветствовала меня, хотя было в ее манерах что-то насмешливое, почти сардоническое. Она сильно изменилась — как существа, которые перешли на постоянную жизнь в воде, — и сказала, что якобы вообще никогда не умирала. Вместо этого она переместилась в такое место, о котором узнал ее сын Дуглас, и стала обитать в царстве, чудеса которого — предназначенные также и для него — он сам отверг дымящимся дулом своего револьвера. Это будет и мое царство — никуда мне от этого не деться, и я тоже никогда не умру, а буду жить вместе с теми, кто существовал уже тогда, когда на земле вообще не было людей.

Видел я и ту особу, которая являлась ее бабушкой. В течение восьмидесяти тысяч лет ее предки Пт'тиа-л'йи жили в Й'хантлеи, и именно туда она вернулась после смерти Обедарша. Й'хантлеи не подвергся разрушению, когда люди с верхней земли наслали в море смерть. Глубоководных, вообще невозможно уничтожить, хотя палеогеновая магия давно забытых Старожилов иногда может причинять им отдельные неприятности. В настоящее время они пребывают в состоянии покоя, но настанет такой день — если они еще помнили об этом — когда они восстанут снова и воздадут должное ненасытной жажде Великого Цтулху. В следующий раз это будет уже совершенно новый город, гораздо более величественный, чем Иннсмаут. Они заметно расширят свое влияние и уже подготовили тех, кто поможет им в этом деле, однако пока должны выждать некоторое время. За то, что я вызвал смерть их людей на верхней земле, я должен принести покаяние, но оно не будет слишком уж тяжелым.

Это был тот самый сон, в котором я впервые увидел шогота, и один лишь вид его поверг меня в состояние безумного ужаса, заставившего с криком проснуться. В то утро зеркало со всей очевидностью подтвердило мне, что я также окончательно приобрел ту самую характерную *«иннсмаутскую внешность»*.

Я пока решил не накладывать на себя руки, как это сделал дядя Дуглас. Правда, я купил автоматический пистолет и однажды едва, было, не совершил роковой шаг, но какие-то

сны все же удержали меня. Жестокие, наиболее пронзительные ночные видения стали постепенно стихать и сглаживаться, а вместо того меня стало необъяснимым образом манить в морскую бездну. Во сне я часто слышу и совершаю странные вещи, а когда просыпаюсь, то ощущаю уже не ужас, а самый настоящий, неподдельный восторг. Я не верю в то, что мне придется дожидаться полной перемены, на что было обречено большинство других. В противном случае отец навечно упрячет меня в сумасшедший дом, как он поступил с моим несчастным кузеном. Внизу меня поджидало нечто неслыханное и великолепное, и скоро я встречу с ним. *Йа-Р'лия! Цтулху фхтагн! Йа! Йа!* Нет, я не застрелюсь — я создан отнюдь не для этого!

Я разработаю план бегства моего кузена из той лечебницы в Кэнтоне, и мы вместе отправимся в сокрытый восхитительной тенью Иннсмаут. Мы поплывем к тому загадочному рифу и окунемся вглубь черной бездны, навстречу циклопическим, украшенным множеством колонн Й'ха-нтлеи, и в этом логове Глубоководных обретем вечную жизнь, окруженные всевозможными чудесами и славой.

Х.Ф.Лавкрафт

ЗАПЕРТАЯ КОМНАТА





С наступлением сумерек дикая и пустынная местность, словно стерегущая подходы к поселку под названием Данвич, что находится чуть севернее центральной части Мас-сачусетса, начинает казаться еще более безлюдной и угрюмой, чем днем. Приглушенный свет придает опустевшим полям и куполообразным холмам за ними некоторую необычность, даже загадочность, и привносит в окружающий ландшафт некий элемент пронизывающей, настороженной враждебности. Вековые деревья и окаймленные зарослями вереска каменные стены, почти вплотную прижавшиеся к пыльной дороге; топкие болота, испещренные мириадами светлячков и наполненные непрерывными, жалобными криками козодоев, бормотанием лягушек и пронзительным пением жаб; извилистые повороты русла Мискатоника, несущего свои воды между темными холмами в сторону моря — все это буквально окутывает одинокого путешественника плотным и сумрачным покрывалом, словно стараясь удержать его в своей власти и лишить малейшей возможности к бегству.

Направляясь в Данвич, Эбнер Уотелей вновь испытал на себе магическую силу этих мест, как испытал ее тогда, когда он, в далеком детстве, объятый ужасом, бросился однажды к матери, умоляя увезти его и из Данвича, и от деда Лютера Уотелей, у которого они в то время гостили. Как много лет прошло с тех пор! Столько, что он и счет им забыл. И все же ему было странно, что эта местность по-прежнему оказывает на него столь сильное воздействие, просачиваясь сквозь череду прожитых лет, наполненных пребыванием в Сорбонне, Каире и Лондоне, и словно полностью игнорируя все то строгое, академическое образование, которое он получил уже после того, как прекратил наносить визиты старому и угрюмому деду Уотелею, жившему в своем древнем доме, сросшемся со стоявшей на берегу Мискатоника мельницей. И все же это были места, где прошло его детство, и которые вновь возвращались сейчас из тумана времени, так что ему даже казалось, что он лишь вчера посещал здесь своих родных.

Всех их давно уже нет в живых. Ни матери, ни деда Уотелей, ни его второй дочери, тетушки Сари — ее он, правда, никогда не видел и знал только, что она жила где-то в их большом старом доме, — ни мерзкого кузена Уилбэра и его ужасного брата-близнеца, которые встретили свою жуткую смерть на вершине Сторожевого холма. И все же сейчас, проезжая по избитому и отчаянно неровному мосту, он отчетливо видел, что Данвич совершенно не изменился. Его централь-

ная улица все так же окаймляла подножие маячившей в отдалении Круглой горы. На месте остались и ветхие, покинутые дома с подгнившими и кое-где провалившимися двускатными крышами, в старинной церкви со сломанной колокольной все так же размещался единственный в деревне магазин, а над всем этим висела плотная, легко уловимая атмосфера упадка и запустения.

Он свернул с главной улицы поселка и по изъезженной дороге поехал вдоль берега реки, пока не увидел большой, замшелого вида дом, который казался несколько непропорциональным из-за прилаженного к нему со стороны реки большого мельничного колеса. Ныне, в соответствии с завещанием деда Уотелея, это была уже его частная собственность, причем перед смертью старик особо оговорил в документах, что если внук захочет поселиться в доме, то он должен будет «предпринять необходимые меры по ликвидации отдельных его частей», которые сам дед не успел завершить. Довольно странная оговорка, подумал тогда Эбнер, хотя, если разобраться, в личности старого Лютера Уотелея почти все было странным, как если бы упадок Данвича коснулся и его своим леденящим крылом.

Но самым нелепым в завещании был именно тот пункт, где особо оговаривалось, что ему, Эбнеру Уотелею, надлежало «прекратить свои блуждания по свету» и исполнить предписанные дедом распоряжения относительно дома, хотя и слепой мог бы заметить, что само по себе строение едва ли заслуживало всех тех сил и времени, которые неизбежно ушли бы на его вышеупомянутую реконструкцию. Кроме того, он совершенно отчетливо представлял себе, что некоторые из родственников, которые и поныне проживали в самом Данвиче или поблизости от него, едва ли обрадуются его возвращению в их причудливый, но вполне устоявшийся мир уединенной сельской жизни, которая была характерна для большинства Уотелеев, особенно после тех кошмарных событий, которые потрясли ее провинциальную ветвь на Сторожевом холме.

На первый взгляд, дом совершенно не изменился. Его обращенное к реке крыло в незапамятные времена было переоборудовано под мельницу, но мельница уже давно перестала функционировать, поскольку окружавшие Данвич поля и угодья с каждым годом все больше превращались в бесплодные пространства. Особое место в доме занимала лишь одна комната. Она располагалась непосредственно над водяным колесом и была комнатой покойной тети Сари. Другие же, выходившие к Мискатонику своими окнами комнаты были практически заброшены уже в годы его детства, когда Эбнер

Уотелей в последний раз гостил у деда, жившего там в полном одиночестве, если не считать столь загадочной для юного отпрыска рода Уотелеев второй дочери Лютера. Дверь ее комнаты была постоянно заперта, сама она никогда не выходила, и лишь смерть избавила ее от подобных жестоких ограничений.

Опоясывавшая жилую часть дома веранда заметно просела, и с решетчатой конструкции под карнизом свисала густая паутина, к которой годами никто не прикасался, если не считать редких порывов ветра. Все было покрыто толстым слоем пыли как снаружи, так и изнутри, причем последнее особенно бросилось в глаза Эбнеру, когда он отыскивал на переданной ему адвокатом связке нужный ключ. Войдя в дом, он нашел лампу — старый дед презирал электричество — и зажег ее. В желтоватом мерцании света он разобрал очертания старой кухни с ее утварью девятнадцатого века и невольно поразился тому, что так все хорошо сохранил в своей памяти. Просторное помещение, срубленные вручную стол и стулья, стоявшие на камине древние часы, потертая метла — все это сейчас олицетворяло собой зримые следы его детских воспоминаний о давних, сопровождавшихся смутным страхом визитах в этот грозный дом и к его еще более грозному хозяину.

В свете лампы он обнаружил кое-что еще: на кухонном столе лежало письмо, адресованное лично ему, о чем свидетельствовала начертанная на конверте надпись, исполненная чуть угловатым и неимоверно корявым почерком, который мог принадлежать лишь такому старому и дряхлому человеку как его дед. Отложив на время процедуру переноса вещей из машины в дом, Эбнер присел у стола, предварительно смахнув с него, а также со стула пыль, и распечатал конверт.

Взгляд его упал на хитросплетение тонких завитков и линий, которые казались такими же строгими, каким был при жизни и сам дед. Текст начинался сразу, как-то внезапно, без малейшего намека на ласковое обращение или хотя бы прозаическое приветствие:

«Внук, когда ты станешь читать эти строки, меня уже несколько месяцев не будет в живых. Возможно, даже дольше, если только им не удастся разыскать тебя скорее, нежели я предполагаю. Я завещаю тебе некоторую сумму денег — все, что у меня осталось ко дню смерти, — которую положил в банк Эркхама на твое имя. Сделал я это не только потому, что ты остаешься моим единственным внуком, но также и в связи с тем, что среди остальных Уотелеев — а мы, мой мальчик, являемся проклятым Богом кланом, — ты дальше всех нас выбился в люди и получил хорошее образование, которое

позволит тебе взглянуть на все здешние вещи и события непредвзятым взглядом, не подверженным ни одержимому влиянию предрассудков невежества, ни коварству предрассудков науки. Вскоре ты и сам поймешь, что я имею в виду.

Я предписываю тебе как можно скорее разрушить в этом доме по крайней мере ту его часть, которая непосредственно примыкает к водяному колесу. Там должно быть разобрано абсолютно все — блок за блоком, кирпич за кирпичом. Если обнаружишь внутри хоть одно живое существо, торжественно заклинаю тебя убить его, вне зависимости от того, сколь малых размеров оно может оказаться. Неважно также, какую форму оно будет иметь, и даже если оно покажется тебе человеком, то учти, что в конце концов оно обманет тебя и поставит под угрозу жизнь — как твою собственную, так и Бог знает скольких еще людей.

Слушай, что я говорю.

Если тебе сейчас кажется, что перед смертью я окончательно лишился рассудка, то имей в виду, что в роду Уотелеев давно поселилось нечто гораздо худшее, чем просто безумие. Мне удалось не запятнать себя этой мерзостью, хотя пошла она именно от меня. Но гораздо более крепкое безумие засело в тех из нас, кто отрицает возможность существования подобных вещей — они, как я считаю, поражены безумием еще больше, чем даже те представители нашего рода, которые сами занимались гнусными вещами, творили богохульство и даже более того.

Твой дед, Лютер С. Уотелей».

Как это было похоже на моего деда, подумал Эбнер. Ознакомившись с этим загадочным, самоуверенным посланием, он вспомнил, как однажды, когда его мать в какой-то связи упомянула свою сестру Сару и тут же в ужасе прикрыла ладонями рот, он кинулся к деду и спросил:

— Дедушка, а где тетя Сари?

Старик тогда поднял на него свой гипнотический взгляд и ответил:

— Мальчик, в этом доме не принято упоминать Сару.

Было похоже на то, что тетя Сари каким-то ужасным образом обидела или оскорбила своего отца — по крайней мере, сам этот черствый педант показывал, что все обстояло именно так. Во всяком случае, с тех пор, как Эбнер помнил себя, имя старшей сестры его матери никогда не произносилось вслух, а сама она жила взаперти в большой комнате над мельницей, скрытая за толстыми стенами и заколоченными ставнями. Эбнеру и его матери не разрешалось даже проходить перед дверями ее комнаты, хотя однажды мальчик все же прокрался туда

и прильнул к ним ухом. При этом он расслышал лишь доносившиеся изнутри какие-то сопящие или хныкающие звуки, которые, как ему тогда показалось, мог издавать грузный и болезненный человек. Про себя он тогда решил, что тетя Сари похожа на тех толстых женщин, что выступают в цирке, тем более, что она очень много ела, о чем можно было судить по громадным тарелкам с едой, в основном — с сырым мясом, которое она, похоже, сама себе готовила. Еду эту дважды в день подносил к дверям ее комнаты сам Лютер Уотелей, поскольку слуг в доме не держали с тех самых пор, когда мать Эбнера вышла замуж, а сама тетя Сари вернулась — заметно растерянная и даже расстроенная — из поездки к какой-то своей дальней родне, проживавшей в Иннсмауте.

Эбнер сложил письмо и сунул его в конверт, решив поразмышлять над его содержанием позднее. Сейчас же ему надо было позаботиться о своем ночлеге. Он вышел наружу, принес в дом два оставшихся в машине чемодана, прошел с ними в кухню, после чего взял лампу и принялся бродить с нею по дому. В старомодную гостиную, которую открывали только к приезду или приходу гостей — а в Данвиче Уотелеев приглашали одни лишь Уотелеи, — он даже не заглянул и направился прямо в спальню деда. Ему казалось вполне естественным, что он займет кровать старика, поскольку теперь именно он, а не Лютер Уотелей, был здесь полноправным хозяином.

Большая двуспальная кровать была укрыта пожелтевшими номерами *«Эркхам Эдвертайзера»*, призванными уберечь от мошкеры прекрасную ткань покрывала, украшенного вышитыми сюжетами на рыцарские темы и также являвшегося ныне частью законного наследства. Поставив лампу на тумбочку и убрав газеты и покрывало, он увидел, что постель застлана чистым бельем — по-видимому, одна из двоюродных сестер деда позаботилась об этом после похорон, явно готовясь к предстоящему приезду Эбнера.

Он перенес чемоданы в спальню, окна которой выходили на реку, хотя частично их загораживала мельничная пристройка. Распахнув одно из окон, прикрытое в нижней своей половине шторой, он присел на край кровати и принялся размышлять над теми обстоятельствами, которые после стольких лет блужданий по свету вновь привели его в Данвич.

К тому же он порядком устал за этот день — дорога из Бостона оказалась довольно утомительной, а контраст между большим городом и уединением сельской местности угнетал и раздражал его. Более того, он смутно чувствовал слабые, почти неосознаваемые признаки какой-то тревоги. Если бы Эбнер так не нуждался в средствах для продолжения своих зарубежных научных изысканий, связанных с исследованием

древних цивилизаций южной части Тихого океана, он вообще бы едва ли приехал сюда. И все же семейные узы существовали, как бы ни пытался он их отрицать: вечно угрюмый и строгий, старый Лютер Уотелей по-прежнему оставался отцом его матери, и именно сейчас внук должен был следовать голосу их общей крови.

Из окна спальни казалось, что Круглая гора находится совсем близко, и сейчас он ощущал ее присутствие так же отчетливо, как и тогда, в далеком детстве, когда засыпал в комнате наверху. Деревья словно давили своими буйными кронами на дом, а с одного из них в потемневший от сгустившихся сумерек спокойный летний воздух неожиданно прорвалось глухое, похожее на звуки колокола уханье совы. Несколько минут он, странно очарованный показавшимся ему привлекательным голосом птицы, лежал. В мозгу вертелись тысячи мыслей, теснились мириады воспоминаний. Он снова увидел себя маленьким мальчиком, которому всегда было чуточку страшно играть в этих наполненных смутными предчувствиями местах, куда так приятно приезжать, но покидать которые несоизмеримо приятней.

Внезапно он поймал себя на мысли, что непозволительно вот так просто лежать, какой бы расслабляющей ни казалась окружающая его обстановка. Прежде чем покинуть эти места, ему предстояло сделать массу дел, и он попросту не мог позволить себе ни часа праздного времяпрепровождения: надо было приступить к исполнению возложенных на него весьма туманных, но все же непреложных обязательств, а потому он поднялся с кровати, взял лампу и принялся обследовать внутреннее убранство дома.

Из спальни Эбнер направился в столовую, которая располагалась возле кухни и представляла собой комнату, обставленную жесткой, неудобной, также изготовленной вручную мебелью, а оттуда прошел в небольшую гостиную, своей меблировкой и общим убранством скорее напоминавшую интерьер не столько девятнадцатого, сколько восемнадцатого века. Судя по отсутствию пыли на предметах, Эбнер предположил, что двери в эту комнату закрывались намного плотнее, чем во все остальные помещения дома. Потом по открытой лестнице поднялся на верхний этаж и стал переходить из спальни в спальню — все они были основательно запыленные, с поблекшими занавесками, и всем своим видом красноречиво указывали на то, что на протяжении последних лет в них никто не жил.

Наконец он вышел в коридор, в конце которого располагалась та самая запертая комната, убежище — а может, тюрьма? — тетушки Сари, по-прежнему не представляя себе, что могло за ней скрываться. Подчиняясь какому-то навязчивому

импульсу, он прошел прямо к ее двери и, непонятно к чему прислушиваясь, остановился. Изнутри, естественно, не доносилось ни шороха, ни звука, ни малейшего поскрипывания — абсолютно ничего, — а он все продолжал стоять перед дверью, объятый воспоминаниями о прошлом, и словно все еще находясь во власти того нелепого запрета, который много лет назад был наложен его дедом.

Однако теперь Эбнер уже не видел никакого смысла следовать распоряжениями старика, а потому, вынув из кармана массивную связку, он терпеливо перепробовал несколько ключей, пока не нашел нужный. Повернув ключ в замке, он толкнул дверь — чуть протестующе скрипнув, та отошла в сторону, и он поднял лампу повыше.

По правде говоря, Эбнер не исключал, что может увидеть перед собой нечто похожее на будуар дамы, однако содержимое запертой комнаты повергло его в немалое изумление. Постельное белье пребывало в полнейшем беспорядке, подушки валялись на полу, на громадном блюде остались застывшие остатки какой-то еды. В комнате стоял странный рыбий запах, который нахлынул на него с такой неожиданной силой, что он едва не поперхнулся от отвращения. Иными словами, все в комнате находилось буквально вверх дном, причем явно пребывало в таком состоянии уже долгое, очень долгое время.

Эбнер поставил лампу на отодвинутый от стены комод, прошел к окну, зависавшему как раз над мельничным колесом, отпер его и поднял створку. Потом попытался было распахнуть ставни, но тут же вспомнил, что они были наглухо приколочены гвоздями. Тогда он выпрямился, отступил на шаг и ударом ноги вышиб деревянные панели, чтобы впустить в комнату поток свежего, влажного воздуха.

После этого он прошел к соседней, наружной стене комнаты и таким же образом освободил от ставней единственное находившееся в ней окно. Лишь отступив на пару шагов, чтобы полюбоваться результатами своего труда, он заметил, что случайно отломил кусок рамы с того окна, которое располагалось над мельничным колесом. Внезапно вспыхнувшая досада от содеянного столь же быстро улеглась, когда он вспомнил наказ деда относительно самой мельницы и располагавшейся над ней комнаты, а именно то, что они должны быть разъединены, а затем и вовсе разрушены. Чего уж тут было горевать о какой-то попорченной оконной раме!

Затем он снова подошел к комоду за лампой и случайно задел его бедром, отчего тот немного отклонился к стене — и в тот же миг услышал слабый шорох. Посмотрев себе под ноги, Эбнер разглядел что-то вроде длинноногой лягушки или жабы — толком даже не разобрал, что именно это было, —

которая проворно скрылась под комодом. Сначала он хотел нагнуться и выгнать неведомую тварь наружу, однако потом решил, что ее присутствие вряд ли представляет какую-либо опасность — в самом деле, раз уж она все это время сидела в этом запертом помещении, питаясь одними лишь тараканами и другими насекомыми, которых ей удавалось отыскать, то вполне заслуживала того, чтобы ее не тревожили.

Выйдя из комнаты, Эбнер запер за собой дверь и вернулся в хозяйскую спальню на первом этаже. Про себя он подумал, что все же положил пусть банальное, но все же начало своему вступлению в права владения домом, как говорится — вспахал первую борозду. После столь непродолжительного и поверхностного осмотра помещения он почувствовал себя еще более уставшим, а потому, даже несмотря на относительно раннее время, решил лечь в постель, чтобы проснуться как можно раньше. Завтра предстояло обследовать старую мельницу — как знать, возможно, кое-что из ее механизмов, если таковые еще сохранились, можно будет продать, тем более что водяное колесо стало по нынешним временам довольно большой редкостью — ценностью почти антикварной.

Эбнер еще несколько минут постоял на веранде, невольно вслушиваясь в залиvistый стрекот сверчков, кузнечиков, а также хор козодоев и лягушек, который окружал его буквально со всех сторон и своей оглушающей настойчивостью едва ли не заглушал все остальные звуки, в том числе и слабые шорохи самого Данвича. Он стоял так до тех пор, пока голоса этих диких порождений природы не стали совсем уж невыносимыми, после чего вернулся в дом, запер за собой дверь и прошел в спальню.

Раздевшись, Эбнер улегся в постель, однако еще почти целый час не мог заснуть. Он беспрестанно ворочался с боку на бок и испытывал все более нараставшее раздражение по поводу того самого «разрушения», о котором писал дед и осуществить которое ему одному было, увы, просто не под силу. В конце концов к нему все же пришел долгожданный сон, хотя сам он этого, естественно, не почувствовал.

II

Проснулся Эбнер с рассветом, но едва ли почувствовал себя хорошо отдохнувшим. Всю ночь ему снились невиданные места и населявшие их фантастические существа, которые поражали его своей неземной красотой, диковинным видом и одновременно наполняли сердце необъяснимым чув-

ством страха. Он словно бороздил океанскую пучину и рассек своим телом воды Мискатоника, где его окружали рыбы, амфибии и странные люди, также являвшиеся наполовину земноводными; видел также поистине чудовищные организмы, спавшие в необычных каменных городах на дне моря; слышал затейливую, фантастическую музыку, отдаленно напоминавшую пение флейт и сопровождавшуюся не столько пением, сколько непривычным подвыванием каких-то диких, явно нечеловеческих голосов; видел своего деда Лютера Уотелея, который стоял перед ним, выпрямившись во весь рост, и посылал ему проклятия за то, что он осмелился войти в запертую комнату тетки Сари.

Разумеется, подобные ночные видения особой радости ему не доставили и даже отчасти встревожили, однако он тут же отбросил подобные мысли, вспомнив о том, что ему предстоит сделать массу дел, а в первую очередь отправиться в Данвич за покупками, поскольку в спешке он совершенно не позаботился о провианте хотя бы на первое время. Утро выдалось ясное и солнечное; на ветвях деревьев заливались дрозды и другие мелкие птицы, а на листве и траве поблескивали жемчужные капельки росы, отражая солнечные лучи тысячами крохотных драгоценных камней, устилавших края тропинки, которая должна была вывести его на центральную улицу деревни. Ступая по ней, Эбнер чувствовал, как к нему возвращается хорошее настроение, а потому, весело насвистывая, обдумывал первоочередные шаги своей жизни в унаследованном доме: ведь лишь после их совершения он сможет покинуть этот полузаброшенный, Богом забытый уголок провинциальной глуши.

К своей немалой досаде он обнаружил, что при свете дня центральная улица Данвича, как ни странно, отнюдь не казалась столь же приветливой и безмятежной, как накануне; когда над ней начинала сгущаться дымка вечерних сумерек. Деревня была как бы зажата между руслом Мискатоника и почти вертикальными склонами Круглой горы и представляла собой темное, унылое поселение, которое словно никогда и не выбиралось за черту 1900 года, и будто бы именно здесь время остановило свое продвижение навстречу грядущим столетиям. Постепенно его игривое насвистывание стало затихать и наконец умолкло совсем. Он старался не глядеть в сторону строений, почти полностью превратившихся в развалины. Также он избегал встречаться с любопытными взглядами прохожих, а направился прямо к старинной церкви, в которой располагался местный «торговый центр», где, как он предполагал, его также встретит неряшливое убранство и беспорядок, полностью гармонировавший с видом самой деревни.

Войдя в магазин, Эбнер направился прямо к прилавку и попросил ветчину, кофе, яйца и молоко.

Хозяин даже не шелохнулся.

— Вы, похоже, один из Уотелеев. А меня вы, наверное, и не знаете, хотя я ваш кузен Тобиас. И который же из них вы будете?

— Я Эбнер, внук Лютера, — неохотно проговорил он.

Лицо Тобиаса Уотелея окаменело.

— Сың Либби — той самой Либби, что вышла замуж за кузена Иеремию... Так вы что, решили вернуться назад — обратно к Лютеру?

— Не мы, а я один, — коротко проговорил Эбнер. — И вообще, я не вполне понимаю, о чем вы говорите.

— Ну, если не понимаете, то не мне вам об этом и рассказывать.

Тобиас Уотелей и в самом деле замолчал, не произнеся больше ни слова. Он принес все, что заказал Эбнер, с угрюмым видом принял деньги и с плохо скрываемой недоброжелательностью смотрел ему в спину, когда тот выходил из магазина.

Сцена эта задела Эбнера за живое. Приветливая свежесть утра окончательно померкла для него, хотя на безоблачном небосклоне по-прежнему ярко сияло солнце. Он поспешно удалялся от магазина, а заодно и от центральной улицы, стремясь поскорее вернуться в свою новую временную обитель.

Там его, однако, поджидало новое открытие — перед домом стояла понурая лошадь, впряженная в неимоверно ветхий фургон. Рядом с ней под деревом стоял какой-то мальчик, а внутри фургона виднелась фигура старика с окладистой белой бородой. Заметив приближение Эбнера, он сделал своему юному спутнику знак рукой, чтобы тот помог ему выбраться наружу, после чего с превеликим трудом спустился на землю и стал поджидать приближения молодого человека.

Как только Эбнер подошел к ним, мальчик без тени улыбки на лице произнес: — Дедушка хочет с вами поговорить.

— Эбнер, — проговорил старик дрожащим голосом, и тот лишь сейчас понял, насколько древним был этот человек.

— Это мой прадедушка Зэбулон Уотелей, — пояснил мальчик.

Таким образом, перед ним стоял брат его собственного деда, Лютера Уотелея — единственный оставшийся в живых представитель старшего поколения рода Уотелеев.

— Проходите в дом, сэр, — проговорил Эбнер, протягивая старику руку.

Зэбулон пожал ее, после чего вся троица медленно напра-

вилась в сторону веранды, где старик остановился около нижней ступеньки, из-под густых седых бровей поднял на Эбнера взгляд своих темных глаз и мягко покачал головой.

— Нет, я лучше здесь присяду, если стул найдется.

— Принеси стул из кухни, — попросил Эбнер мальчика.

Тот поднялся по лестнице и вошел в дом, тут же вернулся со стулом, помог старику опуститься на него, после чего встал рядом с ним, пока Зэбулон, глядя в землю под ногами, пытался успокоить разгоряченное дыхание.

Наконец он перевел взгляд на Эбнера и принялся внимательно разглядывать его, всматриваться в каждую деталь одежды, которая, в отличие от его собственной, была сшита отнюдь не вручную.

— Зачем ты приехал, Эбнер? — спросил он уже несколько более окрепшим голосом.

Эбнер объяснил ему все, стараясь говорить как можно проще и короче.

Зэбулон покачал головой. — Похоже на то, что ты знаешь не больше, чем другие, а может, и того меньше. Что за человек был Лютер, одному Богу известно. Но Лютера уже нет, и теперь тебе предстоит сделать это за него. Скажу тебе только одно, Эбнер, и могу поклясться при этом Господом Богом, что и сам не знаю, почему он так повел себя и зачем запер и себя самого, и Сари, после того как она вернулась из Инисмаута. Знаю только одно — то, что это было что-то ужасное, страшное и дикое, а то, что произошло потом, и вовсе походило на кошмар. Никого теперь не осталось, кто мог бы подтвердить, что во всем виноват был именно Лютер, а совсем не бедная Сари. Но только теперь и ты берегись, берегись, Эбнер.

— Я намерен последовать указаниям своего деда, — спокойно сказал Эбнер.

Старик кивнул, однако по-прежнему встревоженно смотрел на молодого человека, причем было заметно, что он не особенно доверял его словам.

— А откуда вы узнали, дядя Зэбулон, что я приехал? — спросил тот.

— Люди сказали. И я посчитал своим долгом поговорить с тобой. На всех Уотелеях лежит печать проклятия. Те, кто сейчас уже лежат в земле, когда-то вели дела с самим дьяволом. Много тогда слухов ходило обо всяких ужасных вещах — о чем-то вроде тех, что были и не людьми, и не рыбами, а так, середина на половину. Жили вроде на суше, но надолго уплывали далеко-далеко в море, и что-то там в них росло, изменялось, отчего они совсем странными и чудными становились; или еще о том, что случилось тогда на Сторожевом холме с Лавинией Уилбэр, и о том, что нашли тогда рядом со

Сторожевым камнем... Боже мой, меня всего трясет, когда вспоминаю об этом...

— Дедушка, ну что ты так расстраиваешься, — укоризненным тоном произнес мальчик.

— Не буду, не буду, — с дрожью в голосе проговорил старик. — Да, сейчас уже все в прошлом, все забыто. Помню только я один, да еще те, кто унесли свои знаки вниз — знаки, которые указывали на Данвич. Поговаривали, что это слишком страшное место, чтобы о нем кто-то узнал...

Он покачал головой и замолчал.

— Дядя Зэбулон, — робко вмешался Эбнер, пытаясь хоть что-то уяснить в невнятном бормотании старика, — понимаете, я ведь сам-то никогда не видел тетю Сари.

— Нет-нет, мой мальчик, тогда ее уже держали взаперти. Кажется, это было еще до твоего рождения.

— Но почему?

— Об этом знал только Лютер — и Господь Бог. Но Лютера уже нет, а Господь, похоже, не очень-то хочет вспоминать про то, что есть еще такое место как Данвич.

— А что делала тетя Сари в Иннсмауте?

— Родню навещала.

— Там что, тоже Уотелеи живут?

— Не Уотелеи. Марши. Старый Обед Марш, который был кузеном нашего отца. Обед и его жена, которую он нашел себе, когда плавал за море — на Понапе это было, если ты знаешь, что это такое.

— Слышал про такое место.

— Правда? А я и не знал. Говорят, Сари навещала кого-то из Маршей — то ли сына Обеда, то ли внука, сейчас толком и не помню. Да в общем-то, никогда особо этим и не интересовался — не очень меня все это и волновало. Она была ничего собой, ладная такая, а когда вернулась, то, говорят, стала совсем другой. Пугливая какая-то. Беспокойная. И вскоре твой дед запер ее в той комнате, где она и просидела до самой своей смерти.

— А когда это — вскоре?

— Месяца через три-четыре. Но Лютер никогда не объяснял, почему он так сделал. И никто ее с тех пор не видел, пока ее не вынесли из дома в закрытом гробу. Два, а то и три года назад это было. А где-то примерно через год после того, как она вернулась из Иннсмаута, у них в доме что-то произошло — крики, вопли, драки. Многие тогда в Данвиче слышали это, да только никто не решился пойти и посмотреть, в чем там дело. А на следующий день Лютер объявил, что у Сари случился припадок. Может, именно так оно и было, а может, и еще что-то...

— А что еще могло быть, дядя Зэбулон?

— Прodelки дьявола, вот что, — поспешно проговорил старик. — Но я совсем забыл — ты же у нас теперь образованный. В роду Уотелеев не так много было образованных. Это все Лавиния — она читала страшные книжки, да только плохо это на ней сказалось. И Сари — она тоже некоторые из них читала. А вообще, по мне все это учение — сущая ерунда, от него только еще труднее живется. Лучше, когда совсем необразованный, совсем.

Эбнер улыбнулся.

— А ты не смейся, парень!

— Я не смеюсь, дядя Зэбулон, и вполне с вами согласен.

— Ну ладно... Так вот, если тебе придется столкнуться с ними лицом к лицу, я думаю ты знаешь, что надо делать. Не станешь стоять как столб и думать-раздумывать, а просто станешь действовать.

— В отношении кого я буду действовать?

— Я и сам бы хотел это знать, Эбнер, да вот только не знаю. Один Господь знает. Еще Лютер знал, но Лютер мертв. Сдается мне, что Сари тоже знал, но ведь и она умерла. А потому сейчас никто не знает, что это был за страх. Если бы я ходил в церковь, то молился бы за то, чтобы и ты ничего не узнал. Но если тебе все же это удастся, то не медли и не рассчитывай на свою образованность, а просто сделай то, что тебе надо сделать. Твой дед вел какие-то записи — поищи их. Может, узнаешь, что за люди были эти Марши, а они были совсем непохожи на нас — что-то ужасное с ними произошло, и как знать, может, потом оно добралось и до Сари...

Эбнер слушал старика и все явственнее ощущал, что между ними словно зависала какая-то пустота, вакуум определенного взаимного недопонимания — нечто такое, что не высказывалось ими вслух, а возможно, даже толком и не осознавалось. Но при одной лишь мысли об этом недоговоренном по спине Эбнера поползли мурашки, хотя он и пытался всячески побороть столь неприятное чувство.

— Я постараюсь выяснить все, что в моих силах, дядя Зэбулон, — пообещал он.

Старик кивнул и сделал знак мальчику, что хотел бы вернуться в свой фургон. Тот поспешил к лошади.

— Если я понадобится тебе, скажи об этом Тобиасу, — проговорил он на прощание. — Я приду — если смогу.

— Спасибо.

Эбнер с мальчиком помогли старику забраться в фургон; напоследок тот слабо помахал ему рукой, мальчик ударил кнутом лошадь, и повозка стала удаляться.

Эбнер еще несколько секунд смотрел им вслед, чувствуя

в душе смесь раздражения и одновременно беспокойства. Он действительно был не на шутку встревожен, поскольку в словах старца явно просматривался намек на какое-то смутное предостережение, и одновременно раздосадован, потому что, несмотря на все свои письменные увещевания и заклинания, дед оставил ему слишком мало фактической информации, на которую можно было бы опереться. Как знать, возможно, старик попросту рассчитывал на то, что его внуку, когда он в очередной раз переступит порог дома своего далекого детства, все же удастся избежать сколь-нибудь серьезных неприятностей. Во всяком случае, другой версии у Эбнера пока просто не было.

И все же в глубине души он не мог удовлетвориться подобным объяснением. А может, речь действительно шла о чем-то настолько ужасном, что Эбнеру не следовало раньше времени, а то и вовсе узнавать обо всем этом? А если посмотреть на все иначе, то не мог ли Лютер Уотелей и в самом деле припрятать где-нибудь в доме ключ к разгадке своей тайны? Это, однако, казалось довольно маловероятным с учетом характера старика...

Продолжая пребывать в состоянии крайнего недоумения, Эбнер прошел в дом, разложил покупки и приступил к выработке плана первоочередных действий. Первым делом ему надо было осмотреть примыкавшую к дому мельницу и определить, нельзя ли будет отремонтировать и затем продать какую-то часть ее механизмов. Потом предстояло найти человека или людей, которые бы взялись аккуратно снести саму мельницу и располагавшуюся над ней комнату. Наконец, следовало позаботиться о продаже дома и всего остального унаследованного им имущества, хотя Эбнер испытывал большое сомнение в том, что ему удастся отыскать человека, который согласился бы поселиться в такой дыре, как массачусетский Данвич.

Он решил не терять времени даром и сразу же приступил к выполнению намеченных мероприятий.

Осмотр мельницы, однако, показал, что основная часть механизмов, за исключением тех, которые соединялись непосредственно с колесом, уже была кем-то демонтирована и, очевидно, продана. Возможно, это было сделано самим дедом Лютером, решившим таким образом увеличить денежную часть своего наследства. Таким образом Эбнер был по крайней мере избавлен от необходимости демонтировать оборудование перед окончательным сносом мельницы.

Бродя по заросшим паутиной помещениям мельницы, он едва не задыхался от пыли, которая толстым слоем покрывала все вокруг, тугими клубами вздымалась у него из-под

ног и делала почти неслышным звук шагов, а потому он с нескрываемым облегчением вышел наружу, намереваясь приступить к осмотру колеса.

Пробираясь по деревянному карнизу в направлении круглого каркаса колеса, он испытывал некоторое беспокойство, опасаясь, что подгнившее дерево в любой момент проломится и сам он окажется в протекавшей внизу воде. Конструкция, однако, оказалась более прочной, нежели он предполагал, дерево выдержало его вес. Колесо оказалось подлинным и притом великолепно сохранившимся образчиком работы середины девятнадцатого века, и Эбнер даже поймал себя на мысли, что будет очень жаль уничтожать такой памятник старины. Возможно, подумал он, его удастся демонтировать и передать в какой-нибудь музей, или пристроить в одном из тех домов, которые реконструируются состоятельными людьми, желающими сохранить историческое наследие Америки.

Он уже собирался было завершить осмотр, когда его взгляд подметил оставшуюся на лопастях колеса цепочку влажных пятен. Приглядевшись поближе, он обнаружил, что это почти подсохшие следы, и были они оставлены каким-то мелким животным, скорее всего, земноводным — лягушкой или жабой, — которое, по-видимому, взбиралось по колесу утром, когда еще не начало припекать жаркое солнце. Проследив взглядом вереницу следов, он вскоре уперся в им же разбитые ставни располагавшейся наверху комнаты.

На какое-то мгновение он задумался, припомнив то похожее на лягушку животное, которое видел накануне рядом с комодом в той самой запертой комнате. Может, это оно наследило, выбравшись наружу через сломанную оконную раму? Или, что было более вероятным, какая-то другая тварь обнаружила присутствие в доме сородича и стала пробираться к нему? В душе Эбнера шевельнулось гадливое и немного тревожное чувство, которое он, однако, тут же раздраженно подавил, поскольку посчитал, что интеллигентный человек не должен столь явно поддаваться воздействию каких-то невежественных и мистических тайн, оставленных ему в наследство покойным дедом.

Тем не менее, он снова прошел в дом и поднялся по лестнице к запертой комнате. Отпирая дверь ключом, он был почему-то почти уверен, что заметит в обстановке комнаты какую-нибудь существенную перемену по сравнению с тем, что сохранилось в его памяти с прошлого вечера. Однако уже через несколько секунд Эбнер обнаружил, что за исключением того, что теперь ее заливали лучи яркого летнего солнца, в ней вроде бы все оставалось по-прежнему.

Затем он подошел к окну.

На подоконнике также виднелись какие-то следы. Одни вели внутрь комнаты, другие — наружу, причем те и другие отличались друг от друга своими размерами. Следы, ведущие наружу, были сухими, оставленными на пыли и совсем крохотными, не более полутора сантиметров в поперечнике, тогда как те, что вели внутрь комнаты были, по крайней мере, вдвое больше и определенно влажные. Эбнер наклонился ниже и с неподдельным изумлением принялся рассматривать их.

Он не был зоологом, однако все же имел некоторое представление об этой науке. Подобных следов ему еще не приходилось видеть ни разу в жизни. Если не считать того, что оставившие их конечности были — во всяком случае, казались — перепончатыми, следы в мельчайших деталях представляли собой уменьшенные до миниатюрных размеров отпечатки человеческих рук и ног.

Эбнер произвел беглый осмотр помещения в надежде обнаружить вчерашнее существо, однако так и не отыскал его, после чего, несколько потрясенный, покинул комнату, в очередной раз заперев дверь за собой. С каждой минутой он все больше сожалел о том непроизвольном импульсе, который заставил его вообще переступить порог этой комнаты и к тому же взломать ставни, так долго отгораживавшие ее от всего остального мира.

III

В сущности, он не особенно удивился, обнаружив, что во всем Данвиче не нашлось ни одного человека, который взялся бы развалить старую мельницу. Даже те плотники, которые уже долгое время сидели без работы, отказывались заниматься этим делом, приводя себе в оправдание всевозможные доводы, за которыми Эбнер без труда угадал неприязнь к этому месту и даже суеверный страх, который, казалось, был присущ едва ли не всем жителям деревни. В итоге ему не оставалось ничего иного, кроме как ехать в соседний Эйлесбэри, и хотя там он довольно быстро подрядил трех горластых молодых людей, взявшихся за аккордную оплату снести под основание старую мельницу, ему все же не удалось уговорить их сразу начать работу, поскольку у них якобы оставались какие-то дела по ранее взятым обязательствам. В итоге он вернулся в Данвич, заручившись их обещанием приехать «через неделю, от силы — дней десять».

Вновь оказавшись дома, Эбнер вознамерился как можно скорее разобраться в вещах старого Лютера Уотелея. В част-

ности, он обнаружил подшивки старых газет, в основном «*Эрхам Эдвертайзер*» и «*Эйлсбэри Трэнскрипт*» — пожелтевшие от времени и основательно пропылившиеся, — которые отложил в сторону, чтобы при случае сжечь. Были там и книги, с которыми следовало ознакомиться повнимательнее, дабы не пропустить что-либо действительно важное, а также связки писем, которые он хотел было сжечь первыми, но в какое-то мгновение взгляд его случайно наткнулся на одно из них, подписанное именем «Марш». Отложив на время все остальное, Эбнер немедленно приступил к чтению этого послания.

«Лютер, то, что случилось с кузеном Обедом, до сих пор остается для меня полнейшей загадкой. Даже и не знаю, как тебе об этом рассказать, потому как не уверен, что слова мои прозвучат достаточно убедительными, а кроме того, я не располагаю всеми необходимыми фактами. Лично я склонен считать, что весь этот вздор был специально выдуман с целью сокрытия какого-нибудь скандального происшествия, поскольку ты не хуже меня знаешь, что Марши всегда были падки на всякого рода преувеличения и обман, да и вообще любили ходить темными дорожками.

Сама же эта история в том виде, в каком она дошла до меня от кузена Элайзы, выглядит следующим образом. В молодости Обед и несколько его приятелей из Иннсмаута регулярно отправлялись в торговые плавания к полинезийским островам. Однажды они повстречались там с довольно странными людьми, которые сами себя называли «Глубоководными» и обладали способностью жить как на суше, так и в воде. Иными словами, были амфибиями. Ну как, верится тебе в подобное? Лично мне не очень. Но самое поразительное во всей этой истории то, что и сам Обед, и некоторые из его парней взяли себе там в жены местных женщин, с которыми затем вернулись домой.

Это, можно сказать, *легенда*, а теперь я перехожу к *подлинным фактам*. Так вот, вскоре после этого бизнес Марша стал переживать необычайный подъем, а жену его, эту самую миссис Марш, никто и в глаза не видывал. Она практически никогда не выходила из дому, за исключением, пожалуй, лишь отдельных мероприятий, которые организовывались каким-то «Орденом Дэгона» и проводились в зале, куда пускали только членов секты. «Дэгон», как я слышал, это такой морской бог.

Лично я ничего не знаю об этих языческих религиях и знать не желаю, но у всех детей Марша какая-то *очень уж странная* внешность. Прошу, поверь, я отнюдь не преувеличиваю, но у них какие-то ужасные широченные рты, почти

нет подбородка, и настолько большие и выпуклые глаза, что, клянусь, иногда они вообще кажутся больше похожими не на людей, а на лягушек! *Жабр* у них, правда, насколько я заметил, нет, хотя, по слухам, сами эти «Глубоководные» были с жабрами и поклонялись этому самому Дэгону или какому-то еще морскому божеству, имя которого я не то что написать — произнести-то не смогу.

Так вот, я не исключаю, что всю эту белиберду Марши могли специально выдумать в каких-то собственных корыстных целях. Не берусь судить, так ли это, но знаешь, Лютер, если посмотреть на то, как плавали его суда все те годы в Ост-Индию и при этом ни разу не попали ни в шторм, ни еще в какую переделку — ни бригантина «*Колумбия*», ни барк «*Суматранская королева*», ни бриг «*Хетти*», и еще несколько других, — так можно подумать, что он заключил какую-то сделку с самим Нептуном!

Затем не надо забывать про все то, что вытворяли Марши у себя дома, то есть — у нас здесь, в Иннсмауте. Взять хотя бы эти ночные купанья — они доплывали аж до рифа Дьявола, а это не меньше полутора миль от берега. Потом почти все люди сторонятся Маршей — кроме, разве лишь, Мартинса и нескольких других парней, которые тоже ходили с ним в плаванье в Ост-Индию. Сейчас же, когда старый Обед уже на том свете, равно как и его миссис Марш, их дети и внуки, можно сказать, продолжают идти по стопам своего странного предка».

В заключение автор письма перешел к обсуждению цен на некоторые товары — кстати сказать, непостижимо низких, если не учитывать, что существовали они более полувека назад, когда сам Лютер был довольно молодым и еще неженатым человеком. Письмо было подписано его кузеном Эрайей, о котором Эбнер никогда даже и не слышал. Что же касается самих Маршей, то несмотря на кажущееся обилие слов, о них в письме, в сущности, не было написано ничего конкретного — или, напротив, все, если только Эбнеру удалось бы найти ключ к той головоломке, от которой, как он начинал со все более нарастающим раздражением осознавать, у него в руках находились лишь незначительные разрозненные части.

Но если Лютер действительно верил во весь этот бред, позволил ли бы он много лет спустя своей дочери отправиться к такой родне, к Маршам? В этом Эбнер сильно сомневался.

Он стал просматривать также и другие бумаги — это были счета, квитанции, обычные отчеты о поездках в Бостон, Ньюбэрипорт, Кингспорт, — и открытки, пока не наткнулся на еще одно послание кузена Эрайи, написанное, если верить

стоявшей на нем дате, вскоре после первого, которое Эбнер прочитал несколько минут назад. Судя по тому, что оба письма разделял промежуток в десять дней, Лютер вполне мог успеть ответить кузену на его первое послание.

Эбнер нетерпеливо открыл конверт.

На первой странице речь шла о всяких мелких семейных делах, связанных с замужеством еще одной кузины, очевидно, сестры Эрайи; вторая была посвящена размышлениям о перспективах торговли с Ост-Индией, причем один из абзацев касался новой книги Уитмена — очевидно, Уолта; третья же целиком была отдана ответу на тот вопрос, который, по-видимому, Лютер задавал своему кузену относительно семейства Маршей.

«Возможно, Лютер, ты и прав в том, что главной причиной чуть ли не всеобщей неприязни к Маршам являются расовые предрассудки. Уж кто-кто, а я-то знаю, как здешние люди относятся к представителям других рас. Что ж, с учетом их крайне скудного образования, они и в самом деле нередко скатываются в пропасть всевозможных суеверий и ничем не обоснованных предубеждений. Однако я не согласен с тобой в том, что абсолютно все здесь может быть объяснено именно сквозь призму этих самых предрассудков.

Сказать по правде, я ума не приложу, что за раса могла придать всем отпрыскам Обеда Марша столь странную внешность. Взять хотя бы ост-индийцев, которых я довольно хорошо помню по своим молодым годам, когда тоже занимался торговлей — в сущности, они мало чем отличаются от нас, разве что кожа другого цвета, чуть бронзовая, я бы сказал. Однажды мне, правда, довелось видеть одного аборигена, у которого были аналогичные черты лица, но едва ли это можно было назвать типичным случаем, поскольку в доках той гавани, где я повстречал этого парня, его сторонились буквально все рабочие. Не помню уже сейчас, где это было — кажется, на Понапе.

Правда, надо отдать им должное — Марши вообще не склонны распространяться о себе и своих делах, да и остальные семьи, которые живут здесь, также не отличаются особой разговорчивостью. При этом они фактически заправляют всей жизнью города. Возможно, это покажется характерным, а может, на самом деле всего лишь совпадение, однако когда один из членов городского управления по какому-то вопросу выступил против них, то его труп вскоре выловили в море. Я прекрасно знаю, что нередко случаются и еще более странные совпадения, однако странно как-то получается — в большинстве подобных случаев так или иначе оказываются замешанными люди, настроенные враждебно по отношению к Маршам.

Впрочем, я достаточно хорошо тебя знаю и представляю,

как отнесется ко всему этому твой холодный, аналитический ум, а потому намерен поведать тебе еще кое о чем».

И все — больше ни слова. Эбнер скрупулезно перебрал оставшиеся связки писем, однако все его усилия оказались тщетными. В остальных своих посланиях Эрайя касался лишь самых обычных, бытовых вопросов. По-видимому, Лютер вполне конкретно выразил ему свое неудовольствие по поводу подобного увлечения всевозможными слухами, поскольку, даже несмотря на свою молодость, отличался ярко выраженными рационализмом и самодисциплиной.

Помимо писем Эбнеру удалось обнаружить еще лишь одно сообщение, каким-то образом связанное с тайной Иннсмаута. Это была вырезка из газеты, и, судя по ее содержанию, можно было предположить, что автор заметки весьма слабо знал фактическую сторону описываемых событий. Речь в ней шла о действиях федеральных властей, предпринятых в 1928 году как в самом Иннсмауте, так и поблизости от него — об их попытке разрушить риф Дьявола, о взрывах, проведенных в располагавшихся вдоль береговой линии строениях, а также о массовых арестах членов семей Марша, Мартинса и некоторых других. Однако данные события по времени на несколько десятилетий отстояли от всего того, о чем писал Эрайя.

Эбнер положил в карман письма, в которых речь шла о Маршах, а остальные сжег на костре, который в тот же вечер соорудил на берегу реки и в который побросал много других ненужных ему вещей, обнаруженных при осмотре дома. Пока пламя пожирало свою добычу, он стоял рядом и подправлял костер палкой, опасаясь того, что от резкого порыва ветра может ненароком вылететь какая-нибудь искра, которая перекинется на окружающую траву — в столь необычно засушливое лето это могло обернуться весьма тяжелыми последствиями. Ему всегда нравился специфический аромат костра, а сейчас тем более, поскольку он перебивал доносившийся со стороны реки запах какой-то мертвечины — скорее всего, это были полуразложившиеся останки крупной рыбы, припавшей впрок каким-то животным вроде выдры.

Стоя рядом с костром, он машинально скользил взглядом по старому дому Уотелеев и с тоской думал о том, что и в самом деле стоит снести эту мельницу, тем более, что несколько стекол разбитого им окна в комнате тети Сари, а также часть сломанной рамы вывалились наружу, и сейчас их осколки лежали разбросанными на лопастях мельничного колеса.

Начало смеркаться. Огонь к тому же стал постепенно угасать, а потому можно было уходить, не опасаясь пожара. Вернувшись в дом, он проглотил свой бесхитростный ужин и

почувствовал, что уже немало перечитал за сегодняшний день всякой всячины, а потому отказался от задуманных было поисков тех самых «записей» деда, о которых упоминал дядя Зэбулон Уотелей. Вместо этого он прошел на веранду, чтобы полюбоваться сгущающимися сумерками, в которых отчетливо слышалось все более усиливающееся пение лягушек и козодоев. Довольно скоро он с особой отчетливостью почувствовал навалившуюся на него усталость и решил пораньше лечь спать.

Сон, однако, никак не шел. Ночь выдалась особенно душная, и в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка. Кроме того, даже несмотря на заливистые лягушачьи рулады и несмолкаемое, почти демоническое неистовство козодоев, его все более донимали странные звуки, казалось, доносившиеся откуда-то изнутри самого дома: поскрипывания и постанывания массивного деревянного строения, словно также готовившегося отойти ко сну; странный шорох и шелест, как будто кто-то полуподпрыгивая — полуволочась перемещался по доскам перекрытий — последнее Эбнер приписал крысам, которые должны были в изобилии водиться в помещении мельницы. Звуки были какие-то приглушенные и достигали его словно с некоторого удаления... но внезапно к ним примешался треск дерева и звон разбиваемого стекла, которые, как показалось Эбнеру, донеслись непосредственно из располагавшейся над ним комнаты. Создавалось впечатление, что дом попросту разваливается на части, и сам он является чем-то вроде катализатора окончательного разрушения старого, обветшавшего строения.

Подобная мысль даже немного позабавила его, поскольку получалось, что таким образом он, сам того не желая, выполнял последнюю волю своего деда. С этими мыслями он наконец погрузился в сон.

Утром Эбнера разбудил телефонный звонок, поскольку на время своего пребывания в Данвиче он предусмотрительно подсоединил аппарат к розетке. Он уже снял слуховую трубку висевшего на стене древнего переговорного устройства, когда до него дошло, что сигнал шел по общему для всего поселка проводу, а потому необязательно предназначался именно ему лично. Тем не менее обрушившийся на него пронзительный женский голос с такой настойчивостью разрывал окружающую тишину, что он так и не отнял трубку от уха и продолжал слушать, неподвижно застыв на месте.

— ...и знаете, что я еще вам скажу, мисс Кори, — вчера ночью я слышала такие звуки, словно вся земля заговорила, а ближе к полуночи раздался этот вопль... Верите ли, я и представить себе не могла, что корова способна так орать —

буквально, как свинья, когда ее режут, только гораздо ниже, разумеется. Это оказалась корова Люти Сойер — они нашли ее сегодня утром. От туши осталось не больше половины — все остальное сожрало это зверье...

— Но вы же не думаете, мисс Бишоп., что они снова вернулись?

— Я не знаю. И молю Бога, чтобы этого не случилось. Но все происходит в точности, как и тогда.

— Они только одну корову задрали?

— Только одну. О других, вроде, ничего не слышно. Но ведь и тогда, мисс Кори, все начиналось точно так же.

Эбнер тихо опустил трубку на рычаг и мрачно усмехнулся по поводу этого образчика необузданного суеверия данвичских жителей. Ранее он не имел ни малейшего представления об истинной глубине невежества и религиозных предрассудков, обуявших жителей такого Богом забытого уголка как Данвич, и подобный диалог, как он понимал, был еще далеко не самым ярким их проявлением.

Впрочем, у него не было времени предаваться подобным размышлениям, поскольку надо было идти в поселок за свежим молоком, а потому он ступил под затянутое облаками утреннее небо с чувством некоторого облегчения — приятно было хотя бы ненадолго вырваться из этого дома.

Завидев приближающегося Эбнера, Тобиас Уотелей, казалось, еще более помрачнел и замкнулся в себе, причем в его поведении ощущалась не только неприязнь — теперь к ней явно примешивались признаки самого настоящего страха. Это немало удивило Эбнера, и поэтому заметив, что на все его вопросы торговец отвечал исключительно короткими, односложными словами, он, желая хоть немного развязать ему язык, решил заговорить о том, что случайно подслушал по телефону.

— Я знаю, — коротко отреагировал на рассказ Эбнера Тобиас и впервые за все это время глянул на молодого человека с выражением неприкрытого ужаса.

Тот буквально окаменел от изумления. В глазах Тобиаса он увидел жуткую смесь дикого страха и непримиримой враждебности. Поняв чувства стоявшего напротив него человека, он поспешно расплатился за покупки. Продавец опустил глаза, взял деньги и негромко спросил:

— Вы видели Зэбулона?

— Да, он приезжал ко мне домой.

— Вы с ним поговорили?

— Поговорили.

Казалось, Тобиас ожидал от беседы Эбнера со стариком чего-то особенного, однако нынешняя позиция заезжего гостя

явно свидетельствовала о том, что произошедшие вслед за тем разговором события явились для него полнейшей неожиданностью. Таким образом торговец сделал вывод, что либо старый Эбулон не сказал молодому человеку того, что, как надеялся Тобиас, должен был сказать, либо что Эбнер попросту проигнорировал советы старика.

Теперь Эбнер уже окончательно ничего не понимал. После странных намеков дяди Эбулона и телефонного разговора двух суеверных жительниц Данвича подобная позиция Тобиаса ввергла его в состояние крайнего замешательства. Хозяин магазина, похоже, в еще большей степени, чем даже старый Эбулон, был склонен пойти на откровенность и облечь в слова свои мрачные мысли, причем и тот и другой вели себя так, словно Эбнер сам должен был что-то знать и понимать.

Он покинул магазин в состоянии крайнего смущения и направился назад к дому Уотелея, преисполненный твердой решимости как можно скорее завершить начатые дела и убраться из этого Богом забытого, дремучего поселка, населенного погрязшими во всяческих суевериях жителями.

С такими мыслями он продолжил изучение личных вещей деда, предварительно, правда, наскоро покончив со своим скудным завтраком — малоприятный визит в магазин заметно притупил его аппетит, который он испытывал, выходя из дома.

Лишь где-то к концу второй половины дня ему удалось отыскать то, что он искал — это была большая тетрадь, в которую Лютер Уотелей малоразборчивым почерком заносил некоторые из своих впечатлений о жизни.

IV

Наспех перекусив, Эбнер зажег лампу, подсел к кухонному столу и открыл тетрадь Лютера. Первые страницы оказались почти целиком вырванными, однако по тем фрагментам фраз, которые остались на сохранившихся у края переплета обрывках бумаги, он понял, что это были почти сплошь какие-то счета. Наверное, смекнул он, дед решил использовать старую, но не до конца исписанную бухгалтерскую книгу, и потому удалил из нее уже использованные страницы.

Уже с первых страниц текста на него повеяло какой-то тайной. Даты в тексте отсутствовали и были проставлены лишь дни недели.

«В эту субботу Эрайя ответил на мое письмо. С. неск. раз видели в компании Ральсы Марша. Правнук Обеда. Вместе ходили ночью купаться».

Таковым было начало, явно относящееся к поездке тети Сари в Иннсмаут, о которой дед, очевидно, спрашивал Эрайю. Что-то побудило Лютера заняться подобным частным расследованием, а зная отдельные фрагменты событий, Эбнер сделал вывод о том, что начато оно было уже после возвращения Сари в Данвич.

Но зачем?

Следующий текст был вклеен в тетрадь и определенно являлся частью какого-то полученного Лютером Уотелеем письма, напечатанного на машинке.

«Похоже на то, что из всех членов их семьи Ральса Марш имеет самую отталкивающую внешность. Глядя на него, можно подумать, что это самый настоящий *дегенерат*. Я помню твои слова о том, что из всех твоих дочерей Сара не самая красивая, но даже если и так, все равно невозможно взять в толк, как она могла гулять с таким чудищем как Ральса. Ведь в нем, как ни в одном другом члене семьи Марша, заметны признаки того вырождения, которое стало наблюдаться среди них после странной женитьбы Обеда на той полинезийке, причем у него они приобрели особенно омерзительную форму. Кстати сказать, сами Марши отрицали тот факт, что жена Обеда была полинезийкой, хотя он действительно часто плавал туда по своим торговым делам. Лично мне не очень-то верится во все эти рассказы насчет какого-то неизвестного острова, на котором он якобы на некоторое время задержался, ну и все прочее.

Насколько я сейчас припоминаю — не забывай, что прошло уже больше двух месяцев, а то и все три, когда она вернулась в Данвич, — они были постоянно вместе. Удивляюсь тому, что Эрайя не сообщил тебе об этом. Никто из нас здесь, разумеется, не мог запретить Саре встречаться с Ральсой — они ведь кузены, да и приехала она погостить именно к Маршам, а не к нам».

По оценке Эбнера, автором этого письма была женщина, также кузина его деда, которая словно невзначай укоряла Лютера за то, что он отправил Сару не к ним, а к представителям другой семейной ветви. В любом случае, однако, получалось, что Лютер через нее наводил справки относительно Ральсы Марша.

Третий фрагмент был также исполнен рукой Лютера — в нем он как бы суммировал сообщенное в письме Эрайи.

«Суббота. Эрайя утверждает, что Глубоководные — это нечто вроде секты или псевдорелигиозной группы. Недоче-

ловеки, одним словом. Якобы живут в море и поклоняются какому-то Дэгону. Есть еще одно божество, которого зовут Цтулху. У людей этих есть жабры. Больше напоминают собой даже не рыб, а скорее лягушек или жаб, но глаза типично рыбы. Утверждает, что покойная жена Обеда была одной из них. Настаивает, что все дети Обеда родились с такими же признаками. То есть что у Маршей тоже есть жабры? Как же иначе они могут проплыть полторы мили до рифа Дьявола, а потом вернуться обратно? Сами Марши едят очень мало, вообще могут подолгу обходиться без еды и питья, причем в зависимости от их количества очень быстро уменьшаются или увеличиваются в размерах». (В этом месте Лютер поставил целых четыре презрительных и гневных восклицательных знака).

«Зэдок Аллен клянется, что видел, как Сара плавала к рифу Дьявола. Марши взяли ее с собой. *Все были голые.* Утверждает, что видел Маршей, покрытых какой-то жесткой, бородавчатой кожей. У некоторых была *чешуя*, как у рыб! Божится, что видел, как они ловили и пожирали рыбу! Рвали ее на части, как какие-то звери.»

Следующий фрагмент также представлял собой часть какого-то письма, очевидно, полученного в ответ на послание Лютера Уотелея.

«Ты спрашиваешь, кто в ответе за все эти *нелепые* рассказы про Маршей. Знаешь, Лютер, за несколько поколений людей очень трудно вычленить какого-то одного или даже несколько человек. Я согласен с тобой в том, что старый Зэдок Аллен слишком много болтает, выпивает, да и вообще он любитель прихвастнуть. Но это — всего лишь один человек, тогда как легенда эта — или, как ты выражаешься, *байка*, — передавалась из уст в уста представителями нескольких поколений. Не менее трех кряду. Тебе достаточно хотя бы раз взглянуть на потомков капитана Обеда, чтобы понять, откуда все это пошло. Говорят, что некоторые отпрыски Марша настолько отвратны на вид, что на них и взглянуть-то страшно. Это тоже старые бабские сплетни?

Тогда слушай. Доктор Роули Марш тогда и сам был слишком болен, чтобы принять роды у одной из женщин Маршей, а потому им пришлось позвать доктора Джилмэна. Так вот, этот доктор Джилмэн потом часто говорил, что то, что у нее родилось, вообще не было человеком. Кстати, того новорожденного с тех пор никто не видел, хотя позже встречались люди, которые утверждали, что им попадались какие-то существа, *которые передвигались на двух ногах, но при этом совсем не были людьми*».

Сразу вслед за этим шла короткая, но достаточно красно-

речивая пометка, состоящая всего из двух слов: «Наказанная Сара».

Скорее всего, это обозначало дату начала заточения Сары Уотелей в комнате над мельницей. После этого имя дочери Лютера на некоторое время исчезло со страниц его записей. Он не датировал свои фрагменты, которые записывались им подряд, без видимых промежутков, и потому об их давности можно было судить лишь по степени выцветания чернил.

«Много лягушек. Похоже, они размножаются прямо на мельнице. Кажется, их больше, чем даже на болотах по другую сторону Мискатоника. Спать по ночам просто невозможно. Козодоев тоже стало больше, или мне это только так кажется?... Сегодня вечером только на крыльце дома насчитал тридцать семь лягушек».

Аналогичных записей было довольно много. Эбнер прочитал их все, хотя не нашел ни малейшего намека на то, что именно хотел этим сказать старик. Казалось, Лютер Уотелей вел скрупулезный учет численности лягушек и их перемещения по руслу Мискатоника — когда они появлялись на свет, вылезали из воды и тому подобного. Все это представлялось совершенно самостоятельной информацией, которая не имела никакого отношения к проблеме Сары.

Вскоре в тексте наступил очередной пропуск, после чего была сделана одна-единственная, к тому же дважды подчеркнутая запись:

«Эрайя был прав!»

Но в чем был прав Эрайя? — задавался вопросом Эбнер. И каким образом Лютер в этом убедился? В записях не содержалось никаких признаков того, что они продолжали вести между собой переписку, или что Эрайя вздумал было написать чудаковатому Лютеру без какой-либо просьбы со стороны последнего.

Вслед за этим следовал ряд записей, к которым было приклеено несколько газетных вырезок. Все они казались не связанными между собой, однако на основании их Эбнер заключил, что между этими записями и предыдущими прошло не меньше года. Более того, характер следовавших затем записей показался ему наиболее обескураживающим, а временной интервал составлял, скорее всего, около двух лет.

«Р. объявился снова».

Но если Лютер и Сара были единственными, кто проживал в доме, кем же был этот загадочный Р.? А может, к ним в гости пожаловал Ральса Марш? В этом Эбнер сильно сомневался, поскольку ничто не указывало на то, что Ральса Марш питал какую-то привязанность к своей дальней родственнице, да и потом, будь это так, он бы домогался ее и раньше.

Следующая запись казалась совершенно неуместной:

«Две черепахи, одна собака, останки сурка. У Бишопа: две коровы обнаружены у реки в дальнем конце пастбища».

Чуть ниже Лютер вписал следующие фразы:

«К концу месяца общий итог: 17 коров и 6 овец. Зловещие перемены; размер пропорционален кол-ву пищи. З.затих. Смущают разговоры, которые ведутся в округе».

Могло ли З. означать Зэбулон? Эбнер был склонен думать, что это так. Совершенно очевидно, что Зэбулон и в самом деле приезжал зря, поскольку толком ничего не сказал, а только делал какие-то смутные намеки по поводу ситуации, сложившейся в доме после того, как тетю Сари заперли в комнате над мельницей. Таким образом получалось, что обо всем происходившем в те годы Зэбулон знал даже меньше того, что понял Эбнер, ознакомившись с записями Лютера. Но он был в курсе того, что дед ведет эти записи, а следовательно Лютер наверняка сказал ему, что установил некоторые факты.

Все эти короткие пометки очень походили на некие краткие тезисы для последующих и более подробных записей; расшифровать их можно было лишь человеку, который имел к ним ключ, и ключ этот заключался в том знании общей ситуации, которым располагал сам Лютер Уотелей. Однако в последующих записях старика отчетливо прослеживалась явная поспешность.

«Исчезла Ада Уилкерсон. Следы борьбы. В Данвиче очень беспокойно. Джон Сойер погрозил мне кулаком — правда, с противоположной стороны улицы, где я не мог его достать.

Понедельник. На сей раз Ховард Уилли. Нашли один башмак, а в нем его нога!»

Записи подходили к концу. К сожалению, некоторые страницы были вырваны — отдельные с явной злостью, резко, — однако оставалось совершенно непонятным, зачем кому-то понадобилось столь непочтительным образом обходиться с записями деда. Скорее всего, сделал это он сам. Возможно, подумал Эбнер, Лютер почувствовал, что и так рассказал слишком много, а потому решил уничтожить любые свидетельства, которые могли бы навести будущего читателя на реальный след всего того, что было связано с пожизненным заточением тети Сари. Что ж, по крайней мере в этом он вполне преуспел.

Следующая запись вновь касалась таинственного Р.:

«Наконец-то вернулся Р.»

Затем: «Заколотил гвоздями окна комнаты Сары».

И наконец: «Коль скоро он сбросил вес, его надо держать на строгой диете, чтобы сохранять поддающийся контролю размер».

В сущности, это была самая загадочная фраза из всего того, что Эбнер встречал выше. Имелось ли в виду, что «он» это и есть тот самый «Р.»? Если так, зачем его нужно было держать на строгой диете, и что Лютер Уотелей имел в виду под контролем его размера? В том, что Эбнер прочитал до сих пор, ответа на подобные вопросы не было — ни в данных записях, точнее, в тех фрагментах, которые от них остались, ни в просмотренных перед этим письмах.

Он отшвырнул от себя тетрадь, с трудом подавив в себе желание тотчас же ее сжечь. Что и говорить, он был раздражен, тем более, что некое тревожное чувство недвусмысленно указывало ему на необходимость как можно скорее проникнуть в тайну этого зловещего дома.

Время было позднее; за окнами уже стемнело и вновь поднялся вездесущий шум лягушек и козодоев, который, казалось, окружал дом со всех сторон. На время вытеснив из своего сознания мысли о бессвязных заметках, над чтением которых он проторчал почти весь вечер, Эбнер попытался восстановить в своей памяти некоторые суеверия, которые имели хождение в их семье, особенно те из них, которые занимали доминирующее место. Во многих из них кваканье лягушек и пение козодоев и сов ассоциировалось со смертью, и на основе этого в мозгу его словно сама собой вырисовывалась связь с «земноводной темой» — присутствие лягушек создавало перед его глазами гротескную карикатуру на типичного представителя иннсмаутского клана Маршей, каким его изображали в письмах, хранимых Лютером Уотелеем на протяжении столь долгих лет.

Как ни странно, эта мысль, несмотря на всю ее банальность, буквально заорожила его. Неистовство лягушачьего и жабьего пения в окружавших дом зарослях показалось Эбнеру весьма примечательным. Что и говорить, земноводные в окрестностях Данвича всегда водились в изобилии, и он не имел ни малейшего представления о том, в течение какого периода времени до его приезда они оглашали своим пением старый дом Уотелеев. При этом он сразу же отверг всякое допущение о том, что это каким-то образом связано с его приездом; скорее всего, близость Мискатоника, а также низменный, заболоченный характер местности по другую сторону реки являлись теми причинами, которые обуславливали присутствие здесь такого количества лягушек.

Скоро, однако, от его бывшего раздражения не осталось и следа — как, впрочем, и от мыслей о лягушках. Он просто устал. Встав из-за стола, Эбнер аккуратно уложил тетрадь Лютера Уотелей в один из своих чемоданов, намереваясь увезти ее с собой и потом поразмыслить о прочитанном на досуге. Ведь где-то же должна была таиться разгадка! Если в

данной местности действительно происходили какие-то ужасные события, то должно было сохраниться еще какое-то письменное доказательство случившегося, причем более убедительное, нежели скудные заметки Лютера Уотеля. Самих жителей Данвича расспрашивать смысла не было; он знал, что перед «чужаком» вроде него они и рта не раскроют, даже несмотря на существовавшую между ними отдаленную родственную связь.

Именно тогда он вспомнил про кипы газет, которые по-прежнему дожидались своей очереди полететь в костер. Несмотря на усталость, он принялся листать подшивки «*Эйлсбэри Трэнскрипт*», в которой время от времени публиковались сообщения, обозначенные рубрикой «Данвич».

Примерно через час довольно беглого просмотра он обнаружил три довольно малопонятные статьи, и хотя ни одна из них не располагалась непосредственно в данвичской колонке, все они косвенным образом перекликались с содержанием записей в тетради Лютера Уотеля. Первая была помещена под заголовком: «*Дикий зверь убивает скот в предместьях Данвича*». В ней говорилось следующее.

«Недавно несколько коров и овец, которые обитали на фермах, располагавшихся неподалеку от Данвича, стали жертвами, как предполагается, какого-то дикого животного. Оставшиеся на месте резни следы указывают на то, что это был какой-то крупный зверь, хотя сотрудник кафедры зоологии Мискатонского университета профессор Бетнал не исключает возможности того, что в холмистых окрестностях Данвича объявилась стая волков. На памяти старожилов этих мест к востоку от морского побережья никогда не водились дикие звери, которые могли бы оставить столь впечатляющие следы. Власти округа ведут расследование».

Несмотря на все свои поиски, Эбнеру так и не удалось найти продолжения этой истории. Вместо этого он вскоре наткнулся на сообщение относительно Ады Уилкерсон.

«Пятидесятисемилетняя вдова Ада Уилкерсон, которая проживала на берегу Мискатоника неподалеку от Данвича, возможно, стала жертвой преступления, совершенного три дня назад. После того, как она не пришла на заранее обговоренную встречу с проживавшей в Данвиче подругой, та наведлась к ней домой, однако не обнаружила ни малейших следов исчезнувшей женщины. Тем не менее, дверь дома миссис Уилкерсон оказалась взломанной, а вся мебель в комнатах была беспорядочно разбросана, как если бы там имела место ожесточенная схватка. При этом в помещении стоял сильный мускусный запах. Вплоть до сегодняшнего дня о миссис Уилкерсон не поступало никаких сведений».

. В двух последующих абзацах вкратце сообщалось, что несмотря на предпринятые полицией меры, никаких следов, которые могли бы указать на местонахождение миссис Уилкерсон, обнаружено не было. Вновь — хотя и с явной неохотой — была реанимирована версия о «крупном звере» и упоминавшейся профессором Бетналом гипотетической стае волков, однако на том дело и завершилось, поскольку следствие установило, что исчезнувшая дама не имела ни крупных sbережений, ни личных врагов, и вообще ни у кого не было никаких причин убивать ее.

Под конец, он обнаружил сообщение о смерти Ховарда Уилли, озаглавленное *«Жуткое преступление в Данвиче»*.

«В ночь с двадцать первого на двадцать второе число (месяц указан не был) уроженец и житель Данвича, тридцатисемилетний Ховард Уилли был зверски убит, когда он возвращался домой с рыбалки в верхних притоках Мискатоника. Нападение на мистера Уилли было совершено примерно в полумиле от усадьбы Лютера Уотелея, когда он пересекал обсаженную деревьями лужайку. По всей видимости, жертва оказала преступникам отчаянное сопротивление, поскольку земля вокруг того места, где было обнаружено его тело, была сильно измята, а трава даже кое-где вырвана с корнем. Уступив явно превосходящим силам нападавших, бедняга был в буквальном смысле слова разорван на части, и все, что от него осталось, это ступня одной ноги, по-прежнему находившаяся в башмаке. Вероятнее всего, она была оторвана от остальной части ноги под воздействием громадной силы.

По сообщению нашего корреспондента, население той местности пребывает в крайне подавленном состоянии, но одновременно испытывает сильный страх, гнев и даже ярость. Сами они имеют на примете несколько возможных подозреваемых, однако при этом категорически отрицают возможность причастности кого-либо из своих односельчан к убийству мистера Уилли, а также к загадочному исчезновению миссис Уилкерсон, имевшему место две недели назад и также пока не нашедшему своего убедительного объяснения».

В завершение статьи приводились кое-какие сведения о родственниках Уилли. Остальные номера *«Трэнскрипта»* Эбнер решил предать огню, поскольку в них не содержалось никакой информации относительно событий, которые имели место в Данвиче. Дело в том, что несмотря на неоднократные попытки представителей властей или прессы поговорить с кем-либо из жителей этого поселка, все они натывались на глухую стену молчания, поскольку те не желали даже касаться этой темы или поделиться собственными соображениями на данный счет.

Тем не менее в ряде комментариев по поводу указанных событий неоднократно отмечалось, что на месте гибели мистера Уилли все же были обнаружены какие-то странные следы, которые словно возникали из воды и затем также уходили в воду. Иными словами, получалось, что если в произошедших в Данвиче трагедиях действительно было замешано некое дикое животное, то обитало оно в водной среде и, совершив свои зверства, в нее же возвращалось.

Несмотря на поздний час, Эбнер отложил номера газет с заинтересовавшими его публикациями, а остальные сгреб в кучу и отнес к реке, чтобы сложить из них костер и сжечь. Погода была безветренная, а потому он посчитал возможным не следить за огнем, тем более, что он разжег его на месте прежнего костра, где от окружающей травы уже почти ничего не осталось. Уже собравшись было вернуться в дом, он неожиданно расслышал на фоне залиvistых трелей лягушачьего кваканья и пения козодоев, достигших к тому моменту поистине одурающей громкости, странный резкий звук, словно где-то ломали и буквально раздирали древесину. Он сразу же подумал об окне в запертой комнате и убыстрил шаг.

В очень слабых, подрагивающих отблесках костра Эбнеру показалось, что оконный проем словно бы увеличился в размерах по сравнению с теми, что были прежде. Не могло ли так получиться, что та часть дома, в которой находилась мельница, стала самопроизвольно отделяться от основного строения? В следующее мгновение он краем глаза заметил какую-то странную бесформенную тень, которая двигалась непосредственно за колесом, а потом расслышал и характерный плеск воды, обычно сопровождающий мощные гребки плывущего в ней существа.

Эбнер был склонен объяснить появление тени игрой отблесков света, падавшего от горевшего в отдалении костра, а плеск в воде мог быть вызван косяком рыбы, либо какой-то одиночной, но очень крупной рыбиной. Тем не менее он решил, что будет не грех лишний раз заглянуть в комнату тети Сари.

Пройдя на кухню, он взял лампу и стал подниматься по лестнице. Затем повернул ключ в замке, настежь распахнул дверь и едва не задохнулся от ударившей ему в нос волны густого мускусного запаха. Казалось, в запертой комнате смешались воедино запахи Мискатоника, окружавших его болот, вонь того слизистого налета, который оставался на камнях и затонувших обломках дерева, обнажившихся после спада воды в реке, и плюс к тому омерзительное, едкое зловоние норы какого-то дикого зверя.

Несколько мгновений Эбнер стоял, чуть покачиваясь в

дверях комнаты. Ему было ясно, что в комнату запах мог проникнуть только через открытое окно. Подняв лампу над головой так, чтобы свет ее падал на стену непосредственно над колесом, он даже со своего места заметил, что ни от стекла, ни от самой оконной рамы не осталось и следа. При этом он ни секунды не сомневался в том, что повреждения были причинены не снаружи, а изнутри!

Эбнер бросился назад, с силой захлопнул дверь в комнату, запер ее на ключ и чуть ли не кубарем скатился с лестницы, обуреваемый шквалом смутных догадок.

V

Спустившись вниз, он попытался взять себя в руки. В сущности, все, что он сейчас увидел, было всего лишь очередной деталью, новым фрагментом той продолжавшей накапливаться, но бессистемной информации, о которую он начал спотыкаться буквально с первого дня своего пребывания в старом доме деда. И все же в нем с каждой минутой все более крепла убежденность в том, что какими бы бессвязными ни казались ему все эти события, определенная логика в них все же присутствовала, и надо было лишь отыскать между ними какой-то связующий элемент, центральное звено, которое позволило бы выявить всю последовательность явлений и вещей и связать их воедино.

Он действительно пребывал в состоянии сильного волнения, ибо испытывал смутное, граничившее с убежденностью подозрение относительно того, что все это время располагал всеми необходимыми исходными данными, и лишь его строгое научное образование не позволяло сделать на их основе даже первоначальные выводы. Ведь даже собственное чутье безошибочно указывало ему на то, что в той комнате побывало некое загадочное, причем определенно дикое существо. В самом деле, разве можно было допустить, что вся эта омерзительная вонь проникла снаружи исключительно в комнату тети Сари, но по странной причине миновала кухню или его собственную спальню?

Эбнер всегда считал, что обладает достаточно развитым рациональным мышлением, а потому снова извлек из кармана последнее письмо Лютера Уотеля и вновь перечитал его. В конце концов, ведь именно это и имел в виду его дед, когда писал, что внук «дальше всех нас выбился в люди и получил хорошее образование, которое позволит взглянуть на все здешние вещи и события непредвзятым взглядом, не подвер-

женным ни одержимому влиянию предрассудков невежества, ни коварству предрассудков науки».

Из состояния задумчивой растерянности его вывел резкий телефонный звонок. Сунув письмо в карман, он быстро подошел к стене и снял трубку.

До него донесся голос какого-то мужчины, почти заглушаемый нестройным хором других вопрошающих голосов — словно все эти люди, подобно Эбнеру, разом сорвали со стен трубки своих аппаратов, чтобы узнать о какой-то очередной жуткой трагедии. Несмотря на то, что было совершенно невозможно разобрать, кто что говорит и что спрашивает, один из голосов вскоре все же стал отчетливее остальных.

— Это Люк Лэнг! — воскликнул кто-то.

— Быстро собирайте людей и бегите ко мне! — хриплым голосом вопил в трубку неведомый Люк. — Оно прямо у меня под дверью, что-то вынюхивает. Уже пробовало открыть дверь, все окна ощупало.

— Люк, да что это такое? — пронзительно спросила какая-то женщина.

— О Боже, это какая-то совершенно неземная тварь. Все время прыгает туда-сюда, как будто слишком тяжела, чтобы передвигаться нормально. На медузу похожа. О Боже, скорее же, скорее, пока еще не поздно. Оно уже загрызло мою собаку...

— Повесь трубку, чтобы мы могли вызвать помощь, — веско проговорил теперь уже мужской голос.

Но Люк, похоже, уже был не в состоянии что-то соображать. — Оно ломится в дверь!

— Люк! Люк! Отойди от телефона!

— А теперь снова хочет через окно забраться! — Голос Люка Лэнга буквально заходил в пароксизме ужаса. — Вот, уже стекло высадило. Боже! Боже! Его морда...!

Голос Люка замер в отдалении, превратившись в какой-то хрип или скрежет. Послышался звон разбиваемого стекла, треск ломаемого дерева, потом на конце провода Люка воцарилась тишина, но продолжалась она совсем недолго, поскольку почти сразу же снова зазвучали искаженные диким возбуждением и страхом голоса.

— На помощь!

— Встретимся возле дома Бишопа!

А потом кто-то не очень громко, но отчаянно-зловеще произнес: — Это дело рук Эбнера Уотелея!

Потрясенный, прикованный к месту от все более нараставшего осознания происходящего, Эбнер силился оторвать от уха трубку аппарата и удалось ему это лишь с большим трудом. Смущенный, расстроенный, испуганный, он стоял,

бессильно прислонившись к стене. Все его мысли сейчас кружились вокруг одной-единственной, отражавшей непреложную истину: селяне считали, что именно он повинен в происходящем, причем интуиция подсказывала ему, что эта их убежденность базировалась на чем-то большем, нежели чем на традиционной неприязни провинциальных жителей к чужакам.

Ему не хотелось сейчас думать о том, что случилось с Люком Лэнгом — да и с остальными тоже. В ушах его по-прежнему звенел испуганный, искаженный агонией голос незнакомого ему мужчины. Наконец он все же нашел в себе силы отойти от стены и едва не споткнулся о стоявший рядом стул. Какое-то время он постоял возле стола, не зная, что теперь делать, однако как только сознание стало проясняться, мысли его потекли только по одному руслу — как поскорее бежать из этого места. И все же он продолжал разрываться между позывами к немедленному бегству и признанием того факта, что в таком случае завещание Лютера Уотелея так и останется невыполненным.

О Боже, ведь он же все здесь обыскал, просмотрел все вещи старика — кроме, пожалуй, книг, — договорился о предстоящем сносе мельницы, тогда как продажу самого дома можно будет организовать через брокерское бюро — так зачем же ему было здесь оставаться?! Он импульсивно бросился в спальню, схватил еще неупакованные вещи, рассовал все по чемоданам и поспешил к машине.

Сделав все это, Эбнер на секунду задумался. А к чему, собственно, такая поспешность? Он ведь не сделал ничего плохого, ни в чем не провинился перед этими людьми. Медленным шагом Эбнер вернулся в дом — там все оставалось спокойным, если не считать несмолкавшего гомона лягушек и козодоев. Какое-то мгновение постоял в нерешительности, а затем присел к столу, в очередной раз извлек последнее письмо деда и снова принялся вчитываться в его строки.

На сей раз он читал его медленно и особенно внимательно. Что же хотел сказать старик, когда, упоминая про безумие, поразившее семью Уотелеев, писал: «Пошло все это именно от меня?» Ведь самого-то его оно отнюдь не поразило! Бабка Уотелей скончалась задолго до появления Эбнера на свет; его тетка Джулия умерла еще молодой девушкой; родная мать тоже вела самую что ни на есть добропорядочную жизнь. Оставалась только одна тетя Сари. В чем же тогда заключалось ее безумие? Ведь ничего иного Лютер просто не мог иметь в виду. Кроме как на тетю Сари, больше и думать было не на кого. Что же она сотворила такого, за что ее на всю оставшуюся жизнь лишили свободы? И на что пытался намекнуть дед,

когда заклинал Эбнера убить любое живое существо, которое тот может обнаружить в примыкающей к мельнице части дома? При этом он прямо написал: «Вне зависимости от того, сколь малых размеров оно может оказаться, и невзирая на его форму...».

То есть что, подумал Эбнер, даже настолько маленькое, как самая безобидная жаба? Паук? Муха? Молодой человек невольно почувствовал острую досаду: Лютер Уотелей явно предпочитал писать загадками, что уже само по себе было оскорблением для интеллигентного человека. Или дед и в самом деле считал, что Эбнер подвержен так называемому «научному суеверию»? Муравьи, пауки, мухи, различные виды клопов, многоножек, долгоножек — все это в изобилии водилось на старой мельнице; разумеется, не обошлось там и без мышей. Неужели Лютер предполагал, что его внук примется истреблять всю эту нечисть?

Внезапно у него за спиной что-то ударило в окно. На пол посыпались осколки стекла, а вместе с ними упало и что-то тяжелое. Эбнер вскочил на ноги и резко обернулся. Снаружи послышался приглушенный топот бегущих ног.

На полу среди осколков стекла лежал увесистый камень, к которому обычной бечевкой была привязана какая-то бумажка. Эбнер наклонился, поднял камень, развязал веревку и развернул записку, исполненную на оберточной бумаге, которой обычно пользуются в магазинах.

Глаза его забежали по коряво написанным слова. «Уезжай, пока тебя самого не убили!» Это походило не столько на угрозу, сколько на искреннее и даже доброе предупреждение, и скорее всего, подумал Эбнер, автором этого послания являлся не кто иной, как Тобиас Уотелей. Он раздраженно швырнул записку на стол.

Мысли его продолжали пребывать в полнейшем беспорядке, однако он все же решил, что причин для поспешного бегства пока нет. Он останется — не только чтобы убедиться в том, что его догадка в отношении постигшей Люка Лэнга участи оказалась верной — как будто услышанное им по телефону оставляло для этого какие-то сомнения, — но и чтобы предпринять решающую и последнюю попытку разобраться в той загадке, которую оставил после себя его дед.

Эбнер потушил лампу и прошел к кровати, после чего, как был, не раздеваясь, вытянулся на покрывале.

Сон, однако, не шел. Он лежал, блуждая по лабиринту своих мыслей, в очередной раз силясь уловить хоть какой-то смысл в том ворохе информации, которую успел к этому времени получить, и, как и прежде, пытаясь отыскать тот главный факт, который стал бы ключом к пониманию всех ос-

тальных. Он был уверен в том, что таковой действительно существует; более того, он был уверен в том, что факт этот лежит прямо у него перед глазами, и он только не замечает его, или не может правильно истолковать.

Так он пролежал почти полчаса, когда расслышал сквозь пульсирующий хор лягушек и козодоев, что в водах Миска-тоника что-то или кто-то плещется, причем звук этот явно приближался, словно на берег накатывала какая-то большая волна. Он сел в кровати и прислушался. Звук тотчас же смолк, но его место сразу занял другой — такой, от которого у него мурашки поползли по спине и который мог означать лишь одно — кто-то пытался вскарабкаться по мельничному колесу.

Эбнер неслышно соскользнул с кровати и вышел из комнаты.

Со стороны запертой комнаты послышался приглушенный, тяжелый падающий звук, похожий на шлепок, а затем раздалось какое-то странное, задыхающееся то ли хныканье, то ли всхлипывание, показавшееся ему особенно ужасным, как если бы где-то далеко-далеко невидимый ребенок звал на помощь. Через секунду опять все стихло, причем ему показалось, что прекратился и казавшийся нескончаемым гвалт лягушек.

Он вернулся на кухню и зажег лампу.

Окруженный желтоватым сиянием светильника, Эбнер стал медленно подниматься по лестнице, приближаясь к двери запертой комнаты. Шагал он тихо, стараясь не издать ни малейшего звука.

Подойдя к двери, снова прислушался и поначалу вообще ничего не услышал — но затем ушей его достиг какой-то шорох.

В комнате определенно кто-то находился, причем существо это *дышало!*

Постаравшись отбросить возникший было страх, Эбнер решительно вставил ключ, повернул его и, широко распахнув дверь, поднял лампу над головой.

Потрясение и ужас сковали все его тело.

Прямо поверх скомканного покрывала, лежавшего на давно покинутой кровати, сидело чудовищное, кожистое «не-что», которое не было ни человеком, ни лягушкой, и жадно пожирало окровавленный кусок мяса. Кровь вытекала из омерзительного жабьего рта и падала на искривленные, перепончатые лапы. У этого чудовища были длинные, мускулистые конечности, выраставшие из дьявольского тела наподобие лягушачьих лап, и заканчивались почти настоящими человеческими кистями, разве что с перепонками между пальцами...

Зловещая немая сцена продолжалась какую-то секунду, а затем неведомое существо, издав леденящее душу рычание — *ех-йа-йа-йа-йахааах-нгх'ааа-х'йух, х'йух..*, поднялось, выпрямилось и бросилось на Эбнера.

Реакция молодого человека была мгновенной, как если бы в глубине сердца он давно ожидал, что может произойти нечто подобное. Он размахнулся и что было силы швырнул массивную керосиновую лампу прямо в устремившуюся на него тварь.

Пламя окутало существо, которое на долю секунды замерло на месте, но тут же принялось отчаянно пытаться сбросить с себя огонь. Огонь же не только лизал жуткого монстра, но также перекинулся на покрывало у него за спиной, распространился и на пол под ногами существа. В тот же миг тембр его голоса резко изменился, превратившись из низкого, горланного рычания в пронзительный, протяжный вой: — *Ма-ма-мама-ма-аа-ма-аа-ма-ааа!*»

Эбнер выскочил из комнаты, захлопнул дверь у себя за спиной и бросился вниз.

Летя по ступеням, едва не падая, он с безумно бьющимся сердцем пронесся через комнаты первого этажа и наконец выбежал из дома. Все так же спотыкаясь, добежал до машины, почти ничего не соображая и не замечая вокруг себя, наповину ослепленный от застилавшего глаза пота, повернул ключ зажигания и помчался, не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от этого Богом проклятого места, над которым уже начал виться дым пожара, а вгрызавшиеся в иссохшее дерево постройки языки пламени стали взметаться в темное небо.

Он гнал как одержимый — через Данвич, через крытый мост, — полуприкрыв глаза, словно желая навсегда отсечь от себя видение того, что предстало перед его взором несколько минут назад. Темные, мгlistые холмы словно пытались дотянуться до него своими невидимыми щупальцами, а в спину ударял зловещий и одновременно поддразнивающий вихрь лягушачьей какофонии.

Но ничто не могло стереть из его сознания этот действительно безумный финал, это внезапно открывшееся ему inferнальное знание, которое хищным зверем вгрызлось в его разум... Ключ, который он держал все это время в своих руках, сам не догадываясь об этом; то самое знание, которое гнездились где-то в закоулках его памяти, равно как и таилось в записках, оставленных ему Лютером Уотелеем... Куски сырого мяса, которые, как он по своей детской наивности полагал, должны были быть приготовлены в комнате тети Сари (ведь никто же не станет есть *сырое мясо!*); упоминание за-

гадочного «Р.», который после своего отсутствия «вернулся снова» — возвратился в тот единственный дом, который он когда-либо знал в своей жизни...

Эти казавшиеся бессвязными в записках деда упоминания исчезнувших коров, овец, останков других животных... Зловещие и столь ясные теперь намеки Лютера насчет размера Р., «пропорционального кол-ву пищи», и того, что «его надо держать на строгой диете и сохранять поддающийся контролю размер» — как людей Иннсмаута! Разумеется, после смерти Сары — его матери — он уменьшился почти до ничтожных размеров, тогда как Лютер надеялся, что голодное заточение в запертой комнате иссушит его тело и тем самым окончательно погубит, убьет...

И все же у старика, похоже, оставались еще какие-то сомнения, и потому он послал внуку тот самый свой прощальный призыв убить в запертой комнате «все живое», — ту самую тварь, которую Эбнер, сам того не желая, освободил, когда сломал раму и распахнул ставни, а она, оказавшись на свободе, бросилась самостоятельно добывать себе пищу и стала вновь увеличиваться в размерах, питаясь поначалу рыбой из Мискатоника, затем мелкими животными, потом домашней стотиной, а под конец добралась и до живых людей.

Тварь, которая была полуземноводным — получеловеком, и все же сохранившая в себе достаточно человеческого, чтобы вернуться назад в тот самый единственный дом, который она когда-либо знала в своей жизни, и пытаться в ужасе перед неминуемой гибелью звать к матери о помощи. Существо, рожденное в результате порочного смешения Сары Уотелей и Ральсы Марша, сотворенное его гниющей и деградирующей кровью; чудовище, которому суждено было вечно маячить на обочинах сознания Эбнера Уотеля — его *собственный* кузен Ральса, названный так в «честь» отца и обреченный жестокой волей старого Лютера на гибель, вместо того, чтобы давно быть освобожденным и выпущенным в море, где он мог бы соединиться с Глубоководными среди любимых чад Дэгона и великого Цтулху!

Х. В. Лавкрафт

ДАНВИЧСКИЙ УЖАС





« Горгоны, Гидры и Химеры — страшные рассказы о Целено и Гарпиях — все они могут воссоздаваться в мозгу язычника — однако все они на самом деле существовали. Все это — копии, типы — точнее архетипы, которые есть в нас, и они существуют от века.

Иначе каким же образом то, что наяву мы считаем выдумкой, может оказывать на нас влияние? Разве мы испытываем ужас при мысли о них потому, что считаем способными причинить нам физическую боль? нет, меньше всего! Эти страхи имеют куда более древнее происхождение. Они берут начало за пределами тела — иначе говоря, не будь тела, они бы все равно существовали...

Так что страх, о котором здесь идет речь, чисто духовной природы — то, что он столь же силен, сколь и не привязан ни к одному земному объекту, то, что он преобладает в период нашего безгреховного младенчества — все это затрудняет поиск решения, которое позволило бы нам проникнуть в глубины нашего доземного существования и хотя бы одним глазком заглянуть в страну теней, что была до появления человека».

Чарльз Лэмб «Ведьмы и другие ночные страхи»

I

Если человек, путешествующий по северным районам центрального Массачусетса, на развилке дорог в Эй-лсбери близ Динз-Корнерс повернет не в ту сторону, то он окажется в пустынном и любопытном месте. Местность становится более возвышенной, а окаймленные зарослями вереска стены камня все ближе и ближе подходят к колее пыльной извилистой дороги. Деревья в много численных полосках леса кажутся чересчур большими, а дикие травы, сорняки и заросли куманики чувствуют себя здесь куда выгоднее, чем в обжитых районах. В то же время засеянные поля становятся более скудными и встречаются все реже; а немногочисленные разбросанные здесь дома несут на себе удивительно сходный отпечаток старости, разрушения и запущенности. Сам не зная почему, путешественник не решается спросить дорогу у кого-либо из одиноких людей грубоватой наружности, сидящих на полуразвалившихся крылечках или работающих на наклонных лугах среди разбросанных там и сям камней. Эти фигуры выглядят столь тихими и вороватыми, что сразу чувствуешь присутствие чего-то угрожающего, от чего лучше держаться подальше. Когда дорога поднимается так высоко, что видишь горы над

темными лесами, ощущение неясной тревоги усиливается. Вершины кажутся слишком закругленными и симметричными, чтобы дать чувство комфорта и естественности, а порой на фоне неба с особой четкостью вырисовываются странные кольца высоких каменных колонн, которыми увенчана большая часть этих вершин.

Узкие ущелья и овраги неясной глубины пересекают дорогу, а переброшенные через них грубо сколоченные мосты всегда кажутся довольно опасными. Когда дорога вновь начинает идти под уклон, появляются участки болотистой местности, вызывающие инстинктивную неприязнь, а по вечерам — настоящий страх изза стрекота невидимых козодоев; светлячков, танцующих в необыкновенном изобилии; хриплого и резкого, неприятно настойчивого свиста жаб. Узкая сверкающая лента Мискатоника в его верховьях очень напоминает змею, когда он, изгибаясь, подходит к подножию куполообразных холмов.

По мере приближения к холмам, путешественник начинает опасаться их лесистых склонов больше, чем увенчанных камнями вершин. Эти склоны поднимаются вверх, такие темные и крутые, что возникает желание оставить их в стороне, но дорога не позволяет их миновать. По другую сторону скрытого деревьями мостика видна маленькая деревушка, укрывшаяся между рекой и вертикальным склоном Круглой Горы, и тут путешественника удивляет зрелище полусгнивших двускатных крыш, напоминающих скорее о старых архитектурных традициях, чем о типичных строениях этой местности. Большинство домов брошены и вот-вот рухнут, а церковь с разрушенной колокольной служит складом для хозяйственного скарба обитателей деревни. Жутким кажется доверяться темному тоннелю мостика, но иного пути нет. Когда же перебираешься на другую сторону, сразу ощущаешь слабый, но какой-то скверный запах деревенской улицы, запах плесени и многолетнего гниения. Миновав это место, путешественник всегда испытывает чувство облегчения, а затем следует по узкой дорожке, огибает подножия холмов и пересекает гладкую равнину, пока, наконец, вновь не попадает на развилку в Эйлсбери. И лишь тут он иногда узнает, что, оказывается, проехал через Данвич.

Посторонние стараются как можно реже заглядывать в Данвич, а после одного ужасного периода все указатели, где он было отмечен, убрали. Окружающий ландшафт, если рассматривать его с обычной эстетической точки зрения, даже более чем прекрасен; тем не менее никакого притока художников или просто любителей летних путешествий

Данвич не знает. Пару веков назад, когда никто не посмеивался над рассказами о служителях Сатаны, ведьминой крови и странных лесных обитателях, было принято всячески избегать этой местности. В наш рациональный век — с тех пор, как данвичский ужас 1928 года был замят усилиями людей, которые искреннее беспокоились о благополучии городка, да и всего нашего мира — люди, сами не зная почему, продолжают остерегаться этого места. По всей видимости, одной из причин является то, что местный жители ныне заметно опустились, далеко пройдя по пути регресса и упадка, столь характерному для многих захолустных уголков Новой Англии. В конечном итоге они, как бы образовали свою собственную расу, имеющую явные признаки умственного и физического вырождения и узкородственных кровных связей. Уровень их интеллектуального развития удручающе низок, и при этом летопись их деяний буквально пропитана порочностью, убийствами, кровосмешениями и актами неопишуемой жестокости и извращенности. Представители старейших семей, двух или трех, приехавших из Салема в 1692 году, смогли каким-то образом удержаться над уровнем общей деградации; хотя многие ветви этих семей столь сильно смешались с прочей массой, что только имена напоминали об их происхождении. Некоторые из Уотлисов и Бишопов все еще посылали своих старших сыновей в Гарвард и Мискатоник, хотя сыновья эти редко возвращались под старый заплесневелый кров, где родились они сами и их предки.

Никто, даже те, кому были известны все обстоятельства недавних кошмарных событий, не смог бы объяснить, что же все — таки с Данвичем не в порядке; между тем старые легенды рассказывали о греховных обрядах и тайных собраниях индейцев, во время которых они вызывали призраков с больших круглых холмов и выкрикивали исступленные моления, откликами на которые были громкий треск и грохот, доносившиеся из-под земли. В 1747 году преподобный Эбиджа Ходли, недавно прибывший в приходскую церковь Данвич-Вилледж, произнес памятную проповедь по поводу близкого соседства Сатаны и его мерзких слуг; в частности, он сказал:

«Нужно признать, что Богохульства Демонов Ада слишком хорошо известны, чтобы их можно было отрицать: проклятые голоса Азазеля и Базраэля, Веельзевула и Велиала слышатся сейчас из-под земли, о чем сообщали заслуживающие доверия очевидцы, ныне живущие. Я лично не далее чем две недели назад очень явственно уловил разговор между Дьявольскими Силами, когда находился у холма за моим

домом; он сопровождался треском и грохотом, стонами, скрежетом, шипением и свистом, издавать которые не способно ни одно существо на земле. Звуки эти несомненно исходят из тех пещер, обнаружить которые дано только черной Магии, а отпереть — одному Дьяволу».

Мистер Ходли исчез вскоре после того, как прочел эту проповедь, однако текст ее, отпечатанный в Спрингфилде, сохранился до наших дней. Сообщения о странных звуках и шумах близ холмов продолжают ежегодно поступать и все еще остаются загадкой для геологов и физиографов.

Другие предания рассказывают о неприятных запахах, ощутимых поблизости от венчающих холмы колец из каменных колонн, о воздушных потоках, шум которых доносится из определенных точек на дне больших оврагов; были и легенды, относящиеся к так называемому Двору Танцев Дьявола — открытому всем ветрам, лишенному растительности склону холма. И еще местные жители смертельно боялись многочисленных козодоев, которые заводили свои песни теплыми ночами. Уверяли, что эти птицы — призраки, поджидающие души умирающих, и что они издают свои крики в унисон с их последними трудными вздохами. Если они могут поймать летящую душу, когда та покидает тело, то они мгновенно улетают с ней, издавая дьявольский смех; если им не удастся этого сделать, то они постепенно погружаются в молчание.

Эти сказки, разумеется, уже устарели и сейчас звучат курьезно, ибо они пришли к нам с очень древних времен. Данвич в самом деле был очень стар — древнее, чем любое из поселений, находящихся в пределах тридцати миль от него. К югу от деревни еще до сих пор можно видеть стены погребов и дымоход старинного дома Бишопов, который был построен до 1700 года; а руины мельницы у водопада, построенной в 1806 году, были самым современным образцом архитектуры. Промышленность не прижилась в этих местах, и развернувшееся в девятнадцатом веке фабричное движение оказалось тут недолговечным. Старейшим сооружением были огромные кольца грубо вытесанных каменных колонн на вершинах холмов, но они относились к продуктам деятельности индейцев, а не жителей Данвича. Россыпи черепов и человеческих костей, обнаруженные внутри этих колец, а также вокруг огромного, в форме стола, камня на Сторожевом Холме, подтверждали распространенное представление о том, что здесь располагались места захоронений Покумтуков, хотя многие антропологи, отвергая невероятность подобного объяснения, настаивали на том, что эти останки людей европеоидной расы.

II

В окрестностях Данвича, в большом и частично необитаемом фермерском доме у склона холма, в четырех милях от деревни и в полутора милях от ближайшего жилья, в воскресенье, 2 февраля 1913 года, в 5 часов утра родился Уилбур Уотли. Дату запомнили, потому что это было Сретение, которое жители Данвича отмечали под другим названием, а еще и потому, что этой ночью все собаки в округе беспрерывно заливались лаем, а с холмов доносился шум. Менее значительным представлялось то обстоятельство, что мать была из семьи Уотли, внешне непривлекательная, даже уродливая альбиночка, 35 лет, проживавшая с престарелым полусумасшедшим отцом, о котором в молодые годы ходили самые устрашающие истории по поводу его причастности к колдовству. Мужа у Лавинии Уотли не было, но она, в соответствии с местными традициями, не пыталась каким-либо образом отречься от ребенка. Более того, Лавиния даже по — своему гордилась темноволосым, похожим на козленка младенцем, внешность которого ничем не напоминала ее несколько болезненное лицо альбиночки с красными глазами, и не раз многие слышали, как она бормочет странные пророчества относительно необыкновенных возможностей и потрясающего будущего своего сына.

Такие пророчества не были чем-то неожиданным в поведении Лавинии, ибо она была одиноким созданием, часто во время грозы бродила по холмам и пыталась читать огромные тома, которые были собраны семейством Уотли за два века и перешли к ее отцу, изъеденны червями и разваливающиеся на части. Лавиния никогда не ходила в школу, но была переполнена обрывками древних знаний, которые передал ей Старый Уотли. Одиноким фермерский дом всегда был для местных жителей несколько страшноватым из-за предполагаемой склонности Старого Уотли к черной магии; не способствовала популярности этого дома и таинственная насильственная смерть миссис Уотли, случившаяся, когда Лавинии было двенадцать лет. Оказавшись в одиночестве посреди странных воздействий, Лавиния любила предаваться грандиозным и безудержным грезам наяву и необычным занятиям; ее досуг не был посвящен и домашним обязанностям, вследствие чего из дома давно исчезли чистота и порядок.

В ночь, когда появился на свет Уилбур, из дома донесся ужасный крик, перекрывавший даже шум с холмов и собачий лай, однако ни врач, ни повивальная бабка при этом рожде-

нии не присутствовали. Целую неделю соседи ничего не знали о новорожденном, пока Старик Уотли не приехал однажды на своих санях по снегу и стал говорить что-то бессвязное группе зевак, собравшихся у лавки Осборна. С престарелым Уотли что-то случилось — появился какой-то дополнительный оттенок скрытности в его поведении и затуманенном сознании, превративший старика из объекта страха в его субъект. Помимо этого можно было заметить некоторые признаки гордости, позднее проявившиеся и у его дочери, а то, что им было сказано по поводу возможного отца ребенка, многие запомнили надолго:

«Мне наплевать на то, что подумают люди — если сынок Лавинии похож на своего папочку, то он и не может выглядеть так, как остальные, к кому вы привыкли. Не нужно думать, что все люди такие, как и те, что здесь живут. Лавиния много читала и видела такое, о чем вы только болтаете. Я так понимаю, что ее мужик ничуть не худший муж, чем любой по эту сторону Олсбери; а если бы вы знали про наши холмы то, что известно мне, то вы не пожелали бы ей венчания в церкви. Вот что я вам скажу — *настанет день и вы, ребята, еще услышите, как ребенок Лавинии прокричит имя своего отца с вершины Сторожевого Холма!*»

Единственными, кто видел Уилбура в первый месяц его жизни, были старый Захария Уотли, еще из тех, прежних Уотли, и невенчанная жена Эрла Сойера Мэми Бишоп. Визит Мэми был вызван простым любопытством и ее последующие рассказы делают честь ее наблюдательности; Захария же пришел, чтобы привести пару олдернских коров, которых Старик Уотли купил у его сына Куртиса. Это событие положило начало серии закупок скота семейством маленького Уилбура, прекратившихся лишь в 1928 году, когда начался и закончился данвичский ужас; и несмотря на эти покупки, полусгнивший двор Уотли никогда не был переполнен скотиной. Настал момент, когда люди не могли усмирить свое любопытство и сосчитали все стадо, которое паслось на склоне холма за старым фермерским домом, но им ни разу не удалось обнаружить там более десяти-двенадцати анемичных вялых животных. По всей видимости, какая-то хворь или зараза, вероятнее всего, вызванная плохим пастбищем или вредными грибами, которые развелись на грязном скотном дворе, привела к падежу скота. Странного вида раны и болячки, похожие на следы порезов, виднелись на телах животных; а пару раз еще в ранние периоды жизни ребенка некоторые любопытные замечали такие же ранки на горле у седого небритого старика и его кудрявой дочери-альбиноски.

Весной того года, когда родился Уилбур, Лавиния вновь

стала совершать прогулки по холмам, держа в своих миниатюрных руках смуглолицего младенца. Всеобщий интерес к делам Уотли постепенно сошел на нет, по мере того как большинство жителей смогли посмотреть на мальчика, причем никто не задумался о быстром развитии ребенка, взрослого буквально не по дням, а по часам. А рост его был действительно феноменальным, ибо спустя три месяца после рождения он достиг размеров и физической силы, которые редко наблюдаются и у годовалых детей. Его движения и даже звуки, которые он издавал, отличались целенаправленностью и самоконтролем, весьма необычным для младенца, и, к вящему удивлению окружающих, он в семь месяцев начал ходить без посторонней помощи.

Спустя некоторое время — во время праздника Хэллоуин — в полночь, на вершине Сторожевого Холма, там, где лежал древний камень, похожий на стол, посреди древних костей можно было видеть яркое пламя. Разговоры об этом начались тогда, когда Сайлес Бишоп — из тех, прежних Бишопов, — сказал, что примерно за час до того, как появилось пламя, видел, как мальчик уверенно бежал вверх по склону холма впереди своей матери. Сайлес, который загонял назад отбившуюся от стада телку, увидев две фигуры в колеблющемся свете фонаря, почти позабыл о своих заботах. Они почти бесшумно неслись через подлесок, и пораженный наблюдатель подумал, что они совершенно раздеты. Впоследствии он не был так в этом уверен и говорил, что по крайней мере на мальчике, по всей видимости, были темные штанишки, перепоясанные ремешком с бахромой. Позже никто и никогда не видел, чтобы, находясь в сознании, Уилбур не был полностью и тщательно застегнут на все пуговицы, и малейший беспорядок в одежде и даже угроза подобного беспорядка наполняли его гневом и тревогой. Это выглядело разительным контрастом с его неряшливыми матерью и дедом и возбуждало всеобщее недоумение до тех пор, пока ужасные события 1928 года не дали отмеченному факту самое исчерпывающее объяснение.

В январе следующего года предметом бурного обсуждения и всяческих сплетен стало то, что «черный ублюдок Лавинии» начал разговаривать, и это в возрасте одиннадцати месяцев! Его речь была замечательна не только тем, что в ней отсутствовал местный акцент, но и тем, что была совершенно лишена признаков детского лепета. Мальчик не был особенно разговорчив, но когда ему все-таки случалось говорить, в его речи слышались элементы, совершенно не характерные для Данвича и его обитателей. Необычность эта не относилась к тому, что он говорил, или даже к простым идиомам, которые

он использовал; скорее она относилась к интонации или была связана с теми внутренними органами, которые отвечали за формирование звуков. Мимика и выражение лица также были замечательны — прежде всего своим зрелым характером; ибо, хотя он и унаследовал от матери и деда отсутствие подбородка, однако его прямой и вполне сформировавшийся нос, вкупе с выражением больших, темных, латинского типа глаз придавал ему облик почти взрослого человека со сверхъестественным для такого возраста интеллектом. Тем не менее, это ощущение присущего ему ума не устраняло чрезвычайной уродливости; было что-то козлиное или звериное в его толстых губах, желтоватой пористой коже, грубых курчавых волосах и причудливо удлинённых ушах. Очень скоро он начал вызывать еще большую неприязнь, чем его мать и дед, и все суждения о нем были пропитаны ссылками на прежнюю склонность Старика Уотли к магии, и тем, как он однажды выкрикнул ужасное имя «Йог-Сотхотх» посреди кольца камней на холме, держа в руках раскрытую книгу, и как содрогнулись холмы от этого крика. Собаки ненавидели мальчика, и он всегда должен был защищаться от их яростных нападений, сопровождающихся залившимся лаем.

III

Между тем Старик Уотли продолжал приобретать скот, хотя стадо его от этого не увеличивалось. Кроме того, он пилил доски и начал восстанавливать заброшенные части дома — обширного сооружения с остроконечной крышей, задняя часть которого почти полностью скрывалась скалистыми склонами холма. По всей видимости, у старика сохранилось еще немало сил, позволивших ему завершить столь тяжелый труд, и хотя он все еще временами что-то бессвязно бормотал, но в целом плотницкие работы оказали на него серьезное позитивное влияние. Собственно, это началось с рождения Уилбура, когда один из сараев с инструментами был неожиданно приведен в порядок и снабжен солидным новым замком. Теперь же, занимаясь восстановлением заброшенного верхнего этажа дома, он показал себя не менее старательным мастером. Мания его проявилась, пожалуй, только в тщательном заколачивании досками всех окон в восстановленной части дома — хотя многие заявляли, что само по себе восстановление уже является признаком безумия. Менее неожиданным было затеянное им оборудование еще одной комнаты внизу для своего внука — комнаты, которую некоторые видели,

хотя на обшитый досками второй этаж никто не смог заглянуть. Комнату для внука он снабдил крепкими стеллажами до самого потолка; на них он постепенно начал размещать в строгом порядке все подпорченные древние книги и их части, которые раньше в беспорядке валялись по углам.

«Я в свое время попользовался ими, — говорил он, пытаюсь склеить разорванные листы с помощью клея, приготовленного на ржавой кухонной плите, — но мальчику они пригодятся еще больше. Он сможет использовать их по своему усмотрению, поскольку в них есть все необходимые для него знания».

Когда Уилбуру исполнилось год и семь месяцев, его размеры и достижения стали почти пугающими. Он вырос с четырехлетнего ребенка, говорил свободно и очень умно. Он бегал по полям и холмам, сопровождая мать во всех ее прогулках. Дома же он сосредоточенно и прилежно изучал причудливые рисунки и карты в книгах своего дедушки, а Старик Уотли обучал и экзаменовал его долгими тихими часами. К тому времени работа по восстановлению дома была завершена, и те, кто видел его снаружи, удивлялись, почему одно из окон верхнего этажа было превращено в прочную, обшитую досками дверь. Окно это располагалось на задней части фасада, близко подходящего к холму; и никто не смог бы ответить, для чего к нему с земли была подведена крепкая деревянная лестница. После завершения работ по дому многие обратили внимание не то, что старый сарай для инструментов, тщательно запертый и с заколоченными окнами с момента появления Уилбура на свет, вновь оказался заброшенным. Дверь теперь была небрежно распахнута, и когда Эрл Сойер однажды заглянул внутрь после продажи скота Старику Уотли, он был поражен странным запахом этого помещения — такой вони, уверял он, ему никогда еще не приходилось ощущать, разве что возле индейских каменных колец на вершинах холмов, и вряд ли можно было представить себе какое-нибудь другое место, где бы так воняло.

Последующие месяцы не были отмечены заметными событиями, если не считать медленного, но неуклонного усиления шумов, которые доносились с возвышенностей. Накануне мая 1915 года произошли подземные толчки, которые ощутили даже жители Олсбери, а во время Хеллоуина из-под земли донеслись раскаты, странным образом совпавшие со вспышками пламени — «проделки ихних Уотлиевых ведьм» — на вершине Сторожевого Холма. Уилбур между тем рос так же быстро, и к четырем годам выглядел на все десять. Теперь он бегло читал сам, однако говорил меньше, чем раньше. Определенная молчаливость стала его характерной чер-

той, и именно тогда окружающие впервые стали отмечать первые проблески дьявольщины на его козлином лице. Время от времени он бормотал какие-то слова на неизвестном языке, напевал странные мелодии в причудливом ритме, от которых слушателя охватывало леденящее чувство необъяснимого ужаса. Ненависть к нему деревенских собак стала широко известной и он, чтобы спокойно расхаживать по деревне и ее окрестностям, был вынужден носить с собой пистолет. Осуществлявшееся им в силу необходимости применение этого оружия не способствовало его популярности среди владельцев четвероногих стражей.

Те немногие посетители, что бывали в их доме, часто заставляли Лавинию в одиночестве на первом этаже, в то время как с заколоченного второго доносились странные выкрики и топот ног. Она сама никогда не рассказывала, чем ее отец и мальчик занимались там, и как-то раз она смертельно побледнела, увидев, что смешливый торговец рыбой, заглянувший в дом, попытался открыть дверь, ведущую на второй этаж. Торговец позднее рассказал посетителям лавки в Данвиче, что ему послышался оттуда конский топот. Его слушатели задумались, сразу припомнив необычную дверь и сходни, а также скотину, которая так стремительно исчезала куда-то. После этого многие передернулись от страха, вспомнив истории о молодых годах Старика Уотли и о странных существах, вызывавшихся из-под земли, когда выхолощенного бычка приносили в жертву языческим богам. К тому же было замечено, что деревенские собаки стали ненавидеть всю усадьбу Уотли так же яростно, как до того ненавидели и боялись юного Уилбура.

В 1917 году пришла война и сквайр Соьер как председатель местной призывной комиссии предпринял достаточно усилий по набору молодых мужчин Данвича, пригодных для отправки в лагерь военной подготовки. Власти, озабоченные признаками присущего всему региону вырождения, послали нескольких офицеров и медицинских специалистов для выяснения этого вопроса; читатели газет Новой Англии, видимо, вспомнят опубликованные результаты тех исследований. Публикации привлекли внимание репортеров к семье Уотли, в результате чего «Бостон Глоуб» и «Эркхам Эдвертайзер» напечатали красочные статьи о необыкновенно быстром развитии Уилбура, черной магии Старика Уотли, стеллажах со старинными книгами, заколоченном досками вторым этаже фермерского дома, о таинственности всей этой местности и о звуках, доносящихся с холмов. Уилбуру было в то время четыре с половиной года, а выглядел он на пятнадцать. Его верхнюю губу и щеки покрывал темно-коричневый пушок, а

голос начинал ломаться. Эрл Соьер проводил репортеров и фотографов к дому Уотли и обратил их внимание на странный запах, который теперь, казалось, сочился с закрытого верхнего этажа. Это был, как он им сказал, точно такой же запах, как и тот, что он почувствовал в сарае с инструментами, заброшенном после того, как дом был отремонтирован; так же, как и запах, который он иногда чувствовал, находясь у каменного кольца на вершине. Жители Данвича, когда статьи появились в газетах, их прочитали и посмеялись над очевидными ошибками авторов. Кроме того, они недоумевали, почему журналисты придавали такое значение тому, что Старик Уотли всегда платил за приобретаемый скот старинными золотыми монетами. Уотли же приняли визитеров с плохо скрываемым раздражением, причем, не ища дальнейшей популярности, упорно отказывались давать интервью.

IV

В последовавшем десятилетии летопись семьи Уотли вполне вписывалась в жизнь этой нездоровой общины, привыкшей к странностям и ожесточавшейся только во время их оргий в канун мая и на празднике Хеллоуин. Дважды в год они разжигали костры на вершине Сторожевого Холма, и в это время грохот гор многократно усиливался; в остальные периоды они занимались своими странными и зловещими делами в одиноком фермерском доме. Со временем посетители стали слышать звуки из закрытого второго этажа даже в те моменты, когда все семейство Уотли находилось внизу, и задавались вопросом — быстро и безболезненно или, наоборот, долго и мучительно приносятся в жертву корова или бычок. Ходили разговоры о возможной жалобе в Обществе Защиты Животных, но из этих разговоров ничего не вышло, ибо жители Данвича никогда не хотели привлекать к себе внимание внешнего мира.

Примерно в 1923 году, когда Уилбуру было десять лет, а его разум, голос, рост, фигура, бородатое лицо были такими же, как у зрелого мужчины, в старом доме началась вторая великая эпопея плотницких работ. Все они происходили на этот раз внутри закрытой верхней части дома, и по частям разобранных бревен люди заключили, что молодой человек и его дед сломали все перегородки и даже разобрали пол чердака, в результате чего образовалось обширное пространство между первым этажом и остроконечной крышей. Они даже разломали большой старый

дымоход, и приделали к ржавой плите непрочную жестяную дымовую трубу.

После этих событий, весной, Старик Уотли обратил внимание на все растущее число козодоев, которые прилетали из Холодной Весенней Долины, чтобы посвистать под его окном по ночам. Он склонен был рассматривать это обстоятельство как важный знак, и говорил завсегдатаям Осборна, что, видимо, пришло его время.

«Они свистят почти в унисон с моим дыханием, — сказал он, — думаю, что они готовы поймать мою душу. Они знают, что конец уже близок, и не хотели бы его пропустить. Вы, ребята, узнаете, после того, как я умру, поймали они меня или нет. Если поймают, то будут петь и смеяться до самого вечера. Если же нет, то будут вести себя тихо. Я думаю, что между ними и душами, на которых они охотятся, порой происходят жестокие драки».

Во время Праздника Урожая, ночью, Уилбур Уотли, проскакав сквозь темноту на последней оставшейся у него лошади до Осборна, позвонил в Эйлсбери и срочно вызвал доктора Хогтона. Доктор нашем Старика Уотли в очень тяжелом состоянии: работа сердца и затрудненное дыхание указывали на то, что конец близок. Бесформенная белесая дочь и бородатый внук стояли рядом с кроватью, в то время как из пространства над их головами доносились беспокойные звуки, похожие на ритмичный шум набегающих на берег волн. Доктора, однако, более всего тревожило щебетание ночных птиц за окнами: казалось, что целый легион козодоев выкрикивал свои нескончаемые послания, дьявольски совпадающие с тяжелым неровным дыханием умирающего человека. Все это было так же жутко и неестественно, как и все в этой местности, куда доктор Хогтон поехал неохотно, только отозвавшись на срочный вызов.

Около часа ночи Старик Уотли пришел в сознание, прервал свое хриплое дыхание и сказал, обращаясь к внуку:

«Больше пространства, Вилли, больше пространства и поскорее. Ты растешь, а *оно* растет быстрее. Скоро оно уже сможет тебе служить, мальчик. Открой ворота для Йог-СотхотХа при помощи того долгого песнопения, которое ты найдешь на странице 751 *полного издания*, а затем подожги тюрьму при помощи спичек. Огонь с земли не сможет зажечь ее».

Он был явно не в своем уме. После паузы, во время которой стояя козодоев за окном приспособлиwała свои крики к изменившемуся дыханию старика, а издалека слышались пока слабо различимые шумы с холмов, он добавил еще несколько фраз:

«Корми его регулярно, Вилли, и следи за количеством, но не позволяй расти слишком быстро, а то места не хватит и оно может сломать помещение или выберется наружу прежде, чем ты откроешься перед Йог-Сотхотхом, а тогда всему конец, все пойдет прахом. Только те, что по ту сторону, могут заставить его плодиться и действовать... Только они, старые, как захотят вернуться...»

Но тут речь его вновь сменилась лихорадочными глотками воздуха, и Лавиния закричала, услышав, как козодои сменили свою песню. Так продолжалось больше часа, когда наконец раздался финальный горловой хрип. Доктор Хогтон опустил сморщенные веки на остекленевшие серые глаза, и тут шум и крики птиц неожиданно прекратились. Наступила тишина. Лавиния всхлипнула, а Уилбур хмыкнул, услышав отдаленные раскаты грома с холмов.

«Им не удалось заполнить его» — пробурчал он густым низким голосом.

Уилбур к тому времени стал ученым весьма обширной эрудиции в своей области и был известен своей перепиской со многими библиотеками в самых разных городах, где хранились редкие и запрещенные древние книги. В Данвиче его все больше и больше ненавидели и боялись из-за странных исчезновений некоторых молодых людей, после которых подозрение как-то само собой падало на его дверь; однако, он всегда был в состоянии приостановить расследование при помощи страха или используя все те же запасы старинного золота, которые, как и при жизни его деда, шли на регулярную и все возрастающую закупку скота. Теперь он уже был во всех отношениях зрелым человеком, и рост его, достигший среднего для взрослого мужчины уровня, начал постепенно переходить этот предел. В 1925 году, когда один из его корреспондентов из Университета Мискатоника заглянул к нему, а затем бледный и озадаченный ушел, в нем было шесть и три четверти фута.

Все эти годы Уилбур с растущим презрением относился к своей матери, альбиноске, полу-калеке, и в конце концов запретил ей сопровождать его в восхождении на вершины в канун мая и на праздник Хеллоуин, а в 1926 году несчастное создание как-то пожаловалось Мэми Бишоп, что боится своего сына:

«К сожалению, я не могу сказать тебе, Мэми, всего, что знаю о нем, — говорила Лавиния, — а теперь уж я и сама не знаю всего. Уповаю на Господа, потому что не знаю, ни чего хочет мой сын, ни чем он занимается».

В тот раз, во время праздника Хеллоуин, грохот с вершин был сильнее обычного, однако внимание людей привлек ско-

рее ритмичный крик множества козодоев, которые собрались, по-видимому, у неосвященного дома Уотли. После полуночи вопли их достигли дьявольского апофеоза, наполнив собой все окрестности, и только к рассвету они наконец утомнились. Затем они снялись и улетели на юг, где пробыли на месяц дольше, чем обычно. Никто из местных жителей не умер в эту ночь — но бедная Лавиния Уотли, искалеченная альбиноска, больше не появлялась.

Летом 1927 Уилбур отремонтировал два сарая на хозяйственном дворе и принялся перетаскивать туда свои книги и прочие пожитки. Вскоре после этого Эрл Сойер сообщил любопытным у Осборна, что в доме Уотли вновь начались плотничьи работы. Уилбур закрыл окна и двери нижнего этажа, и, похоже, разбирает все перекрытия, как они с дедом сделали четыре года назад на втором этаже. Теперь он живет в одном из сараев и, по мнению Сойера, стал робким и озабоченным. Люди предполагали, что ему кое-что известно по поводу исчезновения

матери, и теперь уже очень немногие решались появляться поблизости от его дома. Рост Уилбура, кстати, достиг уже семи футов и, по всем признакам, прекращаться не собирался.

V

В следующую зиму произошло еще одно странное событие, а именно — первое путешествие Уилбура за пределы Данвича. Переписка с библиотекой Уайденер в Гарварде, Национальной Библиотекой в Париже, Британским Музеем, Университетом Буэнос-Айреса и библиотекой Университета Мискатоник в Эркхаме, видимо, уже не могла обеспечить его всеми книгами, которые были ему нужны; поэтому в конце концов он отправился за книгами лично, в поношенной одежде, неопрятный, заросший бородой, со странным выговором; отправился, чтобы свериться с оригиналом в Мискатонике, ближайшем к нему источнике необходимой литературы. Купив дешевый чемодан в лавке Осборна, он, к тому времени достигший почти восьми футов роста, похожий на черную, звероподобную горгулью, прибыл в Эркхам. Появился он там, чтобы получить хранившийся в библиотеке колледжа под замком ужасный том — «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда в латинском переводе Олауса Вормиуса, изданный в семнадцатом столетии в Испании. Он никогда не был в этом городе, но без труда нашел университетский двор, куда проследовал, миновав огромного сторожевого пса с бе-

лыми клыками; тот невероятно громко лаял на Уилбура, яростно пытаясь сорваться с крепкой цепи.

Уилбур захватил с собой бесценный, но неважно сохранившийся экземпляр английской версии интересующей его книги, выполненный доктором Ди, который он получил от деда. Когда ему дали возможность ознакомиться с латинским экземпляром, он сразу же стал сравнивать два текста с целью найти определенный фрагмент, который должен был быть на 751 странице его собственной поврежденной книги. Это он вынужден был объяснить библиотекарю — тому же эрудиту Генри Эрмитэйджу (члену-корреспонденту Академии Мискатоника, доктору философии Принстона, доктору Литературы Джона Хопкинса), который как-то раз был у них на ферме и теперь забросал его вопросами. Уилбур признался, что ищет магическую формулу или заклинание, включающую устрашающее имя «Йог-Сотхотх», причем он озадачен наличием расхождений, повторов и неясностей, которые мешают ее точно определить. Пока он переписывал заклинание, которое смог наконец обнаружить, доктор Эрмитэйдж невольно заглянул ему через плечо на открытую книгу: левая страница содержала чудовищные угрозы разуму и спокойствию нашего мира:

«Не следует думать, (гласил текст, который Эрмитэйдж быстро переводил в уме на английский) что человек является древнейшим или последним властителем Земли, или что известная нам форма жизни существует в одиночку. Старейшины были, Старейшины есть и Старейшины будут. Они ходят среди нас, первобытные и безмолвные, не имеющие измерений и невидимые. *Йог-Сотхотх* знает ворота. *Йог-Сотхотх* и есть ворота. *Йог-Сотхотх* это и страж ворот и ключ к ним. Прошлое, настоящее и будущее слились воедино в нем. Он знает, где Старейшины совершили прорыв в прошлом, и где Они сделают это вновь. Он знает, где Они ступали по Земле, и где Они все еще ступают, и почему никто не может увидеть Их там. Люди могут иногда догадаться об Их близости по Их запахам, но об Их внешности никто из людей не может знать, *они могут догадываться о ней лишь, если увидят внешность тех, кого Они оставили среди людей*: а таких есть множество видов — от таких, что полностью повторяют образ человека, до таких, у которых облик не имеет ни формы, ни материальной субстанции — то есть, таких, как Они сами. Они расхаживают, оставаясь незамеченными в пустынных местностях, где поизносятся Слова и исполняются Обряды во время их Сезонов. Ветер невнятно произносит Их речи, земля высказывает Их мысли. Они стигают леса и сокрушают города, но ни лес, ни город не видит руку, их

разрушающую. Кадат в холодной пустыне знал их, а какой человек знает Кадат? Ледовые пустыни Юга и затонувшие острова Океана хранят камни, на которых запечатлен их знак, но кто видел замерзшие города или затонувшие башни, давно увитые морскими водорослями или рачками? Великий Цтулху — Их двоюродный брат, но даже он может видеть Их только смутно. *Йа! Шаб-Ниггурат!* Лишь по зловонию Их узнаешь ты их. Руки Их у тебя на горле, но ты Их не видишь, и обиталище Их как раз там, где порог, что ты охраняешь. *Йог-Сотхотх* — вот ключ к тем воротам, где встречаются сферы. Человек правит теперь там, где раньше правили Они; скоро Они будут править там, где теперь правит человек. После лета наступает зима, после зимы — вновь придет лето. Они ждут, могучие и терпеливые, когда придет их пора царствовать».

Доктор Эрмитэйдж, сопоставляя только что прочитанное с тем, что ему было известно о Данвиче и его задумчивых обитателях, о Уилбуре Уотли и его смутной и устрашающей ауре, его подозрительном появлении на свет, туманной вероятности убийства собственной матери, ощутил волну страха, столь же реального, как дуновение липкого холода из могилы. Этот согнувшийся, похожий на козла гигант, сидевший перед ним, выглядел как порождение иной планеты или иного измерения; как нечто, лишь частично принадлежащее человечеству и связанное с черными безднами сущности и существования, протянувшиеся как титанические фантомы по ту сторону энергии и материи, пространства и времени. Тут Уилбур поднял голову и начал говорить своим странным резонирующим голосом, как будто голосовые связки были у него не такими, как у всех остальных людей:

«Мистер Эрмитэйдж, — сказал он, — я тут прикинул, что должен взять эту книгу с собой. В ней есть некоторые вещи, которые я должен попробовать в определенных условиях, а здесь их добиться невозможно, и было бы непростительным грехом — позволить каким-то бюрократическим правилам и запретам остановить меня. Позвольте мне взять ее с собой, сэр, и я клянусь, что никто ничего не заметит. Нечего говорить, что я буду очень аккуратен с ней. Я подумал, что этот экземпляр вполне мог бы заменить...»

Он остановился, прочитав в лице библиотекаря твердый отказ, и тут его козлиные черты приняли коварное, хитрое выражение. Эрмитэйдж, наполовину готовый сказать, что он может сделать копию с нужных ему страниц, вдруг подумал о возможных последствиях и сдержал себя. Слишком велика была ответственность — дать в руки такому созданию ключ

к столь богохульным внешним сферам. Уотли увидел, как обстоит дело, и постарался снять напряжение.

«Что ж, если вы так к этому относитесь. Может быть, в Гарварде не будут такими нервными, как вы». И, ничего больше не сказав, встал и вышел из здания, нагибаясь перед каждым дверным проемом.

Эрмитэйдж услышал дикий лай огромного сторожевого пса и внимательно изучил горилло-подобную походку Уотли, пересекавшего ту часть университетского двора, которая была видна в окно. Он подумал о всяких безумных историях, которые слышал, вспомнил старые воскресные статьи в «Эдвертайзере», все те знания, которые он почерпнул у грубых и неотесанных жителей Данвича во время своего единственного визита туда. Невиданные на земле вещи — по крайней мере, на трехмерной земле — нахлынули на него, смрадные и ужасные, сквозь ущелья Новой Англии, и бесстыдно нависли над вершинами гор. Теперь он, казалось, ощутил близкое присутствие вторгающегося ужаса и заметил адское наступление древнего и прежде пассивного ночного кошмара. Он спрятал «Некрономикон» с дрожью отвращения, однако комната все еще была наполнена неопределенным, но порочным зловонием. «По зловонию узнаете Их», — припомнил он выдержку из текста. Да — запах был точно такой же, как и тот, что поразил его возле фермерского дома Уотли меньше трех лет тому назад. Он подумал об Уилбуре, зловещем, звероподобном, и насмешливо хмыкнул, вспомнив деревенские сплетни по поводу его происхождения.

«Узкородственный брак?» — вслух пробормотал Эрмитэйдж. «Боже правый, какие простак! Покажи им «Великого Бога Пана» Артура Мейчена, и они подумают, что тут какой-то банальный данвичский скандал! Но что же все-таки — что за ужасное неопределенное влияние на этой трехмерной земле или вне ее — оказал Отец Уилбура Уотли? Родился он на Сретение — спустя девять месяцев после кануна мая 1912 года, когда слухи о странных звуках из-под земли дошли до Эркхама — что же было на вершине холма той майской ночью и кто был там? Какой крестный ужас связал себя с нашим миром, войдя в получеловеческую плоть и кровь?»

В течение последующих недель доктор Эрмитэйдж пытался собрать все возможные данные об Уилбуре Уотли и неопределенных явлениях в районе Данвича. Он связался с доктором Хогтоном из Эйлсбери, который присутствовал при последних минутах Старика Уотли, и нашел в последних словах старика, сообщенных ему врачом, немало заслуживающего обдумывания. Поездка в Данвич ничего нового не дала, но тщательное изучение «Некрономикона», особенно тех

страниц, которыми так откровенно заинтересовался Уилбур, дало ему новые ужасные ключи к природе, методам и желаниям странного зла, которое смутно угрожало этой планете. Беседы с несколькими учеными, специализирующимися в архаических источниках в Бостоне, обмен письмами со многими другими в разных местах, вызвали у него растущее чувство изумления, которое, медленно пройдя через разные стадии тревоги, в конце концов привело к состоянию острого духовного страха. Лето шло, и он смутно чувствовал, что необходимо что-то предпринять в отношении кошмара, таящегося в верховьях Мискатоника, и того чудовищного создания, которое люди знали как Уилбура Уотли.

VI

Собственно данвичский ужас пришелся на период между праздником урожая и равноденствием 1928 года, причем доктор Эрмитэйдж был среди свидетелей его чудовищного пролога. Он слышал об эксцентричном путешествии Уилбура в Кэмбридж, о его отчаянных попытках получить в свое пользование «Некрономикон» или сделать копии его страниц в библиотеке Уайденера. Усилия эти оказались напрасными, поскольку Эрмитэйдж успел настоятельно попросить всех библиотекарей, в чьем владении имелся этот ужасный том, ни в коем случае не выдавать его. Говорят, что в Кэмбридже Уилбур ужасно нервничал: с одной стороны, очень хотел заполучить себе книгу, а с другой стороны, не меньше хотел побыстрее попасть домой, как будто опасался каких-то последствий столь долгого своего отсутствия.

В начале августа то, чего можно было ожидать, началось. В первые часы третьего августа доктор Эрмитэйдж был внезапно разбужен диким, яростным лаем свирепого сторожевого пса из университетского двора. Страшное и глубокое рычание, полубезумный хриплый лай не прекращались: они усиливались, хотя сопровождались пугающими, но имеющими какое-то зловещее значение паузами. А затем послышался вопль, вырвавшийся из другой глотки — вопль был такой, что разбудил половину всех спящих Эркхама и впоследствии еще долго преследовал их во сне — подобного вопля не могло издать ни одно земное существо, или, по крайней мере, полнотью земное.

Эрмитэйдж, наспех одевшись, устремился через газоны и улицу к зданиям колледжа. Были слышны завывания охранной сигнализации, установленной в библиотеке. Открытое

окно зияло чернотой в лунном свете. То, что пришло, безусловно смогло проникнуть внутрь, поскольку лай, теперь быстро превращающийся в вой и глухое рычание, доносился уже изнутри. Какое-то чутье подсказало Эрмитэйджу, что происходящее здесь не стоит видеть неподготовленным зрителям, поэтому он властно остановил толпу, приказав отойти назад, а сам тем временем отпер двери вестибюля. Звуки, доносившиеся изнутри, к тому моменту поутихли, если не считать настороженного монотонного подвывания; но тут же Эрмитэйдж ясно различил в кустах целый хор козодоев, издававший дьявольски ритмичный свист, как будто в унисон с дыханием умирающего.

Здание было пропитано ужасным запахом, слишком хорошо знакомым доктору Эрмитэйджу, и вот три человека уже устремились через вестибюль к маленькому читальному залу, откуда доносился низкий вой. Примерно секунду никто не решался зажечь свет, но в конце концов Эрмитэйдж собрался с силами и щелкнул выключателем. Один из троих — неизвестно, кто именно — громко закричал, увидев то, что было распростерто перед ними среди раздвинутых в беспорядке столов и перевернутых стульев. Профессор Райс позднее рассказывал, что он на мгновение полностью лишился сознания, хотя смог удержаться на ногах.

Существо, которое скрючившись лежало на боку, в зловонной луже зелено-желтого гноя, липкого как деготь, достигало в длину почти девяти футов, и собака порвала на нем всю одежду и частично задела кожу. Оно еще было живо, но судорожно подергивалось, грудь же его вздымалась в чудовищной синхронности с безумным пением ожидавших снаружи козодоев. Обрывки одежды существа и кусочки кожи с его ботинок были разбросаны по комнате, а прямо рядом с окном, где он, очевидно, и был брошен, лежал пустой холщовый мешок. Возле центрального стола лежал на полу пистолет, и впоследствии по вдавленному, косо вышедшему из обоймы патрону удалось понять, почему он не выстрелил. Однако в тот момент все эти детали не были видны на фоне существа, лежавшего на полу. Было бы банальным утверждать, что описать его невозможно, однако сказать, что его не смог бы ясно себе представить тот, чьи представления слишком тесно связаны с привычными на земле живыми формами и с тремя известными нам измерениями, было бы совершенно справедливо. Частично существо это было несомненно человекоподобным, руки и голова были очень похожи на человеческие, козлиное лицо без подбородка носило отпечаток семьи Уотли. Однако торс и нижняя часть тела были загадочными с точки зрения тератологии, ибо, по всей видимости, лишь одежда

позволяла существу передвигаться по земле без ущерба для его нижних конечностей.

Выше пояса оно было полуантропоморфным, хотя его грудь, куда все еще впивались когти настороженного пса, была покрыта сетчатой кожей, наподобие крокодиловой. Спина пестрела желтыми и черными пятнами, напоминая чешую некоторых змей. Ниже пояса, однако, дело обстояло хуже, поскольку тут всякое сходство с человеческим заканчивалось и начиналась область полнейшей фантазии. Кожа была покрыта густой черной шерстью, а из области живота мягко свисали длинные зеленовато-серые щупальца с красными ртами-присосками. На каждом из бедер, глубоко погруженные в розоватые реснитчатые орбиты, располагались некие подобия глаз; на месте хвоста у существа имелся своего рода хобот, составленный из пурпурных колечек, по всем признакам представлявший собой недоразвитый рот. Конечно, если не считать покрывавшей их густой шерсти, напоминали лапы гигантских доисторических ящеров; на концах их находились изборожденные венами подушечки, которые не походили ни на когти, ни на копыта. При дыхании существа его хвост и щупальца ритмично меняли цвет, как будто подчиняясь какому-то циркулярному процессу, появлялись при этом различные оттенки зеленого — от нормального, до совершенно нечеловеческого зеленовато-серого; на хвосте же это проявлялось в чередовании желтого с грязноватым серо-белым в тех местах, что разделяли пурпурные кольца. Крови видно не было — только зловонная зеленовато-желтая сукровица, которая струйками растекалась по полу.

Присутствие трех человек, по всей видимости, побудило умирающее существо очнуться, оно начало что-то бормотать, не поворачиваясь и не поднимая головы. Доктор Эрмитэйдж сохранил записи его речевого творчества, однако твердо заявляем, что не было произнесено ни одного слова по-английски. Поначалу произносимые слоги не содержали ничего похожего хоть на один из известных на Земле языков, однако в конце концов стали появляться разрозненные фрагменты, явно заимствованные из «Некрономикона», этой чудовищной ереси, в поисках которого существо явно сюда и прибыло. Эти фрагменты, как припоминает Эрмитэйдж, звучали следующим образом: «Н'гаи, н'гха'гхаа, багг-шогтог, й'хах; Йог-Сотхотх, Йог-Сотхотх...» Они уходили в ничто, сопровождаемые криками козодоев, ритмичное крещендо которых отражало злобное предвкушение смерти.

Затем дыхание остановилось, и пес поднял голову, издав протяжный похоронный вой. Желтое, козлиное лицо лежа-

щего на полу существа изменилось, огромные черные глаза ужасающее запали. За окном неожиданно прекратилось стрекотание козодоев, перекрывая ропот собравшейся толпы, раздалось сеющее панику хлопанье крыльев, на фоне луны показались тучи пернатых наблюдателей, которые затем скрылись из вида, обозленные, что добыча им не досталась.

Собака резко сорвалась с места, испуганно гавкнула и выскочила через окно. В толпе поднялся крик, и доктор Эрмитэйдж громко объявил стоящим на улице, что никого нельзя впускать в здание до тех пор, пока не приедет полиция или врач. «Слава Богу, что окна достаточно высоки и в них нельзя заглянуть с улицы», — подумал он, но тем не менее тщательно опустил темные шторы на каждом окне. К этому времени прибыло двое полицейских; доктор Морган встретил их в вестибюле и попросил, ради их собственного блага, запретить доступ в источающий зловоние читальный зал, пока не прибудет медицинский эксперт и распростертое на полу существо не будет накрыто покрывалом.

Между тем на полу читального зала происходили пугающие перемены. Нет возможности описать, какого рода распад шел перед глазами доктора Эрмитэйджа и профессора Райса, и насколько стремительными он был, но позволительно будет заметить, что, помимо внешнего очертания лица и рук, подлинно человеческих элементов в Уилбуре Уотли оказалось ничтожно мало. Когда прибыл медицинский эксперт, на деревянном крашеном полу оставалась только клейкая белая масса, да и неприятный запах почти исчез. Уотли был лишен черепа и костного скелета, во всяком случае, человеческих.

VII

Но все это было лишь прологом к настоящему данвичскому ужасу. Сбитые с толку представители официальных властей выполнили необходимые формальности, причем аномальные детали происшедшего были старательно скрыты от публики и прессы; в Данвич и Эйлсбери были посланы люди с заданием выяснить, кто может являться или является наследниками покойного Уилбура Уотли. Посланные обнаружили жителей злополучной местности в большом волнении, как из-за усилившегося грохота, который доносился из-под куполообразных холмов, так и от невыносимой вони, источником которой была пустая скорлупа, обшитая досками, прежде представлявшая собой дом Уотли. Эрл Сойер, который в период отсутствия Уилбура присматривал за ло-

шадью и скотиной, заболел тяжелым нервным расстройством. Официальные власти предпочли не входить в заключенный досками дом, столь шумный и пугающий, и с радостью ограничили осмотр жилища покойного, то есть — недавно сооруженного сарая, единственным посещением. Они составили длиннейший запрос в суде Эйлсбери и выяснилось, что все еще продолжается судебный процесс между бесчисленными Уотли, проживающими в верховьях Мискатоника.

Почти бесконечная рукопись, содержащаяся в огромном гроссбухе и более всего похожая на дневник, о чем свидетельствовали промежутки между записями, использование различных чернил и изменения в почерке, оказалась неразрешимой загадкой для тех, кто нашел ее на стареньком бюро, служившем хозяину письменным столом. После недели безрезультатных дискуссий, ее отослали в университет Мискатоника вместе с коллекцией странных книг покойного, для изучения и расшифровки; но даже лучшие лингвисты вскоре поняли, что решить эту загадку нелегко. Никаких следов старинного золота, которым Уилбур и Старик Уотли расплачивались за скотину и отдавали долги, обнаружено не было.

По-настоящему ужас разразился, когда наступил вечер девятого сентября. Грохот с холмов был особенно сильным в этот вечер, и собаки неистово лаяли всю ночь. Те, кто рано проснулись наутро десятого сентября, почувствовали странный запах. Около семи часов Лютер Браун, работник с фермы Джорджа Кори, что между Холодным Весенним Ущельем и деревней, в диком испуге прибежал домой, прервав свое обычное утреннее путешествие к Десятиакровому Лугу, куда он гнал скотину. Он едва не бился в припадке от страха, когда ввалился на кухню; во дворе собралось столь же напуганное стадо: било копытами и жалобно мычало — коровы в панике побежали вслед за мальчиком. Заикаясь и едва переводя дыхание, Лютер рассказал миссис Кори:

«Там, на дороге, за ущельем, миссис Кори, — там что-то такое есть! Пахнет, как при грозе, а все кусты и маленькие деревья помяты и отклонились от дороги, как будто там протащили целый дом. Но это еще не все, это не страшное. Там есть следы, на дороге, миссис Кори, — огромные круглые отпечатки, как днище у бочки, они вдавлены глубоко, как будто от слона, *но только их намного больше, чем сделали бы четыре ноги!* Я глянул на пару этих отпечатков, прежде чем сбежал оттуда: каждый покрыт такими линиями, которые идут из одной точки, примерно, как у пальмового листа, только раза в три больше. И запах там такой жуткий, примерно, как возле старого дома Колдуна Уотли...»

Тут он остановился и снова задрожал от приступа страха.

Миссис Кори начала обзванивать соседей: так началась увертюра паники, возвестившая о главных кошмарах. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, ближайшего соседа Уотли, то настал ее черед выслушивать, вместе того чтобы рассказывать: Чонси, мальчик Салли, который плохо спал, прошелся к холмам по направлению к дому Уотли и, лишь мельком взглянув на их усадьбу и на пастбище, где коровы мистера Бишопа были оставлены на ночь, в ужасе побежал назад.

«Да, миссис Кори, — голос Салли дрожал на другом конце провода, — Чонси только что прибежал и не может ничего толком рассказать, так испугался! Он сказал, что дом Старика Уотли весь разломан и доски разбросаны вокруг, как будто его изнутри динамитом взорвали, только пол внизу цел, но он весь заляпан пятнами, как будто дегтем, и пахнут они ужасно и капают на землю через край, там где доски все разломаны. И еще там какие-то ужасные отметины в саду — большие круглые отметины размером с большую бочку и все пропитаны такой же липкой дрянью, как и во взорванном доме. Чонси говорит, что они ведут туда, к лугам, где большой прокос шире, чем большой амбар, и где повсюду каменные столбы понатыканы, куда ни глянь».

«И он еще сказал, слышите, миссис Кори, он сказал, насчет того, как решил поискать коров Сета, хоть и был напуган до смерти; и он их нашел на верхнем пастбище, поблизости от Двора Танцев Дьявола, и они были в жутком виде. Половина вообще исчезла, как не было, а у остальных как будто почти всю кровь высосали, и такие болячки, как, помните, были у Уотлиевой скотины, с тех пор как родился у Лавинии этот черный ублюдок. Сет пошел взглянуть на коров, хотя, клянусь чем угодно, он вряд ли решится подойти близко к дому Колдуна Уотли! Чонси толком не разглядел, куда ведут эти глубокие круглые отметины, но он сказал, что, скорей всего, они идут к ущелью, где дорога в деревню».

«Я вам еще вот что скажу, миссис Кори, там что-то есть такое, что-то не то... И я думаю, что этот Уилбур Уотли, он заслужил такой плохой конец, потому что все это из-за него. Он вовсе и не человек, я это всегда всем говорила, и я думаю, что они со Стариком Уотли что-то там выращивали в этом своем заколоченном доме, и даже еще хуже, чем он сам. Вокруг Данвича всегда водились призраки — живые призраки — не такие как люди и опасные для людей».

«Земля опять вчера разговаривала, а под утро Чонси слышал, как громко кричали козодои в Холодном Весеннем Ущелье, он глаз сомкнуть не мог. А потом он подумал, что слышит иные, слабые звуки от дома Колдуна Уотли, — как

будто дерево трещит или доски отдирают, или как будто ящик деревянный разламывают. Он ночь не спал до восхода, а встав, первым делом пошел к Уотли, чтобы самому посмотреть, и я вам скажу, миссис Кори, что он увидел достаточно! Ничего хорошего тут нет, и я думаю, что тут все должны принять участие и что-то сделать. Я знаю, что происходит что-то ужасное, и чувствую что мне недолго осталось жить, но только один Бог знает все».

«А как ваш Лютер, он заметил, куда ведут эти большие следы? Нет? Ну, что ж, миссис Кори, если они были на дороге с этой стороны ущелья и если они еще не подошли к вашему дому, тогда они, наверное, уходят прямо туда, в ущелье. Так и должно быть. Я всегда говорила, что это Холодное Весенне Ущелье — нездоровое и дурное место. Козодои и светлячки ведут себя вовсе не так, как творения божии, а кроме того, там, говорят, вы можете услышать разные странные вещи, снизу, если будете стоять между обрывом и Медвежьей Берлогой».

К полудню три четверти всех мужчин и юношей Данвича двинулись по дорогам и лугам между свежими развалинами дома Уотли и Холодным Весенним Ущельем, в ужасе рассматривая чудовищные гигантские следы, изувеченных коров Бишопы, странные, зловонные обломки фермерского дома, а также помятую, обесцвеченную растительность на полях и обочинах дороги. То, что обрушилось на этот мир, несомненно попало в находившееся здесь огромное зловещее ущелье: все деревья на краях его были согнуты или сломаны, а в нависающем над обрывом подлеске была продолблена широкая дорога. Можно было подумать, что дом, сметенный обвалом, соскользнул, разрывая густое сплетение деревьев и кустарника, по крутому склону ущелья. Снизу не доносилось ни звука, а только отдаленный, почти неразличимый запах; неудивительно, что собравшиеся мужчины предпочитали стоять на краю обрыва, вместо того чтобы спуститься вниз и напасть на ужасного неведомого Циклопа в его логове. Три собаки, которые находились вместе с людьми, поначалу яростно заливались лаем, однако, приблизившись к ущелью, трусливо замолчали. Кто-то позвонил в «Эйлсбери Транскрипт», однако редактор, привыкший к чудным историям из Данвича, ограничился тем, что состряпал небольшую, в один абзац, юмористическую заметку: ее впоследствии передало агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Вечером все отправились по домам и забаррикадировали двери своих домов и амбаров. Нечего говорить, что ни одна корова не была оставлена на пастбище. Около двух часов ночи ужасающая вонь и дикий собачий лай разбудил семейство

Элмера Фрая, на восточном склоне Холодного Весеннего Ущелья, и все потом единодушно говорили, что неподалеку был слышен приглушенный шелест и плеск. Миссис Фрай предложила позвонить соседям, и Элмер уже готов был с ней согласиться, но тут треск ломающегося дерева прервал их дискуссию. Звук этот доносился, по всей вероятности, из амбара: сразу же за этим послышались ужасные крики и топот скотины. Собаки рабски подползли и прижались к ногам онемевших от страха людей. Фрай механически зажег фонарь, но отдавал себе отчет, что выйти сейчас на темный двор равносильно смерти. Дети и женщины хныкали, воздерживаясь от крика, следуя какому-то загадочному, древнему инстинкту самосохранения. Наконец крики скотины затихли, сменившись жалостливым мычанием, после чего, в свою очередь, стали слышны удары, стук и треск. Семейство Фраев, прижавшись друг к другу в гостиной, не решалось двигаться, пока последние отзвуки не затихли где-то далеко, по-видимому, в Холодном Весеннем Ущелье. Затем, среди сдавленных стонов из хлева и демонических криков ночных козодоев из ущелья, Селина Фрай бросилась к телефону и рассказала всем, кому смогла, о второй волне данвичского ужаса.

На следующий день всю деревню охватила настоящая паника: перепуганные группки людей направились к месту вчерашних дьявольских событий. Две гигантские полосы разрушений протянулись от ущелья к двору Фраев, чудовищные отпечатки покрывали опустошенные участки почвы, а старый амбар с одной стороны был совершенно разрушен. Что касается стада, то найти удалось только его четвертую часть. Из коров некоторые были растерзаны, а оставшихся в живых пришлось пристрелить. Эрл Соьер предложил обратиться за помощью в Эйлсбери или Эркхам, но остальные утверждали, что от этого не будет никакого проку. Старый Зебалон Уотли, из той ветви Уотли, которая занимала промежуточную стадию между нормальностью и вырождением, выдвинул мрачные предположения относительно обрядов, которые, видимо, совершались на вершинах холмов.

Он происходил из семейства, где были крепки традиции, а потому его воспоминания о песнопениях внутри огромных каменных колец связывались не только с Уилбуром и его дедушкой.

И вновь тьма пала на пораженную ужасом деревню, слишком пассивную, чтобы организовать реальное сопротивление. В нескольких случаях семейства, связанные близким родством, собирались вместе и сидели в мрачном унынии под одной крышей, однако в большинстве случаев повторилось вчерашнее сооружение баррикад. Однако в эту ночь ничего не про-

изошло, если не считать шума, доносившегося с холмов. Когда наступило утро, многие надеялись, что кошмар прекратится так же неожиданно, как и пришел. Нашлись даже отчаянные головы, предложившие совершить экспедицию в ущелье, в качестве оборонительной меры, однако они не рискнули подать пример колеблющемуся большинству.

Когда пришла очередная ночь, вновь баррикадировались входы в жилища, хотя на этот раз уже меньшее количество семей собирались вместе. Наутро и семейство Фраев, и домочадцы Сета Бишопа сообщили о волнении среди собак, а также о неясных звуках и запахах, различных издали; между тем вышедшие поутру на разведку добровольцы с ужасом обнаружили свежие отпечатки чудовищных следов на дороге, опоясывающей Сторожевой Холм. Как и перед этим, обе стороны дороги несли на себе следы повреждений, вызванных прохождением гигантской дьявольской массы при этом конфигурация следов говорила о движении в двух направлениях, как будто движущаяся гора пришла со стороны Холодного Весеннего Ущелья, а затем вернулась обратно. У подножья холма тридцатифутовая полоса смятого кустарника вела вверх, и тут у наблюдателей перехватило дыхание, когда они увидели, что неумолимый след идет даже по наиболее отвесным, почти перпендикулярным земле участкам. Что же это было за кошмарное существо, если оно могло взбираться по практически вертикальной каменной стене; когда же исследователи взобрались по безопасным тропам на вершину, то обнаружили, что там следы кончаются, или, точнее сказать, поворачивают в противоположную сторону.

Здесь было то самое место, на котором Уотли разводили свои костры и пели свои дьявольские песни у камня в форме стола в канун Мая и во время Хеллоуина. Теперь этот камень лежал в центре обширного пространства, истоптанного циклопическим страшилищем, а на его слегка вогнутой поверхности находились густые и зловонные остатки той же липкой смоляной массы, которую обнаружили на полу разрушенного дома Уотли в первый день данвичского кошмара. Очевидно, что страшилище спустилось по той же дороге, по которой сюда поднималось, но пытаться что-либо понять было бесполезным: логика, разум, и нормальные представления о причинности здесь явно не срабатывали.

Ночь четверга началась примерно так же, как и предыдущие, однако закончилась куда менее удачно. Козодои в ущелье кричали с такой необыкновенной настойчивостью, что многие не могли уснуть, а где-то около трех часов ночи все телефоны вдруг зазвонили. Те, кто поднимал трубку, слышали, как обезумевший от страха человек кричал: «По-

могите мне, о, Бо-оже!...» и людям казалось, что грохот падения и треск прерывали разговор. Никто не решился выйти из дому и что-либо предпринять, и до самого утра неизвестно было, откуда раздался ночной звонок. Получившие его поутру звонили по всем номерам подряд и обнаруживали, что только номер Фрасв не отвечал. Истина обнаружилась часом позднее, когда спешно собранная группа вооруженных мужчин подошла к дому Фрая в начале ущелья. То, что они увидели, было ужасно, хотя и не явилось неожиданным. Вокруг появились дополнительные проплешины на земле и множество страшных следов, но никакого дома уже не было. Он был смят и раздавлен, как яичная скорлупа, причем среди развалин не было обнаружено никого, ни живых, ни мертвых. Только вонь и липкая смола. Семейство Элмера Фрая исчезло из Данвича бесследно.

VIII

Между тем, более тихая, хотя, в духовном смысле, куда более резкая фаза кошмара мрачно разворачивалась за закрытой дверью уставленной книжными полками комнаты в Эркхаме. Загадочная рукопись или дневник Уилбура Уотли, присланная в университет Мискатоник для расшифровки, породила сильное беспокойство и затруднение среди специалистов по древним современным языкам; даже использованный в ней алфавит, хотя и не лишенный сходства с давно умершим, использовавшимся в Месопотамии, был абсолютно неизвестен самым крупным специалистам. Окончательное заключение экспертов оценивало текст, как шифрованную запись, составленную с использованием искусственного алфавита, и ни один из методов криптографии не дал никакого ключа к пониманию. Старинные книги из дома Уотли хотя и были исключительно интересными и в ряде случаев давали возможность открыть новые перспективные направления научных исследований, тем не менее ничем не могли помочь расшифровке текста рукописи. Одна из них, объемистый том с железной застежкой, также была написана с использованием неизвестного алфавита — совсем другой природы, и больше, чем что-либо другое, напоминавшего санскрит. Старый гроссбух был в конце концов передан доктору Эрмитэйджу, как из-за его особого интереса к семейству Уотли, так и в силу его обширных лингвистических познаний и знакомства с мистическими заклинаниями античных времен и средневековья.

Эрмитэйджу пришла в голову мысль о том, что алфавит

может представлять собой средство, тайно использовавшееся определенными запрещенными культами, которые дошли до нас из глубокой древности и унаследовали многие формы и традиции от колдунов и волшебников Сарацинии. Однако не этот вопрос он считал наиболее важным, ибо не столь существенно было, по его мнению, знать источник или происхождение символов, которые явно использовались для зашифровки текста. Его убеждение состояло в том, что, принимая во внимание гигантский объем текста, пишущий вряд ли стал бы пользоваться иным языком, помимо родного, если не считать отдельных особых формул и заклинаний. Исходя из этого, он подошел к рукописи, предполагая, что основой ее является английский язык.

Доктор Эрмитэйдж по многократным неудачным попыткам своих коллег понял, что загадка является сложной и глубоко упрямой и что даже не стоит пытаться найти простое решение. Всю оставшуюся часть августа он посвятил изучению огромного количества материалов по криптографии: изучил все источники в своей библиотеке, проводил бессонные ночи над тайнами «Полиграфии» Тритемиуса, «Таинственными буквенными записями» Джамбаттиста Порты, «Особенностями шифров» Де Вигенера, «Криптографическими исследованиями» Фальконера, изучил книги восемнадцатого века, например — исследования Дэвиса и Фикнесса, а также самые современные работы таких крупнейших специалистов, как Блэр, фон Мартен и Клюббер. В конце концов он пришел к выводу, что имеет дело с одной из тех наиболее утонченных и изощренных криптограмм, в которых множество отдельных листов соотносимых букв расположены как таблица умножения, и текст составлен при помощи ключевых слов, известных лишь самому автору. Исследователи прошлого дали ему гораздо больше, чем современные ученые, и Эрмитэйдж решил, что ключ к рукописи имеет глубоко древнее происхождение, и без сомнения, прошел долгую цепь мистических преобразований. Несколько раз казалось ему, что перед ним забрезжил дневной свет истины, однако всякий раз какое-то непредвиденное препятствие отбрасывало его назад. Но вот наступил сентябрь, и тучи стали рассеиваться. Определенные буквы, находившиеся в определенных местах рукописи, выявились со всей очевидностью: стало ясно, что исходным текстом действительно был текст на английском.

Вечером второго сентября усилия его позволили сломать последний барьер, и доктор Эрмитэйдж в первый раз смог прочесть связный фрагмент записей Уилбура Уотли. Как и предполагали вначале, это был дневник: текст отражал как высокую оккультную эрудицию, так и общую безграмотность

странного существа, его автора. Одна из первых записей, прочитанных Эрмитэйджем, относилась к 26 ноября 1916 года, она оказалась поразительной и пугающей. Это писал, вспоминал ученый, мальчик трех с половиной лет, который внешне выглядел на двенадцать-тринадцать:

«Сегодня учил Акло для Сабаота, оно мне не понравилось, на него отвечают с холма, а не из воздуха. Тот, что наверху, обогнал меня сильнее, чем я думал, похоже, что у него немного земных мозгов. Выстрелил в собаку Элама Хатчинса, колли по кличке Джек, когда он попытался меня укусить, а Элам сказал, что убьет меня, если тот умрет. Я не думаю, что так будет. Дедушка заставлял меня повторять заклинание Дхо вчера вечером, и я, кажется, видел внутренний город у двух магнитных полюсов. Я отправляюсь к этим полюсам, когда земля будет очищена, если я не смогу пробиться при помощи заклинания Дхо — Нха, когда я совершу это. Те, что из воздуха, говорили мне в Субботу, что пройдут годы, прежде чем я смогу очистить землю, и к тому времени, наверное, дедушка уже умрет, так что я должен выучить все углы граней и все заклинания от Ир до Нххнгр. Те, что снаружи, помогут, но они не могут войти в тело без человеческой крови. Тот, что наверху, он, похоже, будет точным образцом. Я могу увидеть, если сотворю знак Вууриш или посыплю порошком Ибн Гази на это, и оно похоже на тех, кто бывает в канун Мая на Холме. Интересно, как я буду выглядеть, когда земля будет очищена и когда на ней не останется земных существ. Тот, кто пришел после Акло Сабаот, сказал, что я, может быть, преобразованный оттуда, чтобы повлиять».

Утро застало доктора Эрмитэйджа в холодном поту от ужаса и неистовстве сосредоточенности. Он не отрывался от рукописи всю ночь, сидел при свете электрической лампы, переворачивая страницу за страницей дрожащими руками, стараясь как можно быстрее расшифровать текст. Он взволнованно позвонил домой, своей жене, сказал, что не придет, а когда она принесла ему завтрак, то едва смог проглотить кусочек. Весь день он читал, время от времени останавливаясь, когда требовалось заново применить ключ. Ланч и обед ему приносили, но ел он очень мало. К середине следующей ночи он задремал в кресле, но вскоре проснулся, увидев во сне целый клубок кошмаров, почти таких же пугающих, как те истинные угрозы существованию человека на земле, о которых он только что узнал.

Утром четвертого сентября профессор Райс и доктор Морган настояли на разговоре с ним, после которого они вышли дрожащие и пепельно-серые. Вечером он лег спать, но спал беспокойно. На следующий день, в среду, он вернулся к ру-

кописи и принялся делать обширные выписки из уже прочитанного и нового материала. Этой ночью он спал совсем немного, в кресле, не выходя из своего кабинета, но еще до рассвета вновь вернулся к рукописи. Перед полуднем его врач, доктор Хартвелл, навестил его и настоял на прекращении этой изнуряющей работы. Эрмитэйдж отказался, заявив, что для него жизненно важно дочитать рукопись и найти объяснение прочитанному. Этим вечером, едва опустились сумерки, он наконец завершил свое ужасное чтение и в полном бессилии откинулся в кресле. Его жена, которая принесла обед, нашла его в полукоматозном состоянии, но он был способен резким окриком остановить ее, когда она взглянула на записи, сделанные его рукой. С трудом поднявшись, он собрал исписанные листы и запечатал их в большой конверт, который положил во внутренний карман пальто. Ему хватило сил, чтобы дойти до дома, но он явно нуждался в медицинской помощи, так что немедленно был вызван доктор Хартвелл. Когда доктор укладывал Эрмитэйджа в постель, тот без конца повторял про себя: «Но что же мы можем сделать, Боже милосердный?»

Доктор Эрмитэйдж выспался, но на следующий день как будто бредил. Он ничего не объяснил доктору Хартвеллу, однако, когда успокаивался, то настаивал на серьезном и долгом разговоре с Райсом и Морганом. Его бред был очень причудливым, например, он неистово требовал уничтожить что-то такое, что находится в заколоченном фермерском доме; ссылаясь на какой-то фантастический план, предусматривающий уничтожение всей человеческой расы, всей животной и растительной жизни на земле какой-то ужасной древней расой существ из иного измерения. Он кричал, что мир в опасности, поскольку Древние Существа хотят полностью стереть его и отбросить из солнечной системы и космического пространства в какую-то другую грань или фазу вечности, откуда он однажды выпал, миллиарды эпох тому назад. Порой он просил, чтобы ему принесли чудовищный «Некрономикон» или «Демонолатрию» Ремигиуса, в которых он надеялся найти заклинания, способные остановить нависающую опасность.

«Остановить их! Остановить их! — продолжал он выкрикивать. — Эти Уотли хотел впустить их, а самый опасный еще остался! Скажите Райсу и Моргану, что мы должны что-то делать — действовать придется вслепую, но я знаю, как изготовить порошок... Его не кормили со второго августа, когда Уилбур приехал сюда и нашел здесь смерть, а с такой скоростью...»

Однако Эрмитэйдж, к счастью, обладал очень крепким

для своих семидесяти трех лет здоровьем, так что за ночь, во время сна, его организм справился с надвигавшейся горячкой. Он проснулся утром в пятницу с ясной головой, но встревоженный гложущим его страхом и осознание огромной ответственности. В субботу он уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пойти в библиотеку, и вызвал к себе Райса и Моргана на совещание, так что всю оставшуюся часть дня и вечер трое ученых напрягали свои умственные способности в сложнейших размышлениях и яростных дискуссиях. Станные, загадочные и ужасные книги в огромных количествах были принесены с полок, из хранилищ и фондов; диаграммы, формулы и заклинания копировались с лихорадочной быстротой и в пугающем изобилии. Скептицизма больше не осталось. Все трое видели тело Уилбура Уотли, лежавшее на полу в комнате этого самого здания, и после этого ни один из них не рискнул бы относиться к дневнику, как к запискам сумасшедшего.

Мнения о том, нужно ли ставить в известность полицию штата Массачусетс разделились, причем негативное мнение в конце концов возобладавало. Тут речь шла о таких вещах, в которые просто не поверил бы непосвященный, что, кстати, вполне подтвердили дальнейшие события. Поздно ночью обсуждение прекратилось, хотя определенного плана выработать пока не удалось. Все воскресенье Эрмитэйдж был поглощен сопоставлением различных заклинаний и смешиванием различных химикатов из университетской лаборатории. Чем больше он углублялся в дьявольский дневник, тем больше он склонен был сомневаться в возможности уничтожить то существо, которое оставил после себя Уилбур Уотли, каким-либо химическим агентом — это угрожающее планете существо, неизвестное ученому, готово было через несколько часов взбунтоваться и стать памятным данвичским ужасом.

Понедельник повторил воскресенье, и доктор Эрмитэйдж продолжал свои исследования и бесконечные опыты. Дальнейшее изучение чудовищного дневника привело к появлению различных вариантов плана и их изменениям, причем доктор знал, что добиться полной определенности ему не удастся. Ко вторнику основные контуры действия были намечены, и он принял решение о необходимости съездить в Данвич на этой неделе. Затем, в среду ему пришлось испытать шок. В углу страницы «Эрхам Эдвертайзер» была помещена шутливая заметка, сообщавшая о том, какое чудовище удалось вырастить в Данвиче при использовании бутлеггерского виски. Эрмитэйдж в неописуемом страхе позвонил Райсу и Моргану. Их дискуссия затянулась далеко за полночь, а на следующий день они были заняты лихорадочными сборами в

дорогу. Эрмитэйдж отдавал себе отчет, что вмешивается в сферу действия чудовищных сил, и вместе с тем понимал, что теперь нет другой возможности предотвратить пагубные последствия того зловещего вмешательства, которое было осуществлено ранее.

IX

Утром в пятницу Эрмитэйдж, Морган и Райс отправились на автомобиле в Данвич и прибыли в деревню к часу пополудни. Погода была прекрасная, но даже яркие лучи солнца не позволяли избавиться от скрытого ужаса и дурных предзнаменований, которые, казалось, поджидают в необычных куполообразных холмах и глубоких затененных ущельях этой зловещей местности. Время от времени перед глазами возникали мрачные круги из камней на вершинах. По атмосфере гнетущего молчания у лавки Осборна они догадались, что случилось что-то ужасное, и вскоре узнали об уничтожении семьи и дома Элмера Фрая. В течение дня они объехали Данвич, опрашивали местных жителей по поводу случившегося и сами осмотрели развалины дома Фрая с длинными следами липкой смолы, дьявольские отпечатки во дворе, изувеченную скотину Сета Бишопа и гигантские участки разворошенной растительности в разных местах. След, идущий вверх и вниз по Сторожевому Холму, представился Эрмитэйджу знаком какого-то вселенского катаклизма, и он долго смотрел на расположенный на вершине зловещий камень.

Наконец ученые, узнав о приезде сегодняшним утром представителей полиции штата Эйлсбери, получивших телефонное сообщение о трагедии семьи Фрая, решили найти их и сравнить результаты наблюдений. Однако нигде нельзя было обнаружить следов прибывших полицейских. Говорили, что в машине их было пятеро, но сейчас машина стояла пустой возле развалин дома Фрая. Местные жители были этим озадачены не меньше, чем Эрмитэйдж и его коллеги, тем более, что полицейские утром беседовали со всеми очевидцами. Тут старый Сэм Хатчинс, подталкивая Фреда Фарра и указывая на глубокую сырую впадину, побледнел:

«Господи, — сказал он, задыхаясь, — я предупреждал, чтобы они не опускались в ущелье, да мне и в голову не могло прийти, что кто-нибудь туда полезет, там ведь и эти следы, и эта вонь и козодои кричат там в темноте...»

Холодная дрожь охватила и гостей и местных обитателей, и каждое ухо напряглось, бессознательно, инстинктивно при-

слушиваясь. Эрмитэйдж, впервые реально столкнувшись с этим кошмаром и его чудовищными деяниями, ощутил сильнейшее волнение от чувства собственной ответственности. Скоро наступит ночь и именно тогда горное чудовище выйдет своей жуткой дорогой. «*Negotium parabolus in tenebris...*»^{*} Старый библиотекарь повторил заклинание, которое он выучил, и сжал в руке бумажку, на которой было написано дополнительное заклинание, то, которое он выучить не успел. Он проверил свой электрический фонарик, а стоящий рядом с ним Райс достал из саквояжа металлический распылитель, наподобие тех, которые используют для борьбы с насекомыми; Морган же вынул из чехла крупнокалиберную винтовку, на которую надеялся, несмотря на предупреждение коллег о том, что материальное оружие здесь не поможет.

Эрмитэйдж, прочитавший страшный дневник, слишком хорошо представлял, чего можно ожидать, однако он ни словом, ни намеком не дал знать об этом жителям Данвича, чтобы не увеличивать их испуг. Когда сгустились сумерки, люди разбрелись по своим домам и вновь принялись озабоченно запираяться изнутри, несмотря на явные доказательства бесполезности людских замков и укрепленных дверей перед лицом силы, способной гнуть деревья и сокрушать дома по своей прихоти. Они скептически покачали головами, узнав о намерении визитеров стоять дозором у развалин дома Фрая, и, расходясь по домам, данвичцы не рассчитывали когда-либо увидеть отважных исследователей.

Этой ночью под холмами вновь раздался грохот, и снова слышалось угрожающее пение козодоев. Время от времени из ущелья вырывался ветер, принося с собой неопишное зловоние, мгновенно наполнявшее тяжелый ночной воздух, то самое зловоние, которое все трое ощущали и ранее, когда стояли над умирающей тварью, прожившей пятнадцать с половиной лет в человеческом обличье. Однако ожидавшийся кошмар так и не наступил. Что бы там ни скрывалось на дне ущелья, оно явно выжидало, и Эрмитэйдж сказал коллегам, что нападать на него в темноте было бы равносильно самоубийству.

Робко наступило утро, и ночные звуки прекратились. Был серый, пасмурный день, время от времени накрапывал дождик; на северо-западе над холмами собирались густые тяжелые облака. Прибывшие из Эркхама ученые находились в нерешительности. Укрывшись от усилившегося дождя в одном из немногих сохранившихся хозяйственных сооружений на дворе Фрая, они обсуждали свои дальнейшие действия:

^{*} В бедствии действовать смело (лат.)

выжидать или нападать. Последнее требовало от них спуска в ущелье. Пелена дождя становилась все гуще, а откуда-то из-за горизонта доносились раскаты грома, и вот совсем рядом блеснула раздвоенная молния, ударив как будто в самый центр проклятого ущелья. Небо сразу потемнело, поколебав надежды ученых на то, что гроза будет короткой и сменится ясной погодой.

Было все еще темно, когда, не более чем через час, с дороги донесся разноголосый шум. Через мгновение показалась группа людей, не меньше дюжины, которые бежали с криками и даже истерическим плачем. Кто-то из бежавших впереди начал выкрикивать отдельные слова, и прибывшие из Эркхама бросились вперед, как только поняли смысл этих слов.

«О, Боже мой, Боже, — задыхался кричавший, — Оно снова идет, и на этот раз днем! Оно вышло оттуда — вышло и движется, вот прямо сейчас, в эту самую минуту, и одному Богу известно, когда оно нападет на всех нас!»

Рассказчик здесь сбился с дыхания, но его сменил другой.

«Примерно с час назад Зеб Уотли услышал телефонный звонок, и это была миссис Кори, жена Джорджа. Она сказала, что ее работник Лютер, который отгонял скотину, после удара большой молнии увидел, как согнулись деревья с другой стороны ущелья — напротив этого места — и почувствовал тот же ужасный запах, что он ощутил и в прошлый понедельник. И ему послышался шелестящий звук, как будто что-то плещется, и звук был сильнее, чем бывает, когда деревья качаются от ветра, и тут вдруг деревья вдоль дороги все наклонились на одну сторону и был слышен топот и шлепание по грязи. Но при этом Лютер божится, что ничего видно не было, только все деревья отодвинулись и кусты тоже. А затем далеко впереди, где ручей Бишоп течет, он услышал страшный треск на мосту, как будто дерево разламывается. И все равно ничего не было видно, только как деревья гнутся. А после шелест уже слышался совсем издали — на дороге, что ведет к дому Колдуна Уотли на Сторожевом Холме — у Лютера хватило духу добежать туда, откуда раздавались звуки, и посмотреть на землю. Там кругом была грязь и вода, на небе была темень непроглядная, и дождь смывал все подряд; и все равно у края ущелья, где были сдвинуты деревья, он опять увидел эти страшные следы, размером с дно бочки, такие же, какие видел в тот понедельник».

Тут вновь взял слово первый рассказчик.

«Но это не самое страшное — это только начало. Зебу позвонили из дома Сета Бишопа. Это Салли, его хозяйка, кричала как резаная — она только что увидела, как деревья у дороги согнулись и был такой звук, как будто слон топает

и дышит, и идет к ее дому. Потом она еще сказала, там был тоже этот ужасный запах и ее сынок Чонси завопил, что это такой же запах, как и тот, что он почуял возле развалин дома Уотли в понедельник утром. И собаки все время лаяли и выли тоже.

И вот тут она заорала так ужасно, и говорит, что кусты у дороги смялись, как будто ураган пролетел, только ветер не может так сильно повалить. Вдруг Салли опять закричала и сказала, что только что забор повалился, хотя совершенно не было видно того, кто это сделал. Потом в трубке было слышно, что Чонси и старый Сет Бишоп тоже закричали, а Салли сказала, что в дом ударило что-то тяжелое — не молния или еще чего-нибудь, в переднюю стену, и продолжало лупить туда, хотя через окна ничего не было видно. И потом... потом...»

«И тогда... Салли, она крикнула: «О, помогите кто-нибудь, дом рушится... и через трубку был слышен страшный треск, и все они кричали... примерно так же, как и тогда, когда оно напало на дом Элмера Фрая, только еще хуже...»

Говорящий умолк и слово взял еще кто-то из толпы.

«Вот и все — дальше ни звука, ни слова. Мы сели в машины и собрались, все здоровые крепкие мужики, кого смогли позвать, возле дома Кори и пришли сюда к вам, чтобы спросить, что нам нужно делать. Неужели это божья кара за то, что мы не такие, как все, а ведь божьей кары ни одному смертному не избежать».

Эрмитэйдж понял, что пришло время действовать, и твердо сказал, обращаясь к группе неуверенных, перепуганных деревенских жителей.

«Мы должны начать преследование, ребята, — он старался говорить как можно увереннее. — Я убежден, что у нас есть возможность уничтожить это существо. Вы, ребята, должны быть, знаете, что эти Уотли были колдунами — и вот эта тварь, она произошла от колдовства, а значит, справиться с ней можно только теми же самыми средствами. Я читал дневник Уилбура Уотли и некоторые из старинных книг, которые он изучал; и теперь я, кажется, знаю нужное заклинание, которое позволит прогнать это существо. Разумеется, полностью уверенным я быть не могу, но надо действовать. Оно невидимо — я так и думал — но в этом распылителе находится порошок, который может на секунду показать его нам. Позднее мы обязательно попробуем это сделать. Эта тварь очень страшная, слишком страшная, чтобы сохранить ей жизнь, однако она не столь ужасна, чем то, во что превратился бы Уилбур, проживи он хоть немного дольше. Вы просто не представляете себе, чего избежал наш мир. Теперь нам

осталось справиться только с этим существом, а оно не может размножаться, хотя способно принести много вреда; так что мы должны без всяких колебаний его уничтожить. Мы должны настичь его — и первое, с чего следует начать — это направиться к тому месту, которое только что подверглось нападению. Пусть кто-то из вас нас проводит — я плохо знаю ваши дороги, но предполагаю, что должен быть какой-нибудь короткий путь. Что вы об этом думаете?»

Мужчины немного посоветовались, а затем Эрл Соьер, указывая грязным пальцем сквозь слегка поредевшую пелену дождя, сказал:

«Вы можете быстрее всего добраться до участка Сета Бишопа, если пересечете здесь нижний луг, перейдете в мелком месте через ручей, а потом взберетесь вверх по покосу Кэррера и сквозь маленький лесок на ту сторону. Так вы как раз и выйдете на верхнюю дорогу совсем рядом от Сета Бишопа — чуть-чуть с другой стороны».

Эрмитэйдж, Райс и Морган отправились в указанном направлении; большинство из местных последовало за ними. Небо постепенно светлело, и появились признаки того, что гроза сошла на нет. Когда Эрмитэйдж по ошибке пошел не в том направлении, Джо Осборн окликнул его, и затем вышел вперед, чтобы указывать дорогу. Уверенность и храбрость людей постепенно возрастали, хотя неясные очертания поросших лесом вершин, лежащих в конце их короткого пути, среди фантастических древних деревьев, служили для этих качеств весьма серьезным испытанием.

К моменту, когда они выбрались на грязную раскисшую дорогу, из-за туч вышло солнце. Они были совсем недалеко от усадьбы Сета Бишопа, но согнутые деревья и ужасные, уже легко узнаваемые следы ясно показывали, что здесь произошло: вновь повторился инцидент, ранее случившийся с семейством Фраев, и ни одного живого существа, как и ни одного погибшего не было обнаружено среди обломков того, что еще совсем недавно было домом Бишопа. Никому не хотелось оставаться здесь, посреди зловония и липкой смоляной дряни, и все инстинктивно повернулись к линии, оставленной устрашающими отпечатками, которая вела к развороченному фермерскому дому Уотли и далее к увенчанному алтарем склонам Сторожевого Холма.

Когда они проходили мимо обиталища Уилбура Уотли, многих охватила заметная дрожь и тут снова их решимость была поколеблена: сровнять с землей такой огромный дом было делом нешуточным, для этого нужна была зловещая дьявольская сила. Напротив подножия Сторожевого Холма следы покидали дорогу, и отпечатки шли вдоль широкой про-

плешины, обозначавший прежний путь монстра на вершину и обратно.

Эрмитэйдж вынул карманную подзорную трубу большой силы увеличения и осмотрел в нее крутой зеленый склон холма. Затем он подал трубу Моргану, который отличался более острым зрением. Спустя мгновение Морган громко вскрикнул, передавая инструмент Эрлу Сойеру и одновременно указывая пальцем в определенное место на склоне холма. Сойер, неуклюже, как большинство новичков, не сталкивавшихся раньше с оптическими приборами, некоторое время бессмысленно крутил колесо настройки, но затем, с помощью Эрмитэйджа, правильно навел трубу и установил резкость. Когда это было сделано, он издал крик, значительно менее сдержанный, чем у доктора Моргана.

«Боже всемилостивый, — трава и кусты шевелятся! Оно поднимается кверху — медленно — ползет вверх по склону — прямо сейчас ползет на вершину — одному Небу известно, зачем!»

Паника быстро распространилась среди присутствующих. Одно дело — искать безымянное чудовище, и совсем другое — найти его. Заклинания, может быть, и сработают — а вдруг нет? Все начали засыпать профессора Эрмитэйджа вопросами об этой твари, и, похоже, ни один из его ответов не мог удовлетворить местных жителей. Каждый ощутил близость к таким проявлениям Природы, которые полностью лежат за пределами нормального опыта человечества.

Х

В конце концов трое из Эркхама — старый, белобородый доктор Эрмитэйдж, коренастый, со стальными седыми волосами профессор Райс и худой, моложавый доктор Морган, пошли на гору одни. После длительных терпеливых инструкций относительно того, как настраивать и пользоваться трубой, они оставили прибор перепуганным мужчинам Данвича, и, пока ученые совершали свое восхождение, местные жители наблюдали за ними. Подъем оказался тяжелым, и Эрмитэйдж не раз нуждался в помощи. Высоко над головам поднимавшейся группы колебалась гигантская просека, — прокладывающее ее адское создание двигалось вверх с неумолимой настойчивостью гигантской змеи. Через некоторое время стало ясно, что преследователи настигают добычу.

Куртис Уотли — из прежних, невыродившихся Уотли — держал трубу, когда группа из Эркхама сделала крюк, уходя

от просеки. Куртис сообщил собравшимся, что «эти люди» явно собираются забраться на вершину, которая возвышается над просекой в том месте, где кусты пока еще не смяты. Так оно и случилось, в результате идущим удалось сократить разрыв между собой и преследуемой тварью.

Затем Весли Кори, взявший трубу, закричал, что Эрмитэйдж направляет распылитель, который держит в руке Райс, и что сейчас, наверное, что-то произойдет. Толпа беспокойно зашевелилась, потому что люди слышали, что этот распылитель должен сделать невидимое чудовище на мгновение видимым. Двое или трое мужчин закрыли глаза руками, но Куртис Уотли выхватил трубу и напряженно прильнул к окуляру. Он увидел, что у Райса, находящегося со своими коллегами в очень удобной точке, были хорошие шансы прицельно распылить волшебный порошок.

Те, кто наблюдал за происходящим невооруженным глазом, видели только мгновенную вспышку серого облака — размером с довольно большое здание — вблизи от вершины холма. Куртис, державший в руках инструмент, выронил его с диким воплем прямо в дохлившую до лодыжек дорожную грязь. Он зашатался и упал бы на землю, не подхвати его вовремя двое или трое стоявших рядом мужчин. Все, что он мог сделать, это только почти беззвучно застонать.

«О, о Боже милосердный... там... там...»

Град вопросов обрушился на него, и один только Генри Уилер догадался поднять упавшую трубу и стереть с нее грязь. Куртис, казалось, потерял всякую связность речи, и даже односложные ответы давались ему с большим трудом.

«Больше, чем амбар... из извивающихся канатов... все оно похоже на куриное яйцо, только такое, что больше и не представить... с дюжиной ног, похожих на бочки, и они наполовину закрываются, когда оно ступает... ничего в нем нет твердого... все, как студень, как будто все сделано из отдельных извивающихся канатов, которые собрали и прижали друг к другу... над этим большие выпученные глаза... десять или двадцать ртов или хоботов, которые торчат у него со всех сторон, большие, как труба дымохода, и они все время вскидываются, открываются и закрываются... все серые, с такими голубыми или багровыми кольцами... и о Бо-о-же праведный на Небесах — там пол-лица на верхушке!»

Это последнее впечатление, видим, оказалось слишком сильным для бедняги Куртиса, и он потерял сознание, прежде чем смог вымолвить еще хоть слово. Фред Фарр и Уилл Хатчинс отнесли его на обочину дороги и положили на сырую траву. Генри Уилер, дрожа всем телом, посмотрел через спасенную трубу на гору. Сквозь линзы можно было различить

три фигурки, которые, очевидно, бежали по направлению к вершине так быстро, как только могли и как позволял уклон холма. Только это — больше ничего не было видно. Затем все услышали странный шум в долине и у подножия Сторожевого Холма. Это было пение бесчисленных козодоев, и в их пронзительном хоре были различимы нотки тревоги и зловещего ожидания.

Теперь труба попала в руки Эрла Сойера, который сообщил собравшимся, что три фигурки теперь стоят на гребне холма, на одном уровне с камнем в форме алтаря, но при этом в достаточном отдалении от него. Одна из фигурок, доложил он, ритмично поднимает над головой руки, и как только Сойер об этом сказал, все различили едва слышный звук, такой, как будто жесты сопровождались громким пением. «Наверное, это он произносит заклинание», — прошептал Уилер, хватая трубу. Козодои теперь пели совершенно неистово, причем в причудливом, нерегулярном ритме.

Внезапно свет солнца как бы померк. Это было очень странным, и все сразу же обратили на это внимание. Грохот донесся из-под холмов, причудливым образом перемешиваясь с гармоничными раскатами, которые, очевидно, шли сверху. Сверкнула молния, и пораженные люди стали безуспешно искать признаки приближающейся грозы. Пение трех смельчаков из Эркхама теперь стало ясно различимым, и Уилер увидел, что они уже все вместе размахивают руками, ритмично сопровождая заклинания этими движениями. Из какого-то фермерского дома вдали донесся яростный собачий лай.

Теперь дневной свет изменился настолько, что собравшиеся люди в изумлении уставились на горизонт. Багровая тьма, породить которую могло только спектральное смещение небесной голубизны, давила сверху на грохочущие холмы. Вновь сверкнула молния, на этот раз она была ярче, чем раньше, и всем показалось, что вокруг каменного алтаря, там, на вершине, появилась какая-то туманность. Ни один из них, однако, не стал смотреть в этот момент в трубу: люди из Данвича вдруг ощутили свое соприкосновение с неуловимой угрозой, которой был заряжен воздух.

И тут раздались те глубокие, надтреснутые, грубые звуки, которые потом не мог забыть ни один из присутствовавших. Они были рождены не в человеческом горле, ибо человеческие органы не в состоянии породить такое акустическое извращение. Скорее можно было подумать, что они рождены были в самом ущелье, не будь их совершенно очевидным источником камень в форме алтаря. Было бы ошибкой называть их звуками — столь многое их страшный, супернизкий

басовый тембр говорил напрямую смутному вместилищу подсознания и ужаса, куда более чувствительному, чем ухо, но все-таки, по форме, это были бесспорно туманные полуартикулированные слова. Они были очень громкими — громкими, как грохот снизу и раскаты грома сверху, которым они вторили — и тем не менее они исходили от невидимого существа.

«Игнаих... игнаих... тхфлтхкх'нгха... Йог-Сотхотх...» — гудел ужасающий голос из космоса. «Й'бтхнк... хь'ехье — н'гркдл'лх...»

Тут звучание приостановилось, и Генри Уилер припал к трубе, но увидел только три силуэта на вершине: фигурки яростно размахивали руками, делая странные жесты, по мере того как пение достигло своей кульминации. Из каких бездонных колодцев архаического ужаса, из каких неизмеримых пучин вне-космического сознания или тайной, долго скрывавшейся наследственности, происходили эти неотчетливые громовые каркающие звуки? Теперь они стали более отчетливыми в своем неистовстве.

«Эх-я-я-я-яхьях — э'яаяааа... нгх'аааа... нгх'ааа... х'ююх... х'ююх... ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ!... па-па-па — ПАПА! ПАПА! ЙОГ-СОТХОТХ!...»

На этом все кончилось. Мертвенно-бледные люди на дороге все еще вслушивались в эти несомненно произнесенные по-английски слова, которые густо и громоподобно опускались из сводящей с ума пустоты над ужасным алтарем, но больше им никогда не суждено было их услышать. Вместо них раздался грохот взрыва, который, казалось, расколол горы; оглушающий, апокалиптический звон, источником которого могла быть и земля, и небо. Единичный штык молнии ударил из багрового зенита в цент каменного алтаря, и гигантская невидимая волна невероятной силы и с неопишуемым зловонием помчалась с вершины холма во все стороны; деревья, трава и кусты яростно заколыхались, а испуганные люди у подножия холма, едва не задохнувшись от смертельного смрада, с трудом удержались на ногах. Вдали завывли собаки; зеленая трава и листья деревьев на глазах увяли, приняв странный, серо-желтый оттенок, а по полям и лесам разлетало бесчисленные тела мертвых козодоев.

Зловоние быстро рассеялось, однако растительность уже не восстановилась. И по сей день вокруг этого страшного холма растет что-то странное, несущее на себе отпечаток греха. Куртис Уотли пришел в сознание лишь после того, как с холма сошли трое из Эркхама, сошли медленно, освещенные солнцем, которое вновь стало ярким и чистым. Они были молчаливы и исполнены скорби, как будто испытали потрясение от воспоминаний и впечатлений даже более сильных,

чем те, которые превратили группу местных жителей в кучку дрожащих трусов. В ответ на град вопросов они только покачали головами и подтвердили самое главное.

«Эта тварь исчезла навсегда, — сказал Эрмитэйдж, — она расщеплена на элементы, из которых была сотворена изначально, и больше не будет существовать. В нормальном мире это существо вообще невозможно. Лишь самая малейшая частица его была материей в том смысле, как мы это понимаем. Оно было похоже на своего отца — и большая его часть вернулась к нему в какую-то туманную область или измерение, лежащее вне нашей материальной Вселенной, в некую бездонную пучину, из которой его на миг смогли вызвать на холмы наиболее разнузданные ритуалы человеческого богохульства и ереси».

Наступила краткая пауза, и в это мгновение рассеянные ощущения бедного Куртиса Уотли начали постепенно собираться воедино: он поднял руки к голове и издал протяжный стон. Память его, казалось, возвратилась к тому моменту, когда сознание покинуло беднягу, и увиденный в трубу кошмар вновь обрушился на него.

«О, о мой Бог, эта половина лица — эта половина лица на самом верху... это лицо с красными глазами и белесыми курчавыми волосами, и без подбородка, как Уотли... Это был осьминог, головоногое, паук — или все вместе, но у них было почти человеческое лицо, там, вверху, и оно было лицом Колдуна Уотли, только... только размерами оно было в целые ярды, целые ярды.

Он остановился в изнеможении, а вся группа местных жителей уставилась на него; их изумление пока еще не превратилось в новый приступ ужаса. Только старый Зебулон Уотли, который старался припомнить далекое прошлое, но до сих пор не проронил ни слова, наконец заговорил:

«Пятнадцать лет минуло, — бессвязно бормотал он, — я сам слышал, как Старик Уотли сказал, что наступит день и мы услышим, как дитя Лавинии прокричит имя своего отца с вершины Сторожевого Холма...»

Но тут Джо Осборн перебил его, обратившись с вопросом к людям из Эрххама.

«Что же это было все-таки, и как молодой Колдун Уотли вызвал это из воздуха?»

Тщательно подбирая слова, Эрмитэйдж попытался объяснить.

«Это было — ну что ж, это представляет собой силу, которая не принадлежит нашей части космоса, силу, которая действует, развивается, растет и принимает очертания согласно иным законам, чем те, что господствуют в нашей При-

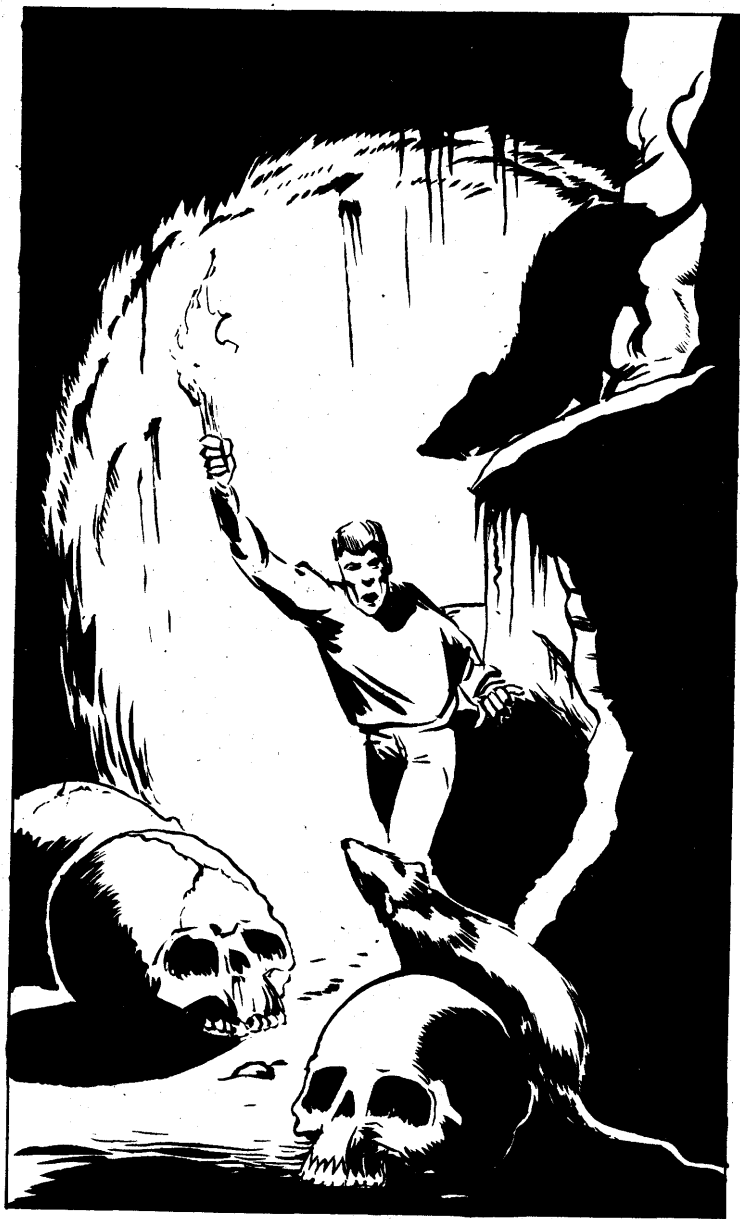
роде. Людям нет необходимости вызывать подобных существ с той стороны; лишь только исключительно безнравственные люди или наиболее дьявольские секты пытались совершить подобное. Часть этой силы была и в самом Уилбуре Уотли — вполне достаточная, чтобы превратить его в дьявола и в быстро созревающее чудовище, так что его смерть стала ужасающим зрелищем. Я намерен предать огню его отвратительный дневник, а вы поступили мудро, взорвав этот каменный алтарь и разрушив все эти каменные кольца на вершинах холмов. Подобные сооружения служат для вызова существ, подобных тем, кого столь любили Уотли — тварей, которых они собирались впустить сюда, чтобы они материализовались и уничтожили, смели с этой планеты весь человеческий род, а саму Землю унести в неизвестное место ради некоей неизвестной цели.

Что же касается той твари, которую мы только что отослали обратно — семейство Уотли растило ее для выполнения страшной роли в том, что должно было произойти. Существо это росло быстро и стало столь гигантским по той же причине, что и Уилбур — но оно обогнало Уилбура в размерах и темпах роста — потому что в нем было больше *потустороннего*. Нет смысла спрашивать, как Уилбур вызвал его из воздуха. Он не вызывал это существо. *Это был его брат-близнец, но он больше, чем Уилбур, походил на отца»*

Х. В. Лавкрафт

КРЫСЫ В СТЕНАХ





16 июля 1923 года, после окончания восстановительных работ, я переехал в Эксхэм Праэри. Реставрация была грандиозным делом, так как от давно пустовавшего здания остались только полуразрушенные стены и провалившиеся перекрытия. Однако этот замок был колыбелью моих предков, и я не считался с расходами. Никто не жил здесь со времени ужасной и почти необъяснимой трагедии, происшедшей с семьей Джеймса Первого, когда погибли сам хозяин, его пятеро детей и несколько слуг. Единственный оставшийся в живых член семьи, третий сын барона, мой непосредственный предок, вынужден был покинуть дом, спасаясь от страха и подозрений.

После того, как третий сын барона был объявлен убийцей, поместье было конфисковано короной. Он не пытался оправдаться или вернуть свою собственность. Объятый страхом, большим, чем могут пробудить угрызения совести и закон, он горел одним желанием — никогда больше не видеть древнего замка. Так Уолтер де ла Поэр, одиннадцатый барон Эксхэм, бежал в Виргинию. Там он стал родоначальником семейства, которое к началу следующего столетия было известно под фамилией Делапозер.

Эксхэм Праэри оставалось необитаемым, затем было присоединено к землям семьи Норрис. Здание пользовалось вниманием ученых, исследовавших его сложную архитектуру: готические башни на сакском или романском основании, с еще более древним фундаментом, друидической или подлинной кимбрской кладки. Фундамент был очень своеобразным, и с одной стороны он вплотную примыкал к высокой известняковой скале, с края которой бывший монастырь смотрел в пустынную долину, в трех милях к западу от деревни Анкестер.

Насколько этот памятник ушедших столетий притягивал к себе архитекторов и археологов, настолько ненавидели его местные жители. Ненависть зародилась еще в те времена, когда здесь жили мои предки, и не остыла до сих пор, хотя здание уже окончательно обветшало и поросло мхом. Я и дня не успел побыть в Анкестере, как услышал, что происхожу из проклятого дома. А на этой неделе рабочие взорвали Эксхэм Праэри и сейчас сравнивают с землей развалины. Я всегда неплохо представлял себе генеалогическое древо нашей семьи, известен мне и тот факт, что мой американский предок уехал в колонии при весьма странных обстоятельствах. Однако с деталями я не был знаком, так как в семье сложилась традиция умолчания о прошлом, В отличие от наших соседей-плантаторов, мы не хвастались предками-

крестоносцами, героями средних веков или эпохи Возрождения. Все исторические бумаги семьи содержались в запечатанном конверте, который до Гражданской войны передавался отцом старшему сыну с наказом вскрыть после его смерти. Основания для гордости были добыты нашей семьей уже в самой Америке и виргинские Делапоэры всегда уважались в обществе, хотя слыли несколько замкнутыми и необщительными.

Во время войны наше благополучие пошатнулось, был сожжен Карфакс, наш дом на берегу реки Джеймс. Во время того безумного погрома погиб мой престарелый дед, а вместе с ним пропал и конверт, хранящий наше прошлое. Мне тогда было семь лет, но я хорошо помню тот день — выкрики солдат-федералистов, визг женщин, стечения и молитвы негров. Мой отец в это время был в армии, оборонявшей Ричмонд, и после многочисленных формальностей нас с матерью отправили через линию фронта к нему.

После войны мы все переехали на Север, откуда была родом моя мать. Я прожил там до старости и стал настоящим янки. Ни я, ни мой отец не знали о содержимом семейного конверта; я втянулся в массачусетский бизнес и потерял всякий интерес к тайнам, несомненно, присутствовавшим в истории нашей семьи. Если бы я только подозревал, с чем они связаны, с какой радостью бросил бы я Эксхэм Праэри, и лучше бы он остался летучим мышам с пауками и зарос мхом.

В 1904 году умер мой отец, не оставив никакого послания ни мне, ни моему единственному сыну, Альфреду, которого я воспитывал сам, без его матери. Именно этот мальчик изменил порядок передачи семейных традиций. Я мог поведать ему лишь несерьезные догадки о нашей истории, но во время войны, когда он стал офицером авиации и служил в Англии, он написал мне о некоторых интересных легендах, касающихся нашей семьи. Очевидно, у Делапоэров было яркое и несколько зловещее прошлое, о котором мой сын узнал из рассказов своего друга Эдварда Норриса, капитана авиационного полка Его Величества, чьи владения находились возле нашего фамильного замка, в деревне Анкестер. Поверья местных крестьян были столь колоритны и невероятны, что по ним можно было писать романы. Конечно, сам Норрис не воспринимал их всерьез, но они заинтересовали моего сына, и он описал их мне. Именно эти легенды пробудили во мне интерес к нашим заокеанским корням, и я решил приобрести и реставрировать живописный старинный замок, который капитан Норрис показал Альфреду и предложил выкупить у его дяди, тогдашнего владельца, за очень незначительную сумму.

В 1918 году я купил Эксхэм Праэри, но планы по его реставрации мне пришлось отложить, так как мой сын вернулся с войны инвалидом. Те два года, которые он прожил, я был настолько поглощен заботами о его здоровье, что даже передал партнерам ведение своих дел.

В 1921 году я остался один, без цели, без дела, на пороге старости и решил занять оставшиеся годы восстановлением приобретенного дома. В декабре я ездил в Анкестер и познакомился с капитаном Норрисом, приятным, полным молодым человеком, который был высокого мнения о моем сыне. Он помогал мне собирать предания и планы для восстановительных работ. Сам Эксхэм Праэри не произвел на меня особого впечатления — стоящее на краю пропасти скопище древних руин, покрытых лишайниками и грачиными гнездами, башни с голыми стенами, без полов и какой-либо отделки внутри.

Но постепенно передо мной вырисовывался образ величественного здания, где жили мои предки триста лет назад. Я начал нанимать рабочих для реставрации и тут столкнулся с давним страхом и ненавистью крестьян Анкестера. Эти настроения касались как самого замка, так и всей древней семьи, и были так сильны, что передавались даже рабочим, нанятым на стороне, и они разбегались.

Сын рассказывал мне, что когда он был в Анкестере, его избегали только за то, что он — де ла Поэр. Теперь я почувствовал нечто подобное на себе и долго убеждал крестьян, что почти ничем не связан с моими предками. Даже после этого продолжали они недолюбливать меня, и собирать их легенды я мог только через Норриса. Похоже, люди не могли мне простить, что я собираюсь восстановить ненавистный замок, который они воспринимали как логово злых духов и оборотней.

Анализируя собранные Норрисом предания и отчеты ученых, я пришел к выводу, что Эксхэм Праэри стоял на месте очень древнего храма друидической или додруидической эпохи. Мало кто сомневался, что здесь совершались самые жуткие обряды, которые, вероятно, потом влились в культ Кибелы, занесенный римлянами. По сохранившимся на подземной кладке надписям можно было прочитать: «БОЖ... ВЕЛИК... МАТЕ... ТВОРЕ...», что свидетельствовало о культе Великой Матери, следовать которому безуспешно пытались запретить римским гражданам. Как свидетельствуют раскопки, Анкестер был лагерем третьего августианского легиона. Там храм Кибелы процветал и был всегда полон почитателей, исполнявших бесчисленные обряды под руководством фригийского жреца. Легенда гласит, что крах старой религии не остановил оргии в замке, а жрецы перешли в новую веру, не изменив

своего образа жизни. Тайные церемонии не прекратились и после падения римского владычества, некоторые из саксов восстановили разрушенный храм и, основав там центр некоего культа, которого боялись во всех англо-сакских государствах, придали ему сохранившийся донныне облик. Около 1000 года н. э. Эксхэм Празри упоминается в летописи как замок, окруженный огромным, неогороженным, так как народ боялся туда ходить, садом, принадлежащий таинственному и могущественному монашескому ордену. Замок не был разрушен викингами, но после норманнского завоевания он, должно быть, пришел в упадок. Как бы то ни было, в 1261 году Генрих Третий даровал замок моему предку Гилберту де ла Поэру, первому барону Эксхэмскому.

До той поры репутация нашего рода была чиста, но потом что-то случилось. В летописи 1307 года упомянут один де ла Поэр, «проклятый богом», а в народных преданиях замок, построенный на месте языческого капища, стал слыть зловещим и страшным местом. Эти предания вызывали суеверный страх, усиливающийся под гнетом множества недомолвок и мрачных намеков. Они представляют моих предков порождением демонов, среди которых маркиз де Сад и Жиль де Ретц показались бы невинными детишками, и приписывают им вину за случавшиеся на протяжении нескольких поколений исчезновения людей.

Самыми отрицательными персонажами легенд были, несомненно, сами бароны и их прямые наследники. Если же какой владелец замка имел добропорядочный нрав, он неизменно умирал быстрой, необъяснимой смертью, и его сменял новый злодей. Казалось, у баронов Эксхэм был свой внутри-фамильный темный культ, открытый даже не для всех членов семьи и руководимый старшим в роду. Строился он, по всей видимости, не столько на кровном родстве, сколько на общности наклонностей, ибо к нему принадлежали и люди, вошедшие в семью со стороны. Например, леди Маргарет Тревор, жене Годфри, второго сына пятого барона Эксхэма, приписывали тайные убийства детей по всей округе, и зловещие истории о женщине-демоине до сих пор рассказывают в приграничных с Уэльсом районах. Упоминается в балладах, хотя и по другому поводу, ужасная история леди Мэри де ла Поэр, вышедшей замуж за герцога Шрусфильда и вскоре после свадьбы убитой им и его матерью. Священник, которому они поведали тайную причину содеянного, благословил убийц и отпустил им грехи.

Подобные мифы, полные грубых предрассудков, меня задевали. Особенно было неприятно стойкое недоверие к моему роду. Однако я не мог не ассоциировать эти темные предания

о моих предках с известным мне скандалом, касающимся моего ближайшего родственника, двоюродного брата Рандольфа Делapoэpa из Карфакса, который воевал в Мексике, сблизился с неграми и стал их шаманом.

Несколько меньше меня задевали туманные сплетни о воплях и столах в пустой, холодной долине под известняковой скалой, о запахе тлена, поднимающемся оттуда после весенних дождей, о попавшем под ногу лошади сэра Джона Клейва белом предмете и о слуге, который сошел с ума, заглянув однажды в подземелье старого замка. Это были банальные страшные сказки, а я в то время был убежденным скептиком. Сложнее было отбросить рассказы о пропавших крестьянах, хотя в средние века такое не было редкостью. Смерть могла быть расплатой за чрезмерное любопытство, а наколотые на пики головы несчастных выставлялись тут же, на древних бастионах.

Некоторые легенды были настолько необычны, что я пожалел, что в молодости не изучал сравнительную мифологию. Например, одно поверье объясняло обильные урожаи кормовых овощей в замковых садах тем, что они служили пищей летучим мышам-оборотням, которые каждую субботу слетались туда на шабаш. Но самым невероятным было предание о крысах. Однажды грязные полчища алчных паразитов лавиной вырвались из замка, пожирая на своем пути кур, кошек, собак, поросят, овец. Их ярость утихла после того, как они загрызли и двоих крестьян. Произошло же это якобы через три месяца после упоминавшейся выше трагедии, унесшей последних обитателей замка.

Вот что было мне известно, когда я со старческим упрямством проводил реставрационные работы в доме моих предков. Ни в коем случае не стоит думать, что упомянутые ненаучные сказки определяли мое умонастроение. К тому же, меня постоянно поддерживал капитан Норрис и ученые, помогавшие мне. Через два года реставрация была завершена — огромные расходы полностью оправдались. Я с гордостью осматривал просторные комнаты, обитые дубовыми панелями стены, сводчатые потолки, стрельчатые окна и широкие лестницы.

Все черты средневековья были тщательно сохранены, временные детали естественно вписывались в старинные интерьеры. Дом моих предков был восстановлен, и теперь я мечтал утвердить в округе добрую репутацию древнего рода, последним представителем которого я был. Я намеревался поселиться здесь и доказать всем, что де ла Поэру (я возобновил подлинное написание нашей фамилии) совсем не пришло бы врагом рода человеческого. Моя жизнь обещала

стать приятной еще и потому, что, несмотря на средневековый облик, все интерьеры Эксхэм Праэри были совершенно новые, и мне не грозили ни паразиты, ни привидения.

Итак, 16 июня 1923 года я переехал, а со мной в замке поселились семеро слуг и девять кошек, которых я очень люблю. самого старшего кота, Нигтермана, я привез с собой из Массачусетса, остальным обзавелся, пока во время реставрации жил у капитана Норриса.

Пять дней мы жили спокойно, я занимался в основном классификацией сведений о нашей семье. Ко мне попали довольно подробные отчеты о последней здешней трагедии и бегстве Уолтера де ла Поэра, пропавшего во время пожара в Карфаксе. Выходило, что обвинения моего предка в убийстве всех спящих обитателей замка, кроме четверых доверенных слуг, не были лишены оснований. За две недели до случившегося он сделал какое-то потрясшее и изменившее его открытие, о котором он, если не считать отдельных намеков, не рассказал никому, кроме слуг, ставших его сообщниками и тоже бежавших.

Однако эту преднамеренную резню, жертвами которой стали отец, три брата и две сестры, простили крестьяне и постарались не заметить судебные власти: виновнику удалось ускользнуть в Виргинию безнаказанным. Говорили, будто он избавил землю от некоего древнего проклятия. Что за открытие подтолкнуло его на столь ужасный поступок, я не могу даже предположить. Зловещие предания о своей семье Уолтеру де ла Поэру, несомненно, были известны с детства, так что вряд ли они могли повлиять на него столь неожиданно. Или он увидел какой-то жуткий древний обряд? Нашел некий страшный символ в самом замке или в окрестностях? В Англии его помнили застенчивым, тихим юношей, а в Виргинии он производил впечатление человека пугливого и осторожного, но никак не жестокого. В дневнике одного знатного путешественника, Френсиса Харли из Беллвью, он описан как образец чести, достоинства и такта.

Первое предзнаменование сверхъестественных событий, случившихся позже, было отмечено 22 июля, но тогда оставлено почти без внимания. Случай был простой и ничтожный, странно, что на него вообще обратили внимание, ибо, хотя я и поселился в древнем замке, мне чужда была мнительность, а в слуги я нанял людей разумных и трезвомыслящих. Тем более, что все в замке, кроме каменных стен, было сделано заново.

Я запомнил, что мой старый флегматичный кот, чьи повадки были мне хорошо известны, казался неестественно возбужденным и беспокойным. Он нервно бегал из комнаты в

комнату и постоянно что-то вынюхивал. Я понимаю, что звучит это предельно банально — как неизменная собака в романе о привидениях, которая рычанием предупреждает хозяина о близости появления призрака, — но забыть этого не могу.

На следующий день ко мне в кабинет, расположенный на втором этаже, с арочными сводами, темными дубовыми панелями и трехстворчатым готическим окном, выходящим в пустынную долину под известковой скалой, зашел слуга и пожаловался, что все кошки в доме ведут себя беспокойно. Я тут же припомнил, как Нитгерман крался вдоль западной стены и скреб когтями новые панели, покрывающие старую каменную кладку.

Я ответил слуге, что, должно быть, камни под панелями испускают запах, неуловимый для людей, но воздействующий на тонкое обоняние кошек. Я действительно так думал, и, когда слуга предположил наличие мышей или крыс, я ответил, что их здесь не было триста лет, и что даже полевые мыши не могли бы сюда забраться. В тот же день я заехал к капитану Норрису, и он уверил меня, что было бы невероятно, если бы полевые мыши ни с того, ни с сего вдруг устремились бы в каменный замок.

Вечером, поговорив, как обычно, со слугой, я ушел в спальню западной башни, которую выбрал для себя. Из кабинета в нее вела старая каменная лестница и короткая галерея, отделанная заново. Сама спальня была круглая, с высоким потолком, со стенами без деревянной обшивки, но задрапированным гобеленами, которые я сам выбрал в Лондоне.

Впустив в комнату Нитгермана, я закрыл тяжелую готическую дверь, разделся при свете электрической лампочки, имитирующей свечу, потом выключил свет и улегся на кровати с пологом, а в ногах у меня поместился Нитгерман. Полог я не задернул и лежал, глядя в узкое окошко. В небе потухала заря, и ажурные узоры окна красиво проступали сквозь шторы.

Должно быть, я заснул, потому что помню, что из приятного забытья меня вывело резкое движение вскочившего со своего места кота. Я увидел в тусклом свете его силуэт — голова вытянута вперед, передние лапы чуть подогнуты, задние выпрямлены и напряжены. Он, не отрываясь, смотрел куда-то в стену, западнее окна. Сначала я не увидел там ничего особенного, но все же мое внимание оказалось прикованным к той же точке.

Приглядевшись, я понял, что кот волновался не напрасно. Мне показалось, что драпировки на стенах двигаются, но утверждать это не могу. В чем я могу поклясться, так это в

том, что за ними я слышал тихую возню, похожую на мышиную или крысиную. Через секунду кот прыгнул на один из гобеленов и сорвал его на пол, обнажив старую стену, на подновленной штукатурке которой не было никаких грызунов.

Ниггерман, раздирая когтями гобелен и пытаясь время от времени просунуть лапу между стеной и дубовым полом забегал вдоль стены. Он ничего не нашел и нехотя вернулся ко мне на кровать. Я за все это время не двинулся с места, но заснуть потом уже не мог.

Утром я опросил всех слуг, но никто не заметил ничего странного, лишь кухарка вспомнила, что кошка, спавшая у нее в комнате на подоконнике, вдруг взвыла, разбудив ее, а потом выскочила в открытую дверь и понеслась вниз по лестнице. Я подремал до обеда, а потом поехал к капитану Норрису, который был заинтригован моим рассказом. Эти происшествия — сколь незначительные, столь и необычные, — будили его воображение, и он тут же припомнил некоторые местные мистические поверья. Основываясь на них, Норрис дал мне крысиный яд и несколько мышеловок, и по приезде домой я послал слуг расставить их по замку.

Заснул я рано, но вскоре пробудился от страшного сна. С большой высоты я смотрел в полуосвещенный грот, где, по колению в грязи, белобородый демон-свинопас гонял каких-то полуистлевших, дряблых зверей, вид которых вызвал у меня неопишемое отвращение. Затем он остановился, кивнул кому-то головой. Тут же огромная стая крыс скатилась с края пропасти, чтобы пожрать и его, и зверей.

Меня разбудили движения Ниггермана, который, как обычно, спал у меня в ногах. Мне сразу стало ясно, почему он выгибает спину, шипит и, выпуская когти, царапает мне ноги, — отовсюду слышалось, как по замку шныряют огромные, голодные крысы. Заря потухла, и в темноте я не мог разглядеть — двигаются ли уже восстановленные драпировки, и поэтому поскорее включил свет.

Как только лампочка зажглась, я увидел, что все гобелены колышутся таким образом, что их оригинальные узоры напоминают пляску смерти. Это движение, а вместе с ним и звуки прекратились в один момент. Вскочив с кровати, я схватил ручку от металлической грелки с углями, пошуровал ей за гобеленам и приподнял один из них. Там ничего не было, только оштукатуренная стена, даже кот перестал нервничать. Я осмотрел поставленную в моей спальне мышелову. Все ходы захлопнулись, но мышеловка была пуста: даже клочка шерсти не осталось.

О том, чтобы снова лечь спать, не могло быть и речи, и

поэтому я, взяв свечу, пошел с котом по галерее к лестнице, спускающейся в мой кабинет. Но едва мы дошли до каменных ступенек, как Ниггерман ринулся вперед и исчез. Когда я сам сошел в кабинет, то сразу же услышал звуки, которые невозможно с чем-либо спутать.

Дубовые панели кишели крысами, а Ниггерман метался с яростью охотника, теряющего добычу. Я зажег свет, но на этот раз шум не прекратился. Крысы продолжали свои игрища, топая с такой силой, что я мог определить общее направление их движения. Происходила грандиозная миграция этих животных откуда-то сверху в подвал, или еще глубже.

Я услышал шаги в коридоре, распахнулась дверь и появились двое слуг. Оказалось, что и все остальные кошки вдруг начали шипеть и выгибать спины, а потом унеслись вниз по лестнице и сейчас мяукали и скреблись у двери в подземелье. Я спросил, не слышали ли слуги крыс, но они ответили отрицательно. Я хотел, было, обратить их внимание на шорохи, но тут заметил, что они прекратились.

Сопровождаемый слугами, я спустился к двери в подземелье, но кошки уже разбежались. Я решил обследовать подземелье позже, а пока только осмотрел мышеловки. Все они сработали, но никто не попался. До утра я сидел, задумавшись, в кабинете, отмечая, что звуки слышали только кошки и я, и вспоминая все известные мне подробности легенд о замке.

До полудня я проспал в библиотеке в мягком кресле, которое поставил там в ущерб средневековым интерьерам, а потом позвонил капитану Норрису с тем, чтобы он приехал и помог обследовать подземелье.

Мы не нашли ничего примечательного, разве что нас взволновал тот факт, что подземный склеп был по-видимому построен руками римлян. Низкие арки и массивные столбы были подлинно римскими — не то, что грубые сакские постройки — гармоничными и стройными, напоминавшими об эпохе цезарей. На стенах было множество описанных археологами надписей, например: «ВЛАД... ВРЕМ... ПРОТИВ... ПОНТИФИК... АТИС...» При упоминании об Атисе я вздрогнул, вспомнив, что читал у Катулла о жутких обрядах в честь этого восточного божества, чей культ был смешан с почитанием Кибелы. При свете фонарей мы с Норрисом без особого успеха попытались разобрать полустершиеся рисунки на прямоугольных каменных блоках, служивших алтарями. Мы вспомнили, что один из рисунков, солнце с лучами, датировался учеными доримским периодом. Значит, алтари были взяты римскими жрецами из более древнего храма коренных жителей, стоявшего на этом месте. На одном из алтарей меня

привлекли коричневые пятна. Состояние же поверхности самого большого из них указывало, что на нем разводили огонь — там, вероятно, сжигали жертвы.

В этом склепе, у дверей которого скреблись кошки, мы с Норрисом решили провести ночь. Слуги снесли вниз диваны, и им было приказано не обращать внимания на ночную беготню кошек. Ниггермана мы взяли с собой, полагаясь на его чутье. Мы закрыли тяжелую сработанную под средневековые дубовую дверь, зажгли фонари и стали ждать.

Подземелье было очень глубоким — его фундамент, вероятно, уходил даже вглубь известняковой скалы, нависавшей над пустой долиной. Я не сомневался, что неизвестно откуда взявшиеся крысы стремились именно туда, хотя и не мог понять, зачем. Пока мы лежали в ожидании, я изредка забывался неглубоким сном, от которого меня пробуждали нервные движения кота.

Мой сон был нездоровым и походил на тот, который мне привиделся предыдущей ночью. Снова темный грот, свинопас с жутким погрязшим в грязи стадом, — но сейчас все детали сна словно приблизились, были видны отчетливее. Я разглядел расплывчатые черты одного из животных и пробудился с таким криком, что Ниггерман прыгнул в торону, а бодрствовавший капитан Норрис громко рассмеялся. Знай он причину моего крика, он бы воздержался от смеха, но я почти ничего не запомнил из своего кошмарного сна — страх иногда поражает память весьма кстати.

Когда все началось, Норрис и разбудил меня, предлагая прислушаться к кошкам. Из-за закрытой двери доносилось душераздирающее мяуканье и скрежет когтей, а Ниггерман, не обращая внимания на сородичей снаружи, носился вдоль голых стен.

Я, так как происходило нечто аномальное, необъяснимое, почувствовал острый страх. Крысы, если только у меня и кошек не развились галлюцинации, шурша, соскальзывали вниз внутри римских стен, которые я считал сделанными из монолитных известняковых блоков. Но даже если это было так, если там были живые существа, то почему Норрис их не слышит? Почему он обращает все свое внимание на Ниггермана и кошек снаружи и не догадывается, чем вызвано их поведение?

К тому времени как я, по возможности спокойно и логично, сумел рассказать Норрису, что я, казалось, слышал, шум утих. Он удалился *вниз, вглубь*, ниже всех возможных погребов, и как будто вся скала под нами заполнилась рыскающими крысами. Норрис не проявил скептицизма, наоборот — он выслушал меня внимательно. Он жестом показал мне, что

и кошки за дверью стихли, как будто потеряли след крыс. Однако, Ниггерман вновь разбушевался и теперь бешено царапал основание алтаря в центре склепа.

Происходило нечто невероятное. Я видел, что капитан Норрис — человек материалистически мыслящий, куда более молодой и здоровый, чем я, — тоже был не на шутку встревожен, хотя, быть может, и потому, что всю жизнь слушал местные легенды. Мы заворуженно смотрели на кота, который, постепенно успокаиваясь, все еще бегал вокруг алтаря.

Норрис перенес фонарь поближе к алтарю, опустился на колени и стал соскребать старые лишайники, чтобы лучше осмотреть то место, где его тяжелая плита сходилась с полом. Он ничего не нашел и уже хотел подняться, когда я заметил одно простое обстоятельство, заставившее меня задрожать, хотя оно только подтвердило уже оформившееся подозрения.

Я сказал о нем Норрису, и некоторое время мы напряженно наблюдали простой и неоспоримый феномен — пламя фонаря, поставленного около алтаря, заметил отклонялось, как бывает при сквозняке, в сторону. Струя воздуха, несомненно, исходила из щели между полом и алтарем.

Остаток ночи мы провели в хорошо освещенном кабинете, нервно обсуждая дальнейшие действия. Одного только открытия, что под древнейшей римской кладкой существует еще одно глубочайшее подземелье, пока не обнаруженное никем из работавших здесь триста лет археологов, было бы достаточно, чтобы взволновать человека. А тут еще зловещие легенды, окружавшие замок! Возбужденное сознание подсказывало два выхода: от греха подальше покинуть замок навсегда или, набравшись смелости, решиться на приключения и произвести вскрытие пола в подземелье.

К утру мы решились на компромисс: поехать в Лондон, набрать группу профессиональных ученых-археологов и с их помощью раскрыть тайну. Кстати, прежде чем покинуть подземелье, мы безуспешно пытались сдвинуть с места алтарь, который, несомненно, был дверью в пугающую неизвестность, а теперь разобраться во всем мы хотели предоставить более подготовленным людям.

Мы долгое время провели в Лондоне, договариваясь с пятью учеными, неоспоримо авторитетными людьми, на которых можно было положиться и в том случае, если в ходе дальнейших исследований всплывут какие-либо семейные тайны. Рассмотрев наши факты, догадки, легенды, они не только не стали высмеивать нас, но, напротив, проявили искренний интерес и сочувствие. Нет необходимости упоминать все имена; но могу назвать, например, сэра Уильяма Брин-

тона, прославившегося раскопками Трояда. Когда, наконец, тронулся поезд, увозивший всю нашу группу в Анкестер, я вдруг почувствовал, что стою на пороге ужасных открытий. Возможно, так на меня подействовала совпавшая с началом экспедиции смерть нашего президента за океаном и общая атмосфера траура среди живших в Англии американцев.

Вечером седьмого августа мы прибыли в Эксхэм Празри и узнали, что в наше отсутствие ничего необычного не произошло. Кошки были совершенно спокойны, и ни одна мышеловка не сработала. К исследованиям мы собирались приступить на следующий день, а пока я разместил гостей по комнатам.

Сам я остался в своей спальне в башне, как всегда, с Ниггерманом. Заснул я быстро, но меня сразу захватили кошмары. Мне снилось римское празднество, на котором в центре внимания находилось закрытое блюдо, хранившее нечто страшное. Потом опять вернулся проклятый пастух с грязным стадом в полуосвященном гроте. Однако встал я поздно, уже наступил день, и все было мирно. Крысы, настоящие или мнимые, меня не потревожили, Ниггерман еще крепко спал. Спустившись вниз, я увидел, что во всем доме царит спокойствие. Один из исследователей, Торнтон, довольно нелепо попытался объяснить установившийся покой тем, что определенные силы уже показали мне то, что я должен был увидеть.

К одиннадцати часам утра все было готово к работе и, вооружившись мощными электрическими фонарями и специальным инструментом, мы сошли в подземелье и закрыли за собой дверь. Ниггермана ученые, полагаясь на его чутье, решили взять с собой на случай встречи с крысами.

Мы бегло осмотрели римские надписи и украшения алтаря, так как трое из ученых их уже видели, а все пятеро читали их описание. Все внимание было обращено на центральный алтарь, и уже через час сэр Уильям Бринтон налег на использовавшийся в качестве рычага лом, и плита отклонилась назад.

Если бы мы не были подготовлены, то открывшееся жуткое зрелище привело бы нас в ужас. Через квадратный люк в каменном полу мы увидели лестницу с истертыми ступенями, усыпанную человеческими костями. Позы сохранившихся скелетов выражали панику и ужас, многие были изъедены грызунами, а черепа указывали на явный идиотизм или обезьяноподобие их прежних обладателей.

Вниз от страшных ступеней уходил тоннель, похоже, выбитый в скале и пропускающий поток воздуха. Это не было мгновенным колебанием воздуха, как, например, при захло-

пывании люка, но постоянным, свежим дуновением. Несколько помедлив, мы с содроганием принялись расчищать проход. Именно в тот момент сэр Уильям, осмотрев каменные стены, сказал, что тоннель, судя по направлению стесов, был пробит снизу.

Теперь я должен собраться и особо тщательно подбирать слова.

Спустившись на несколько ступенек, мы увидели спереди свет, не мистический фосфоресцирующий, а нормальный дневной свет, который не мог проникать откуда-либо, кроме как через неизвестные отверстия в известняковой скале, на которой стоял замок. В том, что эти отверстия не были найдены ранее, нет ничего удивительного: долина совершенно необитаема, а скала, нависающая над ней под углом, столь высока, что осмотреть ее всю под силу только альпинисту. Еще через несколько шагов у нас перехватило дыхание от нового кошмара и перехватило дыхание в прямом смысле слова, так как Торнтон упал в обморок на руки застывшего без движения соседа, Норрис, полное лицо которого вдруг побелело и обрюзгло, дико закричал, а я, кажется, захрипел и закрыл глаза.

Тот, кто стоял за мной, безжизненным голосом простонал: «О, боже!». Из семи мужчин только сэр Уильям Бринтон сохранил самообладание, хотя шел во главе группы и должен был увидеть этот ад первым.

Это был полуосвещенный грот гигантских размеров, в котором я разглядел могильники, сложенные в круг валуны, римское строение с низким куполом, разрушенный сакский жертвенник, раннеанглийскую деревянную постройку. Но все это меркло на фоне моря костей. Большинство их было насыпано беспорядочными грудками, а некоторые были еще соединены в скелеты, позы которых указывают на демоническую ярость — они или отбивались от угрозы, или кроважно хватали других.

Антрополог доктор Траск начал обследовать черепа и озадаченно признал неизвестный ему деградировавший тип. Большинство из них по степени эволюции стояли ниже пилтдонского человека, но по всем признакам были человеческими. Черты некоторых черепов говорили о более высокой стадии развития, а отдельные представляли собой высокоразвитый современный тип. Кости были погрызены крысами, а также носили отпечатки человеческих зубов. Вперемешку с ними валялись мелкие косточки крыс — могильщиков и последних жертв древней трагедии.

Удивительно, но после всех этих открытий мы были еще живы и даже сохранили рассудок. Ни Хофман, ни Хайнсманс

даже в самом кошмарном готическом романе не сочинили бы сцены столь же дико невероятной, отталкивающей, как этот полуосвещенный грот. Натываясь на каждом шагу на новое открытие, мы старались не думать о том, что творилось в этой преисподней триста, или тысячу, или две тысячи, или десять тысяч лет назад. Несчастный Торнтон снова упал в обморок, когда Траск сказал, что, судя по скелетам, многие люди здесь передвигались на четвереньках уже на протяжении двадцати поколений.

Новые ужасы преследовали нас, когда мы попытались разобраться в постройках. Четвероногих людей (среди них нам встретилось несколько более современных скелетов прямоходящих) содержали в загонах, откуда они потом вырвались, гонимые голодом или страхом перед крысами. Узников были целые стада, откармливали их, очевидно, фуражными овощами, разложившиеся остатки которых тоже были здесь, утрамбованные в каменные закрома доримской постройки. Теперь стало ясно, почему мои предки содержали такие огромные сады — о, боже, дай мне забыть это. Для чего предназначались узники, тоже не приходилось спрашивать.

Сэр Уильям, стоя с фонарем в римской постройке, рассказывал о немыслимых ритуалах и об особой диете, которой придерживались жрецы доисторического культа, который потом влился в культ Кибелы. Норрис, прошедший военные годы в траншеях, не смог удержаться на ногах в английском доме, оказавшемся бойней и кухней — как он и предполагал. Но видеть привычную английскую утварь в таком месте, читать там *английские надписи*, последняя из которых относится к 1610 году! Я не смог войти в этот дом, в котором творилось столько зла, — пресеченного кинжалом моего предка Уолтера де ла Поэра.

Я отважился войти в сакское строение с отвалившимися дубовыми дверями и увидел внутри десять выстроенных в ряд камер с ржавыми решетками. В трех из них были узники — скелеты высокой степени эволюции, на пальце у одного из них я обнаружил перстень с печатью, воспроизводящей мой собственный герб. Сэр Уильям нашел более древний каземат под римским зданием, но там камеры были пусты. Под ними был узкий тайник, хранящий аккуратную коллекцию костей, на некоторых из которых были выгравированы параллельные надписи на латинском, греческом и фригийском языках.

Тем временем доктор Траск вскрыл один из доисторических могильников и достал черепа, несколько более развитые, чем у гориллы, со следами идеографических надписей. Пока длился весь этот кошмар, спокоен был лишь мой кот. Увидев,

как он невозмутимо уселся на куче костей, я подумал о том, какие тайны могут хранить его мерцающие желтые глаза.

Осознав до некоторой степени, что совершалось в этом гроте, — о котором предупреждал меня мой вещий сон — мы направились вглубь темной пещеры, туда, куда уже не доходил свет. Пройденные несколько шагов открыли нам ряды ям, в которых обычно кормились крысы, но которые с некоторых пор перестали пополняться. Армия крыс перекинулась на живых узников, а потом вырвалась из замка, опустошая окрестности, что и было отражено в достопамятных легендах!

О, боже! Эти черные ямы распиленных, высосанных костей и вскрытых черепов! Кошмарные траншеи, забитые костями питекантропов, кельтов, римлян и англичан за столько веков греха! Некоторые были заполнены доверху и определить их глубину было невозможно, другие казались бездонными, даже свет фонаря не достигал дна. Какие еще ужасы они хранили?

Один раз я сам остушился вблизи такой бездны и пережил момент животного страха. Я, должно быть, долго там стоял, потому что рядом уже никого не было, кроме капитана Норриса. Потом из темноты вдали я услышал звук, который уж так хорошо знал. Мой черный кот ринулся туда, в неизведанную бездну, как крылатое египетское божество. Но и я не отставал: через секунду я уже слышал жуткое топтание этих демонических крыс, которые опять тянули меня туда, где в центре земли безликий

сумасшедший бог Ниарлатотеп завывает в темноте под аккомпанемент двух бесформенных, тупых флейтистов.

Мой фонарь погас, но я продолжал бежать. Я слышал голоса, выкрики и эхо, но все заглушало это вероломное, порочное топтание. Оно все поднималось, поднималось, как окоченевший, раздутый труп поднимается над маслянистой поверхностью реки и плывет под мостами к черному, гнилому морю.

Что-то наскочило на меня — мягкое и полное. Должно быть, крысы, плотная, алчная орава, пожирающая и мертвых, и живых... Почему бы крысам и не сожрать де ла Поэра, раз де ла Поэры ели запретную пищу? Война сожрала моего мальчика, будь они все прокляты... А янки сожрали Карфакс, в огне пропал мой дед и секретный конверт... Нет, нет, я не тот дьявольский пастух в гроте! И у одного из бесформенных зверей лицо не Эдварда Норриса! Кто сказал, что я — де ла Поэр? Норрис жив, а моего мальчика нет... Почему Норрису принадлежат земли де ла Поэров?... Это шаманство, говорю вам... пятнистая змея... Проклятый Торнтон, я отучу тебя падать в обморок от того, что делает наша семья. Это — кровь,

ты, ничтожество, я тебе покажу, как брезговать.. Извольте...
Великая Матерь, Великая Матерь... Атис!... Диа ад, аодаун,
багус дунах орт! Донас!... у-у-у-у... р-р-р-р... ш-ш-ш-ш...

Они говорят, что я кричал все это, когда через три часа они нашли меня в темноте, нашли рядом с полусъеденным телом капитана Норриса, и моим котом, пытавшимся меня загрызть. Они взорвали Эксхэм Празри, забрали моего Ниггермана и заперли меня в этой комнате с решетками; теперь все шепчутся о моей наследственности и поступках. Торнтон — в соседней комнате, но поговорить с ним они мне не дают. Они также стараются скрывать все сведения о замке. Когда я говорю о бедном Норрисе, они обвиняют меня в немыслимом преступлении, но они должны знать, что это сделал не я. Они должны знать, что это крысы, шаркающие, шмыгающие крысы, чей топот никогда не даст мне заснуть, дьявольские крысы, которые бегают за обшивкой этой комнаты и зовут меня к новым кошмарам, крысы, которых они не слышат, крысы, крысы в стенах.

Х.Ф.Лавкрафт
А.Дерлет

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛЕДНИК





«Встречаются подчас такие дома, которые, как и некоторые люди, способны непостижимым образом, буквально при первом же взгляде на них навести на мысль о своем злом, порочном нраве. Возможно, над ними постоянно висит некая аура совершенного в их стенах темного деяния, которая сохраняется даже тогда, когда и самого автора подобных дел уже давно нет в живых, но все же способна вызывать у человека состояние озноба, отчего даже волосы на голове встают дыбом. В такие моменты в сердце невинного наблюдателя словно проникает Нечто, оставшееся как от самой первоначальной страсти вершителя зла, так и от переживаемого его жертвой ощущения ужаса, и он внезапно замечает, как нервы его напрягаются до предела, по коже ползут мурашки, а кровь леденеет...»

Элджернон Блэквуд

Первоначально у меня и в мыслях не было рассказывать или, тем более, писать о находящемся в Провиденсе доме Шарьера, в котором однажды ночью я сделал свое ужасающее открытие. У каждого человека всегда найдутся такие воспоминания, которые ему хотелось бы всячески вытеснить из своей памяти, опровергнуть или вообще стереть. И все же я просто вынужден хотя бы вкратце рассказать о своем знакомстве с домом по Бенефит-стрит, равно как и последующем поспешном бегстве из него, дабы не подвергать совершенно невинных людей унижительной процедуре допроса в полиции, которая, пройдя по моим стопам, подтвердила факт обнаружения мною той чудовищной находки. Что поделаешь, волею судеб мне и в самом деле довелось первым взглянуть на то неопишемое, кошмарное зрелище, и, надо сказать, увиденное мною оказалось намного ужаснее всего того, что я повидал за все предшествующие и последующие годы своей жизни.

Едва ли у кого-то вызовет удивление тот факт, что в области изучения способностей и возможностей человека серьезный антиквар вполне может проявить гораздо меньшие познания, нежели в проблемах градостроения. Пожалуй, именно по этой причине указанный специалист, оказавшись вовлеченным в процесс исследования конкретных представителей человеческой породы, скорее всего столкнется с намного более сложными загадками, нежели при определении даты постройки какого-то уникального крыльца или манерой исполнения флигеля дома с двускатной крышей. Предваряя последующий рассказ некоторыми сведениями о собственной персоне, я вполне мог бы приложить все вышеупомянутые соображения и к самому себе, а заодно сказать, что в тех местах, где традиционно собираются антиквары, имя Элижи

Этвуда издавна пользовалось некоторой — из скромности я предпочел бы остановиться именно на такой формулировке — известностью. На тот же случай, если кого-то заинтересует более подробная информация обо мне, он сможет почерпнуть ее в различных справочниках, регулярно публикующих вести из мира антикваров.

В Провиденс, который находится в штате Род-Айленд, я прибыл в 1930 году, намереваясь задержаться в нем совсем ненадолго, а если говорить конкретнее, то нанести всего лишь один-единственный визит, после чего вернуться к себе в Новый Орлеан. Однако, как только я увидел тот самый дом Шарьера по Бенефит-стрит, то сразу же почувствовал, что не могу отвести от него взгляда, ибо лишь антиквар способен в такой степени заинтересоваться необычным домом, одиноко стоящим на улице одного из городов Новой Англии, построенным много лет назад и переполняющим сердце странным, непонятным ощущением чего-то неимоверно манящего и одновременно жутковато-отталкивающего.

Все то, что говорилось ранее про дом Шарьера, в сущности, мало отличалось от того, что обычно приписывается массе старинных домов, и поныне стоящих в городах Старого, а вместе с ним и Нового света, тем более если при этом полагаться на серьезные публикации в *«Журнале американского фольклора»* о примитивных жилищах американских индейцев, обителях бушменов, полинезийцев и многих других жителей нашей планеты. Что же касается привидений, то о них мне писать бы не хотелось. Достаточно сказать, что за время моей практической деятельности я не раз сталкивался с проявлениями подобного рода. Они, хотя и не всякий раз находили скорое и достаточно убедительное объяснение, однако, как представляется каждому рационалистически мыслящему человеку, коим считаю себя и я сам, со временем подобное толкование все же получают, но разумеется, если подойти к их исследованию со строго научных позиций.

В этом смысле слова дом Шарьера определенно не был заколдованным. По его комнатам не бродили, громяхая цепями, таинственные призраки, по ночам там не раздавались чьи-то зловещие голоса, и в полночный час не появлялись мрачные фигуры, чтобы громогласно возвестить о приближении чьей-то гибели. Но того, что над этим домом висела некая аура — таинственная? пугающая? зловещая? ужасная? — никто не отрицал, и если бы я не был от рождения бесчувственным чурбаном, дом этот, несомненно, в конце концов свел бы меня с ума. Характерно, что аура эта была не столь осязаемой, как мне доводилось наблюдать прежде, и все же явно указывала на то, что в доме таятся некие никому

неведомые секреты, надежно упрятанные от нормального человеческого восприятия. Уже одним своим видом он наводил на мысль о неимоверной старине — причем не только о пережитых им самим веках, но и о тех столетиях, которые минули задолго до его появления, когда еще сама наша планета была совсем молодой, — и это было любопытно само по себе, поскольку, как показывали объективные оценки, построен он был где-то около трех столетий назад.

Поначалу я пригляделся к нему, естественно, как антиквар, обрадованный тем, что среди вереницы самых что ни на есть заурядных построек Новой Англии мне попался дом, имевший отличительные признаки типично квебекского стиля семнадцатого века, и настолько резко контрастировавший с окружающими строениями, что невольно притягивал к себе взгляд даже неискушенного прохожего. Мне доводилось не раз бывать в Квебеке, равно как и в других старинных городах Северной Америки, однако этот мой первый приезд в Провиденс был вызван не столько желанием изучать древние постройки, сколько намерением встретиться со своим старым другом, также антикваром, и именно по пути к нему домой на Барнс-стрит я повстречал этот самый дом Шарьера, отметив про себя, что он пустует, а потому его можно арендовать на время решения моих профессиональных задач.

Впрочем, даже и в этом случае я бы не решился на подобный шаг, если бы мой приятель не проявил в нашей беседе странного нежелания даже касаться всего того, что имело отношение к этому дому, и вообще настойчиво твердил, что на моем месте он бы не приближался к этому дому даже на пушечный выстрел. Возможно, в своих воспоминаниях я проявляю по отношению к своему другу некоторую несправедливость, поскольку бедняга уже тогда, можно сказать, стоял одной ногой в могиле, хотя ни он сам, ни тем более я об этом даже не догадывались. Одним словом, беседа наша проходила не в его рабочем кабинете, а подле его постели, и именно там я и поднял вопрос о заинтересовавшем меня доме, подробно описав детали его фасада, поскольку ни названия, ни, тем более, каких-либо иных подробностей о нем я, естественно, тогда еще не знал.

Как выяснилось, дом этот некогда принадлежал человеку по имени Шарьер — хирургу-французу, приехавшему в эти места из Квебека. Кто же построил этот дом, Гэмвел — так звали моего друга — не знал, и был знаком только с Шарьером.

— Высокий такой, с обветренной кожей. Я очень редко его встречал, как, впрочем, и другие. Оставил практику незадолго до приобретения дома, — сказал тогда Гэмвел. По его

словам, в доме жил сам Шарьер, а возможно, и кто-то из членов его семьи, хотя это оставалось лишь предположением моего приятеля. Сам Шарьер вел довольно замкнутый образ жизни, и, если полагаться на публикацию в провиденсовском «Журнале», скончался в 1927 году, то есть три года назад.

В сущности, дата смерти Шарьера была тем единственным, что мог сообщить мне Гэмвел. Во всем остальном он и сам располагал лишь самой неопределенной информацией. После смерти хозяина дом арендовался лишь однажды — в нем проживала какая-то семья, но уже через месяц жильцы съехали, жалуюсь на сырость помещения и специфический, характерный для всех старых домов затхлый запах. С тех пор дом пустовал. Вместе с тем, снести его было нельзя, поскольку доктор Шарьер в своем завещании особо оговорил определенную сумму денег, предназначавшуюся на содержание здания в течение, кажется, двадцати лет, с тем, чтобы к моменту возвращения единственного наследника хирурга — сам он изредка упоминал какого-то племянника, находившегося на военной службе во французском Индокитае — тот смог предъявить на него свои права. Все последующие поиски этого самого племянника оказались тщетными, а потому дом, скорее всего, продолжал бы пустовать вплоть до истечения оговоренного в завещании срока.

— А знаешь, я хочу снять его, — сказал я как-то Гэмвелу.

Несмотря на свое болезненное состояние, старый антиквар протестующе приподнялся на одном локте. — Этвуд, это всего лишь твоя прихоть — пусть она и останется временной блажью. И потом, мне доводилось слышать не очень лестные отзывы об этом доме.

— Что именно? — напрямик спросил я.

Однако он не стал пускаться в объяснения и лишь слабо покачал головой, после чего снова откинулся на подушки, опустив веки.

— Думаю завтра же осмотреть его, — продолжал я гнуть свою линию.

— Поверь мне, он ничем не лучше любого другого, который ты можешь найти в Квебеке, — слабым голосом проговорил Гэмвел.

Однако, как я уже упоминал, возражения Гэмвела лишь подогрели мое любопытство и желание как можно скорее вплотную познакомиться с домом. Разумеется, я не намеревался провести в нем остаток своей жизни, а хотел просто снять дом на полгода, или что-то около того, превратив его в некое подобие перевалочной базы в своих неустанных поездках по предместьям Провиденса в поисках антикварных находок. В конце концов Гэмвел согласился сообщить мне на-

звание адвокатской конторы, в которой находилось завешивание Шарьера. Вскоре, после того как я написал им и преодолел показавшийся мне странным дефицит энтузиазма с их стороны в данном вопросе, мне был вручен соответствующий документ на аренду старого дома Шарьера на период, не превышающий шесть месяцев, который, при желании с моей стороны, мог быть в любой момент сокращен.

Я решил не тянуть с переездом и вскоре с некоторым удивлением обнаружил, что хотя водопровод в доме был, электричество почему-то отсутствовало. Среди оставшейся от доктора Шарьера домашней утвари — а она имелась почти во всех комнатах и пребывала в том состоянии, в котором, по-видимому, находилась и при его жизни, — я обнаружил с полдюжины ламп самых разнообразных моделей, причем некоторые относились к началу прошлого века, и с их помощью приступил к осмотру дома. При этом я допускал, что дом будет затянут паутиной и сильно запылен, а потому с изумлением обнаружил, что сильно ошибался на данный счет: тогда я еще не знал, что адвокатская фирма — «Бейкер & Гринбау» — взяла на себя обязанности по уходу за домом в течение, как выяснилось, целых пятидесяти лет, если до окончания этого срока не объявится тот самый единственный законный наследник покойного доктора.

Сам по себе дом был именно таким, каким я хотел бы его видеть — буквально напичканным всевозможными деталями из дерева. Правда, обои в некоторых комнатах уже начали отслаиваться от штукатурки, тогда как в других их не было изначально, а потому стены там стояли пожелтевшими от времени. Сами комнаты были весьма интересными: некоторые казались непропорционально большими, тогда как другие, напротив, слишком маленькими. В доме было два этажа, хотя верхним практически не пользовались, зато на первом в изобилии сохранились следы его бывшего хозяина, хирурга: одна комната, очевидно, служила ему своеобразной лабораторией, тогда как смежная с ней была занята под кабинет, причем со стороны могло показаться, что покинули их совсем недавно и едва ли не в самый разгар какого-то исследования или эксперимента. Я даже подумал, что временные жильцы, поселившиеся в доме уже после смерти Шарьера, даже не заходили в эти две комнаты. Впрочем, возможно, так оно и было на самом деле, поскольку дом вполне позволял проживать в нем, не затрагивая лаборатории и кабинета, тем более, что располагались они в его тыльной части и имели отдельный выход в сад. Последний в настоящее время пребывал в весьма запущенном состоянии и также отличался довольно внушительными размерами — длина дома вдоль фасада раза в три

превышала его ширину, и сад тянулся вплоть до высокой каменной стены, значительная часть которой ныне была удалена, открывая вид на проходившую позади дома улицу.

Очевидно, свой смертный час доктор Шарьер встретил в рабочем кабинете. Должен признаться, что характер его исследований меня крайне заинтриговал. Этого врача, похоже, интересовали не только человеческие болезни: я нашел в его кабинете странные, почти кабалистические рисунки, напоминающие физиологические схемы различных видов ящериц. В большинстве из них я без труда распознал знакомых мне крокодилов, гавиалов, кайманов и аллигаторов, а также обнаружил некоторое количество более умозрительных изображений их древних предков, восходящих к юрскому периоду. И все же следовало признать, что даже столь своеобразный круг научных интересов хирурга вызывал во мне гораздо меньшее желание копаться в его профессиональных делах, нежели разобраться в антикварных тайнах всего дома.

Дело в том, что дом Шарьера сразу показался мне классическим образчиком своей эпохи, если не считать более поздней прокладки водопроводных труб. Вроде считалось, что построил дом сам доктор Шарьер, во всяком случае за время нашего спонтанного разговора на эту тему Гэмвел ни словом не обмолвился, что сам думает иначе, равно как и не сказал, в каком возрасте скончался хирург. Если исходить из того, что тот дожил, скажем, до восьмидесяти лет, то он никак не мог построить такой дом, поскольку отдельные детали его интерьера красноречиво указывали на период, относящийся скорее к 1700 году — иными словами, за два века до кончины врача! Поэтому я подумал, что дом просто носил имя своего последнего владельца, а отнюдь не создателя. Следует признать, что в ходе дальнейшего изучения данной проблемы я столкнулся с некоторыми весьма обескураживающими подробностями, которые, вроде бы, не имели никакой связи с доводами здравого смысла.

В частности, нигде нельзя было обнаружить дату рождения хирурга. Поначалу я пытался отыскать ее на его могиле — как ни странно, располагалась она на территории сада, на что он получил соответствующее разрешение, и находилась неподалеку от крытого колодца весьма любопытной формы, с ведром и всем прочим, и явно пребывавшим в таком виде столько же времени, сколько существовал и сам дом. Так вот, я намеревался прочесть эту дату на надгробном камне покойного доктора, однако на нем, к моему крайнему разочарованию и досаде, было выбито лишь имя — Жан-Франсуа Шарьер, его профессия — хирург, места прежнего проживания или работы — Бэйон, Париж, Пондишери, Квебек, Про-

виденс, а также дата смерти — 1927 год. И ничего более! Это еще больше подогрело мой исследовательский пыл, а потому я стал искать следы какой-то переписки или лиц, знавших Шарьера лично.

Примерно полмесяца спустя я уже располагал кое-какими результатами, которые, однако, не столько удовлетворили, сколько еще больше сбили меня с толку. Поиски возможных корреспондентов покойного я начал с Бэйона, поскольку предполагал, что коль скоро этот город первым указан на надгробии, Шарьер мог родиться где-то там или, по крайней мере, поблизости. Запросил также Париж, а затем связался со своим лондонским приятелем, у которого были выходы на национальные архивы, имевшие отношение к Индии, и, наконец, обратился к квебекскому периоду. Из всего этого у меня на руках осталась лишь горстка дат, изложенных в какой-то загадочной последовательности.

Жан-Франсуа Шарьер действительно родился в Бэйоне — но в 1636 году! Это имя было известно также и в Париже, где в 1653 году семнадцатилетний юноша проходил курс обучения под именем Ричарда Вайсмана. В Пондишери, а позднее также на Каронмандалском побережье в Индии с 1674 года и далее служил французский хирург, некий Жан-Франсуа Шарьер. Что же до Квебека, то имя доктора Шарьера впервые упоминалось там в 1691 году — он в течение шести лет практиковал в этом городе, после чего отбыл в неизвестном направлении.

Таким образом, я мог сделать лишь одно очевидное заключение, а именно, что родившийся в Бэйоне в 1636 году доктор Жан-Франсуа Шарьер, последняя информация о котором поступила из Квебека примерно в то же время, когда был воздвигнут этот дом на Бенефит-стрит, являлся предком, а одновременно тезкой и однофамильцем покойного хирурга, который проживал в этом особняке. Но если даже все обстояло именно так, то все равно оставался ничем не заполненный пробел между 1697 годом и периодом жизни последнего обитателя дома, поскольку нигде не были обнаружены материалы о семье этого самого первого Шарьера — существовала ли когда-либо мадам Шарьер, были ли у нее дети, а их просто не могло не быть, поскольку род этот, судя по надгробию в моем временном саду; протянулся к нынешним дням. Ничего похожего на такие материалы мне обнаружить не удалось.

В принципе, нельзя было исключать и того, что престарелый джентльмен, приехавший из Квебека в Провиденс, был холост, а женился лишь позднее — когда бы ему шел шестьдесят второй год. Однако все последующие поиски не обнаружили каких-либо следов подобной женитьбы, отчего я чув-

ствовал себя окончательно сбитым с толку, хотя, как антиквар, прекрасно понимал, с какими трудностями приходится подчас сталкиваться в наших поисках, и посему старался не падать духом.

Затем я решил подойти к этому делу с другой стороны и обратился за информацией о покойном докторе Шарьере в адвокатскую контору «Бейкер & Гринбау». Здесь меня ожидал еще больший удар, ибо когда я захотел узнать, как выглядел французский хирург, оба адвоката признались, что сами его ни разу в глаза не видели. Все инструкции, а также чеки с проставленными в них щедрыми суммами, они получали по почте. Подобная форма сотрудничества между ними продолжалась в течение последних шести лет жизни, а раньше же они никогда не слышали об этом человеке.

Тогда я бросился на поиски его единственного племянника, поскольку сам по себе факт существования этого человека свидетельствовал о том, что у Шарьера когда-то были брат или сестра. Но и здесь меня ожидала полная неудача. Дело в том, что Гэмвел, очевидно, сам того не желая, ввел меня в заблуждение: Шарьер прямо не называл этого человека племянником, а лишь говорил о нем как о «единственном мужском представителе нашего рода», на основании чего был сделан сомнительный вывод, что этот последний уцелевший родственник был не кем иным как племянником. При этом я обратил внимание на тот факт, что в своем завещании доктор Шарьер прямо не оговаривал необходимости поиска этого «единственного мужского представителя рода», а указывал, что по приезде в страну тот сам обратится в фирму «Бейкер & Гринбау» — лично либо письмом, составленным в достаточно веских и убедительных выражениях, на основании которых можно будет удостовериться в его личности.

Таким образом, некая тайна все же существовала, и адвокаты не отрицали данного факта, хотя и не следовало забывать, что за свои услуги они получали весьма щедрое вознаграждение, что фактически исключало возможность обмена с их стороны. Ко всему прочему, один из адвокатов рассудительно заметил мне, что со дня смерти доктора Шарьера прошло всего три года, а потому имелаась вероятность того, что этот таинственный уцелевший родственник все же объявится.

Потерпев поражение и на данном направлении своих поисков, я вновь обратился к своему старому другу Гэмвелу, который по-прежнему оставался прикованным к постели, причем состояние его здоровья заметно ухудшилось. Лечащий врач Гэмвела, с которым я однажды столкнулся у входа в дом, впервые намекнул мне, что бедняга может и не выка-

рабкаться, а потому просил излишне больного не волновать и не утомлять чрезмерно длинными беседами. Тем не менее, я намеревался выведать у него о Шарьере все, что только было можно, хотя следовало признать, что даже не предполагал, сколь напряженными и выматывающими окажутся те поиски, которые я начал с неохотной подачи того же Гэмвела — настолько, что, как заметил при нашей новой встрече мой друг, что они крайне неблагоприятно отразились на моей внешности.

Покончив с формальными приветствиями и расспросами о здоровье, я перешел к интересовавшей меня теме разговора. Заметив Гэмвелу, что меня крайне заинтересовало мое новое жилище, я заявил, что хотел бы как можно больше узнать о его покойном обитателе, поскольку мой друг как-то упоминал, что изредка встречался с ним.

— Но это же было несколько лет назад, — возразил Гэмвел. — Вот уже три года как он умер, значит, дай-ка вспомнить... да, кажется это было в 1907-м.

Я был поражен.

— Ты что, хочешь сказать, за двадцать лет до его смерти?!

Однако Гэмвел настаивал на названной им дате.

— И как он выглядел? — спросил я.

Увы, нетрудно было заметить, что болезнь и старость уже сделали свое пагубное дело, иссушив некогда блестящий мозг моего друга, потому как ответ его прозвучал более, чем странно.

— Возьми тритона, дай ему немного подрасти, научи ходить на задних лапах и одень в изысканный костюм, — ответил Гэмвел, — и ты получишь облик доктора Жана-Франсуа Шарьера. Помимо всего прочего, у него была очень грубая, почти ороговевшая кожа. Холодный был он какой-то, словно жил в другом мире.

— Сколько ему было лет? — спросил я. — Восемьдесят?

— Восемьдесят? — задумался мой друг. — Когда мы встретились впервые, мне было лет девятнадцать, и он выглядел на все восемьдесят. А двадцать лет назад — Бог мой, Этвуд, — он должен был быть уже совсем стариком, но при этом, казалось, ничуть не изменился. Получается, что он и тогда тоже выглядел на восемьдесят? Могло мне так показаться по молодости лет? Возможно. А потом, через двадцать лет, он умер.

— Значит что. Сто?

— Получается, сто.

Надо сказать, Гэмвел не особенно меня обнадежил. Опять все получалось как-то расплывчато, неконкретно, не было никаких фактов — одни впечатления, чьи-то воспоминания,

да и Гэмвел его почему-то недолюбливал, хотя и не говорил, за что именно. Может, на его мнение повлияла некая профессиональная ревность, о которой он не хотел сейчас распространяться?

После этого я перешел к соседям, хотя они в своем большинстве оказались молодыми людьми и почти не помнили доктора Шарьера. Впрочем, все почти в один голос отмечали, что не хотели бы иметь подобного соседа рядом с собой — постоянно возился с какими-то ящерицами и прочими «гадами», черт-те знает что за эксперименты ставил в своей лаборатории, ну, и все такое. Среди знавших покойного оказался лишь один человек преклонных лет — женщина по имени Хепзиба Коббет, которая проживала в небольшом двухэтажном домике непосредственно за стеной сада Шарьера. Я застал ее в довольно немощном состоянии, сидящей в кресле на колесах и постоянно находящейся под присмотром дочери — женщины с орлиным носом, искоса поглядывавшей на меня своими холодными глазами из-за поблескивавших стекол пенсне. Поняв, что я недавно поселился в доме Шарьера, и услышав его имя, старуха, как мне показалось, заметно оживилась.

— Долго вы там не проживете: это дьявольский дом, — проговорила она подчеркнуто решительным тоном и тут же затряслась в быстром старческом кудяхтанье. — Я на него уже давно-о глаз положила. Высокий такой мужчина, изогнутый как серп, и с крохотной бороденкой, как у козла. И еще что-то там всегда ползало у его ног, я даже рассмотреть не смогла. Длинное такое, черное, слишком большое для змеи — хотя всякий раз, когда я останавливала взгляд на этом самом Шарьере, мне на ум почему-то приходили именно змеи. И кто это там кричал у него в ту ночь? А потом еще лаял у колодца — лисица, что ли? хотя я видала и лисиц, и собак. Завывал, словно тюлень какой. Да, многое я повидала, должна вам сказать, но разве кто поверит бедной старой женщине, стоящей одной ногой в могиле? И вы тоже не поверите — никто не верит...

Ну и что я мог в этой связи подумать? Возможно, права была ее дочь, когда, провожая меня до дверей, сказала:

— Не обращайтесь внимания на мамину болтовню. У нее тяжелый атеросклероз, от которого она временами кажется совсем полоумной.

Однако я отнюдь не был склонен считать миссис Коббет полоумной, ибо, когда она говорила, ее блестящие глаза остро поглядывали в мою сторону, как если бы втайне наслаждалась какой-то известной лишь ей одной шуткой, причем столь грандиозной и загадочной, что даже самые приблизительные

ее очертания были недоступны разумению ее близорукой и мрачной дочери-сиделки.

Между тем, меня, казалось, на каждом шагу подстерегали разочарования. С нескольких делянок информации я смог собрать урожай, ненамного превышавший то, что давала любая из них. Газетные досье, библиотеки, записи — все факты, которые мне удалось обнаружить в них, сводились лишь к дате: постройки дома — 1697, и к дате смерти доктора Жана-Франсуа Шарьера. Если история города и хранила в своих анналах смерть еще какого-то, второго Шарьера, то о ней не сохранилось абсолютно никаких официальных записей. Мне представлялось просто непостижимым, что смерть сразила также всех остальных членов семьи доктора, причем все они как один скончались раньше последнего жильца дома по Бенефит-стрит. Как я ни ломал голову над этой загадкой, получалось, что дело обстояло именно так, поскольку для иных предположений у меня попросту не было никаких оснований.

Был, правда, еще один дополнительный факт, а именно фотопортрет доктора, который я, можно сказать, случайно обнаружил в доме. Несмотря на то, что под застекленным куском картона, висевшим в самом дальнем и весьма труднодоступном углу комнаты верхнего этажа, никакой таблички с его фамилией как таковой не было, однако красовавшиеся снизу отчетливые инициалы «Ж.Ф.Ш.» говорили сами за себя. На снимке был запечатлен аскет с худощавым, широкоскулым лицом, украшенным чуть растрепанной козлиной бородкой; бледные щеки ввалились, а темные глаза словно горели идущим изнутри пламенем, что лишь усиливало впечатление крайней изможденности и чуть ли не смертельной болезненности этого человека.

За отсутствием других источников информации мне не оставалось ничего иного, кроме как обратиться к газетам и книгам, лежавшим в кабинете и лаборатории Шарьера. Дело в том, что, пребывая доселе в погоне за сведениями о прошлом покойного хирурга, я как-то обошел вниманием сам дом, однако затем понял, что настало время сменить направление своих поисков, и потому чуть ли не целыми сутками просиживал в своей временной обители.

Возможно, именно в результате подобного добровольного заточения я довольно скоро начал остро ощущать весьма необычную атмосферу, некую ауру этого дома — как в физическом, так и психологическом смысле этого слова. Супружеская чета, которая смогла прожить здесь всего лишь один месяц, после чего поспешно съехала, возможно, невольно спровоцировала меня на то, что я также начал подмечать специфический запах этого дома; именно сейчас я внезапно

стал отдавать себе отчет в том, что с неведомой прежде отчетливостью различаю наполнявшие его разнообразные ароматы, некоторые из которых, как подсказывал мне мой опыт, были присущи старинным домам вообще, тогда как отдельные были совершенно неизвестными. Это был тот запах, который я уже неоднократно встречал в своей жизни — в зоопарках, на болотах, неподалеку от больших, застойных луж, — и который с особой настойчивостью указывал на присутствие поблизости тех или иных рептилий. Я не исключал возможности того, что рептилии действительно сбегались со всего города в сад доктора, который являлся для них своеобразным райем, но могли ли они существовать там в таком громадном количестве, что своим запахом наполнили буквально весь дом? Несмотря на все мои неустанные усилия, мне так и не удалось установить источник этого запаха — ни вне дома, ни внутри его, — а однажды сложившееся у меня впечатление, что он исходит из древнего колодца, разумеется, явилось всего лишь результатом некоего самовнушения.

И все же запах сохранялся, причем становился особенно заметным всякий раз, когда начинался дождь, собирался туман или на траву выпадала роса, одним словом, когда в атмосферном воздухе повышалась влажность. В самом доме также ощущалась сырость, на что, кстати, указывали и предыдущие жильцы, и я вскоре понял, что они не ошибались. Естественно, мне это тоже особой радости не доставляло, хотя и беспокоило гораздо меньше, нежели другие весьма специфические особенности дома.

Однажды мне даже показалось, что мое вторжение в кабинет и лабораторию покойного хозяина дома вызвало со стороны последнего (его духа?) своеобразный протест, поскольку чуть ли не на следующий день после этого у меня начались довольно странные галлюцинации, повторявшиеся с досадной регулярностью. То мне вдруг по ночам слышался доносившийся из сада собачий лай; то начинало мерещиться, что под окнами дома бродит какое-то обаятое вечерними сумерками согбенное, чем-то похожее на рептилию существо. Видения эти не прекращались, но и я также продолжал относиться к ним как к своего рода иллюзиям — вплоть до той самой роковой ночи, когда, расслышав отдаленный звук какого-то бултыхания в саду, я, испытывая жутковатое ощущение, что кроме меня в доме есть кто-то еще, проснулся, накинул халат, сунул ноги в шлепанцы и поспешил в кабинет.

То, что я вообще проснулся посреди ночи, несомненно, явилось результатом моего знакомства с бумагами покойного доктора Шарьера. На какое-то мгновение я был убежден в том, что все это является плодом моего собственного кошма-

ра, однако боковым зрением неожиданно заметил промелькнувшую тень незванного пришельца — а таковой действительно побывал в кабинете, и ушел оттуда, прихватив с собой кое-что из личных вещей Шарьера. На основании того, что я, все еще не окончательно проснувшись, смог разглядеть в тусклом желтоватом свете висевшей над головой и горевшей всю ночь лампы, мне показалось, что это было какое-то сверкающее, отливающее черным блеском существо, которое было одето в некое подобие плотно облегающего костюма, изготовленного из грубого черного материала. Видел я его всего какое-то мгновение, прежде чем он выскользнул через окно в ночную темень сада, и был уже готов броситься за ним следом, однако в этот момент мое внимание было отвлечено тем, что я увидел перед собой.

На том месте, где стоял пришелец, виднелись неровные отпечатки человеческих ног — мокрых и необычайно широких, причем на его больших пальцах росли настолько длинные и, похоже, загнутые книзу ногти, что они даже оставили на полу характерные вдавленные отметины. В том месте, где этот субъект стоял, склонившись над бумагами, также остались следы влаги, причем над всем этим висел густой, едкий мускусный запах, который я уже начал воспринимать как некую неотъемлемую часть всего дома, хотя на сей раз он оказался настолько сильным, что я едва не лишился сознания от подобной жуткой вони.

Однако желание взглянуть на бумаги доктора пересилило мой страх. В тот момент единственное объяснение случившемуся, показавшееся мне к тому же вполне уместным и логичным, заключалось в том, что кто-то из соседей, давно затаивший злобу на Шарьера и добивавшийся сноса его дома, после купания решил непрошенным заявиться к нему в гости. Разумеется, подобная версия была во многом притянута за уши, но разве мог я в тот момент найти что-нибудь более убедительное? Думаю, что нет.

Что же касается бумаг, то некоторые из них, несомненно, исчезли. К счастью, они оказались из той стопки, которую я уже успел просмотреть, и лежали отдельно, хотя и были разложены не всегда по порядку. Я терялся в догадках, зачем они могли кому-то понадобиться — разве что кто-то, подобно мне, также интересовался персоной доктора, чтобы впоследствии затеять с его адвокатами судебную тяжбу?

С другой стороны, во всех этих бумагах содержались лишь подробные записи относительно продолжительности жизни крокодилов и аллигаторов, равно как и рептилий в целом. Кстати, к тому времени мне уже стало совершенно ясно, что покойный доктор изучал проблему долгожительства репти-

лий чуть ли не с настойчивостью одержимого и с явным прицелом на то, чтобы исследовать возможность продления своей собственной жизни. Вместе с тем, я не обнаружил в его бумагах ничего такого, что позволяло бы судить, насколько ему удалось разобраться с данным вопросом, хотя однажды случайно и наткнулся на две или три довольно подозрительные записи о каких-то проведенных «операциях» — на ком именно, не указывалось, — явно с целью продлить жизнь пациента.

Среди записей доктора мне попадались и такие, которые хотя и были связаны с аналогичной тематикой, однако, по крайней мере на мой взгляд, все же отличались от предыдущих более или менее научных исследований проблемы долгожительства рептилий. В этих записях содержались упоминания о неких загадочных мифологических существах — одно из них называлось «Цтулху», а другое «Дэгон», — которые, будучи продуктом какой-то совершенно неизвестной мне мифологии, якобы обитали в море. Кроме того, в них упоминались некие существа (или люди?), также исключительно долгожители, которые прислуживали древним богам, именовавшимся «Глубоководными» — скорее всего, амфибиям, обитавшим на дне морей. Среди записей мне попадались и фотографии древних монолитных статуй, изображавших чудовищных и отвратительных на вид доисторических ящеров, и имевших подпись: «В.побережье ос.Хиваоа, Маркизские о-ва. Объект поклонения?»; на других же были изображены тотемные столбы с северо-западного побережья Индии, так же напоминавшие зловещих рептилий и помеченных: «Индийский тотем квакиутлов. Аналогич. тому, кот. был воздвигнут индейцами-тлингитами». Как мне тогда показалось, эти странные записи красноречиво указывали на тот факт, что в круг интересов доктора Шарьера наряду со строго научными изысканиями входили также всевозможные древние таинства и обряды старинных колдунов, равно как и их примитивные верования, изучение которых могло способствовать достижению им заветной цели.

В чем заключалась эта самая цель, мне было совершенно ясно. Проблема долгожительства интересовала доктора отнюдь не только в академическом плане. Нет, ему очень хотелось продлить также свою собственную жизнь. В оставленных им после себя записях содержались некоторые пометки, указывавшие на то, что, по крайней мере, в некоторых аспектах ему удалось добиться таких результатов, на которые он не рассчитывал даже в самых буйных фантазиях. Надо сказать, что данное открытие несколько встревожило меня, поскольку оно вновь напомнило странную историю того,

«первого» Жана-Франсуа Шарьера, также хирурга, последние годы жизни и сама смерть которого были наполнены для меня такими же загадками, как и рождение и юность «второго» доктора Шарьера, скончавшегося в Провиденсе в 1927 году.

Нельзя сказать, чтобы события той ночи особенно сильно испугали меня, однако я все же приобрел в оружейном магазине подержанный парабеллум, а также обзавелся новым фонарем, поскольку совершенно не полагался на лампу, которая в ту ночь не столько помогла, сколько помешала мне в моих поисках. При этом я исходил из предположения, что если в тот раз ко мне в дом действительно явился кто-то из соседей, то унесенные им бумаги лишь подогреют его любопытство, а потому рано или поздно следует ожидать его повторного визита. Я намеревался основательно подготовиться к такому ходу событий, и, коль скоро мне суждено было вновь столкнуться с субъектом, посягающим на арендуемую мною территорию, был готов без колебаний пустить в ход оружие, если, конечно, моя попытка задержать непрошенного гостя, как говорится, мирными средствами, не возымеет желаемого результата. Разумеется, не стоит излишне распространяться на тот счет, что я искренне рассчитывал по возможности избежать кровопролития.

Следующим вечером я возобновил работу с бумагами и книгами доктора Шарьера. Солидные фолианты, несомненно, ранее принадлежали предкам покойного, поскольку многие из них были датированы прошлыми столетиями. Среди них оказался и французский перевод английского труда некоего Р.Вайсмана, что в очередной раз косвенно указывало на существование некой связи между доктором Жаном-Франсуа Шарьером, учившимся в Париже под именем Вайсмана, и его тезкой и однофамильцем, который вплоть до недавнего времени проживал в находившемся в штате Род-Айленд городе Провиденс.

В своей массе это были совершенно разнородные книги, написанные на самых разных языках — от французского до арабского. Названия большинства из них я не мог даже прочитать, хотя и владел французским и был поверхностно знаком с некоторыми другими романскими языками. В то время я не имел ни малейшего представления о таких творениях как *«Неведомые культы»* фон Юнзта, хотя и предположил, что это было чем-то вроде *«Культов вампиров»* графа д'Эрлетта, поскольку на полке они стояли рядом. В то же время, книги на зоологические темы соседствовали с массивными томами по истории древних культур, имевшими такие названия как *«К вопросу о взаимоотношениях народов Полинезии»*

и индийских культур южно-американского континента (на примере Перу)», «Пнакотические манускрипты», «Криптографика» Сикнесса, «Демонология» Ремигиуса, «Век ящеров» Бэнфорта, подшивки «Эйлсбэри Транскрипт» и эркхамской «Газетт», и тому подобное. Некоторые из книг, несомненно, представляли собой большую ценность, поскольку были изданы где-то в период с 1670 по 1820 годы, и хотя явно несли на себе следы бывшего употребления, все еще пребывали в относительно хорошем состоянии.

Однако даже эти книги очень мало помогали в моих поисках. Вспоминая о том периоде своей жизни, я полагаю, что если бы тогда ознакомился с ними более детально, то смог бы узнать гораздо больше, чем узнал в действительности; не зря, видимо, люди говорят, что слишком большого знания не бывает, тогда как знать мало подчас бывает даже хуже, чем не знать вовсе.

Как бы то ни было, вскоре я отложил все эти книги в сторону, поскольку неожиданно обнаружил на одной из полок зажатую между томами толстую тетрадь: не то журнал, не то дневник. Записи в ней были сделаны мелким корявым почерком, определенно принадлежавшим покойному хирургу, и несмотря на возраст первых страниц, все были исполнены одной и той же рукой, на основании чего я предположил, что доктор Шарьер специально располагал их в некоем хронологическом порядке. В тетради имелась не только текстовая информация: некоторые записи были иллюстрированы примитивными, хотя и довольно доходчивыми рисунками, как это подчас встречается в незамысловатых работах художников-любителей.

Уже на самой первой странице этого переплетенного вручную манускрипта я натолкнулся на запись: «1851. Эрхам. Асеф Гоуди, Гл-е», рядом с которой помещался рисунок, очевидно, этого самого Гоуди. Особенно бросались в глаза некоторые его черты по сути своей скорее присущие земноводным, чем людям: неестественно широкий рот, странные кожистые губы, очень низкий лоб, покрытые перепонкой глаза, какая-то сплюснутая физиономия, что, в своей совокупности, придавало всему его облику какой-то лягушачий вид. Рисунок занимал большую часть страницы, а сопровождавшая его краткая запись, как я понял, обозначала место встречи с этим человекообразным типом (не могло ли загадочное «Гл-е» означать слово «Глубоководные», которое уже попадалось мне в предыдущих бумагах?) Доктор Шарьер, несомненно, разыскивал подобных типов чуть ли не по всему свету, желая не только удостовериться в правильности своих исследований, но и подтвердить существовавшую у него гипотезу о том,

что ему удастся обнаружить таких людей, которые бы имели некоторое родство с земноводными, а следовательно, и с ящероподобными существами.

Встречались в тетради и самостоятельные, лишенные иллюстраций записи, большинство из которых были предельно лаконичными и малопонятными. В самом деле, что я мог извлечь из такой, например, информации?

«1857. Сэн-Августин. Генри Бишоп. Кожа чешуйчатая, но не как у рыб. Утверждает, что ему 107 лет. Процессы распада не наблюдаются. Все органы чувств работают нормально. Предки неизвестны (кроме того, что занимались торговлей в Полинезии).

1861. Чарльстон. Семья Бальзака. Руки покрыты коркой. Строение нижней челюсти сдвоенное, что характерно для всех членов семьи. Антон, 117 лет. Анна, 109. Тоскует, когда оказывается далеко от воды.

1863. Иннсмаут. Семьи Марша, Уэйта, Элиота, Джилмэна. Капитан Обед Марш торговал с Полинезией, женился на полинезийке. У всех черты лица аналогичны описанному выше Асефу Гоуди. Ведут преимущественно замкнутый образ жизни. Женщины редко выходят на улицу, однако по ночам часто купаются — всей семьей плавают к рифу Дьявола. Остальные горожане почти не выходят из своих домов. Связь с Гл-ми очень сильная. Явные параллели между Иннсмаутом и Понапе. Поклонение каким-то языческим богам.

1871. Джед Прайс, балаганный артист. Выступает под именем «Человек-крокодил». Внешность типично ящероподобная. Худая, удлинённая нижняя челюсть. Зубы на концах якобы заострены, хотя трудно проверить, от природы или специально подточил.»

Остальные записи в журнале были выдержаны примерно в таких же тонах. Систематизированы они были преимущественно по географическому принципу — имелись пометки, относящиеся к Канаде, Мексике, а также к восточному побережью Северной Америки. Таким образом, Жан-Франсуа Шарьер все более представал передо мной человеком, одержимым весьма странной идеей — найти доказательства долготельства отдельных человеческих существ, якобы имеющих некоторое родство с ящероподобными или земноводными предками.

Нельзя было не заметить, что число подтверждений его гипотезы постепенно росло, если, конечно, все это были действительно достоверные факты, а не приукрашенные сведения о людях, имеющих те или иные физиологические дефек-

ты. И все же следовало признать, что хирург не столь уж часто выходил за пределы одних лишь догадок. Как мне представлялось, связующие звенья между попадавшими в его поле зрения различными экземплярами подобных существ и тем, что когда-либо существовало на земле, он искал в трех весьма узких и довольно своеобразных отраслях знания.

Наиболее близкой и хорошо изученной из них была почерпнутая из негритянского фольклора легенда о так называемых «воду»; следующим источником являлись ритуальные обряды поклонения животным в древнем Египте; и, наконец — и это было наиболее важная сфера, если судить по записям доктора — сведения, имевшие отношение к совершенно чуждой нам культуре, по возрасту не уступавшей, а то и превосходившей саму Землю, и включавшей в себя древнейших Старших Богов, находившихся в непримиримом и к тому же крайне затяжном конфликте с так называемыми Старожилами, имевшими такие имена как Цтулху, Хастур, Йог-Сатот, Шуб-Нигтурат и Ньярлатхотеп, которым, в свою очередь, подчинялись не менее странные существа, такие как обезьяноподобные Чо-Чо, Глубоководные, шантаки, свирепые снежные люди и другие. Некоторые из них походили на неких первобытных людей, тогда как другие либо представляли собой своего рода мутантов, либо вообще не имели к людям никакого отношения.

Все эти плоды изысканий доктора Шарьера оказывали на меня поистине завораживающее воздействие, хотя никаких убедительных и, тем более, неопровержимых доказательств в подтверждение своей теории он не приводил. В культе «воду» действительно были некоторые ссылки на ящероподобных тварей; что-то похожее встречалось и в религиозных верованиях древних египтян; наконец, высказывались довольно темные, но одновременно любопытные предположения, касавшиеся аналогичных созданий в мифах о Цтулху, которые уходили в своем историческом развитии намного дальше обычных крокодилов и гавиалов, и включали в себя тирозавров, бронтозавров, мегалозавров и других рептилий мезозойского периода.

В дополнение к этим весьма интересным заметкам я обнаружил также ряд диаграмм, связанных с какими-то весьма странными операциями, суть которых я в то время толком не понимал. Они были, как мне показалось, скопированы из древних текстов, в частности, из довольно часто встречавшегося в записях доктора труда Людвиг Принна «Тайны примитивных народов», тогда как другие первоисточники оставались для меня совершенно неизвестными. Сами операции представляли собой нечто неслыханное, если иметь в виду,

что проводились они исключительно на лице. Например, при одной из них на коже делалась масса мелких надрезов, якобы дававших ей «возможность расти», поскольку увеличивалась степень растяжимости кожного покрова; при другой же ткань в нижней части позвоночника просто иссекалась, чтобы обеспечить пространство для «удлинения хвостовых костей». То, что предлагалось на этих диаграммах, было слишком трудным для нормального человеческого восприятия, однако именно это составляло сущность тех исследований, которые доктор Шарьер проводил на протяжении многих лет. В этой связи становились вполне понятными причины его затворнического образа жизни, поскольку подобного рода исследования, конечно же, можно было проводить лишь в глубокой тайне, дабы не навлечь на себя презрение и насмешки своих коллег по профессии.

Попадались среди бумаг и такие записи, которые не могли быть ни чем иным как описанием экспериментов, проведенных самим автором. Характерно, что все те из них, которые были датированы периодом до 1850 года, были исполнены явно рукой доктора Шарьера, на основании чего — если только он не цитировал результаты опытов других исследователей — можно было сделать вывод, что ко времени своей смерти ему было намного более восьмидесяти лет, причем настолько, что при одной лишь мысли о его возрасте меня просто бросало в жар, и я невольно начинал подумывать о том, «первом» Шарьере, который существовал задолго до «второго».

Таким образом, научное кредо доктора Шарьера можно было сформулировать как гипотетическую веру в то, что посредством определенных хирургических операций, вкупе с некоторыми иными необычными процедурами самого жуткого свойства, человеческое существо могло обрести долголетие, сопоставимое с долголетием ископаемых ящеров. Иными словами, к обычному циклу человеческой жизни можно было добавить еще полтора, а то и два столетия, а с учетом периода пребывания испытуемого в полубессознательном состоянии в условиях повышенной влажности, необходимого для своего рода «дозревания», человек мог со временем как бы заново появиться на свет, хотя и в несколько измененном виде, чтобы начать новый жизненный цикл, который, благодаря произошедшим физиологическим изменениям, будет в значительной степени отличаться от прежнего.

В целях подтверждения своей теории доктор Шарьер накопил значительное число легендарных повествований, определенное количество фактического материала, а также весьма сомнительные отчеты о всевозможных человеческих мутациях, якобы имевших место за двести девяносто один

год — число это приобрело для меня гораздо больший смысл, после того, как я подсчитал, что ровно столько прошло от года рождения «первого» доктора Шарьера до даты смерти «второго». Вместе с тем, во всех этих материалах не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало конкретные научные исследования, сопровождавшиеся соответствующими доказательствами — одни лишь намеки, расплывчатые предположения и зловещие догадки, впрочем, вполне способные зародить в душе досужего читателя ужасные сомнения и смутные видения, увы, явно недостаточные для того, чтобы вызвать интерес серьезных и солидных ученых.

Я не знаю, насколько далеко зашел бы в изучении деятельности доктора Шарьера, поскольку в этот процесс неожиданно вкралось одно довольно странное обстоятельство. Более того, не будь оно столь ужасным и шокирующим, что заставило меня тотчас же покинуть дом по Бенефит-стрит, я, вполне возможно, и продолжил бы свои собственные изыскания, и не оставил бы и сам особняк, и все его содержимое тому неизвестному мне единственному наследнику покойного хирурга, которому, как я узнал уже позднее, так и не суждено было объявиться, в результате чего строение это так и осталось обреченным на его последующий неизбежный снос городскими властями.

Однажды вечером, когда я сидел в кабинете и в очередной раз пытался проанализировать все эти «открытия» доктора Шарьера, я внезапно обнаружил, что нахожусь под чьим-то пристальным наблюдением, причем помогло мне это сделать то, что люди обычно называют «шестым чувством». Не желая оборачиваться и тем самым выдавать себя, я пошел на хитрость: открыл свои карманные часы, чуть приподнял их перед собой и, чтобы осмотреть располагавшиеся позади меня окна, использовал как своего рода зеркало гладко отполированную внутреннюю поверхность крышки. В одном из них я увидел слабо освещенную, но все же достаточно различимую, крайне жестокую и омерзительную пародию на человеческое лицо. Зрелище это настолько поразило меня, что через несколько секунд я не удержался и все же обернулся, чтобы воочию увидеть то, что отразилось на крышке моих часов.

В оконном проеме, однако, уже ничего не было, разве что промелькнула какая-то тень, но я тотчас же схватил лампу и бросился к окну. В самом ли деле я видел высокую, странно согнутую фигуру, которая, шаркая и припадая к земле, неловкой походкой устремилась в темень сада? Пожалуй, это действительно было так, и все же я нашел в себе силы сдержаться и не бросился за незнакомцем в погоню, смекнув, что кто бы он ни был, он опять придет, как уже приходил прошлой ночью.

Таким образом, я стал ждать, а параллельно с этим обдумывать возможные варианты объяснения случившегося. Должен признаться, что во главу списка предполагаемых кандидатов в непрошенные визитеры я все же поставил соседей, давно добивавшихся сноса порядком надоевшего им дома. Можно было предположить, что подобным образом они хотели напугать меня и заставить в спешном порядке покинуть дом, хотя могли бы и знать, что срок моей аренды и так был весьма непродолжительным. С другой стороны, возможно, им понадобилось что-то из того, что находилось в кабинете, хотя подобный вариант показался мне крайне маловероятным, поскольку дом продолжительное время пустовал и у них было достаточно времени, чтобы обыскать его сверху донизу.

Следует признать, что истинное объяснение случившегося так ни разу и не пришло мне в голову. Хотя по натуре я не отличаюсь чрезмерным скептицизмом — во всяком случае, большим, чем того можно было бы ожидать от антиквара, — однако подлинная личина моего таинственного визитера так и оставалась для меня полнейшей загадкой, несмотря на все обилие полученной ранее информации, которая давно бы натолкнула любой другой, не столь научно организованный разум, на вполне конкретные выводы.

Итак, я продолжал сидеть в почти полном мраке, и в те мгновения более, чем когда-либо ощущал присутствие той самой ауры, витавшей вокруг и внутри старого дома покойного хирурга. Казалось, тайна этого дома была вполне живой, реальной субстанцией, хотя и безнадежно далекой от окружавшей его жизни современного Провиденса. Внутреннее же убранство особняка было по-прежнему пропитано неизбывной и вездесущей влажностью, к которой присоединялся знакомый по зверинцам мускусный запах. То был запах распада старого дерева и старого известняка, из которого были сложены стены подвала, хотя ощущалось там и кое-что еще — туманный намек на присутствие в помещении какого-то невидимого животного, причем чувство это усиливалось буквально с каждой минутой.

Я просидел так больше часа, когда неожиданно услышал довольно странный звук.

Поначалу я даже не понял, что именно это было. Какой-то резкий, отрывистый то ли хлопок, то ли щелчок, вроде того, который, как я почему-то вспомнил, иногда издают своими челюстями дикие животные, однако я тут же укротил свое не к месту разыгравшееся воображение и смекнул, что это был всего лишь стук закрываемой двери. Прошло еще немного времени и моих ушей достиг уже другой звук — кто-то шелестел лежавшими на столе бумагами. Я сидел пораженный

и буквально оцепеневший: получалось, что тайный гость каким-то образом ухитрился проникнуть в кабинет, причем столь ловко, что я даже не заметил его! В следующее мгновение я включил фонарь и направил его луч в сторону письменного стола.

То, что я увидел, было настоящим, безумным кошмаром. Там стоял не человек, а дикая пародия на человека. На какое-то мгновение я даже опасался, что могу лишиться рассудка, однако необходимость срочного принятия каких-то мер, усиленная ощущением острой опасности, мгновенно привела меня в чувство, и я четырежды выстрелил. Расстояние между нами было невелико, а потому у меня не оставалось никаких сомнений в том, что все четыре пули вонзились в тело дьявольского существа, склонившегося в темном кабинете над столом доктора Шарьера.

О том, что случилось потом, у меня, к счастью, сохранились лишь самые расплывчатые воспоминания. Суетливое движение по помещению — бегство пришельца — мои неумелые попытки преследовать этого монстра... Я и в самом деле ранил его, поскольку по полу кабинета тянулся кровавый след, обрывавшийся у оконного проема, через который он бежал, разбив стекла и даже сломав раму. Снаружи дома луч фонаря также высветил пятна крови, а потому мне не составило большого труда преследовать загадочного грабителя. Но даже и без света я вполне ориентировался по характерному мускусному запаху, который отчетливо различался в ночном воздухе.

К моему удивлению, след уводил не за пределы дома, а все дальше в сад, к располагавшемуся в его глубине колодцу, поднимался по его краю и уходил *вглубь* этого старинного сооружения, где я при свете фонаря впервые разглядел умело врезанные скобы ступеней, которые спускались в темную бездну. У кромки колодца скопилась целая лужа крови, а потому я предположил, что смертельно ранил ночного пришельца, и именно эта мысль, похоже, побудила меня начать спуск, несмотря на сохранявшуюся все же некоторую опасность подобного отчаянного мероприятия.

Лучше бы мне было повернуться и бежать прочь от этого проклятого места! Вместо этого я спускался по настенной лестнице, каждое мгновение рискуя оказаться в воде, однако вместо этого внезапно увидел перед собой прорубленное в стене колодца отверстие, за которым начинался узкий горизонтальный лаз, уходивший еще дальше *вглубь* территории сада! Теперь мною уже овладел настоящий азарт, я хотел во что бы то ни стало разобраться в личности незванного гостя, а потому продолжал ползком продвигаться вперед, совершен-

но не обращая внимания на пачкавшую мою одежду сырую землю и зажав в одной руке горящий фонарь, а в другой держа наготове взведенный револьвер. Вскоре впереди проступили очертания какого-то углубления или небольшой пещеры — в ней мог разместиться разве что стоящий на коленях человек, — в центре которой луч фонаря выхватил странный предмет, своими очертаниями напоминавший гроб. При виде его я на мгновение заколебался, поскольку только сейчас смекнул, что подземный туннель вел как раз в направлении могилы доктора Шарьера.

Впрочем, я уже зашел слишком далеко, чтобы отступать.

Вонь, которая стояла в этом узком проеме, не поддавалась никакому описанию. Весь туннель был заполнен всепроникающим, сильнейшим мускусным запахом рептилий, и я пока приближался к гробу, в буквальном смысле продирался сквозь его густоту. Подойдя к нему, я обнаружил, что он открыт, и что кровавый след волочится вверх по наружной стенке. Любопытство мое достигло предела и потому я, не обращая внимания на успевшее окончательно сформироваться чувство неодолимого страха, встал на колени и нашел в себе силы подрагивающим жестом посветить фонарем внутрь гроба...

Вполне допускаю, что по прошествии стольких лет моя память временами может давать сбои, однако то, что я там увидел, оставило в ней поистине жуткий след, изгладить который неспособно никакое время. В свете своего фонаря я увидел определенно мертвое, причем совсем недавно умершее создание, сам факт существования которого переполнил мою душу безграничным ужасом. Мне стало ясно: именно это существо я и убил! Получеловек-полуящер, он представлял собой жестокую и омерзительную пародию на то, что некогда и в самом деле было человеком. Одежды его были разорваны и распороты под давлением ужасающего, перенесшего невообразимые мутации, покрытого ороговевшей кожей тела; в то же время, кисти его рук и босые, похожие на когтистые лапы животного мускулистые ноги были относительно гладкими. Объятый безмолвным ужасом, я взирал на хвостообразный придаток, резко выступавший из основания спины, на чудовищно удлиненную, крокодилью челюсть, на которой снизу все еще произрастал какой-то клочок волос, отдаленно напоминавший козлиную бороду...

Все это я успел увидеть за мгновение до того как рухнул в спасительном обмороке, поскольку с совершенной отчетливостью понял, что именно лежало в том гробу. Лежало, находясь в состоянии каталептического оцепенения с самого 1927 года, и ожидая, когда настанет его час, чтобы

вновь вернуться к жизни — но уже в измененном виде... Доктор Жан-Франсуа Шарьер, хирург, родившийся в 1636 году в Бэйоне, и «скончавшийся» в Провиденсе в 1927 году, и был тем самым единственным наследником — наследником самого себя, — о котором он писал в своем завещании. Ему и в самом деле удалось родиться заново, обновленным и преобразившимся благодаря дьявольскому знанию давно забытых и таинственных обрядов, намного превосходивших по возрасту само человечество, настолько старых, что они восходили ко временам, когда на Земле существовали пожиравшие себе подобных, сходящиеся в жутких схватках громадные ящеры!

Х. Ф. Лавкрафт
А. Дерлет

НАСЛЕДСТВО ПИБОДИ





I

Случилось так, что я не знал своего прадеда Эйсафа Пибоди, и сведения о нем черпал только из скудных рассказов моих родителей. Когда он умер в своем огромном поместье, расположенном к северо-востоку от Уилбрахама, штат Массачусетс, мне было всего пять лет. У меня сохранилось детское воспоминание о том, как однажды, когда прадед болел, отец и мать, взяв меня с собой, поехали его навестить. Пока они находились наверху, в его спальне, я сидел на руках у няни в другой комнате, поэтому даже лицо его не могло запечатлеться в моей памяти. Его считали состоятельным человеком, но время неумолимо распыляет любое богатство, как, впрочем, и многое другое, ибо даже камни смертны, и уж, конечно, сами по себе деньги не могут сопротивляться разрушительному воздействию все возрастающих налогов и обесцениваются с каждым последующим поколением. После кончины прадеда в 1907 г. в нашей семье было много смертей. Вслед за ним умерли два моих дядюшки: один был убит на Западном фронте, а другой утонул при гибели «Лузитании». Поскольку ни один из них не был женат, в 1919 году, после смерти деда, поместье перешло по наследству моему отцу.

Мой отец не считал себя провинциалом, хотя почти все его предки жили в нашем родовом поместье. Он не имел ни малейшей склонности прозябать в сельской местности и даже не пытался всерьез заняться поместьем, которое ему досталось по наследству, а просто вкладывал оставленные ему прадедом деньги в различные предприятия Бостона и Нью-Йорка. Матушка также не разделяла моего интереса к сельской жизни Массачусетса, и все же ни один из родителей не соглашался продать поместье. Правда, однажды, когда я приехал из колледжа на каникулы, моя мать предложила продать его, но отец достаточно резко прекратил все дискуссии на эту тему. Я помню внезапную холодность — трудно подобрать другое слово, — чтобы описать его реакцию, — это его странное отношение к «наследству Пибоди», а также отчетливо произнесенные им слова:

— Дед предсказывал, что один из его потомков восполнит наследство.

Мать тогда возразила с презрением:

— Какое наследство? Разве твой отец не истратил все, что у него было?

Отец оставил это замечание без ответа, но с той же холодностью заключил, что есть определенные причины, которые не позволяют продать поместье, словно оно было унаследо-

вано нами в нарушение каких-то законов о наследстве. Сам он даже близко не приближался к поместью, налоги за него платил регулярно через некоего Эйба Хопкинса, адвоката из Уилбрахама, который периодически посылал моим родителям отчеты о состоянии дел, но те неизменно игнорировали и отвергали все его предложения насчет содержания поместья «в должном состоянии», считая что это всего лишь пустая трата денег.

Поместье, по существу, было заброшено и оставалось таким многие годы. Пару раз адвокат предпринимал робкие попытки сдать его в аренду, но даже внезапный спрос на жилье в Уилбрахаме не давал хороших результатов, и старинная усадьба была безжалостно оставлена на милость все-разрушающему времени и стихиям.

Именно в таком сильно обветшавшем состоянии я и получил его в наследство после внезапной гибели моих родителей в автомобильной катастрофе осенью 1929 года. Несмотря на то, что сразу после моего вступления во владение поместьем стоимость его, из-за разразившегося в том же году кризиса, существенно уменьшилась, я решил продать свою собственность в Бостоне и привести в порядок поместье около Уилбрахама с намерением там поселиться. После смерти родителей у меня оставалось достаточно средств, что позволило отказаться от юридической практики, которая требовала от меня больше сил и внимания, чем я хотел бы ей уделять.

Однако этот план нельзя было привести в исполнение до тех пор, пока хотя бы часть дома не будет приведена в порядок, чтобы там можно было поселиться. Сам дом нес на себе отпечатки вмешательства представителей многих поколений. Построен он был в 1787 году как простой колониальный дом в строгом стиле, со вторым этажом и четырьмя величественными колоннами перед фасадом. Последующие поколения вносили в него всевозможные дополнения: сначала была построена подвижная лестница на второй этаж, затем появились различные пристройки и флигели, так что к тому моменту, когда я решил там поселиться, дом представлял собой огромное хаотичное строение, занимавшее свыше акра земли и окруженное лужайкой и садом, которые тоже находились в запущенном состоянии.

Подчеркнутый колониальный стиль дома был строителями несколько смягчен. Его архитектура утратила единый стиль, поскольку мансардная крыша теперь соперничала с французской, миниатюрные решетчатые окошки соседствовали с большими окнами, фигурные и искусно выполненные карнизы сочетались с простыми, а мансардные окна — с ровной крышей. И хотя внешний облик дома уже не производил

былого отталкивающего впечатления, однако для человека с тонким эстетическим вкусом он должен был казаться ужасным и неудачным смешением архитектурных стилей и украшений. Это впечатление отчасти смягчалось разросшимися старинными вязами и дубами, которые окружали дом со всех сторон, а также садом, где среди роз, за которыми так долго никто не ухаживал, росли молодые тополя и березы. Поэтому, несмотря на разрушительное действие времени и различные вкусы его строителей, дом смотрелся по-прежнему великолепно.

В доме было не менее двадцати семи комнат, из которых для переделки я выбрал три помещения, расположенных в юго-восточной части. Всю осень и начало зимы я приезжал из Бостона, чтобы взглянуть, как продвигаются дела. Очищенное от грязи и покрытое воском, старое дерево приобрело свой естественный, красивый цвет, электрический свет развеял мрачное уныние комнат, и только работа по проведению системы водоснабжения задержала мой переезд до конца зимы. Наконец, 24 февраля я смог перебраться в старинный дом Пибоди.

Здесь в течение целого месяца я был занят проектами переделки остальной части дома. Вначале я хотел убрать некоторые пристройки и сохранить только самые старые помещения, но впоследствии отказался от этих проектов и решил оставить дом таким, каким он был, поскольку его всепроникающее очарование, несомненно, было результатом работы многих поколений моих предков, которые жили в нем, и он воплощал в себе сущность тех событий, которые происходили в его стенах.

В течение месяца я был очень занят работами по дому. То, что вначале воспринималось лишь временным стимулом, впоследствии стало пожизненным уделом, который, увы, вскоре достиг таких пропорций, что вызвал грандиозные события, странно и таинственно изменившие мою жизнь и вызвавшие такие потрясения, которые я себе даже не мог вообразить. В мои планы входило перенести в семейный склеп, вырубленный в склоне холма неподалеку от дома, чуть в стороне от главной дороги, прах родителей, который покоился на кладбище Бостона. Кроме того, я намеревался вернуть в Америку останки моего дядюшки, который был захоронен где-то во Франции, и таким образом соединить всю семью на родной земле около Уилбрахама. Именно такой план и мог прийти в голову пребывавшему в полном уединении холостяку, коим я стал всего за месяц проживания в особняке, окруженный чертежами и атмосферой старого дома. Для меня начиналась новая эра, так непохожая на прежнюю жизнь.

Чтобы воплотить свой план в жизнь, я как-то в марте отправился к семейному склепу, предварительно взяв ключи у своего поверенного Эйба Хопкинса. За исключением массивной двери, склеп был почти не виден, поскольку располагался в естественном склоне холма и снаружи был почти скрыт деревьями, ветви которых не обрезали десятилетиями. И склеп и дверь были сооружены на века, почти в то же время, что и сам дом, и практически все члены семейства Пибоди, начиная со старого Йедедаха, первого его владельца, покоились в нем.

Мне пришлось немного повозиться, прежде чем я сумел открыть дверь. Когда же я наконец совладал с ней, моему взору предстало внутреннее помещение склепа.

Все умершие Пибоди лежали в своих гробах — тридцать семь мертвецов, причем некоторые гробы располагались в нишах. В тех нишах, где были захоронены самые первые Пибоди, находились лишь останки гробов, тогда как углубление, в котором должен был покоиться Йедедах, пустовало, и не было даже праха, который указывал бы на то, что здесь когда-либо стоял гроб с телом. Прочие гробы, за исключением гроба, принадлежавшего моему прадеду Эйсафу Пибоди, стояли в тройном ряду; его же гроб был таинственным образом сдвинут с места и располагался отдельно от других. Для позднее умерших моего деда и дядюшки не нашлось ниши, поэтому их гробы поставили на выступ около стены.

Мне показалось, что кто-то снимал или пытался поднять крышку гроба прадеда, так как одна петля была сломана, а вторая едва держалась.

Моя попытка переставить гроб с прахом прадеда была сугубо инстинктивной, но, когда я взялся за него, крышка еще больше отошла, открыв моему изумленному взору все то, что осталось от Эйсафа Пибоди. Я увидел, что по чьей-то чудовищной ошибке он был похоронен лицом вниз. Хотя прошло столько времени со дня его смерти, я не мог даже допустить, что старый человек был похоронен в каталептическом состоянии и умер в жутких мучениях. Кроме скелета и частей одежды от него фактически ничего не осталось. Как бы то ни было, мне следовало исправить эту то ли ошибку, то ли следствие несчастного случая, а потому я снял крышку гроба и благоговейно перевернул череп и остальные кости скелета так, чтобы останки прадеда лежали в гробу, как им и полагалось. Эти действия, которые в иных обстоятельствах вызвали бы у меня суеверный страх, сейчас казались вполне естественными, поскольку внутреннее помещение через открытую дверь заливал солнечный свет и в этот час склеп не казался мне унылым и мрачным местом. Теперь я убедился

в том, что в склепе оставалось достаточно свободного места и для моих родителей, и для дядюшки, если его останки удастся разыскать и перевезти из Франции на родину, и даже для меня самого.

Итак, преисполненный решимости осуществить намеченные планы, я закрыл склеп и пошел домой, обдумывая на ходу способы возвращения останков моего дядюшки на родную землю. Не откладывая задуманного, я, по приходе домой, написал властям Бостона, изложив свою просьбу о разрешении перезахоронить прах моих родителей в семейном склепе, а также с аналогичной просьбой обратился и к местным властям.

II

Насколько я могу судить, странные события в доме Пибоди начались в ту ночь, которая последовала за моим первым посещением семейного склепа. Если говорить честно, я уже не раз получал прозрачные намеки на то, что не все благополучно с этим старинным домом. В частности, Эйб Хопкинс, передавая ключи от поместья, прямо спросил, действительно ли я намерен войти во владение домом, а после подчеркнул, что это «очень уединенное место», что окрестные фермеры «никогда не любили семейство Пибоди» и что всегда было «очень непросто уговорить людей пожить в нем подольше».

— Это одно из тех мест, — заявил он почти вдохновенно, видимо желая, чтобы я четко уяснил смысл его слов, — в которых никто и никогда не устраивает пикников. Вы не найдете здесь ни бумажной тарелки, ни носового платка.

Далее следовал поток двусмысленностей, которые свидетельствовали о том, что ничто не заставит Эйба обратиться к фактам, поскольку таких фактов попросту не существовало. Мою же версию о том, что соседи распускали разные темные слухи о поместье такой величины лишь потому, что в нем имелось много пригодной для возделывания земли, Хопкинс оставил без внимания.

Действительно, фермерские хозяйства буквально со всех сторон окружали мое владение, составлявшее более сорока акров земли. Это были тщательно ухоженные поля, каменные стены и редкие изгороди из жердей, вдоль которых росли деревья и кустарники, являвшиеся прекрасным пристанищем для птиц. Я подумал, что все сказанное старым Хопкинсом можно отнести за счет его близости с фермерами, живущими

со мной по соседству, этими крепкими, здоровыми представителями американской породы, которые ни на йоту не отличались от представителей семейства Пибоди, за исключением, может быть, того, что им приходилось много и долго трудиться.

Но в ту ночь, когда мартовские ветры завывали и гудели в ветвях окружавших дом деревьев, у меня появилось ощущение, что я не один в доме. До меня донесся звук даже не шагов, а какого-то движения, который послышался сверху, со второго этажа, и судя по которому можно было предположить, что кто-то там без остановки вышагивает туда — сюда, туда — сюда. Я помню, как в полной темноте подошел к лестнице и стал вслушиваться в эти звуки. Иногда они были слышны вполне отчетливо, иногда — очень тихо, а я стоял и слушал, слушал, слушал, пытаюсь определить их источник и найти разумное объяснение этому явлению, поскольку раньше ничего подобного не замечал. Наконец я предположил, что, скорее всего, одна из ветвей дерева, качаясь от ветра, задевает крышу дома. Придя к такому заключению, я вернулся в свою комнату, и больше этот звук меня не беспокоил — не потому, что он прекратился (а он и не прекращался), а лишь потому, что мне удалось найти ему разумное объяснение.

Найти такое же разумное объяснение моим снам этой ночью было гораздо труднее. Их было даже трудно назвать обычными сновидениями, поскольку меня буквально окружали фантастические грезы, в которых сам я играл пассивную роль и лишь наблюдал всевозможные искажения времени и пространства, а несколько раз передо мной мелькали зловещие тени фигуры в конической черной шляпе, рядом с которой находилось какое-то неясное существо. Я видел их смутно, как бы через стекло, и, скорее, это даже был не единый сон, а обрывки снов, причем ни один из них не имел ни начала, ни конца; они погрузили меня в невиданный доселе причудливый и чуждый мне мир, как если бы я попал в иное измерение, о существовании которого прежде даже не подозревал. Я все же пережил ту беспокойную ночь, хотя и проснулся совершенно измученным.

На другой день я узнал очень интересную вещь — поведал ее мне архитектор, который пришел, чтобы обсудить планы дальнейшей перedelки дома. Это был молодой человек, который не верил ни в какие суеверия о старых домах в уединенных сельских местностях.

— Никто бы и не догадался, глядя на этот дом, что в нем имеется потайная комната, — сказал он, раскладывая передо мной чертежи.

— А что, разве есть такая? — спросил я.

— Да, думаю, что это тайное убежище какого-нибудь католика, — предположил он. — А может, там прятали беглых рабов.

— Я никогда не видел ее.

— Я тоже не видел. Вот, взгляните сюда...

На чертежах, которые архитектор развернул передо мной, он показал, что имеется неучтенное пространство, которое расположено вдоль северной стены второго этажа в самой старой части дома. Конечно, это не могло быть тайным убежищем католика, поскольку таковых среди Пибоди не водилось. А может, и вправду убежище для беглых рабов? Но если это так, то почему его построили еще до того, как рабы стали убегать в Канаду? Да и можно ли вообще этим объяснить появление тайного убежища? Едва ли.

— Как вы думаете, можно будет найти это помещение? — спросил я.

— Оно должно быть где-то здесь, — сказал архитектор, разглядывая чертежи.

И мы действительно нашли потайную комнату. Она была искусно спрятана, а отсутствие окна в северной стене спальни никому до нас не позволило ее обнаружить. Дверь была замаскирована тщательно выполненным резным орнаментом на панелях красного дерева, который покрывал всю стену. Если не знать, что комната должна находиться где-то здесь, то едва ли вообще удалось бы ее отыскать, поскольку дверь не имела ручки. Чтобы ее открыть, пришлось надавить на один из фрагментов орнамента, что и было сделано архитектором, поскольку я вообще не имел никакого опыта в подобных вещах. Именно благодаря его знаниям мы открыли комнату, и прежде чем войти, я ненадолго задержался у порога, чтобы получше рассмотреть ржавый механизм замка.

Комната представляла собой сравнительно небольшое пространство, хотя и не столь маленькое, как убежище католика: человек мог пройти вдоль стены на расстояние около десяти футов, тогда как поперечному передвижению мешал скат крыши. Но самое интересное — комната выглядела так, будто в ней в последнее время кто-то жил: она пребывала в полном порядке, здесь находились книги и какие-то бумаги, а около стены стояли стулья, которые использовались в качестве небольших столов.

Комната имела очень странный вид. Углы ее казались косыми, будто строитель специально задался целью поразить воображение. Кроме того, пол покрывали какие-то таинственные чертежи, некоторые из которых варварским способом были вырезаны прямо на досках пола: грубо выполненные

круги с диковинными и почему-то вызывающими отвращение рисунками по обеим сторонам окружности. Было также что-то отталкивающее в столе — он был даже не коричневый, а черный, причем создавалось странное впечатление, будто поверхность его обожжена, да и вообще выглядел он так, будто им пользовались не только по прямому назначению. На столе лежала стопка, похоже, очень старинных книг в кожаных переплетах, а также какой-то манускрипт.

У меня было мало времени, чтобы как следует осмотреться. К тому же архитектор, убедившись в существовании комнаты, потерял к ней всякий интерес и хотел поскорее уйти.

— Что вы намерены сделать с этой комнатой — спросил он. — Можно разобрать перегородку и прорубить в этой стене окно, — предложил он затем и добавил:

— Вы же, конечно, не захотите сохранить ее?

— Пока не знаю, — ответил я. — Не знаю... Многое будет зависеть от того, как давно она построена.

Если ее построили очень давно, в чем я был почти уверен, то уничтожать ее было нельзя. Мне хотелось сначала все детально рассмотреть, я заодно изучить старинные книги. Кроме того, незачем было торопиться, я не был стеснен временем. В доме было полно дел, к которым архитектор мог приступить еще до того, как мы придем к заключению относительно потайной комнаты на втором этаже. На том мы и порешили.

У меня было твердое намерение вернуться в комнату на следующий день, но некоторые события помешали осуществить задуманное. Во-первых, я провел очень беспокойную ночь, став жертвой тревожных, повторяющихся сновидений. Мне трудно было найти этому объяснение, поскольку раньше я никогда не видел снов, разве что только когда был болен. Сейчас мне снились мои предки, а, кроме того, какой-то старик с длинной бородой в конической черной шляпе странного фасона, лица которого я во сне не узнал, но который на самом деле оказался моим прадедом Эйсафом, как я убедился на следующее утро, просмотрев ряд семейных портретов в нижнем зале. Старик, казалось, двигался по воздуху, и создавалось ощущение, что он летит. Я видел, как он проходил сквозь стены, шел над землей, видел его силуэт среди верхушек деревьев. И куда бы он ни шел, его всюду сопровождал огромный черный кот, также обладавший способностью претупать все законы времени и пространства.

Нельзя сказать, чтобы это было один непрерывный сон — нет, каждое видение существовало само по себе, это была какая-то мешанина сменяющих друг друга сцен, в которых мой прадед, его кот, дом и поместье участвовали в неких не

связанных между собой живых картинах. Все это явно имело отношение к моим сновидениям прошлой ночи и вновь сопровождалось причудливыми, словно пришедшими из иных измерений гротескными сюжетами, с той лишь разницей, что на сей раз они обрели большую ясность. Эти сновидения продолжали преследовать меня всю ночь.

На следующий день я был, естественно, не в том настроении, чтобы спокойно выслушивать от архитектора объяснения причин возможной задержки работ по реконструкции поместья. Мне показалось, что он не может или просто не хочет объяснить мне подлинную причину этой задержки, но потом я все же его разговорил, и он признался, что все рабочие, которых он нанял, сегодня утром наотрез отказались приступать к работе. Он, правда, заверил меня, что сможет без труда нанять в Бостоне недорогих польских или итальянских рабочих, если только я наберусь терпения и не стану его торопить.

У меня не оставалось другого выхода, а кроме того, я был не так уж в действительности сердит на него, поскольку у меня начали появляться некоторые сомнения относительно целесообразности всех тех переделок, которые я наметил произвести. В конце концов, часть старого дома должна оставаться в неизменном виде, ее следовало только немного укрепить, поскольку очарование старого дома заключалось именно в его возрасте. Поэтому я сказал, что торопить его не буду, а сам направился в Уилбрахам, чтобы сделать кое-какие покупки.

Отправляясь в путь, я сразу ощутил странное отношение ко мне со стороны окрестных жителей. Раньше они не обращали на меня никакого внимания, поскольку с большинством из них я вообще не был знаком, а знакомые мне люди обычно лишь вяло меня приветствовали. Но в это утро все они вели себя по отношению ко мне одинаково невежливо: никто не хотел даже вступать со мной в разговор. Владельцы магазинов были непривычно немногословны, а то и откровенно враждебны; они вели себя так, что стало ясно: все были бы только рады, если бы я делал покупки в каком-нибудь другом месте. Может быть, подумал я, их отношение изменилось потому, что они узнали о намерениях перестроить старый дом Пибоди, и либо они опасались, что изменений, нарушат очарование старого дома, либо напротив, изменения надолго продлят существование поместья, тогда как на этом участке соседние фермеры предпочитали видеть ухоженные поля и вырубленный лес.

Мои раздумья на этот счет вскоре сменились явным раздражением. В конце концов, я не пария и не заслужил, чтобы меня избегали, а потому как только я вошел в контору Эйба

Хопкинса, то сразу же высказал ему все, что накопилось у меня на душе, причем сделал это в довольно несдержанной манере, что вообще-то было мне несвойственно. И все же я заметил, что он определенно смутился.

— Успокойтесь, мистер Пибоди, — сказал он, пытаясь меня утихомирить. — Я бы не стал принимать все это так близко к сердцу. Кроме того, эти люди пережили ужасное потрясение, поэтому они настроены столь мрачно и подозрительно. И потом, они ведь очень суеверные люди. Я уже старый человек, и, смею вас уверить, знаю, что они всегда были такими.

Слова Хопкинса немного охладили мой пыл.

— Вы сказали «потрясение»? Простите, но я ничего об этом не слышал.

Он посмотрел на меня таким странным взглядом, что мне стало не по себе.

— Мистер Пибоди, в двух милях от вашего поместья живет семья по фамилии Тейлор. Я очень хорошо знаю Джорджа Тэйлора. У них десять детей, точнее сказать, *было* десять. Пройшей ночью один из самых младших — ему немногим больше двух лет — бесследно исчез из своей кровати.

— Мне очень жаль, но какое отношение это имеет ко мне?

— Уверен, что никакого, мистер Пибоди. Вы недавно в этих местах, но все равно рано или поздно обо всем узнаете. Семейство Пибоди здесь никогда не любили, если не сказать больше — его ненавидели.

Я был так удивлен, что даже не пытался этого скрыть.

— Но почему? — воскликнул я.

— Потому, что здесь достаточно людей, которые верят любым слухам, как бы нелепы они ни были, — ответил Хопкинс. — Вы достаточно взрослый человек, чтобы понимать это, хотя и не знакомы с особенностями сельской жизни. Когда я был еще ребенком, здесь ходили всякие истории о вашем прадеде. В то время, когда он владел этим поместьем, произошло несколько таинственных исчезновений маленьких детей, следов которых так и не удалось найти. Поэтому сейчас все связывают эти два события: появление в поместье нового Пибоди и возобновление тех самых событий, которые происходили при другом Пибоди.

— Но это чудовищно! — воскликнул я.

— Совершенно согласен с вами, — сказал Хопкинс почти дружелюбно.

— Но это так. Кроме того, сейчас апрель. Остался всего месяц до Вальпургиевой ночи.

На моем лице отразился такой ужас, что Хопкинс пришел в замешательство.

— Послушайте, мистер Пибоди, — сказал он с напускной

веселостью, — разве вы не знаете, что в здешних местах вашего прадеда считали колдуном?

Я ушел от него страшно расстроенным. Несмотря на все мое потрясение и перенесенную обиду, несмотря на мое возмущение тем, как местные жители выражали свое презрение и даже страх передо мной, я все более подозревая, что существует какая-то зловещая логическая связь между снами прошлой ночи и событиями этого дня. Я ведь действительно видел во сне своего прадеда в очень странном виде, а теперь знал о том, какие ужасные вещи говорят о нем местные жители. Теперь я знал, что окружающие меня люди с суеверным страхом считали моего прадеда неким мужским воплощением ведьм, колдуном, чародеем, или кем там еще. Таким образом получалось, что они видели его. Я даже не предпринимал попыток быть вежливым со встречными людьми, которые при виде меня сразу отворачивались в сторону; а потому сразу сел в машину и поехал в поместье. Здесь мое терпение подверглось еще одному жестокому испытанию — я нашел приколотое к двери дома грубое предупреждение, написанное карандашом на клочке бумаги каким-то озлобленным и недоброжелательным соседом: *«Убирайся — или берегись!»*

III

Возможно, именно из-за событий минувшего дня мои сновидения ночью оказались еще более беспокойными, чем прежде. Здесь надо отметить одну крайне важную деталь: в тех сценах, которые являлись мне в беспокойном сне, наступила определенная последовательность. Я снова видел прадеда Эйсафа, но теперь его наружность стала настолько зловещей, что попросту испугала меня, а сопровождавший его кот, со вздыбившейся на загривке шерстью, торчащими ушами и поднятым хвостом — настоящее чудовище — постоянно скользил или парил вокруг него. Прадед что-то нес в руках — нечто белесое, даже скорее телесного цвета, но во сне я никак не мог разобрать, что же это такое. Он шел через леса, поля, между деревьями, проходил по каким-то узким коридорам, а один раз — в этом я уверен — побывал в какой-то гробнице или склепе. Кроме этого, я узнал некоторые части нашего дома. Но в моих сновидениях он был не один: за ним все время угадывался призрачный и ужасный Черный человек — не негр, но настолько густого черного цвета, что казался он мрачнее ночи, с такими глазами, в которых словно пылал живой огонь. Вокруг старика вились всевозмож-

ные твари: крысы, упыри и еще какие-то существа, наполовину люди, а наполовину летучие мыши. Более того, у меня появились и слуховые галлюцинации, поскольку время от времени я различал заглушенный плач истязаемого ребенка, и одновременно слышал отвратительное хихиканье и монотонный голос, произносящий слова: «Эйсаф будет опять. Эйсаф возродится!»

Когда я наконец очнулся от этого продолжавшегося всю ночь кошмара, в комнату уже проникали первые лучи восходящего солнца, но я мог поклясться, что плач ребенка все еще звучал в моих ушах, словно исходил из самих стен. Больше я так и не заснул, и лишь лежал с широко открытыми глазами, думая о том, что будет в следующую и все последующие ночи.

Приезд польских рабочих из Бостона позволил на время забыть о моих снах. Это были спокойные, флегматичные парни; их старший, коренастый человек по имени Джон Чечорка, чувствовал себя достаточно уверенно и властно обходился со своими подчиненными. Это был физически крепкий человек лет пятидесяти, а трое подручных поспешно исполняли все его команды. Как пояснил мне старший, они известили архитектора о том, что не смогут приехать на этой неделе, но поскольку другую работу отложили, все же приехали из Бостона, предварительно уведомив архитектора телеграммой. Рабочие привезли с собой чертежи и потому знали, что надо делать.

Сначала им нужно было снять с северной стены в комнате, которая находилась непосредственно под тайным убежищем, старый слой штукатурки. Работать приходилось очень осторожно, чтобы не повредить балки, поддерживающие верхний этаж — их мы менять не собирались. Прежде чем они начали работать, я успел заметить, что решетка под штукатуркой была старинной, выполненной вручную, а потому ее нужно было снять и заменить. Стены успели потерять свой первоначальный цвет и с годами потрескались, отчего комната вряд ли была пригодна для проживания. Такая же картина наблюдалась и в том крыле дома, которое занимал я сам, но поскольку здесь я задумал крупные переделки, то, соответственно, и работы предстояло больше.

Я недолго понаблюдал за их работой и уже стал привыкать к стуку инструментов, когда он внезапно прекратился. Я подождал еще немного, а потом поднялся и вернулся в комнату. Как только я туда вошел, то сразу увидел, что все четверо рабочих сгрудились у стены, что-то бормоча и осеняя себя крестом, а затем попятились, развернулись и бросились вон из дома. Пробегая мимо меня, Чечорка бросил мне в лицо

слова, преисполненные ужаса и гнева. Пока они покидали дом, я стоял, словно пригвожденный к полу, а потом услышал, как они завели машину и уехали.

Совершенно озадаченный, я подошел к тому месту, где они было начали работать. Большая часть штукатурки и решетки была уже удалена, всюду лежали оставленные ими инструменты. Они открыли тот участок стены, который находился за плинтусом, и наткнулись на то, что годами хранилось в этом месте. Лишь подойдя к стене на достаточно близкое расстояние, я увидел то, что увидели строители, и понял что привело их в такое неистовство и заставило столь поспешно покинуть мой дом.

Там, за плинтусом, среди длинных листов желтоватой бумаги, наполовину объеденных мышами, но все еще сохранивших на своей поверхности явно кабалистические знаки давно минувших дней, среди отвратительных орудий смерти и разрушения, коротких кинжалоподобных ножей с ржавыми пятнами, которые, несомненно, были пятнами крови, лежали *небольшие черепа и кости, по крайней мере, трех детей!*

Я стоял, отказываясь верить своим глазам, ибо получалось, что вся эта суеверная чепуха, о которой накануне рассказал мне Эйб Хопкинс, приобретала зловещий смысл. В этот момент я понял многое. Дети пропадали именно тогда, когда мой прадед владел поместьем; его подозревали в колдовстве, в чародействе, а ведь это ремесло требует принесения в жертву невинных младенцев. И вот теперь в стенах этого дома обнаружили доказательства, которые подтверждали подозрения местных жителей о том, что здесь совершались гнусные деяния!

Немного оправившись от перенесенного потрясения, я понял, что должен действовать без промедления. Если об этой находке кто-нибудь узнает, то моя жизнь здесь превратится в ад, о чем обязательно позаботятся богобоязненные соседи. Отбросив все колебания, я сбегал за картонной коробкой и, вернувшись в комнату, подошел к стене и собрал все, даже самые маленькие косточки, какие смог найти; затем отнес свою страшную ношу в семейный склеп, высыпал содержимое коробки в нишу, где некогда покоились останки Йедедаха Пибоди, от которого не осталось ничего, даже праха. Только эксперт смог бы определить истинное происхождение этих костей, а поэтому едва ли у кого-то могли бы возникнуть какие-либо подозрения. К тому времени, когда польские рабочие доложат обо всем архитектору, я смогу все отрицать, хотя, похоже, я напрасно беспокоился: напуганные до смерти рабочие так никогда и не открыли правду относительно того, почему они бросили работу в моем доме.

Я не стал дожидаться вестей от архитектора, который был занят поиском других рабочих, способных осуществить задуманные мною переделки, но, движимый инстинктом, о существовании которого я даже не подозревал, я взял мощный фонарь и отправился в потайную комнату, чтобы тщательно обследовать ее. Едва войдя в помещение, я сделал открытие, от которого у меня мурашки побежали по спине: среди следов, которые мы с архитектором оставили в прошлый раз и которые были отчетливо видны, я увидел и другие отпечатки, позволяющие предположить, что после нас кто-то или что-то побывало в этой комнате. Они были видны отчетливо — следы босых ног человека, а рядом расположились отпечатки явно кошачьих лап. Но это было еще не самым страшным: следы начинались в северо — восточном углу комнаты, в том месте, где человек во весь рост стоять не мог, но кот вполне бы уместился. Именно там эти существа материализовались, а затем двинулись по направлению к черному столу, где я и обнаружил нечто самое страшное, то, что можно было разглядеть, лишь подойдя вплотную к его гладкой поверхности.

На столе были видны свежие пятна, точнее, даже небольшая лужица словно выступившей из дерева какой-то густой жидкости размером чуть больше трех дюймов в диаметре, а рядом на слое пыли виднелся след, будто на столе лежала кукла или какой-то сверток. Я уставился на пятно, пытаюсь в свете фонаря определить, что это может быть. Потом осветил потолок, чтобы посмотреть, нет ли в нем отверстия, через которое могли попасть капли дождя, но тут же вспомнил, что со времени моего последнего и единственного визита в эту комнату дождя не было. Затем я дотронулся указательным пальцем до жидкости и поднес его к свету. Жидкость была красного цвета, похожая на кровь, и я понял, что это действительно кровь, хотя понятия не имел, откуда она здесь взялась.

К этому времени в моем мозгу теснились страшные, но лишённые всякой логики, догадки. Я отпрянул от стола, задержавшись лишь на несколько секунд, чтобы взять несколько переплетенных в кожу книг и манускриптов. Мне следовало вернуться в более привычную обстановку, где комнаты не имели странных углов, наводивших на мысль о существовании неведомых человечеству измерений. С почти виноватым видом, бережно прижимая к груди старинные книги, я поспешил в свои апартаменты.

Как ни удивительно, но как только я открыл эти книги, у меня появилась странная уверенность, что я знаю их содержание, хотя мог поклясться, что никогда не видел их прежде и ни разу в жизни не встречал их причудливых, жутковатых

названий, которые было даже трудно произнести. Здесь были собраны подробные сведения по колдовству и чародейству, содержались всевозможные заклинания и легенды, где ведьм и колдунов сжигали на костре, описывались методы их передвижения: «к их главным действиям относится перемещение тела в пространстве... прельстившись иллюзиями или видениями дьявола, в которого веруют и открыто признают, они оседлывают различных зверей... или просто ходят по воздуху, куда попадают через отверстие, специально открытое для них, но закрытое для остальных людей. Сам Сатана смущает во сне сознание тех людей, которых он покорил, и ведет их по дьявольским дорогам... Они берут мазь, изготовленную по дьявольскому наущению из частей тела убитого ими ребенка, и натирают ею стул или помело; после этого они тотчас же поднимаются в воздух, днем или ночью, иногда видимые для окружающих, а если хотят, то и невидимые...» Дальше я читать не стал и перешел к следующей книге. Почти сразу же мой взгляд упал на абзац, написанный по-латыни. Немного знакомый с этим языком, я понял, что речь в нем идет о том, что колдун или ведьма через определенный срок должны убить ребенка или совершить какое-либо другое ритуальное убийство. Одно лишь чтение всего этого вызвало у меня чувство неопишуемой тревоги, а потому я не стал дальше читать и лишь просмотрел заголовки остальных книг. Особо я запомнил одну из них — переплетенную в гладкую, черную, как я позднее узнал, человеческую кожу.

Одно лишь обладание такими книгами говорило о большем, чем просто об интересе к знаниям в области колдовства и чародейства. Для меня это стало красноречивым доказательством и во многом объяснением тех суеверных слухов о моем прадеде, которыми был наводнен Уилбрахам и все его окрестности. Теперь я понял, почему эти суеверия столь живучи. И все же я чувствовал, что должно быть еще какое-то доказательство, поскольку едва ли о существовании этих книг знало много людей. Но какое именно доказательство? Найденные в стене кости недвусмысленно указывали на чудовищную связь между домом Пибоди и нераскрытыми преступлениями прошлых лет. Но об этой находке никто, кроме меня, не знал. Должна же быть в жизни моего прадеда какая-то явная особенность, которая заставила людей соединить эти события. Среди вещей, обнаруженных в потайной комнате, ключей к этим загадкам я не нашел, и мне подумалось, что, может быть, их удастся обнаружить на страницах уилбрахамской «Газетт»?

Уже через полчаса я, просматривая подшивки старых газет, сидел в библиотеке. Это было утомительным занятием:

я листал номер за номером за последние несколько лет жизни моего прадеда, но так ничего и не находил, поскольку на газеты того времени накладывались цензурные ограничения. Я искал в течение целого часа, но не нашел ни единого упоминания об Эйсафе Пибоди. Тогда я стал читать отчеты о «возмутительных случаях», которые происходили с людьми, в основном — с детьми, в непосредственной близости от имени Пибоди — многие из них сопровождались интервью, взятыми редактором у пострадавших, о загадочном «животном», которое представляло собой «большое черное существо» и имело самые различные размеры. Иногда оно было размером с кота, а иногда со льва, что, несомненно, зависело лишь от воображения опрашиваемой жертвы, а это были дети до десяти лет, избитые или покалеченные зверем, от которого им посчастливилось убежать, в отличие от их младших сестер и братьев, бесследно исчезающих в течение года. Все эти события произошли в 1905 году, но и там не было ни единого упоминания о моем прадеде, вплоть до года его смерти.

Только тогда в «*Газетт*» поместили статью, в которой говорилось о имевшемся относительно моего прадеда суеверии: «Умер Эйсаф Пибоди. Но помнить о нем будут еще очень долго. Среди нас есть люди, приписывающие ему такие возможности, которые, скорее, принадлежат к прошлым векам, нежели к нашему времени. Среди других осужденных в колдовстве в Салеме был и некий Пибоди. Йедедах Пибоди действительно переехал сюда из Салема и построил себе дом неподалеку от Уилбрахама. В сущности, для появления суеверий надо так мало. Может, это просто совпадение, что после смерти Эйсафа Пибоди никто не видел его черного кота, и, скорее всего, это лишь глупые сплетни, что гроб с телом Пибоди не открывали до погребения из-за того, что с телом его произошли какие-то изменения. И совсем уж похоже на бабьи сплетни то, что колдун якобы должен быть похоронен лицом вниз и его никогда нельзя переворачивать, а лучше всего сжечь...»

Это был какой-то странный, окольный метод написания статьи. Но все равно, я узнал много, может быть, даже больше, чем предполагал. На кота моего прадеда смотрели, как на его сообщника, поскольку каждая ведьма или колдун имеют своего персонального дьявола в любом удобном им виде. И разве не естественно то, что кота моего прадеда считали его компаньоном, если и в жизни он был его постоянным спутником, как это было в моих снах? Но больше всего меня тревожили строки о погребении, поскольку я знал то, что было неизвестно автору статьи, что Эйсаф Пибоди действительно был похоронен вниз лицом, знал, что его останки были

потревожены, хотя этого делать было нельзя. И я еще больше утвердился в своих подозрениях, что кроме меня в старинном поместье Пибоди находится кто-то еще, тот, кто появляется в моих сновидениях, бродит вокруг поместья и летает по воздуху!

IV

Сопровождавшиеся неестественными слуховыми галлюцинациями сновидения этой ночью снова явились ко мне. Я словно был настроен на кабафонические звуки, доносившееся из других измерений. И вновь мой прадед занимался своими чудовищными делами, но на сей раз его компаньон, кот, несколько раз останавливался, поворачивался и смотрел прямо на меня со злобным, торжествующим оскалом. Я видел, как из леса вышел старик в черной конической шляпе и длинной черной накидке, прошел через стену в дом, в темную комнату без мебели; затем появился перед черным алтарем, где его уже ждал Черный человек, чтобы совершить жертвоприношение. Это было слишком ужасное зрелище, чтобы на него смотреть, но у меня не было выбора, ибо я находился во власти сновидений и был вынужден наблюдать все их дьявольские деяния. Я увидел старика, кота и Черного человека — теперь они находились уже в чаще густого леса, далеко от Уилбрахама, в окружении многих других, они стояли под открытым небом перед большим алтарем, праздновали Черную мессу и были участниками последовавшей затем оргии.

Не могу сказать, что разобрался во всем достаточно отчетливо. Иногда это были мимолетные видения бездонных пропастей, залитых странным лунным светом, где звучала загадочная потусторонняя музыка, где не существовало силы тяжести и простиралась бездна, чуждая реальному миру, но которую я мог воспринимать телепатически, слышал и видел нечто такое, что не мог даже представить себе в действительности. Я слышал жуткие песнопения Черной мессы, пронзительные крики умирающего ребенка, диссонирующую музыку труб, богохульно повернутые наизнанку молитвы, дикие крики празднующих, хотя и не всегда видел все это. Кроме того, до меня доносились чьи-то разговоры, обрывки фраз, бессмысленные сами по себе, но наводящие на мысль о чем-то темном, полном дурных предчувствий.

— Будет ли он избран?

— Во имя Велиара, Вельзевула, Сатаны...

— Во имя крови Йедедаха, во имя крови Эйсафа, сопровождаемого Валором.

— Привести его к Книге!

А потом начались видения, в которых уже я сам принимал участие, причем особенно мне запомнилось одно из них. Сопровождаемый прадедом и котом, я был подведен к огромной книге в черном переплете, имена в которой горели огненными буквами, а подписи были сделаны кровью. Я вынужден был также расписаться в ней. Прадед водил моей рукой, кот — я слышал, как Эйсаф назвал его Валором — оцарапал мне запястье, чтобы я смог смочить перо кровью, и при этом кружился и плясал вокруг меня. Было в этом сне нечто такое, что имело явную связь с реальностью. Тропинка, которая вела нас на место сборища нечистой силы, проходила вдоль болота. Около зловонной трясины, где ощущался запах гниения, я несколько раз оступился, в то время как прадед и кот как бы парили над ее поверхностью...

Утром же, проснувшись позже обычного, я обнаружил, что мои туфли, которые вечером оставил чистыми под кроватью, были покрыты засохшей черной грязью, точно такой же, какая была на той тропинке! Я вскочил с кровати и увидел их отпечатки, которые вели из спальни вверх по лестнице в потайную комнату на втором этаже, в тот самый заколдованный угол. Я не хотел поверить в увиденное, но мои глаза меня не обманывали. Такого просто не могло быть, но этого нельзя было и отрицать, как невозможно было не заметить и царапину на моем запястье...

Я буквально вылетел из потайной комнаты, начиная наконец догадываться, почему родители не желали продавать имение Пибоди — скорее всего, они что-то узнали о тайне этого дома от моего деда, поскольку именно он похоронил прадеда в фамильном склепе лицом вниз. И с каким бы презрением они не относились к преследовавшему их род суеверному наследию, у них все же недоставало сил бросить ему решающий отчаянный вызов. Понял я также и то, почему не удавалось надолго сдать дом в аренду, ибо он сам был своего рода сосредоточением таких сил, которые не поддавались контролю со стороны какого бы то ни было человека. Теперь я знал, что тоже подпал под влияние этого жилища и в действительности являюсь пленником и этого дома, и его дьявольской истории. Мне оставалась последняя возможность узнать всю правду — это дневник прадеда. Не тратя времени на завтрак, я принялся листать его страницы и обнаружил записи, сделанные его летящим почерком, вперемежку с выписками из писем, газет, журналов и даже книг, которые хотя и не имели прямого отношения к делу, но все же касались

необъяснимых событий — несомненно, в глазах прадеда они имели отношение к колдовству. Его собственные пометки были достаточно лаконичны, но все же многие объяснили.

«Сделал сегодня то, что должен был сделать. Невозможно поверить, но Йедедах опять обрастает плотью. Это лишь часть тайны. Если перевернуть, то все начинается сначала. Все повторяется — с каждым новым жертвоприношением прах обретает свою прежнюю форму. Даже если перевернуть его еще раз, это ни к чему не приведет. Остается только одно — огонь».

И дальше:

«Кто-то находится в доме. Кот? Я видел его, но не смог поймать».

«Да, это действительно черный кот. Не знаю, откуда он пришел. По ночам меня мучают кошмары. Дважды был на Черной мессе».

«Во сне кот подвел меня к Черной книге. Подписал.»

«Во сне видел чертенка, которого зовут Валор. Довольно симпатичный. Он объяснил мне, что обратно дороги нет».

А дальше следующее:

«Сегодня появился Валор. Я его сразу узнал. В обличье кота такой же изящный, как и в образе чертенка. Я спросил его, тот ли это облик, в котором он служил Йедедаху. Он ответил, что да. Провел меня в угол комнаты со странными неестественным углами, которая является дверью в иной мир. Ее построил Йедедах. Показал мне, как проходить через эту дверь...»

Дальше я уже не был в состоянии читать. Впрочем, я и так прочел слишком много.

Теперь я знал, что случилось с останками Йедедах Пибоди. И знал, что мне надо сделать. Несмотря на страх перед ожидавшим меня зрелищем, я сразу же отправился в склеп Пибоди, вошел в него и заставил себя подойти к гробу прадеда. Здесь я впервые заметил бронзовую дощечку, прикрепленную под именем Эйсафа Пибоди и выгравированные на ней слова: «Горе тому, кто потревожит его покой!»

Я поднял крышку гроба.

Я уже знал, что увижу внутри гроба, и тем не менее испытал ужас, ибо кости, которые я видел в последний раз, претерпели ужасные изменения. То, что было просто останками, пылью и лохмотьями одежды, стало превращаться в нечто иное. Прах моего прадеда Эйсафа Пибоди начинал обрастать плотью; той самой плотью, которая оживала под воздействием учиненного им нового зла, когда он стал опять возвращаться к жизни после моего неразумного решения перевернуть его останки. Но я увидел в гробу и кое-что еще —

это было сморщенное тельце несчастного ребенка, которое, хотя с момента его похищения из дома Джорджа Тэйлора прошло менее десяти дней, уже превратилось в обтянутый кожей скелет, из которого были вытянуты все жизненные соки, и почти мумифицировалось!

Онемевший от ужаса, я выбежал из склепа, но лишь для того, чтобы сложить погребальный костер. Работал я лихорадочно, боясь, что кто-нибудь может застать меня за работой, хотя прекрасно понимал, что люди давно обходят поместье Пибоди стороной. Когда костер был готов, мне следовало одному вытащить гроб с телом Эйсafa Пибоди и его ужасным содержимым, как много лет назад сам Эйсaf извлекал гроб с телом Йедедаха и тем, что в нем находилось! Потом я стоял и смотрел, как сгорает гроб и его содержимое, и никто, кроме меня, не слышал громкий, призрачный вопль ужаса, который вознесся над языками полыхающего пламени.

Костер догорал всю ночь — мне было видно это из окна моего дома.

А в доме я увидел кое-что еще.

Я увидел черного кота, который подошел к двери моей комнаты и уставился на меня злобным взглядом.

И тогда я вспомнил тропинку, по которой шел через болото, мокрые отпечатки и грязь на моих туфлях; вспомнил царапину на своем запястье и Черную книгу, которую сам же подписал. Так же, как это сделал Эйсaf Пибоди.

Я повернулся и посмотрел на то место, где прятался в темноте кот, и мягко позвал его:

— Валор!

Он вышел и сел на задние лапы в проеме двери.

Из ящика стола я вытащил револьвер и выстрелил в него.

Кот продолжал неотрывно глядеть на меня. Он даже не шевельнулся.

Валор. Один из представителей низшего разряда дьяволов.

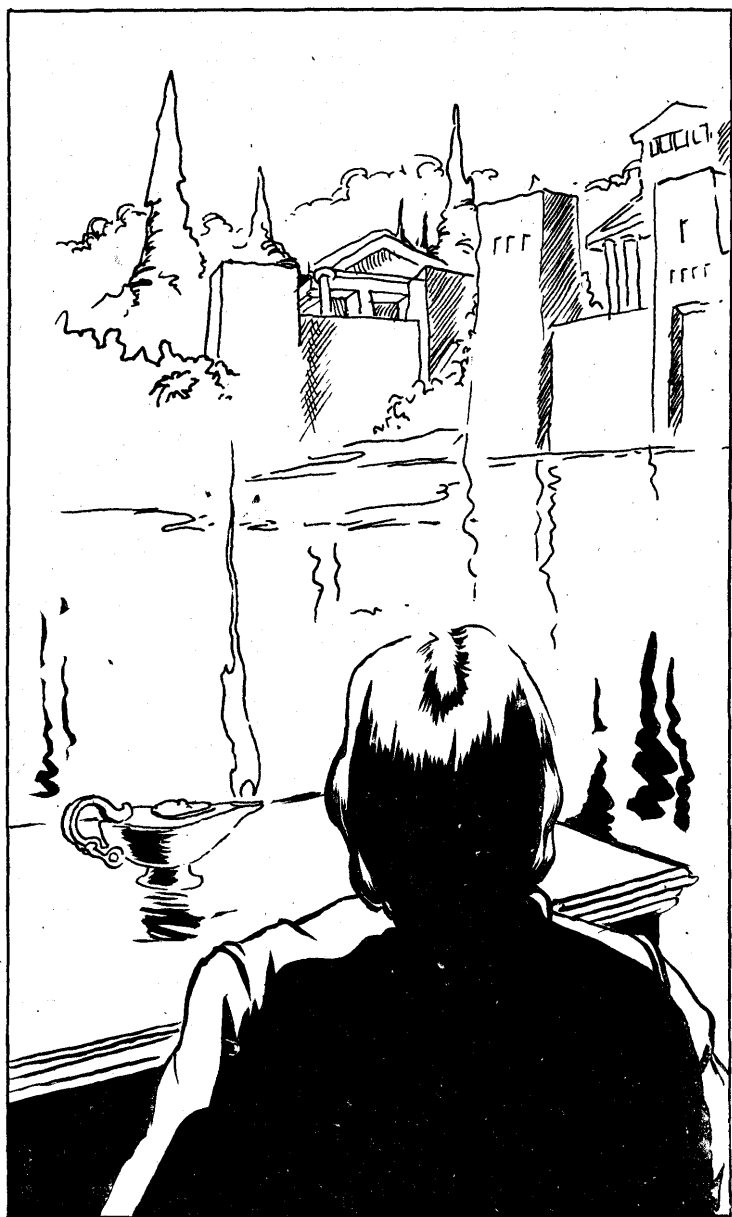
Так вот в чем заключалось наследство Пибоди. Дом, земля, леса — все это было только внешние, материальные аспекты загадочных, необычных углов в потайной комнате, как и эта тропа, ведущая через болото к этому углу, и подписи в Черной книге...

И я думал, кем будет тот человек, который после моей смерти, если меня похоронят как прадеда, потревожит мой покой и перевернет мои останки?

Г. Ф. Лафкрафт
А. Дерлет

ЛАМПА АЛЬХАЗРЕДА





Прошло семь лет со дня таинственного исчезновения старого Уиппла, и Уард Филлипс, его внук, стал обладателем лампы. Филлипс поселился в доме, принадлежащем деду, на Энгел-стрит сразу после его исчезновения. Однако лампа хранилась у поверенного в делах Уиппла до истечения семилетнего срока, который требуется по закону для подтверждения смерти ее владельца и передачи наследнику. По воле деда лампа была надежно застрахована на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств, его смерти или какой-либо случайности. У Филлипса было достаточно времени, чтоб вволю порыться в необъятной библиотеке старого Уиппла, где его ожидали настоящие сокровища и где он мог почерпнуть много нового и интересного. И только тогда, когда большинство книг библиотеки были им прочитаны, Филлипс оказался готовым принять по наследству «наиболее ценное сокровище», как сам Уиппл назвал в завещании лампу.

К этому времени Филлипсу исполнилось тридцать лет. Он был человеком слабого здоровья, что являлось следствием болезней, перенесенных им в детстве, и, видимо, из-за них навсегда остался одиноким и несчастным.

Родился он в семье среднего достатка, а все деньги, оставленные дедом, были потеряны из-за неразумного размещения капитала, Филлипсу досталась только недвижимость: дом и несколько акров земли.

Он работал журналистом в небольших журналах. Чтобы свести концы с концами, Филлипс подрабатывал, занимаясь редактированием рукописей малоизвестных авторов, которые, мечтая увидеть свои произведения опубликованными, надеялись, что его перо придаст им необходимый блеск. Сидячий образ жизни еще больше ослабил его здоровье, и был он склонен ко всевозможным заболеваниям. Филлипс был высок, худ и носил очки. Он часто простужался, а однажды по собственной неосмотрительности даже заболел корью.

В теплые дни Филлипс любил бродить в окрестностях города, где играл еще ребенком, и часто сидел на том же самом лесистом берегу реки, который был излюбленным местом его детства.

Этот участок реки Сикон почти не изменился за последние годы, и Филлипс, который практически жил в прошлом, искренне верил в то, что можно победить время, если почаще бывать в любимых местах своего детства. Однажды он так объяснил эту точку зрения одному из своих друзей:

— Среди множества лесных тропинок, которые знаешь с самого детства, совершенно исчезает ощущение прошедших

лет. Поэтому я иногда почти удивляюсь, когда вижу, как за эти годы изменился и разросся город.

Помимо берегов реки Сикон, он часто посещал Нентаконхонт — один из холмов, со склона которого подолгу глядел на родной город и сидел там в тишине в ожидании заката. Его приводила в восторг панорама погружавшегося в сумерки города с его бесконечными крышами, темнеющими на фоне оранжевого или ярко-красного от заката неба или утопающими в перламутровых изумрудных красках вечерней зари. А потом, один за другим, в городе зажигались огни, которые делали его похожим на неведомую волшебную страну. Поэтому вечерний город Филлипс любил больше всего.

Из-за экскурсий Филлипс работал по ночам, и лампа, поскольку в целях экономии он решил отказаться от электричества, пришлась как нельзя кстати. В письме, которым сопровождал этот последний дар старый Уиппл, — а дед был всегда привязан к внуку, и после смерти его родителей, которые умерил, когда Филлипс был еще ребенком, любил его еще больше, — говорилось, что лампа была найдена в одной из гробниц Аравии и являлась очень древней. Когда-то ею владел безумный араб по имени Абдула Альхазред.

Скорее всего, лампа была изготовлена мастерами старинного племени — по названию Ад. Это было одно из четырех малоизвестных, почти мифических племен Аравии, в которой Ады жили на юге, Самулы — на севере, Тазмы и Ядисы — в центральной части Аравийского полуострова. Впоследствии лампа была найдена в разрушенном городе Ирем, столице Пиллара, воздвигнутом Шададом, последним деспотом Адов. Он был известен также под названием Безымянный город и находился в Хадраманте, а потом был занесен вечно кочующими песками Аравийской пустыни. Город стал невидим для глаз простого смертного, но иногда открывался любимцам Пророка.

В заключение длинного письма Уиппл написал следующие странные слова: «Лампа может доставить неизъяснимую радость, независимо от того, горит она или нет. Но она может принести и огромную боль. Это источник восторга и ужаса».

У лампы Альхазреда был необычный внешний вид. Казалось, что она сделана из чистого золота. Она имела форму продолговатого сосуда, с одной стороны которого находилась витая ручка, а с другой — отверстие для фитиля и пламени. Лампа была расписана таинственными знаками, где буквы и рис рисунки складывались в слова на языке, неизвестном

Филлипсу, который, надо отдать ему должное, свободно владел несколькими арабскими диалектами, но этого языка не знал. Не был язык похож и на санскрит. Филлипс пришел к выводу, что это, видимо, очень древний язык, состоящий из букв, иероглифов и пиктограмм. Он потратил почти полдня, чтобы отполировать лампу снаружи и внутри, после чего налил в нее масло.

В эту ночь, оставив в сторону свечи в подсвечниках и керосиновую лампу, при свете которых он работал в течение многих лет, Филлипс зажег лампу Альхазреда. Он несказанно удивился теплоте ее горения, постоянству пламени и силе света, но поскольку его ждала работа, он не стал задумываться о чудесных свойствах лампы, а склонился над рукописью. На этот раз перед ним лежали стихи, и начинались они со следующих строк:

«О, это было ясным и ранним утром,
Задолго до моего рождения,
Когда Землю раздирали раздоры,
От которых она утомилась...»

И так далее, в таком же архаичном, давно вышедшем из употребления стиле. Правда, обычно старинный стиль нравился Филлипсу. Он настолько был погружен в мечты о прошлом, что у него выработалась своя философия относительно влияния прошлого на жизнь человека.

Кроме того, по мнению Филлипса, очарование фантазии заключалось в том, что она существовала сама по себе и не подчинялась ни времени, ни пространству. Эта идея настолько тесно переплелась с мыслями и чувствами Филлипса, что любая попытка исследовать его настроения дала бы странную смесь экзотики и нереальности, переплетенных с обычными образами повседневной жизни. Ему самому трудно было бы разобраться, что в его настроениях реальность, а что — плод воображения.

Все мечты Филлипса в течение десятилетий занимало интуитивное чувство приближения необычного приключения, связанного с расстилающимся перед ним видом города, его архитектурой и явлениями природы. Навсегда в его памяти запечатлелась картина того, как он, трехлетний мальчик, стоял на железнодорожном мосту в самой густонаселенной части города и смотрел вдаль. Филлипс ощущал тогда близость чуда, которое он не мог ни понять, ни объяснить словами.

У него часто возникало предчувствие чего-то таинственного и необыкновенного, а, может быть, это было ощущением

будущей свободы, которая ждала там, вдали, в лабиринте старинных улиц. Но еще больше Филлипс любил мечтать о том времени, когда мир был юным и не таким суетливым. Это мог быть восемнадцатый век или более ранние времена, когда люди обладали умением вести неторопливые беседы, элегантно одевались, когда не было принято осуждать соседа или смотреть на него с подозрительностью.

Отсутствие смысла в стихах, над которыми Филлипс трудился, неизбежная усталость вконец довели его в этот поздний час, и он понял, что не может больше работать и быть объективным к этим бездушным строчкам. Он откинулся на спинку стула и оттолкнул от себя рукопись.

Именно в этот момент он заметил, что окружающие его предметы изменились. Знакомые стеллажи с книгами в простенках окон, шторы на которых были плотно задернуты, залил какой-то радужный свет. Он струился не только от лампы Альхазреда, но и от странных фантомов, которые вдруг появились в комнате. То была широкая панорама, куда вплелись пейзажи, чудесные картины с четко очерченной, заманчивой перспективой. На фоне книг, стоящих рядами, возникли такие видения, которых Филлипс не мог себе представить даже в самых смелых своих фантазиях. Но там, где змеилась тень, например от спинки стула, не было ничего, там только сгущалась темнота и угадывались смутные очертания книг на полках.

Филлипс заворуженно следил за разворачивающейся перед ним панорамой. Сначала он подумал, что является жертвой странной оптической галлюцинации, но потом он отбросил в сторону такое объяснение. Но Филлипс и не хотел никаких объяснений, он просто не нуждался в них. Наконец, в его жизни свершилось чудо, и он смотрел на него, не задавая никаких вопросов. Мир, который открывался его взору в свете лампы, был огромен и прекрасен. Это не было похоже ни на что, виденное Филлипсом раньше, и не встречалось никогда ни в книгах, ни в мечтах.

Казалось, перед ним возникла картина мира, юного мира, когда еще продолжались процессы формирования Земли, когда бурлящие потоки воды выбивались из расщелин в скалах и на мокрой земле можно было увидеть следы змееподобных животных. Высоко в небе кружили огромные хищные ящеры, сражаясь и побеждая, а на берегу моря лежал огромный отросток какого-то фантастического животного, напоминающий щупальце, которое то сворачивалось, то разворачивалось в красном мареве солнечного дня.

Затем очень медленно картина сменилась другой. Скалистые горы уступили место незащищенным от ветра пустыням, в центре которых, как мираж, возник пустынный и затерянный город — столица Пиллара, мифический Ирем. Филлипс чувствовал, что хотя нога живого человека больше не ступала по улицам древнего города, странные ужасные существа все еще прячутся среди каменных громад зданий. Эти здания не были разрушены и предстали перед его взором такими, какими их воздвигли искусные строители, прежде чем жители Ирема были уничтожены или изгнаны оттуда существами, пришедшими с небес. Филлипс не видел их, но его охватило леденящее душу чувство незримого присутствия этих привидений, бродящих по городу.

Далеко за расстилающейся пустыней поднимались горы со снежными вершинами. И когда Филлипс смотрел на них, в его сознании возникли названия всего, что он наблюдал. Город в пустыне являлся тем самым Безымянным городом, а снежные пики гор были Горами безумия, горами Кадах в Холодной пустыне.

Ему ужасно нравились все эти названия, которые так точно подходили ко всему, что он видел. Они так легко всплывали в его мозгу, как будто всегда таились в потайных уголках его памяти, ожидая подходящего момента, чтобы он их вспомнил.

Филлипс сидел так уже довольно долго, воображение работало безостановочно, но постепенно им стало овладевать чувство тревоги. Проходящие перед глазами молодого человека картины не могли быть плодом его фантазий. Вокруг ощущалось присутствие чего-то зловещего, каких-то ужасных существ, населявших эти картины. Поэтому он решил, наконец, потушить лампу, и зажечь свечу, чтобы немного успокоиться в ее мерцающем знакомом свете.

Он сидел и размышлял над тем, что увидел несколько минут назад. Его дед называл лампу «самым драгоценным сокровищем». Значит, старый Уиппл знал о ее необычайных свойствах. Видимо, главное свойство лампы — это память поколений и магический дар откровения. Поэтому каждый человек, сидящий перед нею, был способен видеть прекрасное или ужасное в зависимости от того, какие мысли и чувства обуревают владельца. А Филлипс был уверен: то, что он видел, были картины, знакомые Альхазреду.

Но каким же пресным было это объяснение! И каким ошеломительным являлось все, что он наблюдал! Однако жизнь

брала свое, и Филлипс, наконец, вернулся к прерванной работе, забыв на время свои фантазии и тревоги, которые требовали серьезного размышления и осмысления.

На следующий день Филлипс решил побродить в окрестностях города, порадоваться последним солнечным дням октября. Он проехал мимо небольших домов, стоящих на окраине города, и свернул на дорогу, ведущую к холмам. Он ехал по метам, где еще никогда не был. Эта дорога вела на северо-запад от Плейнфилд Пайка и затем слегка поднималась вверх, опоясывая западную часть подножья Нентаконхонта, откуда открывалась изумительная панорама холмистых лугов, древних каменных стен, старых рощ. К западу и югу тянулись бесконечные крыши коттеджей. Филлипс был всего в каких-то трех милях от центра города, но как бы погрузился в мирную сельскую жизнь Новой Англии времен первых колонистов.

Еще до захода солнца он взобрался по крутой проселочной дороге на холм, и с головокружительной высоты холма перед ним открылся изумительный вид: сверкающие ручьи, далекие леса и мистическое оранжевое небо, на котором стоял огромный диск солнца, погружающийся в окрашенные красным цветом перистые облака.

Войдя в лес, Филлипс увидел закат солнца через стоящие вокруг деревья, а затем повернул на восток, пересек холм и выбрался к знакомым местам, на склон холма, спускающийся к городу. Никогда раньше он не думал, что Нентаконхонт занимает такое большое пространство. Это было миниатюрное плато, или плоскогорье, с долинами, хребтами и собственными вершинами, что придавало ему неизъяснимое своеобразие. Находясь в одной из внутренних долин, где не ощущалось присутствие человека, Филлипс наслаждался поистине незабываемым зрелищем городского пейзажа на фоне неба, грезил наяву об остроконечных башнях и куполах, плавающих в воздухе, и его окружала атмосфера таинственности и волшебства.

Затем он увидел огромный полный диск луны, плывущей над городом, а на западной части небосклона, в отблесках закатного солнца засверкали Венера и Юпитер. Филлипс никогда не пользовался одной и той же дорогой. Иногда он проходил по плоскогорью, а иногда шел тропинкой вдоль леса и спускался к равнинам, лежащим внизу, где огромные валуны напоминали языческих божеств, стоящих на вершинах холмов в неясном свете луны.

Наконец, Филлипс добрался до хорошо известного ему места. Это был знакомый еще с детства восточный склон холма. Поросший травой старый разрушенный акведук со-

здавал иллюзию давно исчезнувшей римской дороги. В раскинувшемся под ним городе быстро зажигались огни, и в сгущающихся сумерках он был похож теперь на сказочное созвездие. Луна изливала на землю потоки бледно-желтых лучей, а мерцание Венеры и Юпитера становилось ярче. Наступила пора собираться домой; сначала вниз, затем сесть в машину и поехать по шоссе, которое вернет его к прозе жизни.

Но и в эти безмятежные часы отдыха Филлипс ни на минуту не забывал о том, что пережил прошедшей ночью. И он не мог отрицать, что с нетерпением ждет темноты. Смутная тревога, которую он испытал вчера, исчезла, а впереди его ждало новое ночное приключение.

Вернувшись домой, Филлипс, как всегда, чтобы поскорее уединиться в кабинете, быстро в одиночестве съел свой скромный ужин. В эту ночь он даже не дотронулся до ожидавшей его работы, а сразу зажег лампу Альхазреда. Потом уселся поудобнее и стал ждать, что произойдет дальше.

Мягкий свет лампы упал на стеллажи с книгами. Лампа горела ровно, не мигая, а Филлипс, как и в первый раз, подивился этой успокаивающей теплоте. Затем постепенно книжные полки стали исчезать, растворяться, а вместо них появились картины другого мира и другого времени.

Проходил час за часом, а Филлипс сидел и смотрел. Он давал названия картинам и местам, которые представляли перед ним, открывая для себя новые, доселе неведомые возможности своего воображения. Все это дарила ему горящая лампа Альхазреда. Сквозь клубившийся туман Филлипс увидел здание необыкновенной красоты. Оно стояло на мысе, похожем на мыс около Глостера, и Филлипс назвал его странным высоким домом в тумане. Вдруг перед ним возник город с домами под черепичными крышами, а рядом протекала темная река. Город был похож на Салем, но казался более старинным и жутким, и он назвал его Эркхам, а реку — Мискатоник.

Шло время. Одни видения сменялись другими, еще более увлекательными. Вот теснящийся, как ласточкины гнезда, прибрежный город Инсмут, а под ним риф Дьявола. Он увидел водные глубины Рлиха, где спал мертвым сном Цтулху. открытая всем ветрам земля Ленг и темные острова Южных морей — все это было воплощением его мечтаний; другие земли, другое время, существа, которые жили в далекие-далекие времена, самое начало возникновения человечества, а также время, предшествующее этому. Филлипсу казалось, что все эти картины он видит через

какое-то окно или дверь, будто кто-то настойчиво приглашает его покинуть мир прозы и войти в царство волшебства и магии. Испытание росло, он трепетал от возрастающего желания подчиниться этому приглашению, отбросить свою прежнюю жизнь и попытать счастья там, куда его манила лампа Альхазреда. Но, как и в прошедшую ночь, Филлипс потушил ее, и в комнате вновь воцарились книжные полки его деда Уиппла.

Филлипс зажег свечи и до самого утра, отложив редактирование стихов, увлеченно сочинял небольшие сказки, в которых описывал пейзажи и существ, которых видел в свете лампы Альхазреда.

Он писал всю ночь, а весь следующий день проспал, потому что утомился до бесконечности.

Когда наступила ночь, он опять сел за письменным столом и писал, хотя и нашел время, чтобы ответить одному из своих корреспондентов. В письме Филлипс сообщил о своих «грезах», о своих попытках понять — действительно ли он видел их, или это было игрой воображения. В одном лишь он был почти уверен: все эти миры, которыми он грезил наяву, навесяны лампой и принадлежат ей. Они просто переплетались с его собственными желаниями и мечтами юности, с полетом его творческой мысли. Свет лампы позволил ему заглянуть в самые потаенные уголки своего сердца, где зрело желание увидеть далекие миры Вселенной.

В течение многих ночей Филлипс не зажигал лампу.

Ночи перешли в месяцы, а месяцы в годы.

Он стал старше, а его произведения были напечатаны. В них нашли свое место мифы о Цтулху и Асторе Невероятном! Гипноз, бог сновидений, великие древние цивилизации и их пророки — все стали персонажами фантастических сказок Филлипса. Он описал увиденный им город Эркхам и странный высокий дом в клубящемся тумане; он поведал о призраке Инсмута и неясном шепоте, раздающемся в темноте. И в прозе, и в стихах Филлипса ярко горел свет лампы Альхазреда, хотя с тех пор он больше не зажигал ее ни разу.

Так прошло шестнадцать лет, и однажды ночью Уард Филлипс нашел лампу там, где он ее поставил много лет назад: за книгами, на одной из полок в библиотеке своего деда Уиппла. Он вынул ее и сейчас же вспомнил то чудо и ожидание прекрасного, которое она дала ему. Филлипс почистил лампу, налил в нее масло и поставил на стол. За прошедшие годы здоровье Филлипса существенно ухудшилось. Он был неизлечимо болен и знал, что дни его сочте-

ны. Ему страстно захотелось еще раз увидеть странный мир красоты и ужаса, который оживал в свете лампы Альхазреда.

Он зажег лампу и стал ждать.

Но на сей раз картины были иными. Если раньше перед ним возникали места и существа, принадлежащие воображению Альхазреда, то теперь он узнавал до боли знакомую страну его грез, но не сегодняшнюю, а ту, которая существовала в такие милые прошлые времена, когда он ребенком играл в героев греческой мифологии на берегу реки Сикон. Это были поляны его детства, знакомые пещеры на берегу реки, где он проводил свои юные годы, здесь была даже беседка, которую он построил в честь великого Пана. И что самое удивительное, Филлипс, поскольку лампа вызвала в нем воспоминания его юности, ощутил счастье свободы, которое человек испытывает в раннем детстве.

Он подумал, что, вероятно, лампа обладает способностью передавать память поколений. Ведь разве во времена юности старого Уиппла или юности его предков кто-нибудь из предшественников Уарда Филлипса мог видеть эти места, вызванные сейчас к жизни светом лампы?

Вдруг ему почудилось, что он смотрит на все через открытую дверь. Его опять неудержимо стало манить все, что он видел. Тогда Филлипс с трудом поднялся на ноги и подошел к стене.

На мгновение он замер, а затем решительно шагнул вперед.

Внезапно яркий солнечный свет озарил все вокруг, Филлипс почувствовал, что с него как бы спали кандалы, и он вдруг легко побежал вдоль берега реки Сикон туда, где оживила наяву картины его детства. Он понял, что сможет возродиться, начать все сначала, вернуться к безмятежному счастью в те времена, когда мир был таким юным...

Исчезновение Уарда Филлипса обнаружили совершенно случайно, когда один из почитателей его таланта приехал в город, чтобы нанести ему визит. Было высказано предположение, что в одной из прогулок по лесу ему стало плохо, и он умер. Все соседи по Энгел-стрит хорошо знали его пристрастие к прогулкам в одиночестве по окрестностям города, а также были осведомлены о слабом здоровье писателя.

Были организованы группы поиска, которые осмотрели склоны холма Нентаконханта и берега реки Сикон. Но нигде не было следов Уарда Филлипса. Полиция была уверена, что останки Филлипса скоро будут найдены, но этого так и не

случилось, и через некоторое время о его таинственном исчезновении забыли, а дело было запрятано в архив полицейского управления.

Прошли годы. Старый дом на Энгел-стрит был снесен, библиотека куплена книжными магазинами, вещи распроданы по дешевке, включая антикварную арабскую лампу. Но в том сумасшедшем мире, пришедшем на смену романтическому миру Филлипса, не нашлось ни одного человека, которому бы захотелось ее зажечь.

Х.Ф.Лавкрафт

В СКЛЕПЕ





На мой взгляд, нет ничего более нелепого, чем устоявшееся в самых широких кругах представление о том, будто так называемая «простота» человека автоматически подразумевает его благоразумие и добродетель. Представьте себе среду типично американской сельской глубинки, где живет грубоватый, вечно все путающий деревенский гробовщик, с которым по его же собственной нерадивости и неуклюжести приключилась — причем не где-нибудь, а в кладбищенском склепе — весьма неприятная история, и буквально любой нормальный читатель сразу же подумает о том, что его ожидает пусть несколько нелепый, отчасти даже надуманный, но все же чертовски веселый и забавный рассказ. Ну так вот, я призываю в свидетели Господа Бога и утверждаю, что та банальная история, повесть о которой позволяет мне недавняя кончина Джорджа Берча, на самом деле являет собой то, на фоне чего даже самые мрачные и суровые трагедии нашей жизни предстают в самом что ни на есть игривом и незатейливом виде.

В 1881 году Берч перенес серьезное нервное потрясение и был вынужден уйти со своей прежней работы, но при этом, однако, по возможности всячески избегал разговоров на тему того, что же все-таки с ним приключилось. Аналогичную позицию занимал и его лечащий врач, доктор Дэвис, который также скончался несколько лет назад. Устоявшаяся молва гласила, что причиной пережитого Берчем шока и его последующего недуга явилось то обстоятельство, что по досадному недоразумению он случайно запер себя в склепе кладбища деревни Пек-Вэлли, и выбрался из него только девять часов спустя, причем посредством весьма примитивного, грубого, и к тому же самого что ни на есть чудовищного способа. И если все эти злоключения произошли на самом деле, то присутствовали в них и некоторые иные, более мрачные подробности, о которых поведал мне он сам, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ставшего для него после тех памятных событий едва ли не повседневным явлением. Возможно, он признался мне в этом только потому, что я стал его лечащим врачом, хотя нельзя исключать, что после смерти Дэвиса ему просто требовался человек, которому можно было бы хотя изредка излить душу. Сам он был холостяком, а из родственников у него к тому времени уже никого не осталось.

Так вот, до 1881 года, как я уже упоминал, Берч служил деревенским гробовщиком на кладбище Пек-Вэлли. Его отличительными чертами были неизменно крайняя черствость и бездушие, причем по этим качествам он явно превзошел

многих других представителей своей профессии. То, какие вещи он, по дошедшим до меня слухам, вытворял, в наше время могли бы показаться попросту невероятными, по крайней мере в городе; да и жителей самого Пек-Вэлли невольно передернуло бы, узнай они, с каким бесстыдством этот при-скорбных дел мастер снимал с покойников их последние дорогостоящие убранства — благо дело, под крышкой гроба ничего не видно, — и с каким «благородством» он принимал и размещал безгласных членов вечного братства в их траурные саркофаги, скрупулезностью в оценке которых он нередко, причем весьма нагло, пренебрегал. Короче говоря, в своей работе Берч отличался небрежностью, черствостью и, если так можно выразиться, профессиональной неуместностью.

И все же я возьму на себя смелость утверждать, что по природе своей Берч не был злым человеком. Это был исполнительный и, к тому же, отнюдь не лучшим образом отлаженный механизм, а точнее — бездушное, бездумное, невнимательное и жадное «бревно», подтверждением чему является хотя бы тот самый, в общем-то довольно нелепый инцидент, избежать которого можно было бы безо всякого труда, обладай Берч тем минимумом воображения, удерживающего обычного гражданина в определенных рамках.

Я испытываю некоторую неловкость и не знаю, с чего начать свой рассказ о приключившейся с Берчем истории, поскольку никогда не считал себя умелым рассказчиком. Впрочем, начать, видимо, следует с холодного декабря 1880 года, когда земля повсюду промерзла настолько, что кладбищенские могильщики наотрез отказались вплоть до наступления весны заниматься своим непосредственным делом. К счастью, деревня та была небольшая, и люди в ней умирали относительно нечасто, а потому всех усопших клиентов Берча вполне можно было временно расположить в одном довольно старинном склепе, словно предназначенном именно для таких целей.

В столь суровых погодных условиях наш гробовщик, видимо, окончательно впал в летаргическое состояние, и в своей традиционной беспечности, похоже, решил превзойти самого себя. Никогда еще он не делал столь неуклюжих, непрочных, можно сказать, просто хлипких гробов, и не относился с такой явной небрежностью ко всему тому, что его окружало, в том числе и к проржавевшей защелке на двери склепа, которую он впоследствии с такой беззаботностью распахнул и по собственному же недогляду захлопнул за собой, ни на что не глядя и ни о чем не думая.

Однако, рано или поздно, но весна все же наступила, и усердно вырытые землекопами могилы были готовы принять в себя девять жертв безжалостной старухи с косой, которые покорно дожидались своего часа, лежа во временной гробнице. Что до Берча, то он, всеми фибрами души презирая и ненавидя процедуру предстоящей перевозки и погребения покойников, также одним хмурым апрельским утром был вынужден приступить к выполнению своих обязанностей. Впрочем, работу свою он прекратил еще до полудня якобы по причине сильного дождя, который, как он заявил, раздражал его лошадь, и потому успел предать земле лишь одного-единственного покойника. Это был девяностолетний Дариус Пек, могила которого, естественно, находилась чуть ли не в двух шагах от склепа. Про себя Берч решил, что на следующий день примется с утра за маленького старичка — Мэттью Феннера, могила которого также располагалась относительно неподалеку. Впрочем, и этим его планам не суждено было сбыться целых три дня — вплоть до окончания великой страстной пятницы, то есть аж до пятнадцатого числа. Не будучи суеверным человеком, он в общем-то довольно безразлично относился ко всевозможным церковным датам и наотрез отказался заниматься в тот день сколь-нибудь серьезными делами. Однако следует признать, что события именно того памятного вечера самым серьезным образом изменили и самого Джорджа Берча, и всю его последующую жизнь.

Отложив таким образом на время все заботы о похоронах, Берч, чтобы подготовить к траурной процедуре тело Мэттью Феннера, поехал в открытом фургоне по направлению к склепу. То, что он был при этом не вполне трезв, Берч и сам впоследствии признал, хотя в то время его еще нельзя было назвать горьким пьяницей, коим он стал впоследствии, да и то единственно с целью вытравить из души некоторые жуткие воспоминания.

В общем, он был всего лишь немного навеселе, но при этом особенно беспечен, и потому безудержно погонял лошадь, которая беспрестанно оглашала окрестности своим ржанием, била копытами, крутила головой, и вообще вела себя так же, как и в тот день, когда ее якобы сильно раздражал апрельский дождь. Погода на сей раз выдалась отменная, хотя и дул сильный ветер, и потому Берч искренне обрадовался, когда наконец добрался до своего убежища, открыв замок железной двери и войдя в сооруженный в толще холма склеп.

Любой другой человек, возможно, отнюдь не возрадовался бы, оказавшись в сыром, зловонном помещении, заставлен-

ном восемь беззаботно размещенными гробами, но Берч в те дни проявлял ко всему чуть ли не демонстративное безразличие, и волновало его лишь то, как бы не напутать в главном, и отвезти нужный гроб к нужной могиле. Он отнюдь не забыл те упреки, которые были высказаны в его адрес, когда родственники Ханны Биксби, пожелавшие перевезти ее тело в тот город, куда они сами переселялись, в самый последний момент обнаружили рядом с ее мраморной плитой гроб с телом судьи Кэпвелла.

В склепе было довольно темно, но Берч обладал отменным зрением, а потому не прихватил по ошибке гроб с телом Эйсафа Сойера, хотя он действительно очень походил на тот, который был ему нужен. Первоначально он сделал этот гроб для Мэттью Феннера, но затем забраковал его как слишком корявый и непрочный, поскольку в те дни душу его переполняли сентиментальные воспоминания о том, сколь добр и щедр был по отношению к нему старина Мэтт, когда сам Берч пять лет назад испытал горечь банкротства. Таким образом, он предоставил для Феннера свой лучший образец, однако стремление быть экономным не позволило ему выбросить забракованное изделие, и потому он решил использовать его для Эйсафа Сойера, скончавшегося от жестокой лихорадки. Сойер никогда не пользовался особой любовью окружающих, и вся округа была переполнена бесконечными историями о его почти бесчеловечной мстительности и дикой злопамятности по поводу тех или иных людских проступков и слабостей — как реальных, так и вымышленных. В отношении старого Эйсафа Берч не испытывал ни малейших угрызений совести, выделяя для него небрежно сколоченный из подгнивших досок ящик, который он сейчас оттолкнул от себя подальше в поисках гроба с телом Феннера.

Именно в тот момент, когда он наконец отыскал то, что ему было нужно, дверь от резкого порыва ветра захлопнулась, оставив Берча стоящим в сумерках, еще более густых, чем прежде. В узкую фрамугу над дверью внутрь проникала лишь малая толика света, а располагавшееся рядом с ней отверстие вентиляционной трубы не пропускало его вовсе, а потому Берчу не оставалось ничего иного, кроме как самым кощунственным образом, ощупью и спотыкаясь, пробираться среди длинных ящиков в направлении двери.

Наконец добравшись до нее, он, пребывая в предпохоронном сумраке, принялся дергать за проржавевшую ручку, толкать железную створку, то и дело изумляясь, почему это массивная панель стала вдруг такой неподатливой. Прошло

еще немного времени, наполненного столь же бесплодными усилиями, когда до него стала постепенно доходить грустная правда — именно тогда он впервые громко закричал, как будто оставшаяся снаружи лошадь могла помочь ему чем-то более весомым, нежели одним лишь громким и довольно язвительным ржанием. Берч давно не осматривал защелку замка, она заржавела и теперь ее заклинило, отчего беззаботный гробовщик оказался запертым в склепе, став жертвой своей же собственной беспечности.

Произошло все это примерно в половине четвертого. Будучи по натуре флегматиком и довольно практичным человеком, Берч не стал попусту тратить время и силы на крик, а все так же на ощупь направился в угол склепа, где, как он помнил, лежали кое-какие инструменты. Лично мне представляется весьма сомнительным, что он уже в те мгновения проникся зловещей и даже жутковатой сущностью своего положения, однако следовало признать, что сам по себе факт столь нелепого заточения на значительном удалении от ежедневных маршрутов односельчан немало раздосадовал Берча. Получалось, что рабочий день его был безнадежно испорчен, и если сюда волею судьбы не занесет какого-нибудь бродягу, то он вполне мог застрять в этом месте на всю ночь, а то и больше.

Вскоре он действительно наткнулся на инструменты, и, выбрав из них молоток и стамеску, снова принялся лавировать меж гробов по направлению к двери. К тому времени воздух в склепе успел стать еще более зловонным, однако Берч, не обращая никакого внимания на столь незначительную для него мелочь, принялся возиться — в основном также наощупь — с тяжелым и проржавевшим металлом задвижки. Многое бы он тогда отдал за фонарь или хотя бы за огрызок свечи, однако, лишенный их, был вынужден работать как мог, почти вслепую.

Придя к выводу, что защелка категорически отказывается поддаваться даже под напором инструментов, Берч решил поискать какой-то другой путь к спасению. Склеп был вырыт в склоне холма, а потому тянувшаяся сверху узкая вентиляционная труба проходила минимум через метровую, а то и более того толщу земли, что делало всякие раздумья над данным вариантом полностью бесполезными. Над дверью, правда, оставалась высокая, похожая на щель фрамуга, проделанная в кирпичном фасаде склепа, которая вселяла определенные надежды на свое расширение, однако лишь в результате упорного труда. Он долго глазел на эту фрамугу, пока в его мозгах усиленно прорабатывались варианты того, как бы до нее добраться.

Ничего похожего на лестницу в склепе, естественно, не было, а прорубленные вдоль стен и в задней части помещения ниши для установки гробов, на которые Берч подчас не без труда взбирался, ни коим образом не могли бы помочь ему дотянуться до фрамуги над дверью. Лишь гробы оставались единственным, хотя и весьма своеобразным материалом для конструирования импровизированных ступеней, и, придя к этому выводу, он стал прикидывать, как ему наилучшим образом их разместить. Вскоре Берч смекнул, что для достижения поставленной цели ему хватит и трех гробов, хотя для пушей уверенности и удобства лучше установить на четырех. Ящики были довольно ровные и их можно было положить друг на друга, а потому он стал просчитывать варианты, каким образом из восьми гробов сложить некую платформу, которая вздымалась бы ввысь почти на два метра. Погруженный в эти раздумья, он уже начал сожалеть о том, что в свое время не сработал «ступени» своей будущей лестницы попрочнее и понадежнее, хотя я и не берусь судить, посетила ли его также крамольная мысль о целесообразности освобождения деревянных контейнеров от их содержимого.

В конце концов он решил три гроба разместить параллельно стене — они послужат базой всего сооружения, затем положить на них венцом еще четыре гроба — два на два, — а сверху установить последний, восьмой, который будет служить ему опорой для ног. По его прикидке, подобная конструкция должна была оказаться наиболее удобной, обеспечивающей подъем на нужную высоту. Правда, чуть подумав, он все же решил в качестве базы своей платформы использовать только два гроба, с тем, чтобы при необходимости использовать третий на самом верху — как знать, вдруг для осуществления задуманного плана освобождения ему понадобится больший простор для перемещения на верхотуре.

Итак, наш пленник, почти в полной темноте, приступил к осуществлению своего хитроумного плана, без особых церемоний перемещая и вздымая ни на что не реагирующие останки человеческой плоти на нужную ему высоту, словно создавая свою Вавилонскую башню в миниатюре. Под воздействием неизбежных подвижек и ударов некоторые гробы вскоре начали трескаться, а потому он решил приберечь достаточно крепко сколоченный гроб с телом маленького Мэттью Феннера для самого верхнего яруса, поскольку ему хотелось иметь под ногами как можно более прочную опору. Берч принялся отыскивать нужный ему ящик, ориентируясь почти исключительно по

собственному осязанию, и потому наткнулся на него почти случайно, поскольку тот, повинувшись прихоти чьей-то таинственной воли, чуть ли не сам соскользнул ему в руки, тогда как гробовщик почему-то был уверен, что установил его в третьем ярусе.

Наконец, когда башня была сооружена, он ненадолго позволил отдохнуть натруженным рукам и присел на краешек нижней ступени своей мрачной конструкции. Прошло еще несколько минут и Берч, осторожно взобравшись с инструментами на вершину пирамиды, встал точно напротив узенькой амбразуры фрамуги. Края проема были сложены из кирпича, и потому он практически не сомневался в том, что ему без особого труда удастся, при помощи молотка и стамески, так расширить лаз, чтобы протиснуть в него свое крепкое тело.

Как только послышались первые удары молотка, лошадь издала тихое и радостное ржание, причем тональность ее голоса можно было интерпретировать двояко — и как ненавязчивое подбадривание, и как едва завуалированную насмешку. Как бы то ни было, звук этот оказался в данных условиях весьма уместным и даже логичным, ибо неожиданно упорное сопротивление совсем слабенькой на первый взгляд кирпичной кладки оказалось своего рода сардоническим комментарием по поводу тщетности потуг простого смертного, но одновременно служило и призывом к достижению цели, ради которой требовалось приложить максимум усилий.

Снаружи еще больше сгустились сумерки, а Берч все продолжал трудиться, как говорится, в поте лица. Теперь он работал исключительно на ощупь, поскольку налетевшие откуда ни возьмись облака полностью закрыли луну, и хотя прогресс по-прежнему был весьма невелик, он чувствовал себя приободренным уже хотя бы тем, что несмотря на все неудобства продолжает неуклонно скалывать края верхней и нижней кромок зазора. Он был уверен, что к полуночи обязательно выберется наружу, причем — и это было вполне характерно для нашего героя — подобные мысли отнюдь не были омрачены какими-либо соображениями неприятного, мрачного и, тем паче, жуткого свойства. Не смущаемый гнетущим воздействием таких факторов, как позднее время и специфическое место действия, не говоря уже о более, чем необычном характере находившегося под ногами материала, он философски долбил кирпичную кладку, изредка отпуская короткое ругательство, когда в лицо ему отскакивал какой-нибудь мелкий кусочек, и весело похохатывая, когда тот попадал в начинавшую все более нервничать лошадь,

при этом мирно щипавшую траву под ближайшим кипарисом.

Со временем проем расширился настолько, что он даже в нескольких местах примерился к нему своим телом, отчаянно ерзая ногами, отчего гробы угрожающе закачались и заскрипели. Как он обнаружил, особой надобности в дополнительном наращивании всей конструкции не было, поскольку отверстие находилось как раз на нужном ему уровне, так что дело теперь оставалось только за тем, чтобы еще больше расширить лаз.

Было, пожалуй, не меньше двенадцати часов ночи, когда Берч решил все же попытаться пролезть наружу. Усталый и неимоверно вспотевший даже несмотря на многочисленные передышки, он спустился на пол и присел на нижний ярус, чтобы собраться с силами перед решающим рывком, точнее — проползанием, за которым должно было последовать неминуемое падение на землю, но уже с наружной стороны склепа. Оголодавшая лошадь беспрестанно и даже как-то жутковато ржала, и в душе он уже смутно желал, чтобы его единственная спутница в этом ночном приключении поскорее умолкла. Как ни странно, даже в преддверии долгожданного спасения на него вдруг нахлынула мутная тоска, и он уже чуть ли не со страхом предвкушал последнее усилие, поскольку реально осознавал внушительные габариты своей чуть рыхловатой, коренастой фигуры, характерной для мужчины, вступившего в начальную стадию среднего возраста. В очередной раз взобравшись на по-прежнему поскрипывающие гробы, он с мучительной тоской почувствовал собственный вес, особенно тогда, когда, вскарабкавшись на самый верхний ярус, услышал характерный усиливающийся треск, недвусмысленно означавший тотальное расщепление древесины. Берчу показалось, что он допустил стратегическую ошибку, не положив под ноги свой самый прочный гроб, ибо не успел он еще полностью взгромоздиться на него, как подгнившая крышка проломилась и он провалился на добрых полметра, встав ногами на то, о чем даже такой человек, как он, не решался и подумать. Крайне напуганная раздавшимся треском, а может, и той вонью, которая вслед за этим потянулась из склепа наружу, лошадь издала пронзительный крик, который едва ли можно было назвать обычным ржанием, и ошалело рванулась вперед, во мрак ночи, оглушительно гроыхая тащившимся позади нее фургонном.

Оказавшись в столь неудобном и даже мерзком положении, Берч, ко всему прочему, обнаружил, что теперь стоит слишком низко, чтобы попытаться в очередной раз протис-

нуться в проделанный пролом. И все же он решил предпринять последнюю отчаянную попытку. Вцепившись руками в края пролома, он попытался подтянуться, но обнаружил, что нечто, словно мертвой хваткой вцепившись в лодыжки обеих ног, тащит все его тело куда-то вниз.

В следующее мгновение он впервые за все время испытал уже самое настоящее чувство страха, поскольку, как бы ни брыкался и ни дергал ногами, он не мог освободиться от неведомой ему хватки, взявшей его ноги в безжалостный плен. Ужасная боль, словно от удара топора, стрельнула вверх по икрам, а в мозгу закружился водоворот страха, к которому с неугасимой силой реализма примешивались представления о зазубренных краях расколовшегося дерева, острых гвоздях и прочих неизбежных атрибутах разломанного деревянного ящика. Возможно, он даже закричал, но по-прежнему продолжал отчаянно, уже почти машинально извиваться и протискиваться дальше, хотя его сознание уже наполовину окунулось в бездну забвения.

Каким-то образом инстинкт все же помог ему продрасться сквозь отверстие пролома, вслед за чем последовал глухой удар его тела о сырую землю. Идти он, как выяснилось, не мог, а вновь показавшаяся луна стала свидетельницей ужасающего зрелища: Берч волочил свои кровоточащие ноги к кладбищенской сторожке, в безумной поспешности цепляясь пальцами за черную землю, хотя на самом деле тело его передвигалось с той выматывающей душу, сводящей с ума медлительностью, от которой страдает человек, видящий кошмарный сон. На самом же деле его, по-видимому, никто и не собирался преследовать, ибо он по-прежнему был один и все еще жив, когда хозяин сторожки по фамилии Армингтон наконец откликнулся на его слабое царапание в дверь.

Армингтон помог ему добраться до свободной койки и послал своего маленького сына Эдвина за доктором Дэвисом. Раненый пребывал в полном сознании, но не мог сказать ничего сколь-нибудь вразумительного или, тем более, значимого, а лишь бормотал что-то вроде : «О, мои ноги!», «Отпусти!», или «...заперт в склепе».

Вскоре прибыл доктор со своим чемоданчиком, начал задавать пациенту всякие короткие вопросы, а затем снял с него верхнюю одежду, обувь и носки. Обнаруженные им раны — а обе лодыжки Берча и в самом деле были страшно изодраны чуть повыше ахиллесова сухожилия — крайне озадачили, а затем и не на шутку встревожили врача. Его вопросы несли в себе нечто большее, нежели просто вдумчивый интерес лекаря к состоянию больного, а руки заметно подрагивали, пока

он обрабатывал и перебинтовывал изуродованные ноги, причем со стороны могло показаться, что ему хотелось как можно скорее убрать с глаз долой эти страшные раны.

Для в общем-то бесстрастного доктора Дэвиса были довольно нехарактерны те зловещие и полные благоговейного страха вопросы, посредством которых он явно пытался вытянуть из ослабевшего гробовщика все подробности его ужасного приключения. По какой-то непонятной причине он проявлял странную озабоченность, выясняя, действительно ли Берч был уверен — абсолютно уверен — в том, кому именно принадлежал тот гроб, что лежал сверху; каким образом он вообще отыскал его; как ему удалось убедиться в почти полной темноте, что это гроб с телом Феннера, и как он отличил его от стоявшего ниже точно такого же гроба с телом злобного Эйсафа Сойера. А затем высказал и вовсе неожиданное сомнение в том, что столь прочно сколоченный гроб Феннера так легко проломился. Давно работая в этой деревне, Дэвис, разумеется, присутствовал на обоих похоронах, равно как и пользовал Феннера и Сойера во время их болезни, и ему показалось странным, что Берчу удалось уложить в гроб тело довольно долговязого Сойера так же ровно и прямо как и миниатюрного Феннера.

Пробыв в сторожке не менее двух часов, доктор Дэвис наконец ушел, предварительно наказав Берчу объяснять всем и каждому, что раны его были причинены исключительно острыми краями дерева и концами гвоздей. Да и потом, добавил он тогда, разве люди способны поверить во что-либо иное?

Впрочем, для Берча не составило никакого труда говорить именно то, что ему было предписано, и не подпускать к осмотру своего тела никого, кроме доктора Дэвиса. Вплоть до своего смертного часа Берч строго следовал наказу доктора, и лишь мне одному, как его новому лечащему врачу, рассказал детали всей этой истории; едва взглянув на шрамы — явно старые, зарубцевавшиеся и побелевшие — я также подумал, что он поступил совершенно правильно, послушавшись совета доктора.

После того инцидента Берч на всю жизнь остался хромым, поскольку ахиллесовы сухожилия и в самом деле были серьезно повреждены, однако мне кажется, что истинная причина столь неожиданной покорности крылась в его собственной душе. Следовало признать, что его мыслительные процессы, некогда такие флегматичные и вполне логичные, также претерпели жестокие изменения, и мне было горько замечать его подчеркнуто возбужденную реакцию на каждое упоминание

таких слов как «пятница», «склеп», «гроб», равно как и ряда других, не имевших столь явной связи с пережитыми событиями. Перепугавшаяся в ту ночь лошадь Берча вскоре вернулась в свое стойло, однако его собственный потрясенный рассудок так и не смог отыскать пути к родному пристанищу. Разумеется, он сменил род деятельности, однако отныне словно какой-то рок завис над его поникшей личностью. Возможно, это был всего лишь страх, а может, к нему примешивалось нечто вроде раскаяния за прегрешения и ошибки прошлых лет. Что же до его внезапно прорезавшегося пристрастия к спиртному, то оно скорее лишь усиливало воздействие тех пагубных воспоминаний, от которых он столь искренне стремился избавиться.

Едва покинув в ту ночь Берча, доктор Дэвис взял фонарь и пошел в тот самый склеп. Лунный свет достаточно ярко освещал изуродованный кирпич его кладки и испорченный фасад, а засов легко сдвинулся под самым незначительным движением руки. Закаленный прошлым опытом пребывания в анатомическом театре, доктор вошел и огляделся, чувствуя, однако, что вскоре задохнется от той нестерпимой вони, которую выделяли лежавшие кругом тела. Производя свой осмотр, он в один из моментов чуть было не издал невольный крик крайнего изумления от своего открытия, однако несколько минут спустя все же не удержался и выдавил из себя сдавленный и какой-то хриплый звук, который был страшнее любого вопля. Сразу вслед за этим он бросился в сторожку и, сам же нарушив все данные ему пациенту наказы, принялся трясти и будить Берча, после чего обрушился на него лавиной разгоряченного, вопрошающего шепота, который показался очумевшему после сна пациенту шипением негашеной извести, на которую выплеснули ведро воды.

— Берч, это был гроб Эйсафа, как я и предполагал! Я же отлично помню его челюсти — спереди на верхней челюсти недоставало нескольких зубов. О Боже, не видать бы мне больше никогда ничего подобного! Тело сильно разложилось, но если мне еще когда-либо доведется увидеть выражение такой злобной, такой яростной мстительности на чьем-либо лице — точнее, бывшем лице!.. Вы же знаете, какая жажда мести всегда обуревала его, помните, как он преследовал старого Рэймонда даже через тридцать лет после того, как они затеяли между собой ту тяжбу по поводу границ их участков, и с какой яростью пнул того жалкого щенка, который вздумал тяпнуть его в прошлом августе... Да ведь это был суший дьявол, Берч, и мне кажется, что его верность принципу «око за око» способна пережить любое время и одолеть даже саму

смерть! Боже мой, до чего же страшна его ярость — какое счастье, что он не направил ее против меня!

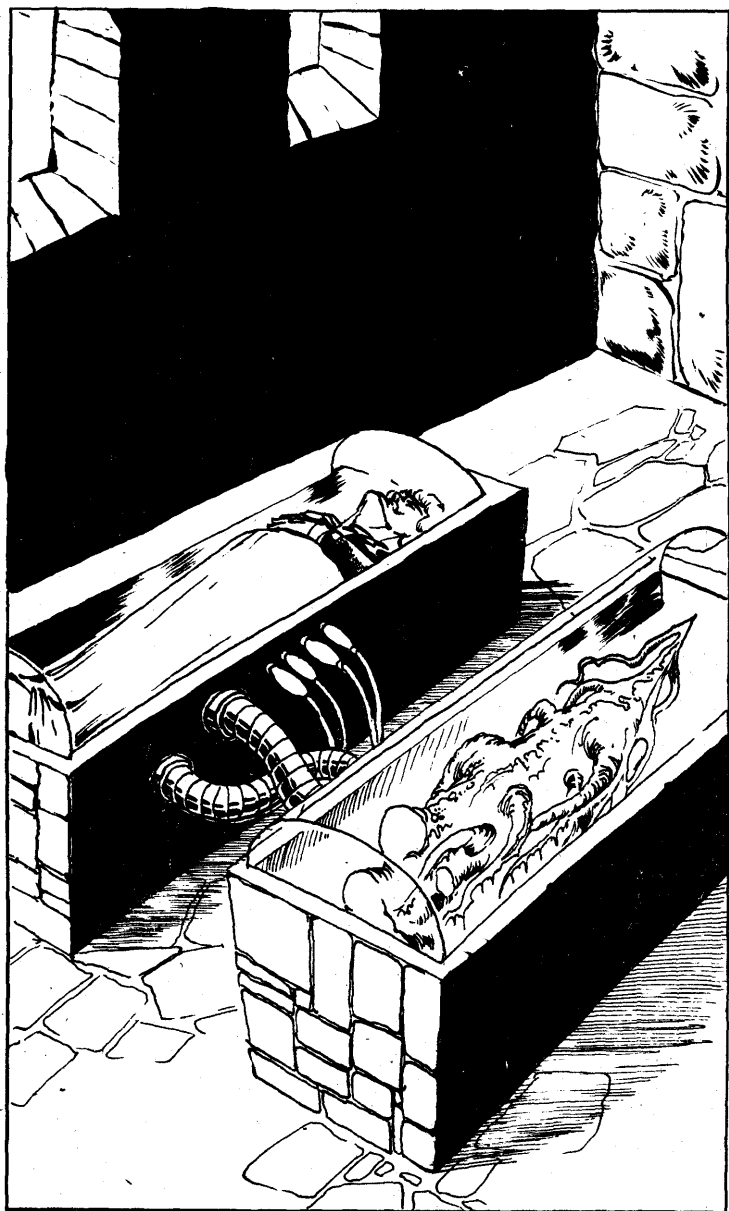
Зачем вы это сделали, Берч? Он действительно был негодяем, и я не осуждаю вас за то, что вы подготовили ему бракованный гроб, но ведь вы всегда ухитрялись зайти в своих проделках слишком далеко! Ну, понимаю еще, сэкономить на чем-то, а то и просто пожадничать, но вы же не могли не помнить, сколь тщедушным был наш маленький старый Феннер.

До конца жизни в моем сознании не сотрется то зрелище, которое я увидел. Хорошо же вы, похоже, тогда ударили — ведь гроб Эйсафа стоял в самом низу! Голова трупа разбита, а все вокруг перевернуто, исковеркано... Много я чего перевидал на свете, но это даже для меня слишком. Око за око! Сказать по правде, Берч, вы получили по заслугам! Один лишь вид его расплющенного черепа едва не вывернул мой желудок наизнанку, но остальное и того хуже — *ведь вас угораздило почти напроць отрубить его лодыжки, чтобы Сойер поместился в гробу, который вы забраковали для Мэтта Феннера!*

Х.Ф.Лавкрафт
А. Дерлет

ТЕМНОЕ БРАТСТВО





Вполне возможно, что все обстоятельства, связанные с загадочным пожаром, который произошел в заброшенном доме на холме неподалеку от Сиконга в небольшом густонаселенном районе между мостами Вашингтона и Красным, так никогда и не станут известными широкой публике. Полицию тогда буквально осаждали толпы чудаков, изъявлявших желание пролить дополнительный свет на это дело, причем особенно в этом усердствовал некий Артур Филипс, являвшийся потомком одного из старинных ист-сайдских родов, которые испокон веков проживали на Энджел-стрит. Этот несколько суматошный и слишком возбужденный, но в целом, по-видимому, вполне искренний молодой человек даже подготовил своего рода отчет о событиях; непосредственно предшествовавших возникновению пожара. Несмотря на то, что полиция тщательно проверила и допросила всех упоминавшихся в сообщении мистера Филипса лиц, ей так и не удалось извлечь из него какую-либо практической пользы для дальнейшего расследования, за исключением, пожалуй, лишь того обстоятельства, что библиотекарь Атенеума* показал, что упомянутый мистер Филипс действительно однажды встречался в этом учреждении с мисс Роуз Декстер. Содержание отчета прилагается.

I

Для любителя ночных прогулок пустынные улицы едва ли не любого города Восточного побережья всегда таят в себе массу странных и ужасных, мрачных и невероятных открытий. Причина этого, пожалуй, заключается в том, что темнота словно способна извлекать наружу из всевозможных щелей и закоулков, из чердачных помещений и глухих подвалов такие образчики человеческих существ, которые по тем или иным причинам, корнями уходящим в глубокое прошлое, предпочитают дневное время суток проводить в своих укро-ных, сумрачных убежищах. Обычно к числу таких лиц относятся самые что ни на есть уродливые, больные, очень старые и немощные, чудаковатые люди — одним словом, почти пропащие души, — которые столь странным способом словно пытаются под покровом ночи заявить о своей личности, ибо только в это время, но никак не при ярком свете солнечного дня, подобная цель оказывается хоть сколь-нибудь осуществимой. Все они — изуродованные жизнью, искалеченные

* Атенеум — название литературных и научных обществ, специализирующихся по проблемам культуры.

мужчины и женщины, которым никогда не удавалось до конца оправиться от лишений и травм далекого детства, — настойчиво ищут таких встреч и ощущений, которые не предназначены для всех остальных нормальных людей; именно поэтому каждый город и вообще любое место, где в течение более или менее продолжительного времени концентрировались особи человеческого рода, буквально кишит подобными типами, хотя видеть их можно исключительно в темное время суток, когда они выползают — словно ночные мотыльки выпархивают — наружу, чтобы на протяжении нескольких часов побродить по узким городским улочкам, пока неумолимое солнце вновь не заставит их скрыться в своих потаенных норах.

Будучи единственным ребенком своих родителей, к тому же во многом предоставленным самому себе по причине врожденного хронического недуга, я также довольно рано обнаружил в себе склонность к ночным блужданиям, поначалу ограничивая их окрестностями Эджел-стрит, где прошла большая часть моего детства, а затем постепенно все более расширяя район прогулок по ночному Провиденсу. В дневное время я, насколько позволяло состояние моего здоровья, любил бродить вдоль берега Сиконга, пока не выходил за пределы города и не оказывался на открытой местности, а иногда, когда чувствовал особый приток сил и энергии, играл с несколькими тщательно отобранными приятелями в нашем «клубе», который мы сами же старательно соорудили в лесистом месте неподалеку от города. Кроме того, я очень любил читать и проводил долгие часы в просторной и богатой библиотеке моего деда, читая безо всякого разбора все, что попадалось под руку, в результате чего приобрел весьма внушительный багаж знаний — от греческих философов до истории английской монархии, от секретов древних алхимиков до экспериментов Нильса Бора, от знаний, запечатленных на египетских папирусах, до более приближенных к нам исследований Томаса Харди*. Мой дед даже при отборе книг демонстрировал верность строгим принципам католицизма, а потому, не признавая никакой специализации, приобретал и хранил лишь то, что, по его разумению, являлось «хорошей» литературой, иными словами — которая могла заинтересовать и увлечь его самого.

Всякий раз ночной город захватывал меня целиком, отвлекая от всех остальных проблем; дальние пешие прогулки я предпочитал любым другим занятиям, а потому все послед-

* Томас Харди — английский писатель-реалист; один из крупнейших лирических поэтов XX века.

ние годы своего детства и ранней юности посвящал полуночным блужданиям, что еще более сделало меня — с учетом того, что в периоды обострения моего заболевания я не мог посещать школу — довольно самоуверенным и не особенно общительным человеком. Даже сейчас я не могу с достаточной уверенностью сказать, что именно с такой настойчивостью и целеустремленностью отыскивал в ходе своих одиноких полуночных прогулок; что такого особенного было в погруженном в темноту городе, почему меня так и манило пройтись по неосвещенной Бенефит-стрит или по едва различимым и почти неизвестным в громадном Провиденсе закоулкам вокруг По-стрит; что надеялся разглядеть в изредка мелькавших мимо лицах людей — таких же полуночников, крадущихся и проскальзывающих по мрачным аллеям и уединенным тропам почти опустевшего города. Возможно, это было всего лишь своеобразным способом бегства от более грубых реалий жизни, обнажавшихся в светлое время суток, к тому же помноженным на неутолимое любопытство и интерес к тайнам города, раскрыть которые, как мне казалось, можно было лишь ночью.

Когда окончание средней школы стало свершившимся фактом, некоторые люди в моем скудном окружении ожидали, что у меня появятся новые интересы и занятия, однако этого не произошло, ибо состояние моего здоровья не позволяло мне отважиться на такую авантюру, как поступление в Брауновский университет, где, естественно, я смог бы продолжить свое образование. Предвидя неизбежную неудачу подобного мероприятия, я лишь еще больше окунулся в свое увлечение — едва ли не вдвое больше времени стал проводить за книгами и до максимума продлил свои прогулки по ночному городу, подстроив под собственные нужды распорядок дня и отсыпаясь в светлое время суток. Во всем же остальном я вел, можно сказать, вполне нормальный образ жизни и отнюдь не забывал заботиться о своей рано овдовевшей матери и тетушках, вместе с которыми мы жили. Товарищи моего детства к тому времени окончательно отделились от меня, зато я открыл для себя Роуз Декстер — темноволосую подругу, происходившую из семьи едва ли не первых переселенцев, прибывших в старый Провиденс, и к тому же обладавшую стройной фигуркой и изумительной красоты лицом, которую я постепенно уговорил присоединиться к моим ночным блужданиям.

Вместе с ней я продолжал бродить по ночному Провиденсу, однако теперь совершал эти прогулки с особым пылом, желая показать Роуз все то, что уже успел открыть для себя в тайнах затемненного города. Познакомились мы с ней со-

вершенно случайно — это произошло в старом Атенеуме, — регулярно встречались там по вечерам, после чего выходили за его главные ворота и отправлялись в странствие по почти непроглядной ночи. То, что поначалу казалось ей экстравагантной забавой, вскоре переросло в устойчивую привычку; девушка не хуже меня пристрастилась к исследованию полузаброшенных проулков и длинных, нехоженных аллей города, а потому довольно скоро она, как и я, стала чувствовать себя на ночных улицах столь же уютно и спокойно, как в собственном доме. Помимо всего прочего Роуз оказалась довольно милой болтушкой, что явилось приятной компенсацией определенного дефицита этого качества у меня самого.

Таким образом мы в течение нескольких месяцев обследовали Провиденс, пока однажды ночью на Бенефит-стрит к нам не подошел незнакомый мужчина в коротковатом плаще, под которым проглядывала мятая, несвежая одежда. Когда мы свернули на эту улицу, он стоял на тротуаре неподалеку от угла дома, и я, проходя мимо, окинул его внимательным взглядом. Было во всем его облике что-то необычное, даже настораживающее, хотя я тут же поймал себя на мысли, что его усащенное лицо с темными глазами и непокорно торчащими волосами на непокрытой шляпой голове показалось мне странно знакомым. Как только мы миновали его, я услышал, что он двинулся следом за нами, пока наконец не догнал и, опустив мне руку на плечо, не проговорил:

— Сэр, вы не подскажете мне дорогу к кладбищу, по которому некогда любил прогуливаться господин По?

Я объяснил ему, как туда пройти, после чего, повинувшись неожиданно возникшему импульсу, предложил проводить его прямо до места. Не прошло и нескольких секунд, как мы все трое уже шагали по тротуару в сторону старого кладбища. Я почти сразу же заметил, что незнакомец внимательно поглядывает на мою спутницу, однако уже довольно скоро от едва зародившихся подозрений на этот счет у меня не осталось и следа, поскольку я понял, что в манерах этого человека не было ничего оскорбительного, а все его поведение казалось скорее подчиненным рациональному расчету, нежели движимым какими-то страстями. Со своей стороны я также старался приглядеться к нему, используя для этого краткие освещенные участки пути под тусклыми уличными фонарями, и при этом с каждой минутой все больше ловил себя на мысли, что знаю или по крайней мере когда-то в прошлом знал этого человека.

Одет он был почти во все черное, если не считать белой рубашки и мягкого виндзорского галстука. Одежда была неглаженной, как если бы ему приходилось носить ее довольно

долго, не имея возможности основательно заняться своим туалетом, хотя следовало признать, что наряд его отнюдь не походил на грязные лохмотья большинства обитателей ночного города. У него были круто изогнутые, почти куполообразные брови, из-под которых на собеседника глядели внимательные, запоминающиеся глаза, а все лицо сужалось книзу, заканчиваясь тупым подбородком. Прическу он носил также более длинную, нежели было принято у большинства людей моего поколения, хотя по возрасту едва ли превосходил меня больше, чем лет на пять. Зато фасон костюма незнакомца явно относился к более давним временам, отчего складывалось впечатление, будто портной специально скроил его гардероб по моде чуть ли не полувековой давности.

— А вы ведь не из Провиденса, — запросто проговорил я.

— Да, погостить приехал, — коротко ответил он.

— И вас интересует По?

Он кивнул.

— Вы много про него знаете? — было моим следующим вопросом.

— Отнюдь, — возразил незнакомец. — Кстати, не могли бы вы просветить меня на этот счет?

Меня не пришлось долго упрашивать и я почти сразу же выдал ему краткий биографический очерк о родоначальнике детективного жанра и признанном мастере жутковатых рассказов, чьими произведениями я когда-то просто зачитывался. Более подробно я остановился лишь на истории его романа с миссис Сарой Элен Уитмэн, поскольку частично он протекал в моем родном Провиденсе и имел определенное отношение к тому самому кладбищу, к которому мы как раз направлялись. Я заметил, что мужчина слушал меня почти с восхищенным вниманием, словно пытался зафиксировать в памяти все, что я ему говорил, хотя по выражению его лица было совершенно невозможно определить, нравилось ли ему или, напротив, вызывало неудовольствие содержание моего рассказа. Кроме того, я не имел ни малейшего представления о том, чем именно был вызван этот его интерес к покойному писателю.

Со своей стороны, Роуз, несомненно, отметила и гоячую заинтересованность нашего попутчика моим рассказом, а также и его интерес к 'ее собственной персоне,' однако при этом она ничуть не застенялась, так как чувствовала, что внимание это не лишено амурной корысти. Лишь когда незнакомец спросил, как ее зовут, я поймал себя на мысли о том, что сам не поинтересовался его именем. Он представился «мистером Аланом» — услышав это имя, Роуз едва уловимо улыбнулась, что не ускользнуло от моего внимания, поскольку

ку в тот самый момент мы проходили под одним из редких уличных фонарей.

После того как произошла процедура нашего импровизированного знакомства, наш спутник, казалось, вообще утратил ко всему какой-либо интерес, и потому остаток пути до кладбища мы прошли в почти полном молчании. Я подумал, было, что мистер Алан войдет на его территорию, однако, как выяснилось, ему хотелось лишь уточнить его местонахождение, чтобы посетить это место позднее, уже при дневном свете. На мой взгляд, это было вполне разумным решением, поскольку, хотя я довольно неплохо знал кладбищенскую территорию и не раз бывал там даже ночью, в темное время для нового человека там было бы мало интересного.

Расстались мы у ворот кладбища, после чего, пожелав ему спокойной ночи, пошли дальше.

— Знаешь, — сказал я, обращаясь к Роуз, когда мы удалились на значительное расстояние от нашего нового знакомого, так что он не мог уже нас услышать, — я все время смутно ощущал, что знаю этого человека, но никак не мог припомнить, где именно его видел. Может, в библиотеке?

— Да уж, определенно в библиотеке, — проговорила Роуз с характерным для нее коротким гортанным смешком. — И не иначе как на настенном портрете.

— Да что ты! — не удержавшись, воскликнул я.

— Разве ты не уловил сходства, Артур?! — в свою очередь воскликнула девушка. — Хотя бы по его имени. Да это же вылитый Эдгар Алан По.

И в самом деле, это был именно он. Как только Роуз произнесла это имя, я сразу же вспомнил поразительное сходство, даже в одежде, и тут же причислил мистера Алана к довольно безвредной когорте идолопоклонников, которые в своей любви к кумирам подчас даже стараются копировать их внешность, вплоть до старомодных нарядов. Странно было лишь то, что он вздумал в одиночку бродить по улицам ночного города.

— И все же должен признать, что это самый странный тип, которого мы с тобой когда-либо встречали во время наших прогулок, — заметил я.

Она слегка сжала мою руку.

— Артур, а ты не заметил ничего необычного в этом человеке?

— Ну, пожалуй, во всех ночных бродягах, вроде нас с тобой, есть что-то необычное. Хотя бы в том, что мы сами создаем собственную реальность.

И все же, несмотря на свой полусушительный ответ, я догадался, что именно имела в виду Роуз, а потому не испытывал

особой потребности в последовавшем затем с ее стороны потоке дополнений и пояснений. Я также смутно осознавал, что во всем облике и поведении этого самого мистера Алана определено было что-то «не то», какой-то намек на неуместность, даже нелепость не только его внешности, но и всего существования. И проявлялось все это, как я теперь понимал, в целой серии самых банальных и обычных вещей. Например, в почти полном отсутствии мимики на подчеркнуто бесстрастном лице; в его речи — правда, довольно лаконичной, однако также лишенной привычных слуху оттенков и вариаций тембра голоса, что делало ее почти механической. За все время нашего разговора он ни разу не улыбнулся, и вообще ни коим образом не изменил подчеркнуто отстраненного выражения своего лица, и мимика его, равно как и слова, отличались поразительной беспристрастностью, почти отчужденностью, которые были весьма необычны для нормального человека, тем более мужчины, находящегося в обществе молоденькой девушки. Даже тот интерес, который он проявил по отношению к Роуз, носил скорее, если так можно выразиться, клинический, нежели личностный характер. К этому следовало также добавить, что по мере того, как меня разбирало все большее любопытство от встречи с этим человеком, я почему-то начинал испытывать какую-то смутную напряженность, почти тревогу, а потому поспешил перевести разговор на другую тему и вскоре проводил Роуз до крыльца ее дома.

II

Похоже на то, что мне было предначертано свыше снова повстречать мистера Алана, причем не далее как двумя ночами позже — на сей раз неподалеку от дверей моего собственного дома. Возможно, это покажется абсурдным, однако я не мог отделаться от ощущения, что он специально поджидал меня, и что ему не меньше меня хотелось продолжить наше знакомство.

Я сердечно поприветствовал его — как товарища по ночным блужданиям, и сразу же заметил, что хотя голос мистера Алана довольно умело имитировал ответную радость от встречи, на лице его не отразилось ни малейшего намека на какие-то чувства — оно оставалось совершенно неподвижным, «деревянным», если пользоваться языком романтических писателей; губы его не тронула даже самая слабая улыбка, а в темных глазах не промелькнуло ни малейшего проблеска

истинного возбуждения. Вспомнив разговор с Роуз, я повнимательнее присмотрелся к нему и отметил, что внешнее сходство с покойным писателем действительно было поразительным. Более того, если бы в дальнейшем он стал настаивать на том, что и в самом деле является одним из потомков Эдгара По, то я, пожалуй, был бы склонен ему поверить.

Вообще же все это показалось мне редчайшим совпадением, хотя и не более того, поскольку в ходе дальнейшего разговора мистер Алан ни коим образом не касался ни личности самого По, ни периода его жизни в Провиденсе. Как вскоре выяснилось, он был гораздо больше заинтересован в том, чтобы выслушать мои речи, тогда как со своей стороны, как и при первой нашей встрече, демонстрировал явную неразговорчивость, да и манеры его, как ни странно, остались прежними — как если бы ранее мы с ним никогда не встречались. Впрочем, нельзя было исключить, что он лишь искал в моих словах нечто такое, что могло бы стать предметом общего разговора, поскольку как только я обмолвился, что регулярно читаю в провиденсовском «Журнале» колонку, посвященную проблемам астрономии, как он тут же принял оживленное участие в беседе. Таким образом, то, что на протяжении чуть ли не семи кварталов нашей прогулки являлось не чем иным, как моим сольным выступлением, неожиданно переросло в самый настоящий диалог.

Мне сразу стало ясно, что в проблемах астрономии мистер Алан отнюдь не новичок. С некоторой, как мне показалось, горячностью, неожиданно прорезавшейся в его голосе, он высказал ряд собственных, причем подчас довольно спорных суждений по ряду проблем. При этом он, однако, не стал тратить много времени на отстаивание точки зрения о принципиальной возможности межпланетных путешествий, и лишь кратко обмолвился, что не только некоторые планеты нашей солнечной системы, но и огромное количество звезд во вселенной являются обитаемыми.

— Человеческими существами? — с явным недоверием уточнил я.

— А почему именно человеческими? — переспросил он. — Жизнь вполне может существовать не только в облике человека. Ведь даже здесь, на этой планете, она весьма многообразна.

После этого я спросил его, читал ли он работы Чарльза Форта.

Выяснилось, что не читал. Более того, он вообще впервые услышал имя этого ученого, и я по его просьбе изложил ему содержание некоторых теорий Форта, присовокупив к ним ряд фактов, которые тот сам приводил в подтверждение своих

идей. При этом я обратил внимание на то, что в ходе моего рассказа мистер Алан несколько раз коротко кивал головой, явно соглашаясь с высказываемыми мыслями, хотя на лице его по-прежнему не дрогнул ни один мускул. В одном месте он даже перебил меня.

— Да, это действительно так. То, что он предполагает, полностью соответствует действительности.

В тот момент я как раз говорил о наблюдениях неопознанных летающих объектов, которые отмечались во второй половине девятнадцатого века неподалеку от Японии.

— Но вы-то откуда это знаете?! — не удержавшись, воскликнул я.

Мистер Алан тут же ударился в пространные объяснения, суть которых заключалась в следующем. Любой дальновидный и талантливый астроном, где бы он ни жил и ни работал, никогда не считал, что земля является единственной планетой, на которой существует жизнь. Из этого со всей очевидностью следовало, что если обитающие в некоторых соседних мирах формы жизни находятся на менее организованном и более примитивном по сравнению с землей уровне своего развития, то существуют также такие космические образования, где этот уровень намного выше земного. Данная предпосылка, в свою очередь, позволяла сделать вполне логичный вывод о том, что именно эти более высокоорганизованные формы жизни постигли способы совершения межпланетных путешествий, в результате чего после довольно длительного периода наблюдений они смогли весьма неплохо изучить и саму землю, и ее обитателей, как если бы это была одна из родственных им планет.

— Но с какой целью? — спросил я. — Чтобы пойти с войной на нас? Осуществить вторжение на землю?

— Более высокоорганизованные формы жизни едва ли станут полагаться на столь примитивные методы, — заметил мой спутник. — Они наблюдают за нами, точно так же, как мы наблюдаем за луной и слушаем радиосигналы с других планет — ведь мы находимся лишь на самых низших ступенях подготовки к межпланетным контактам и собственно космическим полетам, тогда как расы, обитающие на удаленных звездах, давным-давно освоили и то, и другое.

— Но как вы можете говорить обо всем этом с такой безапелляционностью? — вновь спросил я.

— Дело в том, что я это знаю. Впрочем, ведь вы и сами же пришли к точно таким же выводам.

Я согласился, что это так.

— И вы продолжаете придерживаться прежней широты взглядов?

Я признал и это.

— В достаточной степени, чтобы ознакомиться с доказательствами подобной теории, если таковые будут вам представлены?

— Разумеется, — кивнул я, хотя, пожалуй, некоторый скептицизм, неизбежно прозвучавший в моих словах, все же трудно было не заметить.

— Это хорошо, — сказал он. — В таком случае, если вы позволите, я и мои братья хотели бы прийти к вам домой на Энджел-стрит, где мы попытались бы убедить вас в существовании жизни в других мирах — возможно, не в точно такой же человеческой форме, но определенно жизни, и к тому же обладающей гораздо более мощным интеллектуальным потенциалом, нежели любой из ныне живущих на земле самых образованных людей.

Меня буквально ошеломила широта подобных взглядов и убеждений, хотя я и постарался не показать своих чувств. Его убежденность заставила меня вновь подумать о том, сколь разнородные личности порой встречаются на ночных улицах Провиденса, причем мистер Алан, несомненно, принадлежал к числу тех, кто был одержим самыми невероятными идеями, и потому был преисполнен присущего большинству из них стремления обратить в собственную веру как можно больше новых сторонников.

— Ну что ж, — проговорил я, принимая его идею, — когда и где вам будет угодно. Впрочем, раз все это состоится у меня дома, я бы предпочел время попозднее, чтобы дать возможность моей матушке улечься в постель. Дело в том, что всякие новые опыты и эксперименты неизменно вселяют в нее чувство тревоги.

— Как бы вы отнеслись к идее встретиться в следующий понедельник, также ночью?

— Договорились.

Больше мой спутник этой темы не касался, да и вообще практически не принимал участия в беседе, так что основное бремя разговора опять пришлось нести мне. Возможно, я оказался не особенно умелым рассказчиком, поскольку где-то через три квартала, когда мы подошли к широкой аллее, мистер Алан неожиданно стал прощаться и, пожелав мне спокойной ночи, ступил на ее широкий тротуар и скрылся в ночи.

Мог ли он жить где-то поблизости от этого места? Мне это показалось маловероятным и я предположил, что в таком случае он вскоре должен появиться на другом конце аллеи. Подчиняясь неожиданному импульсу, я поспешил к противоположному краю квартала и притаился в тени параллель-

ной улицы, откуда, незамеченный для посторонних глаз, мог достаточно ясно видеть открывавшееся передо мной пространство.

Не успел я еще отдышаться, как мистер Алан довольно праздной походкой вышел на освещенную часть улицы. Поначалу я подумал, что после перекрестка он пойдет дальше по аллее, однако вместо этого мой ночной знакомый свернул на боковую улицу и, чуть прибавив шагу, двинулся по ней. Меня просто обуряло любопытство и я стал незаметно следовать за ним, стараясь держаться самых темных углов и закоулков. Впрочем, данная предосторожность, как выяснилось, оказалась совершенно напрасной, поскольку мистер Алан ни разу даже не обернулся; он шел, устремив взор прямо перед собой и, насколько я мог судить, совершенно не глядел по сторонам и, тем более, не проверял, не идет ли кто за ним следом. Тогда я предположил, что он направляется к себе домой, поскольку в столь поздний час — время перевалило далеко за полночь — это было бы самым естественным.

Мне не составило большого труда следовать за моим ночным спутником, поскольку я прекрасно ориентировался в окружавших меня и знакомых с детства улицах. Мистер Алан определенно двигался в направлении Сиконга и так ни разу и не свернул, пока мы не оказались в довольно захудалом районе Провиденса, где он пошел чуть в сторону давно заброшенного дома, стоявшего на гребне невысокого холма.

К счастью, я продолжал оставаться в тени, поскольку мистер Алан, как выяснилось, отнюдь не спешил укладываться в постель. Вместо этого он, похоже, прошел через дом, незаметно вышел через заднюю дверь и вновь обогнул квартал, поскольку я неожиданно увидел, как он опять подходит к дому с той же стороны, с которой совсем недавно шли мы оба. Миновав место моего укрытия, он снова вошел в дом, по-прежнему не зажигая в нем света.

На сей раз он определенно остался внутри. Я прождал еще минут пять или что-то около того, после чего повернулся и побрел назад в сторону своего собственного дома на Энджел-стрит. При этом я был явно доволен тем, что в своем преследовании мистера Алана не превысил того, что прошлой ночью позволил себе сделать он сам — я уже давно пришел к выводу, что наша сегодняшняя встреча произошла отнюдь не случайно, но по предварительному умыслу со стороны моего нового знакомого.

Удалившись на несколько кварталов от дома мистера Алана, я, тем не менее, испытал подлинное изумление, увидев, как со стороны Бенефит-стрит мне навстречу движется мой вездесущий знакомый! Пока я терзался предположениями

относительно того, как ему удалось, выйдя из своего дома, совершить столь большой крюк, чтобы не только опередить меня, но и двигаться мне навстречу, а заодно тщетно пытался выстроить предполагаемый маршрут его передвижения, он преспокойно прошел мимо меня, не проявив при этом ни малейшего признака того, что узнал во мне своего недавнего спутника по блужданиям по ночному городу.

И все же это был определенно он — столь характерную внешность невозможно было спутать даже в условиях затемненного города. Бормоча про себя его имя, я обернулся и посмотрел ему вслед, тогда как сам он даже ни разу не повернул головы и продолжал спокойно идти вперед, явно направляясь к тому самому месту, которое я совсем недавно покинул. Я продолжал стоять и смотреть ему в спину, пока его фигура окончательно не затерялась в ночной темноте, тогда как в мозгу моем прокручивались бесконечные варианты его продвижения по малознакомому — для него, но не для меня — городу, в результате чего он смог в очередной раз встретиться со мной лицом к лицу.

Встретились мы с ним на Энджел-стрит, по Бенефит прошли дальше на север, после чего свернули в сторону реки. Лишь перейдя на самый настоящий бег, он мог сделать немислимый крюк и повернуть на встречное мне направление. Но самое непонятное заключалось в том, что ему это вообще зачем-то понадобилось. Какую цель он этим преследовал? Это полностью сбивало меня с толку, особенно если учесть, что, судя по выражению его лица, он в самом деле не признал меня, словно мы были самыми настоящими незнакомцами!

И все же, даже если события этой ночи показались мне поистине необъяснимыми, то наша встреча с Роуз у Атенеума на следующий вечер окончательно сбила меня с толку. Девушка определенно поджидала меня и, как только я показался из-за угла, тут же бросилась мне навстречу.

— Ты видел мистера Алана? — спросила она.

— Только вчера, — ответил я, и готов был уже пересказать ей произошедшие непонятные события, но девушка не позволила мне даже рта раскрыть.

— Я тоже! Он проводил меня от библиотеки до дома.

Я напрягся и выслушал до конца ее рассказ. Оказывается, мистер Алан поджидал ее, когда она выходила из библиотеки. Встретив ее и убедившись в том, что меня поблизости нет, он спросил, не может ли составить ей компанию. Так они прошли примерно с час, почти не разговаривая, а если и обменивались какими-то фразами, то исключительно на темы достопримечательностей города, архитектуры отдельных строений и тому подобного — в общем, как вел бы себя любой другой уме-

ренно пытливый гость Провиденса, — после чего он проводил ее до дома. Иными словами получалось, что пока я находился в обществе мистера Алана в одной части города, Роуз составляла ему компанию в совершенно другом районе, причем ни один из нас не испытывал ни малейшего сомнения в том, что имеет дело с самым «настоящим» мистером Аланом.

— Я видел его после полуночи, — проговорил я, и это было правдой, хотя и не всей правдой.

Столь необычное совпадение, разумеется, имело какое-то вполне логичное объяснение, хотя я и не испытывал желания обсуждать его с девушкой, а тем более беспричинно зарождать в ее сердце какую-то тревогу. В самом деле, мистер Алан упоминал каких-то «братьев», так что скорее всего мы имели дело с двумя близнецами. Но как тогда можно было объяснить этот вполне явный и, несомненно, заранее подстроенный обман? Ведь один из этих джентльменов определенно не мог быть тем самым мистером Аланом, с которым мы познакомились и гуляли в ту самую первую ночь. Но который из них? Про себя я был уверен, что имел дело с тем самым, «первым» мистером Аланом, с которым мы познакомились двумя ночами раньше.

Стараясь максимально тщательно подбирать выражения, я стал осторожно выпытывать у Роуз детали ее прогулки и беседы с мистером Аланом, явно надеясь на то, что в каком-нибудь месте она все же выскажет некоторое сомнение в истинности, идентичности ее спутника тому ночному незнакомцу, однако выяснилось, что надеждам моим не суждено сбыться. Она не высказала подобных сомнений и была искренне уверена в том, что гуляла с тем самым джентльменом, с которым мы познакомились две ночи назад, поскольку он изредка ссылался на содержание нашего первого разговора, а потому она была убеждена, что имеет дело с уже знакомым ей человеком. Она так и осталась убежденной в этом, поскольку сам я держал язык за зубами — мне было ясно, что здесь кроется какая-то довольно мрачная тайна, ибо братья определенно проявляли особый интерес к нашим персонам, причем интерес этот явно выходил за рамки совместных блужданий по ночному городу и раскрытия его загадок, доступных пониманию именно в темное время суток и ставших совершенно неприступными с появлением первых предрассветных лучей солнца.

Вместе с тем, мой спутник договорился со мной о последующей встрече, тогда как из слов Роуз у меня не сложилось впечатления о том, что ее компаньон также назначил ей свидание в один из ближайших вечеров. Но зачем ему вообще понадобилось поджидать ее у библиотеки? Однако на этом

чередa моих догадок и предположений резко обрывалась, поскольку ни один из гипотетических «братьев» мистера Алана, с которыми я распрощался у порога их временного жилища, не мог быть спутником Роуз, и причина тому была совершенно простой и очевидной: девушка жила слишком далеко от того места, где я в последний раз видел этих людей, а потому никто из них не мог даже теоретически добраться с дома на холме до места их встречи. И все же во мне медленно зарождалось неприятное чувство тревоги. А вдруг на самом деле существовало трое братьев Аланов — самая настоящая тройня? Или их было даже четверо? Но нет же, я был убежден в том, что встретил тогда повторно того же самого, «первого» мистера Алана, даже если третий на самом деле был совершенно другим человеком.

Сколько я ни ломал себе голову, загадка по-прежнему оставалась совершенно неразрешимой. Что и говорить, я пребывал в состоянии крайней неопределенности, ибо до срока нашей предстоящей встречи с мистером Аланом оставалось всего два дня.

III

Но даже с учетом всего этого, я был как-то не вполне готов к предстоящей в понедельник ночью встрече с мистером Аланом и его братьями. Они пришли в четверть одиннадцатого, когда моя матушка уже ушла к себе в комнату. Я ожидал увидеть максимум троих, но их оказалось семеро, и они были похожи друг на друга как, разумеется, не две, а уже семь капель воды, причем мне не удалось даже установить, кто из них является тем самым мистером Аланом, с которым мы совершали наши прогулки по ночному Провиденсу, хотя и предположил, что именно он выступал от имени всей группы.

Они прошли в гостиную и сразу же принялись расставлять в ней стулья в форме некоего полукруга, что-то бормоча насчет «природы эксперимента», хотя я, надо признать, все еще находился под воздействием шока, который испытал при виде семерых совершенно идентичных мужчин, имевших столь поразительное сходство с Эдгаром Аланом По, а потому едва ли обращал внимание на то, что они в те минуты говорили. К тому времени я, однако, успел заметить в свете своей газовой лампы, что все семеро имели какой-то странный, бледный, почти восковой цвет лица, который если и не заставлял усомниться в том, что они были созданы, подобно мне, из

плоти и крови, однако наводил на мысль о довольно необычной болезни, чем-то вроде анемии или иного недуга, делавшей их лица столь бесцветными. Их темные глаза были устремлены прямо перед собой и в то же время как бы оставались незрячими, хотя поведение этих людей отнюдь не наводило на мысль о дефиците восприятия окружающей обстановки, как словно они получали информацию о ней посредством неких недоступных мне органов чувств. Не могу сказать, что в те минуты меня охватил страх, хотя я определенно испытывал сильнейшее любопытство, смешанное со все возрастающим ощущением чего-то совершенно чуждого, причем не только моему предшествующему опыту, но и моему естеству как таковому.

Таким образом, мы почти не обменивались взглядами и фразами, когда желаемый полукруг из стульев наконец был образован, после чего все братья расселись на них, а самый старший, как я мысленно определил его для себя, указал и предложил мне сесть на восьмой стул, стоявший как бы в центре образовавшегося полукруга, лицом к остальным.

Я сделал, как мне было сказано, и тут же стал объектом их напряженных взглядов, хотя, следует признать, у меня сложилось тогда такое ощущение, что они смотрели не столько на меня, словно сквозь меня, всматриваясь во что-то, находящееся у меня за спиной.

— Наша цель, мистер Филипс, — проговорил старший, которого я считал именно тем господином, с которым повстречался тогда на Бенефит-стрит, — заключается в том, чтобы сформировать у вас некоторое представление о внеземной жизни. От вас требуется немного: расслабиться и быть способным к восприятию наших сигналов.

— Я готов, — проговорил я.

Я предполагал, что они попросят приглушить свет, поскольку считал эту деталь неотъемлемой частью всех подобных сеансов, однако это не понадобилось. Некоторое время просидев в полном молчании, нарушаемом лишь тиканьем часов в холле и отдаленным гулом городской жизни за окнами, братья неожиданно запели — пожалуй, это слово в наибольшей степени отражало характер их действий. Голоса у них были низкими, можно сказать, даже приятными, а издаваемые звуки казались убаюкивающими, чем-то напоминая колыбельную, и изредка перемежались странными похрипываниями, которые я посчитал словами, хотя, разумеется, совершенно не разбирал их смысла. И само пение, и то, как они его исполняли, казалось мне совершенно непривычным, абсолютно чуждым; интонации были явно минорными, а интервалы между звуками не имели никакого сходства с любой

из известных мне земных музыкальных систем, хотя в чем-то все это отдаленно походило на восточную, но никак не западную мелодию.

Впрочем, не успел я как следует вслушаться в окружавшее меня мелодичное звучание, как почувствовал, что со мной происходит нечто совершенно невообразимое: лица всей семерки потеряли былую отчетливость и стали словно расплываться, одновременно соединяясь в некое подобие единого колыхающегося лица, а сам я словно поплыл сквозь развернувшееся передо мной пространство бесчисленных исторических и доисторических эпох. Я понимал, что нахожусь в состоянии своего рода гипноза, однако не испытывал при этом ни малейшего дискомфорта; меня оно абсолютно не тяготило, ибо было совершенно новым, неизведанным ранее, и к тому же довольно приятным, хотя в нем и присутствовал некоторый намек на диссонирующие ощущения, как если бы за пеленой охвативших меня расслабленных чувств смутно маячило что-то тревожное и даже зловещее.

Постепенно свет лампы, образы стен и сидевших передо мной людей стали терять свои очертания, словно растворяясь в небытии, хотя я по-прежнему сознавал, что нахожусь у себя дома на Энджел-стрит; но одновременно ощущал, что каким-то образом оказался перенесенным, в иное окружение, и во мне с каждой секундой при виде этой чуждой мне среды все более зрело тревожное ожидание, к которому примешивалось подсознательное восприятие чего-то отталкивающего и даже враждебного. Создавалось впечатление, будто я теряю сознание, находясь во враждебной мне обстановке, и лишен каких-либо средств для возвращения на родную землю — ибо это была явно неземная обстановка, исполненная громадного, поражающего воображение своими размерами величия, но одновременно совершенно недоступная для осмысления силами человеческого разума.

Вокруг меня кружили безбрежные, искаженные и совершенно инородные пространства, а в центре их находилась неплотная группа каких-то гигантских кубов, разбросанных в бездне фиолетового, странно-возбуждающего свечения. Между ними перемещались другие объекты — громадные, переливчатые, морщинистые конусы, базировавшиеся на широких, почти трехметровых в поперечнике основаниях, поднимавшиеся на такую же трехметровую высоту и состоящие из какого-то ребристого, чешуйчатого, полужесткого вещества. В верхней части из этих конических фигур вырастали по четыре гибких цилиндрических отростка, каждый примерно сантиметров тридцать в толщину и состоящий из такого же вещества, однако на вид более похожие на реальную

плоть, отчего я предположил, что сами конусы представляли собой своего рода тела неведомых мне существ, а отростки были их своеобразными членами или конечностями, способными то сокращаться, то вытягиваться, причем подчас на весьма внушительную длину, сопоставимую с высотой самого тела. Двое из этих отростков увенчивались огромными лапами или клешнями, тогда как на третьем был гребень из четырех красных воронкообразных придатков, а четвертый заканчивался внушительных размеров желтым шаром не менее полуметра в диаметре, прямо по центру которого располагались три громадных глаза темно-опалового цвета, способных благодаря своему специфическому креплению поворачиваться практически в любом направлении.

Совершенно зачарованный, я лицезрел это невиданное зрелище, однако одновременно ощущал, что во мне зреет жуткое отвращение при виде этих совершенно чуждых мне существ. Одновременно с этим я словно предвкушал момент неожиданного открытия, способного прояснить мне значение всего этого перемещающегося и шевелящегося кошмара. Со все большей отчетливостью и ясностью осознавая, что двигающиеся конические фигуры с подчеркнутой заботой относятся к громадным кубам, я увидел, что их странные головы были увенчаны четырьмя нежными на вид сероватыми стебельками, заканчивавшимися похожими на бутоны отростками, тогда как с нижней их стороны произрастали восемь извилистых эластичных щупалец буровато-зеленого цвета, которые находились в состоянии постоянного змееподобного движения, растягиваясь и сокращаясь, удлиняясь и укорачиваясь, кользясь из стороны в сторону, как если бы они жили самостоятельной жизнью, никак не связанной с более грузными и вялыми конусоподобными телами. И вся эта сцена утопала в бледном красновато-сиреневом свечении, словно исходящем от умирающего небесного светила, спектр лучей которого все больше сдвигался к ультрафиолетовой гамме цветов.

Зрелище это произвело на меня совершенно непередаваемое впечатление; мне казалось, что я получил возможность заглянуть в совершенно иной мир, гораздо более обширный и безбрежный, чем наш собственный, отличный от него своими совершенно необычными размерами и формами жизни, и находящийся в безмерно далеком удалении как во времени, так и в пространстве. Глядя на этот чуждый мне мир, я постепенно все более осознавал — ибо словно впитывал в себя его безбрежное и чудовищное знание, — что вижу перед собой умирающую расу, перед которой стоял жестокий выбор: либо покинуть данную планету, либо погибнуть вместе с ней. В какое-то мгновение я словно распознал ростки все более

надвигающейся на меня злобной силы, и страстным, отчаянным усилием скинул с себя оковы этого странного, сковывающего все мое естество пения, криком протеста словно распахнул отдушину для выхода все более усиливающегося страха, а затем резко поднялся на ноги, с грохотом опрокинув при этом на пол стул.

В то же мгновение видение, зависавшее у меня перед глазами, исчезло, и комната приобрела свои былые очертания. Напротив меня сидели мои гости — все те же семеро удивительно похожих на Эдгара По джентльменов, теперь еще более бледных и апатичных, ибо и их гудящее пение и странные хрипловатые словесные вставки окончательно смолкли.

Я постарался взять себя в руки и успокоить отчаянно бьющееся сердце.

— То, что вы видели, мистер Филипс, представляло собой сцену из жизни, протекающей на одной из крайне удаленных отсюда звезд, — сказал мистер Алан. — Она расположена далеко в космосе, можно сказать, в иной Вселенной. Ну как, вас это хоть немного в чем-то убедило?

— Я видел вполне достаточно, — с горячностью воскликнул я.

Трудно было определить, какие чувства испытали эти люди при моих словах, поскольку все они, включая и их старшего, сохранили прежнюю бесстрастность. Наконец он слегка наклонил голову и проговорил:

— А сейчас, если не возражаете, мы бы хотели удалиться.

После этих слов они молча, один за другим вышли на пустынную Энджел-стрит.

Признаюсь, я был просто ошеломлен. Я не располагал никакими реальными доказательствами того, что действительно лицезрел картину из жизни иного мира, однако был готов поклясться в том, что пережил поразительную, невероятную галлюцинацию, вызванную, очевидно, гипнотическим воздействием.

Но зачем все это было устроено? Такая мысль ни на мгновение не покидала меня, пока я наводил порядок у себя в комнате, однако так и не пришел к каким-то более или менее убедительным выводам о побудительных причинах подобной демонстрации. Не вызывало никакого сомнения то обстоятельство, что мои странные визитеры намеревались продемонстрировать мне свои поразительные способности — но с какой целью? Кроме того, следовало признать, что сам по себе факт появления у меня в доме семерых совершенно идентичных людей произвел на меня не меньшее впечатление, чем вся эта поразительная галлюцинация. То, что на свет появлялись пятеро близнецов, это мне было известно, но что-

бы семеро — нет, это было просто невозможно. А кроме того, даже если рождались близнецы, они лишь крайне редко имели столь поразительное сходство. И все же, хотя в мозгу у меня не появлялось ни малейшего проблеска на объяснение всего случившегося, я видел перед собой семерых совершенно одинаковых мужчин, одного и того же возраста.

Столь же неуловимым оставался и смысл всей той сцены, свидетелем которой я оказался. Каким-то образом до меня дошло, что странные кубические тела были чувствующими образованиями, для которых фиолетовое свечение являлось источником жизненных сил; понимал я и то, что конусоподобные существа в некоем роде ухаживали, заботились о них, однако не имел ни малейшего представления о том, как именно это происходило. Вся эта сцена оставалась для меня совершенно бессмысленной; она явно принадлежала к числу видений, порожденных в высшей степени организованным воображением с последующей телепатической перекачкой информации от донора к реципиенту, в данном случае ко мне. То, что она доказывала существование внеземной жизни, казалось мне чудовищно нелепым, и единственный вывод, который можно было из всего этого сделать, был таким, что я пережил невиданную доселе галлюцинацию.

Совершив полный круг в своих умозаключениях, в ту ночь я еще долго не мог заснуть, мучимый тревожными чувствами и переживаниями от пережитого.

IV

Как ни странно, на следующее утро тревожное состояние не только не ослабло, но еще более усилилось. Несмотря на выработавшуюся у меня привычку довольно часто сталкиваться во время своих блужданий по ночному Провиденсу с различными проявлениями человеческой эксцентричности и странностями поведения различных людей, я не мог не признать, что обстоятельства, связанные с появлением в моей жизни загадочного мистера Алана и его братьев, оказались слишком фантастическими и незаурядными, чтобы их можно было так легко вытеснить из сознания.

Повинуясь импульсу, я в тот день решил не приступать к работе и вместо этого отправился к тому самому дому на холме неподалеку от Сиконга, явно намереваясь повстречать там кого-нибудь из своих ночных гостей. Однако, когда я приблизился к интересовавшему меня строению, мне показалось, что в нем не только никого не было в настоящий

момент, но и вообще уже давно никто не жил: отчаянно изорванные шторы жалко болтались по краям окон, за стеклами не чувствовалось ни единого признака жизни, да и вся представлявшая моему взору картина наводила на мысль о полнейшем запустении и заброшенности.

Тем не менее, я подошел к двери и постучался.

Не услышав ответа, я еще немного подождал и постучал снова.

И вновь изнутри не донеслось ни малейшего звука.

Сгорая от мучившего меня любопытства, я попробовал надавить на ручку двери — та открылась от первого прикосновения. Я все же испытывал некоторую нерешительность и растерянно огляделся по сторонам. Поблизости не было видно ни души — по крайней мере, в двух соседних домах также никто давно не жил, а потому если за мной кто-то и наблюдал, я этого совершенно не заметил.

Я открыл дверь и вошел в дом, задержавшись на несколько минут у входа, чтобы глаза привыкли к окружающему меня полумраку. После этого по узенькому коридору я направился к ближайшей комнате — это была своего рода гостиная, заставленная мебелью не менее, чем двадцатилетней давности. Нигде не было заметно ни малейшего признака чьего-либо присутствия, и все же мне показалось, что совсем недавно здесь кто-то побывал, поскольку по покрытому толстым слоем пыли голому полу тянулась цепочка довольно отчетливо просматривавшихся следов. Я пересек гостиную и вошел в небольшую столовую, миновав которую, оказался в кухне. Кухня, как и остальные помещения, казалась совершенно необитаемой: нигде не было ни малейших признаков еды, а столами, похоже, не пользовались уже много лет. Но и здесь на полу виднелось множество следов, что однозначно указывало на то, что домом все же пользовались. То же самое можно было сказать и про лестницу.

Однако самое поразительное и тревожное открытие поджидало меня в дальней части дома. Здесь располагалась лишь одна довольно просторная комната, хотя я сразу понял, что некогда их было три, впоследствии соединенных вместе посредством удаления перегородок, причем ремонт помещения так и не был закончен. Все это я заметил лишь краем глаза, поскольку основное мое внимание сразу же привлекло то, что находилось в центре комнаты. Само помещение утопало в мягком и ровном фиолетовом свечении, исходившем из того, что показалось мне длинной, окруженной стеклянным корпусом плитой; рядом с ней стояла точно такая же, но неосвещенная, и все это было окружено причудливыми механизмами совершенно непонятной мне конструкции и назначения.

Я осторожно прошел в комнату, в любую секунду ожидая возможного противодействия своему вторжению, однако все оставалось спокойно. Подойдя поближе к стеклянному контейнеру с фиолетовым свечением, я увидел, что внутри него что-то находится, хотя не имел времени разобрать, что именно, поскольку в тот же момент все мое внимание привлекло к себе то, что лежало сверху — это был муляж, натуральная копия уже знакомого мне Эдгара Алана По, также залитая пульсирующим фиолетовым светом, источник которого оставался для меня непонятным. Когда же я наконец перевел свой взгляд на содержание контейнера непосредственно под «фигурой» По, то едва не издал изумленного и одновременно испуганного возгласа, поскольку это было не чем иным, как миниатюрной копией одного из тех морщинистых конусов, которые представляли передо мной во время зловещей галлюцинации, причем волнообразные покачивания щупалец на его голове — или что там у него это было — недвусмысленно свидетельствовали о том, что существо было живым!

Я поспешно бросился назад, краем глаза успев заметить лишь, что соседний контейнер был пуст, хотя и был связан с освещенным резервуаром массой металлических трубок. Я постарался как можно тише покинуть дом, поскольку был убежден в том, что «ночные братья», как я про себя обозвал эту странную компанию, в настоящий момент спят где-то наверху, а с учетом сегодняшнего поразительного открытия, заставившего меня совершенно по-иному взглянуть на вчерашнюю галлюцинацию, мне как-то не особенно хотелось встречаться с любым из них. Как мне показалось, я незамеченным выбрался из дома, хотя у меня и сложилось впечатление, что в одном из окон второго этажа на мгновение действительно промелькнуло знакомое лицо. Оказавшись наружи, я стремительно бросился в сторону города, отчаянно срезая углы и проворно огибая всевозможные препятствия, и пробежал так не один квартал, пока не умерил темп передвижения и не перешел на шаг, поскольку в противном случае неминуемо привлек бы к себе внимание прохожих.

Шагая по направлению к дому, я пытался хотя бы отчасти разобраться в собственных хаотичных мыслях. Конкретного объяснения случившемуся у меня не было, и все же я интуитивно чувствовал, что случайно стал свидетелем какого-то коварного зла — слишком темного и тайного, а возможно и настолько необъятного, что оно попросту не могло бы быть подвергнуто анализу моего разума. Мне хотелось уловить хоть какой-то смысл во всем увиденном, однако он неизменно ускользал от меня. В сущности, я никогда не считал себя хотя бы слабым подобием ученого человека, и, даже немного раз-

бираясь в химии и астрономии, обладал явно недостаточными знаниями, чтобы понять назначение увиденных мною механизмов, а тем более уяснить предназначение того залитого теплым фиолетовым свечением контейнера, в котором пребывало загадочное морщинистое тело. Более того, я не мог даже приблизительно представить себе конструкцию той машины, поскольку она совершенно не походила на все те механизмы, которые мне изредка доводилось видеть в генераторных помещениях местной электростанции. Ясным оставалось лишь то, что она была каким-то образом соединена с обоими контейнерами, один из которых содержал в себе загадочное конусообразное существо, а другой, темный, временно пустовал.

Тем не менее, я уже не сомневался в том, что облаченные в темные одежды братья, всем своим обличем имитировавшие личность Эдгара По, бродили по ночным улицам Провиденса совсем не затем, зачем выходил на них я; их отнюдь не волновали специфические проявления человеческой природы, свидетелем которых можно было нередко стать во время таких блужданий. Как знать, возможно, темнота и была как раз одним из привычных элементов их естественного существования, подобно тому как нормальные люди предпочитают появляться на улицах при свете дня, однако в том, что при этом они руководствовались какими-то столь же темными, даже зловещими мотивами, у меня не оставалось ни малейших сомнений. И все же я совершенно не понимал, какую тактику действий должен теперь избрать.

В конце концов я решил направиться в библиотеку, в смутной надежде отыскать там хоть что-то, что могло бы натолкнуть меня на понимание всех этих загадочных и совершенно невероятных событий.

К сожалению, там меня ждало разочарование. Я просмотрел кучу всевозможных книг и иных публикаций, даже прочитал все, что стояло на книжных полках и относилось к личности Эдгара По и периоду его жизни в Провиденсе, и все же покинул библиотеку в таком же смятении и неведении, в котором несколькими часами раньше входил в нее.

Возможно, мне было просто на роду написано в ту же ночь вновь повстречаться с мистером Аланом. Я не мог с уверенностью сказать, остался ли мой визит в дом на холме совершенно незамеченным, тем более, что, как мне показалось, я действительно разглядел в одном из окон второго этажа чье-то лицо — во всяком случае встретил я его с довольно ощутимым трепетом в груди.

Однако, как вскоре выяснилось, мои опасения были совершенно безосновательными, поскольку когда я встретил

его на Бенефит-стрит, в его словах и манерах не было ни малейшего намека на какие-то перемены, которые могли бы свидетельствовать о том, что ему стало известно о моем вторжении в его жилище. Я, правда, не забывал о его феноменальной способности при любых обстоятельствах сохранять полностью непроницаемое лицо, неизменно остававшееся точной копией хорошо знакомого мне выражения лица известного писателя, так как она могла скрывать какие угодно чувства, начиная от чувства юмора и кончая отвращением и даже гневом.

— Надеюсь, мистер Филипс, вы уже оправились от последствий нашего недавнего эксперимента, — проговорил он после обмена формальными приветствиями и любезностями.

— Абсолютно, — заверил я его, хотя это и не в полной мере соответствовало действительности. Правда, при этом я добавил что-то насчет сильного головокружения, чтобы хотя бы отчасти объяснить свое поведение, столь резко оборвавшее наш тогдашний опыт.

— Вам удалось познакомиться лишь с одним из внешних миров, — продолжал мистер Алан, — а подобных ему великое множество. Не менее ста тысяч. Жизнь не является неотъемлемым атрибутом одной лишь Земли, а кроме того, существовать она может отнюдь не только в человеческом обличье. На других планетах и звездах жизнь имеет совершенно иные формы, которые покажутся вам причудливыми и даже нелепыми, точно так же, как ваши показались бы нелепыми и странными для них.

На этот раз мистер Алан оказался на удивление разговорчивым. Было заметно, что, вне зависимости от того, верил ли я в то, что посчитал лишь некоей разновидностью галлюцинации, и продолжал считать таковой даже после пережитого мною в том таинственном доме на холме, говорил мой спутник с полной убежденностью в отстаиваемых им тезисах. О чужих мирах он вещал так, словно был детально знаком с ними. Временами в его словах слышалось неподдельное уважение к отдельным формам жизни, в первую очередь обладавшим уникальной способностью имитировать жизнь на тех планетах, где условия существования в наибольшей степени соответствовали их потребностям, и неустанному поиску которых они отдавали столько сил и времени.

— Но звезда, которую я видел, явно умирала, — проговорил я.

— Да, — совсем просто согласился он.

— И вы ее видели?

— Я ее видел, мистер Филипс.

Я слушал его и втайне испытывал некоторое облегчение.

Мне представлялось, что поскольку ни одному из живущих людей не суждено увидеть вплотную жизнь других миров, то, следовательно, все то, что пережил я сам, являлось не чем иным как самой обычной обычной галлюцинацией, ставшей плодом целенаправленного воздействия на мою психику самого мистера Алана и его братьев. Разумеется, это был своего рода телепатический контакт, подкрепленный некоей разновидностью гипноза, доселе ни разу мною не испытанного. И все же я никак не мог избавиться от тревожного ощущения какого-то порока, даже зла, которое словно витало вокруг личности моего ночного компаньона, и тех подчеркнuto пространных и оживленных ответов и комментариев, которыми он сопровождал мои многочисленные вопросы.

Вскоре я воспользовался удобной возможностью и распрощался с мистером Аланом, после чего поспешил в Атенеум в явной надежде встретить там Роуз Декстер. Увы, если она и в самом деле заходила туда сегодня, то к моему приходу уже успела уйти. Тогда я прошел в телефонную будку и позвонил ей домой.

Роуз ответила, и я при этом испытал необъяснимое чувство радости и одновременно облегчения.

— Ты видела сегодня мистера Алана? — спросил я.

— Да, — ответила девушка, — но совсем недолго. Я спешила в библиотеку.

— Я тоже.

— Он пригласил меня зайти к нему как-нибудь ближе к вечеру, чтобы стать свидетелем, как он выразился, весьма любопытного эксперимента.

— Не ходи, — сразу же отреагировал я.

На другом конце провода возникла непродолжительная пауза, сменившаяся вопросом — Почему? — в котором я, к сожалению, подметил явно язвительную нотку.

— Так будет лучше, — проговорил я, стараясь придать своему голосу как можно большую твердость.

— А вы не находите, мистер Филипс, что я сама в состоянии принимать решения?

Я поспешил уверить девушку, что и в мыслях не имел указывать ей, что надо делать, и хотел лишь подчеркнуть, что это мероприятие может быть довольно опасным.

— Почему это?

— По телефону я не могу это сказать, — проговорил я, отчетливо понимая, сколь неубедительно звучит подобная фраза, а также то, что даже если бы и попытался ей что-то объяснить, то все равно не смог бы донести до ее сознания все те зловещие и даже ужасные подозрения, которые уже начали принимать более или менее конкретные очертания в моем

сознании, ибо все это было слишком фантастичным и невероятным, чтобы вызвать доверие.

— Хорошо, я подумаю, — твердо проговорила девушка.

— При встрече я попытаюсь тебе все это растолковать, — пообещал я.

Она пожелала мне спокойной ночи и повесила трубку, незримо придав этому жесту характер непреклонной решимости, которую я посчитал весьма зловещим знаком, и потому почувствовал еще большую тревогу.

V

Теперь я подхожу к финальной и, можно сказать, апокалиптической стадии развития событий, связанных с мистером Аланом и той тайной, которая окружала одинокий и заброшенный дом на холме у реки. Даже сейчас я продолжаю испытывать сомнения в целесообразности их изложения на бумаге, поскольку допускаю, что в подобном случае обвинения против меня станут еще более объемными, и даже включают в себя сомнения в моей психической полноценности. И все же я полагаю, что иного выхода, кроме как рассказать обо всем этом, у меня просто нет. В конце концов, от того, оставлю я после себя эти заметки или нет, может зависеть самая будущность человечества и всего того, что мы называем цивилизацией. Что же до этих решающих событий, то они последовали довольно скоро, и явились как бы естественным продолжением моего весьма неутешительного телефонного разговора с Роуз Декстер.

С неимоверным трудом высидев на работе положенные часы, в течение которых я буквально не находил себе места, я все же решил серьезно поговорить с Роуз. На следующий день ближе к вечеру я пораньше отправился к библиотеке, где мы обычно встречались, и занял удобное место, откуда мне был виден главный вход в здание. Продав так более часа, я наконец стал подумывать о том, что она, возможно, вообще решила в тот день не ходить в библиотеку.

Тогда я принялся названивать ей, намереваясь назначить встречу, чтобы объяснить насчет последнего нашего разговора.

К телефону, однако, подошла ее сестра, которая сказала:

— За Роуз зашел какой-то джентльмен и они ушли.

— Вы знаете, кто он такой? — нетерпеливо спросил я.

— Нет, мистер Филипс.

— Но имя-то свое он хоть назвал?

Оказалось, что и этого она не знала, и сказала лишь то, что сразу же после краткого разговора с ним Роуз ушла. Уступая моим настойчивым просьбам, женщина однако вспомнила, что у господина этого были усы.

Мистер Алан! Это было единственное, что требовалось установить.

Повесив трубку, я несколько секунд стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Возможно, Роуз и мистер Алан всего лишь прогуливались по Бенефит-стрит, хотя нельзя было исключать и того, что они пошли в тот таинственный дом на холме. При одной лишь мысли об этом я испытал такой страх, что едва, было, не потерял голову.

От библиотеки я опрометью бросился домой и к десяти часам уже был у себя на Энджел-стрит. К счастью, матушка уже отошла ко сну, а потому я без особых затруднений извлек из ящика комода старый отцовский револьвер. Вооружившись таким образом, я снова окунулся в ночной сумрак Провиденса и по его пустынным улицам в очередной раз бросился в сторону Сиконга, к странному дому мистера Алана, совершенно не замечая изредка попадавших мне навстречу редких ночных бродяг, да в общем-то не особенно и тревожась относительно того, какое впечатление могу на них произвести своей крайней поспешностью. В те минуты меня больше всего тревожила судьба Роуз, а кроме того я испытывал все более сгущавшийся, хотя во многом и неопределенный страх перед более грозным и всеобъемлющим злом.

Едва добравшись до нужного мне дома, я невольно замер на месте при виде его неосвещенных окон и явно опустелого вида. Основательно запыхавшись от напряженного бега, я подождал пару минут, стараясь хоть немного отдышаться и прийти в себя, но затем все же двинулся вперед, стараясь ступать как можно тише и держаться наиболее темных мест.

Дойдя до главного входа в дом, я бесшумно обогнул его, направляясь к задней двери. В окнах по-прежнему не было заметно ни малейшего проблеска огня, хотя я отчетливо различал доносившееся изнутри глухое гудение, которое иногда мне доводилось слышать вблизи энергетических установок, особенно в преддверии дождя. Едва достигнув тыльной части строения, я различил слабый намек на какое-то свечение, причем это был явно не желтый свет лампы, а бледно-лиловое, едва уловимое для глаза зарево, которое исходило словно бы от самих стен дома.

Я невольно отпрянул назад, вспомнив, что именно увидел тогда внутри этого помещения, однако тут же поймал себя на мысли, что не могу ограничиться ролью пассивного созерцателя. Я просто должен был знать, не находится ли Роуз внутри

этого темного дома — возможно, в той же самой комнате с неизвестными мне механизмами и стеклянными контейнерами, где мне довелось увидеть освещенное фиолетовым свечением неизвестное существо.

Через несколько секунд я вновь оказался на крыльце главного входа. Как и в прошлый раз, дверь оказалась незаперта и подалась под легким толчком моей руки. Задержавшись у порога ровно настолько, чтобы извлечь из кармана заряженный револьвер, я распахнул ее шире и вступил в прихожую. Стоя там в ожидании, когда глаза немного привыкнут к окружающему меня мраку, я еще отчетливее различил мерное загадочное гудение, но сейчас к нему примешивались звуки того же самого странного пения, которое повергло меня тогда в гипнотическое состояние, ставшее причиной причудливых видений фрагментов жизни, якобы существовавшей на чужой и дальней планете.

Как мне показалось, я сразу же осознал смысл происходящего. Роуз была в обществе мистера Алана и его братьев, и подвергалась той же процедуре, через которую прошел я сам.

Как бы я хотел, чтобы только этим дело и ограничилось!

Однако то, что я увидел, когда добрался до дальней комнаты на первом этаже, поразило меня настолько, что видение это, пожалуй, навечно отпечаталось в моем возбужденном сознании. Освещенные сиянием, лившимся из стеклянного контейнера, мистер Алан и все его братья лежали ничком на полу, окружая своими телами оба загадочных сооружения и напевая все тот же странный мотив. Позади них у стены сидел явно отброшенный за ненадобностью муляж тела Эдгара По в натуральную величину, который я видел пару дней назад в стеклянном футляре, залитым лучами фиолетового излучения. Однако больше всего меня поразило отнюдь не зрелище мистера Алана и его братьев, а то, что я увидел в этих стеклянных контейнерах!

В одном из них, заполнявшем своим непрерывно пульсирующим и мощным фиолетовым свечением всю комнату, лежала Роуз Декстер, полностью одетая и явно находившаяся в состоянии гипноза, тогда как над ней располагалось значительно увеличившееся в размерах, отчаянно колыхавшее своими упругими щупальцами морщинистое конусообразное существо, которое мне уже доводилось видеть — хотя и в гораздо более уменьшенном, словно усохшем виде — под копией тела Эдгара По. В соседнем же контейнере, соединенном с первым многочисленными трубками, шлангами и проводами, лежала — я и поныне не могу без содрогания вспомнить об этом — знакомая мне до мельчайших деталей, полностью идентичная копия Роуз Декстер!

Я лишь смутно припоминаю, что именно произошло потом; помню лишь, что совершенно потерял над собой контроль и несколько раз лихорадочно выстрелил в стеклянные ящики, намереваясь разнести их, как говорится, в пух и прах. По-видимому, я действительно попал в один из них, а может и в оба, ибо свечение сразу же исчезло, а комната окунулась в темноту и наполнилась встревоженными, испуганными криками мистера Алана и его братьев. Оглушенный звуками выстрелов и последовавших за ними взрывов загадочной машины, я бросился вперед и подхватил на руки тело Роуз, после чего каким-то образом оказался с ним на улице.

Оглянувшись, я увидел, что в окнах того проклятого дома заплескали языки пламени, после чего его северная стена как-то неожиданно рухнула и нечто — какой-то объект, который я не берусь даже описать — вырвалось из объятаго огнем строения и взмыло вверх. Я же опрометью бросился вперед, по-прежнему неся на руках тело девушки.

Придя в себя, Роуз буквально зашлась в истерике, однако мне все же удалось отчасти успокоить ее; вскоре она замолчала и до самого дома не проронила ни слова. Со своей стороны я отлично понимал, в каком шоке она пребывала, а потому не докучал ей своими расспросами, решив оставить их до тех пор, пока она окончательно не придет в себя.

На следующей неделе я имел возможность не раз наблюдать, во что превратился тот дом на холме. Казалось, полиция с головой ушла в детальную проработку выдвинутого против меня обвинения в умышленном поджоге — мне еще повезло, что они не обнаружили на месте происшествия оставленный мною револьвер, — а потому, естественно, интересовалась самыми что ни на есть земными аспектами этого дела. Я же, со своей стороны, отчаянно пытался склонить их к мысли о целесообразности дожидаться, когда Роуз Декстер будет способна дать им свои показания и рассказать обо всем — если, конечно, у нее возникло бы такое намерение. К сожалению, мне так и не удалось убедить их в том, во что сам я сейчас безоговорочно верю, однако факты всегда были упрямой вещью, и с ними нельзя было не считаться.

По словам представителей властей, обнаруженное в доме тело, точнее части его, принадлежали явно не человеку. Впрочем, чего же еще можно было ожидать? Или они намеревались обнаружить там семерых двойников Эдгара Алана По? Им бы следовало понять, что оказавшиеся в том доме существа прибыли к нам из чужого, более того — умирающего мира, и намеревались подобным образом обосноваться и в конце концов покорить себе землю, предварительно в

массе воспроизведя себя в облике человека! Лишь по чистой случайности они остановили свой выбор на образе давно умершего и всемирно известного, а потому хорошо узнаваемого всеми писателя, и, приняв на себя его личину, просто не знали, что в наше время он уже не мог считаться, по крайней мере внешне, типичным представителем мужской части населения планеты.

Полицейским надо было бы знать — как знаю это я — что морщинистое, обросшее щупальцами конусообразное существо в фиолетовом свечении как раз и являлось источником физического существования посетителей Земли, и что странные механизмы и многочисленные трубки — кстати, пришедшие, по словам представителей полиции, в полную негодность, — посредством генерирования загадочного фиолетового свечения позволяли этому конусу создавать вещество, полностью имитировавшее человеческую плоть, причем по точному образу и подобию обычных людей, в данном случае Эдгара По!

В сущности, «мистер Алан» сам снабдил меня ключом к разгадке этой тайны, хотя в то время я об этом даже не догадывался. Ведь я спросил его тогда о причине того интереса, который проявляют к земной жизни обитатели потусторонних миров. «Они хотят пойти с войной на нас? Осуществить вторжение на Землю?» — на что он мне ответил: *«Более высокоорганизованные формы жизни едва ли станут полагаться на столь примитивные методы»*. Могло ли существовать более ясное объяснение истинных намерений этих странных обитателей дома на холме у русла Сиконга? Разумеется — и это стало мне теперь совершенно ясно, — то, что «мистер Алан» и его близнецы-братья показали во время сеанса у меня дома, было лишь кратким эпизодом жизни на планете светящихся кубов и морщинистых конусов, являвшейся их родной планетой!

И наконец, самое жуткое из всего этого — любому непредубежденному человеку должно было быть ясно, зачем им понадобилась Роуз. Им надо было воспроизвести свой род в обличье как мужчин, так и женщин, чтобы в дальнейшем смешаться с нами, стать совершенно незаметными и неотличимыми от нас, а потом, по прошествии десятилетий — а возможно и столетий, — когда их мир окончательно умрет, они смогли бы подготовить Землю к нашествию соплеменников.

Одному Богу известно, сколько их уже сейчас бродит среди нас!

Итак, я подошел к самому концу своего повествования. С того самого памятного дня мне так и не удалось повидаться с

Роуз, причем я почему-то испытывал смущение и не решался ни позвонить ей, ни зайти лично. Возможно, все дело в том, что со мной произошло нечто не просто странное, но по-настоящему ужасное. Меня вдруг стали неотступно преследовать жуткие сомнения.

В тот день, когда я стал свидетелем и непосредственным участником жестокого действия в залитой фиолетовым светом комнате, мне эта мысль, естественно, даже не приходила в голову, тогда как сейчас она все чаще посещает меня, причем временами становится чем-то вроде навязчивой, совершенно невыносимой идеи. В самом деле, могу ли я с уверенностью заявить, что во время той жуткой спешки и ошеломляющего кошмара схватил тело настоящей Роуз Декстер? Если это так, то сегодня вечером она окончательно убедит меня в этом. Если же нет — одному лишь Всерышнему ведомо, что я, сам того не ведая и не желая, навлек на себя и на весь мир!

Заметка в «Провиденс журнал» от 17 июля.

МОЛОДАЯ ДЕВУШКА РАСПРАВИЛАСЬ СО ЗЛОДЕЕМ.

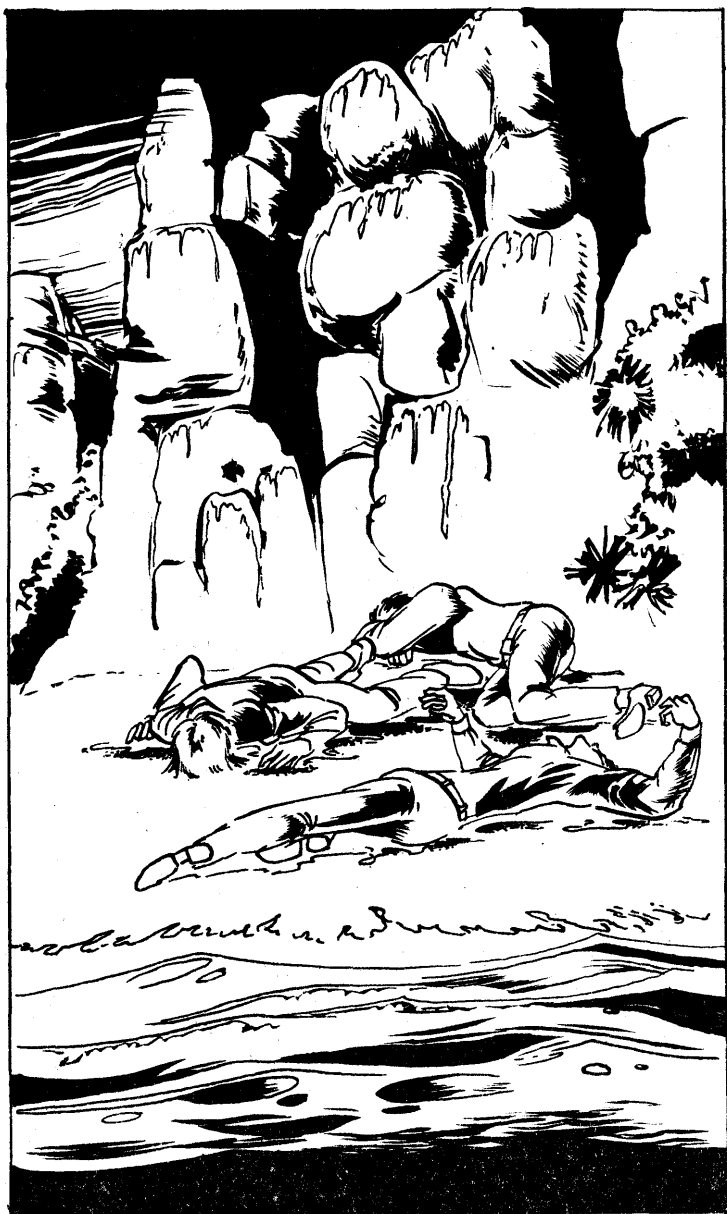
Прошлой ночью жительница нашего города, дочь мистера и миссис Элиши Декстера, проживающих в доме № 127 по Беневолент-стрит — мисс Роуз Декстер — отразила нападение и в конце концов убила молодого человека, который, по ее словам, неожиданно напал на нее. Мисс Декстер случайно наткнулась на полицейский патруль, когда она в состоянии истерики бежала по Бенефит-стрит в районе собора Св.Иоанна близ кладбища, возле которого злоумышленник напал на нее.

В убитом опознали ее давнего знакомого Артура Филиппа...

Х.Ф.Лавкрафт

СТРАННЫЙ СТАРИК





Идея нанести визит Странному Старiku принадлежала Анджело Риччи, Джо Кзанеку и Мануэлю Сильве. Старик этот имел репутацию неимоверно богатого и к тому же безнадежного больного человека и проживал в довольно большом и древнем доме, который располагался на тянувшейся вдоль морского побережья Уотер-стрит. Первые два обстоятельства сыграли, можно сказать, главную роль в принятии господами Риччи, Кзанеком и Сильвой вышеупомянутого решения, поскольку все трое не без основания считали себя истинными представителями такого изысканного ремесла, которое издревле именовалось грабежом.

На протяжении многих лет Станный Старик оставался излюбленным объектом напряженных раздумий и долгих бесед обитателей Кингспорта. То, что Станный Старик был в центре внимания жителей городка, во многом гарантировало безопасность перед возможными посягательствами со стороны господ типа Риччи и его коллег, хотя принадлежавшие ему сокровища — кстати сказать, совершенно неустановленного свойства и размеров, — Станный Старик хранил именно в своем сильно обветшалом и заметно покосившемся особняке.

Следует признать, что Станный Старик и в самом деле отличался большими странностями, а кое-кто поговаривал, что в свое время он служил капитаном нескольких судов, которые плавали к берегам Ост-Индии. Он действительно был настолько стар, что никто даже не мог припомнить, как он выглядел в молодости, а почти полное затворничество и крайняя неразговорчивость обусловили тот факт, что ни один из жителей городка не знал его настоящего имени.

Во дворе его старинного и невзрачного на вид дома, обсаженного по периметру столь же древними, как и сам дом, кривыми деревьями, размещалась довольно странная коллекция крупных камней, причудливо сгруппированных и раскрашенных таким образом, что они отдаленно напоминали идолов из какого-то легендарного восточного храма. Большинство мальчишек, которые любили дразнить Станного Старика за его длинные, вечно нечесанные белые волосы и бороду, а то и вовсе разбивать злодейски брошенными камнями узенькие окна его жилища, откровенно побаивалось этой его каменной коллекции, тогда как более взрослых и не менее любопытных людей, которые подчас подкрадывались к окнам его дома и заглядывали внутрь через их запыленные стекла, серьезно пугало нечто совершенно иное.

По их словам, в пустой комнате на первом этаже особняка Станного Старика располагался громадных размеров стол, уставленный массой всевозможных бутылок, причем внутри

каждой находилось подвешенное за леску на манер маятника свинцовое грузило. По их словам, Старик часто присаживается за стол и разговаривает с этими бутылками, обращаясь к ним по именам — Валет, Резаный, Длинный Том, Испанец Джо, Питерс и Мэйт Эллис и так далее, — и всякий раз во время подобной «беседы» грузила в бутылках начинают легонько покачиваться. Примечательно, что люди, которым однажды довелось наблюдать долговязого и тщедушного Старика во время этих странных «диалогов», после этого никогда уже больше не подглядывали в его окна.

Однако Анджело Риччи, Джо Кзанек и Мануэль Сильва не были жителями Кингспорта. Они принадлежали к новому и весьма разношерстному чужеродному племени, бродившему вдали от круга обычаев и традиций Новой Англии, а потому видели в Странном Старике всего лишь угасающего и почти беспомощного седобородого старца с худыми, слабыми и отчаянно дрожащими руками, который даже не был способен передвигаться без своей старомодной узловатой трости.

Они, можно сказать, даже по-своему жалели этого одинокого и неприветливого деда, которого сторонились все горожане, зато постоянно облаивали и задирали уличные собаки. И все же дело оставалось делом, и для человека, решившего посвятить себя столь специфической профессии, которая была у них, всегда существовал соблазн «пощупать» старого и слабого человека, который не имел собственного счета в банке и оплачивал свои немногочисленные покупки исключительно испанскими золотыми и серебряными монетами, к тому же отчеканенными два столетия назад.

Время для визита наши господа также выбрали весьма подходящее — ночное, причем господам Риччи и Сильве предстояло побеседовать с седовласым старикашкой, тогда как господин Кзанек должен был дожидаться их, сидя в крытой машине, которую он заблаговременно припаркует на Шип-стрит, неподалеку от задней калитки, проделанной в высокой стене усадьбы не очень-то гостеприимного хозяина. Стремление избежать ненужных объяснений с полицией обуславливало намерение упомянутых господ обеспечить себе тихое и вполне мирное отступление.

Как и было заранее обусловлено, к месту своих предстоящих действий все три «джентльмена удачи» направились порознь, дабы избежать в дальнейшем каких-либо нежелательных подозрений. Господа Риччи и Сильва встретились на Уотер-стрит, прямо перед воротами главного входа в дом Старика, и, хотя им отнюдь не пришлось по вкусу то, что лучи лунного света, протискиваясь сквозь листву, довольно ярко освещали разукрашенные камни во дворе дома, разум их был

поглощен гораздо более важными вещами, нежели бесполезными и праздными рассуждениями о каких-либо суевериях и тому подобном. Они не исключали того, что попытка разговаривать Странного Старика по поводу припасенного им золота-серебра может оказаться весьма хлопотливым и даже неприятным делом, поскольку знали, что бывалые «морские волки» обычно отличаются упрямым нравом и прямо-таки извращенным своеволием, но все же не сбрасывали со счетов и то обстоятельство, что в данном случае имели дело с более, чем престарелым и очень больным человеком, тогда как сами были молоды и крепки телом. Помимо своих прочих достоинств господа Риччи и Сильва отличались особым умением стимулировать красноречие самых замкнутых людей, и, уж конечно же, смогли бы без особого труда приглушить крики слабого и исключительно древнего старца.

Держа в уме все вышеизложенные обстоятельства, они направились к одному из освещенных окон дома Странного Старика, и вскоре услышали, как тот совсем по-ребячьи разговаривает с бутылками, в которых и в самом деле слабо покачивались маленькие маятнички.

Мистеру Кзанеку, который напряженно томился в крытом авто, припаркованном у задней калитки дома Странного Старика на Шип-стрит, ожидание показалось слишком долгим. По натуре своей он был вполне снисходительным и даже мягкосердечным человеком, а потому ему никак не понравились те зловещие вопли, которые донеслись из дома где-то вскоре после начала операции. Ну разве он не предупредил своих коллег, чтобы они проявляли максимум мягкости и терпимости в обращении со старым и жалким морским капитаном?

Он почти не сводил напряженного взора с узкой дубовой калитки, вмонтированной в высокую и увитую плющом каменную стену, время от времени поглядывая на часы и недоумевая относительно причин задержки. Неужели старика хватил удар прежде, чем он успел раскрыть тайну своих сокровищ, и это обусловило необходимость проведения дополнительных поисков? Как бы то ни было, мистеру Кзанеку никак не нравилось его явно затянувшееся ожидание, тем более в столь темном месте.

Неожиданно он услышал легкий звук шагов, донесшийся из глубины двора по ту сторону калитки, затем чья-то рука принялась осторожно манипулировать с заржавевшей задвижкой, и наконец узкая деревянная дверь отворилась вовнутрь. В бледном сиянии одинокого и тусклого уличного фонаря он попытался разглядеть, что именно вынесли его коллеги из этого зловещего дома, который так близко маячил во мраке ночи.

Однако он увидел совсем не то, что рассчитывал увидеть, поскольку его приятелей в проеме калитки не было вовсе — в проеме калитки стоял лишь Странный Старик, спокойно опиравшийся на свою узловатую палку и омерзительно усмехавшийся. Мистеру Кзанеку никогда раньше не доводилось видеть глаз старца, но сейчас он отчетливо разглядел, что они у него желтые.

В маленьких городках даже самые пустяковые события подчас способны наделать немало шума. Пожалуй, именно по этой причине жители Кингспорта всю весну, а затем и все лето живо обсуждали историю, связанную с обнаружением на морском берегу выброшенных прибором трех неопознанных трупов — все они были зверски изрублены, буквально искромсаны острыми тесачами или абордажными саблями, а кроме того их изувеченные тела несли на себе следы каблуков грубых морских сапог. Некоторые очевидцы рассказывали также и о более тривиальных вещах, вроде пустой машины, обнаруженной на Шип-стрит, или услышанных ими в ночи диких, просто нечеловеческих воплей, которые, возможно, издавала стая бездомных животных или перелетных птиц.

Один лишь Странный Старик не проявил никакого интереса к этой праздной болтовне. Он вообще по натуре был довольно нелюдимым, а когда человек стар и к тому же немогущ, его скрытность, как правило, становится еще более заметной. Да и потом, эка невидаль все эти пустые байки и пересуды праздно болтающих горожан — уж такой-то морской волк, как он, пожалуй, навидался на своем веку такого, что иному хватило бы и на десять жизней.

Х.Ф.Лавкрафт

ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ





Вы просили меня объяснить, почему я опасаюсь сквозняков или холодного воздуха? Почему, входя в холодную комнату, дрожу всем телом, а когда вечерняя прохлада пробирается сквозь завесу жары погожего августовского дня, испытываю граничащее с тошнотой отвращение? Некоторые утверждают, что я реагирую на холод так же, как другие люди реагируют на зловоние. Что ж! Я ни в коем случае не стал бы оспаривать такое мнение, а вместо этого сделаю нечто совсем другое: расскажу о тех событиях, кошмарнее которых еще никогда не встречал в своей жизни, и предоставлю вам возможность самим судить о том, является ли это достаточно убедительным объяснением моей столь странной особенности.

Для многих ужас всегда каким-то таинственным образом ассоциируется с темнотой, тишиной и уединением. Я же столкнулся с ним в самый разгар погожего летнего дня, вскоре пополудни, в атмосфере лязга и грохота большого города, в обшарпанных и весьма неказистых меблированных комнатах, находясь в обществе их прозаичной хозяйки и двух довольно дюжих мужчин.

Дело в том, что весной 1923 года я подрядился выполнить довольно скучную и, к тому же, низкооплачиваемую работу в одном из нью-йоркских журналов. Будучи неспособным платить за жилье приличную арендную плату, я стал курсировать от одного дешевого временного жилища к другому в поисках комнаты, которая совмещала бы в себе такие качества, как должную чистоту, сносную меблировку и умеренную цену. Вскоре, однако, выяснилось, что в своих поисках я был вынужден, как говорится, из двух зол выбирать третье, но все же, в конце концов, отыскал на Западной Четырнадцатой улице один дом, который вызвал у меня несколько меньшее отвращение по сравнению с теми, что мне пришлось видеть ранее.

Дом этот представлял собой четырехэтажный особняк, построенный из песчаника где-то в конце сороковых годов. Его фасад, с деревянными колоннами и мраморными ступенями к высокой парадной двери, был ныне обшарпан, но свидетельствовал о существовавшем в прошлом пышном великолепии. В комнатах — больших и высоких, украшенных самыми невероятными обоями и нелепыми лепными карнизами, — казалось, навечно поселился гнетущий запах затхлости и весьма сомнительной кухни, хотя полы были достаточно чистыми, белье сменялось довольно регулярно, а горячая вода была не такой уж холодной и не особенно часто отключалась. В общем, я посчитал этот дом вполне подходящим, чтобы перезимовать в нем в ожидании лучших времен.

Хозяйка комнат — неряшливая, чуть ли не бородастая испанка по имени Герреро, — не докучала мне пересказывани-

ем всевозможных слухов или ворчанием по поводу излишнего расхода электроэнергии, и я спокойно жил в маленькой комнате на третьем этаже. Мои соседи оказались людьми настолько спокойными и некоммуникабельными, что об этом можно было только мечтать: это были испанцы, причем мужиковатые с грубоватой внешностью. Таким образом, серьезное раздражение у меня вызывал лишь непрекращающийся гул сновавших под окнами машин.

Я прожил там уже около трех недель, когда произошел первый довольно странный случай. Однажды вечером, примерно около восьми часов, я услышал звук, похожий на тот, который издает капающая на пол жидкость, и тут же ощутил едкий запах нашатыря. Оглядевшись, я поднял взгляд к потолку и увидел, что с него действительно сочатся какие-то капли — течь образовалась неподалеку от угла перегородки и внешней стены. Стремясь как можно скорее предотвратить надвигающуюся опасность, я поспешил на первый этаж к хозяйке, и та сразу же заверила меня в том, что быстро все уладит.

— До-октар Мунос! До-октар Мунос! — кричала она, поспешно поднимаясь передо мной по лестнице. — Ну надо же, всегда разливать свои пузырьки. Сам давно нуждаться в докторе, а звать его не хотеть — ищет, ищет чего-то все время, да только ничто ему не помогать. Такой странный в своей болезнь — каждый день принимать какие-то чудные ванны, которые так странно пахнуть, а все никак не придумать в себя или поправиться. Все заниматься какими-то своими домашняя работа — вся комната заполнена пузырьками, бутылками, какие-то машины, а как доктор давно уже не работать. Когда-то был важный человек — мой отец из Барселона слышать о нем, а недавно вылечить руку водопроводчику — тот поранился нечаянно, — и она так быстро заживать. И наружу никогда не выходить — только на крышу, а мой мальчишка приносить ему еду, напитки, лекарства и всякие пузырьки. Бог мой, тратит нашатырь, чтобы всегда держать себя в холод!

Миссис Герреро скрылась на четвертом этаже, а я вернулся к себе в комнату. Аммиачная течь прекратилась, я вытер то, что успело капать, и, слыша у себя над головой тяжелую поступь хозяйки, открыл окно, чтобы проветрить помещение. Зато шагов доктора Муноса я не различал — ни сейчас, ни когда-либо, поскольку ходил он, похоже, мягко и очень тихо, и вообще не слышал из его комнаты каких-либо звуков, если не считать работы неведомого мне двигателя. В те минуты я словно мимоходом подумал о том, что же это может быть за странная болезнь, и не является ли его стойкое нежелание приглашать врача со стороны неким проявлением крайней и совершенно неоправданной эксцентричности. И еще подумал

тогда, что существует, видимо, в мире некая бескрайняя, непонятная страстность и крайняя увлеченность, которые подчас вселяются в возвышенную личность, вроде этого самого таинственного доктора.

Возможно, я так никогда бы и не узнал, кто такой доктор Мунос, не случись у меня однажды сердечного приступа — это произошло в первой половине дня, когда я сидел у себя в комнате и что-то писал. Врачи говорили мне об опасности подобных приступов, и я понимал, что времени терять нельзя. Вспомнив слова хозяйки о том, что живущий наверху человек как-то оказал помощь поранившемуся рабочему, я с трудом дотащился до его двери и слабо постучал в нее. Вскоре мне ответили на хорошем английском, причем голос донесся как бы с отдаления и откуда-то справа — человек поинтересовался, кто я такой и что мне нужно. Как только я представился и объяснил причину своего визита, щелкнул замок и дверь распахнулась.

Едва я ступил за порог, навстречу мне устремился порыв холодного воздуха, и хотя за окном стоял один из самых жарких июньских дней, я невольно поежился, вступая в просторные апартаменты, богатая и со вкусом подобранная обстановка которых немало удивила меня в столь неказистой обители пыли и запустения. Раскладной диван-кровать, в данное дневное время сложенный именно как диван, мебель из красного дерева, роскошные портьеры, старинные картины и изящные книжные полки — все это скорее подходило бы для кабинета какого-нибудь джентльмена, нежели для спальни в заурядных меблированных комнатах. Я увидел, что холл в квартире — та самая «маленькая комнатка», о которой говорила миссис Герреро, — действительно был весь заставлен всевозможными бутылками, пузырьками и машинами, и являлся не чем иным, как лабораторией доктора. Собственно жилое помещение располагалось в просторной соседней комнате, удобные ниши и просторные стеллажи которой позволяли спрятать в них массу полезных и необходимых в доме вещей. Я сразу понял, что доктор Мунос был человеком явно благородного происхождения, отменного воспитания и весьма разборчивых вкусов.

Представшая передо мной фигура была сравнительно невысокой, но довольно пропорционально сложенной и облаченной в строгого покроя костюм, сшитый по всем канонам портновского искусства. Породистое лицо выражало властность, лишенную, однако, излишней надменности, и было украшено короткой, темно-серой окладистой бородой; старомодное пенсне, закрывавшее большие темные глаза, сидело на орлином носу, придававшем нечто мавританское в общем-то явно кельтской физиономии его обладателя. Густые, хорошо постриженные волосы свидетельствовали о регулярном

обращении к услугам парикмахера и были аккуратно разделены поверх высокого лба прямым пробором. Все внешность хозяина номера производила впечатление подчеркнутой интеллигентности и явно изысканного образования.

Тем не менее, застав доктора Муноса в этой пронзительной атмосфере почти обжигающего холода, я, к немалому удивлению для себя, испытал странное чувство, очень похожее на отвращение. Пожалуй, лишь лиловато-блеклый цвет лица доктора и его довольно прохладное, даже сердитое выражение могли в какой-то мере породить подобное чувство, однако и цвету лица, и его выражению можно было легко найти объяснения, зная, что человек долгие годы является инвалидом. Скорее всего, здесь отвратил меня именно холод, поскольку такая стужа в столь жаркий день представляла собой явно ненормальное явление, а все ненормальное неизменно вызывает у людей отвращение, недоверие и страх.

Однако моя первоначальная неприязнь вскоре сменилась искренним восхищением, поскольку отменное мастерство странного доктора, несмотря на ледяную холодность и некоторое подрагивание его казавшихся бескровными рук, было выше всяческих похвал. Он правильно отнесся к моему желанию немедленно показаться врачу, и с завидной легкостью и сноровкой провел осмотр, после чего заверил меня своим поставленным, хотя и странно глуховатым, будто бы лишенным какого-либо тембра голосом, что всегда являлся самым лютым и заклятым врагом смерти, и растратил свое состояние и потерял всех своих друзей в продолжавшихся чуть ли не всю его жизнь странных экспериментах, направленных на то, чтобы посрамить и унизить безносую. В облике этого человека явно присутствовали признаки некоего благожелательного фанатизма, и он, можно сказать, даже разболтался, пока выслушивал мою грудь и смешивал необходимые дозы каких-то лекарств, которые принес из маленькой лабораторной комнаты. Было заметно, что общество также благовоспитанного человека оказалось для него приятной неожиданностью, а потому он вскоре пустился в долгие воспоминания о былых и, несомненно, лучших днях своей жизни.

Его голос, возможно, действительно странный, действовал на меня успокаивающе, причем я к своему изумлению не мог заметить ни малейшего признака того, что он вообще дышал, когда выговаривал свои длинные, учтивые фразы. Казалось, он всячески старался отвлечь мое внимание от недавнего приступа, рассказывая об увлекавших его теориях и экспериментах. Я обратил внимание на то, сколь тактично успокаивал он меня, говоря о моем слабом сердце и настаивая на том, что воля и целеустремленность человека по силе превосходят даже его

органическую жизнь, а потому если телесная оболочка в целом находится в порядке и тщательно сохраняется, то посредством определенной, научно обоснованной мобилизации этих качеств можно в некотором роде удержать, как он выразился, «нервную живость» организма вопреки любой ущербности, дефектам, а порой даже и утрате некоторыми органами своих функций. Как бы в шутку он сказал, что мог бы научить меня жить — или, по крайней мере, вести осознанное существование, — вообще без сердца! Что же до него самого, то в данное время он страдал от ряда серьезных недугов, что требовало соблюдения строжайшего режима, включавшего в себя постоянное пребывание в условиях низкой температуры. Любое ее серьезное и, что еще важнее, длительное повышение могло бы привести к фатальному исходу. Подобная, как он выразился, «холодность» его существования — между пятьюдесятью пятью и пятьюдесятью шестью градусами по Фаренгейту — достигалась благодаря специальной установке, работавшей на аммиаке и охлаждавшей помещение посредством особого механического устройства, аналогичного помпе, гудение которого часто доносилось и до моих ушей.

Столь быстро избавившись от крайне неприятного спазма, я покинул промозглое помещение едва ли не очарованный этим талантливым отшельником, во всяком случае — будучи полным приверженцем и сторонником его необычных теорий. В дальнейшем я еще не раз наведывался к нему — правда, надев предварительно плащ, — и слушал его рассказы о проводимых им секретных исследованиях и их почти невероятных результатах, всегда благоговейно замирая, когда рассматривал чудные на вид и неимоверно древние фолианты, стоявшие на книжных полках его квартиры. Ко всему этому нелишне будет добавить и то, что благодаря его в высшей степени квалифицированным предписаниям я почти полностью вылечился от своего недуга.

Со временем у меня сложилось впечатление, что он отнюдь не чурался средневековых заклинаний, поскольку искренне верил в то, что все эти загадочные формулы и обряды таят в себе определенные психологические стимулы, способные в конечном счете оказать реальное воздействие на нервную систему, от которой, в сущности, и происходят, как он говорил, все пульсации органической жизни. Особое впечатление на меня произвели его слова о неведомом мне докторе Торресе из Валенсии, который совместно с ним проводил серию экспериментов на ранней их стадии и долго выхаживал самого Муноса во время его серьезного заболевания, начавшегося восемнадцать лет назад и ставшего причиной всех его нынешних расстройств. К сожалению, не успев еще спасти коллегу, почтенный врач сам пал жертвой в битве со смертью — тем самым мрачным

врагом, с которым он так долго сражался. Возможно, сказалось слишком сильное напряжение, поскольку доктор Мунос вполне отчетливо — хотя и без излишних подробностей — дал понять, что методы этого лечения были поистине поразительными и включали в себя процедуры и действия, далеко не одобряемые ортодоксальными и консервативными эскулапами.

Шли недели, и я с сожалением отмечал, что мой новый друг медленно, но неуклонно теряет, как выразилась миссис Герреро, свою физическую силу. Заметно сгустился лиловатый оттенок кожи его лица, голос стал еще более глухим и невнятным, движения утратили былую скоординированность, а его рассудок и воля уже не столь явно демонстрировали свою живость и инициативу. Разумеется, он со всей отчетливостью осознавал происходившие в нем удручающие перемены, а потому в его выражениях и разговорах все чаще проскальзывала грустная и мрачная ирония, которая отчасти восстанавливала во мне то смутное и почти забытое первоначальное чувство отвращения.

Со временем у него сформировались довольно странные причуды, включая пристрастие к экзотическим специям и египетским благовониям, отчего его комната стала пахнуть как гробница фараона в Долине царей. Параллельно с этим возросла и его потребность в холоде; с моей помощью он модифицировал аммиачную помпу и вообще всю охлаждающую установку, благодаря чему ему удавалось поддерживать в помещении температуру от тридцати четырех до сорока градусов, а в конце концов понизил ее даже до двадцати восьми. Ванная и лаборатория, естественно, были не столь сильно охлаждены, чтобы вода не замерзала и не прекратились необходимые химические процессы. Живший по-соседству постоялец жаловался на страшный холод, исходивший от соединявшей их номера двери, а потому я помог Муносу навесить на нее тяжелые шторы, чтобы устранить это неудобство. В целом же я ощущал, что им все более овладевал непонятный мне, даже какой-то жутковатый страх самого того, что ни на есть эксцентричного и болезненного свойства. Он постоянно говорил о смерти, однако всякий раз, когда я в подчеркнуто мягкой форме намекал ему о целесообразности постепенной подготовки к уходу из этой жизни, начинал смеяться своим тихим, глухим голосом.

Как бы то ни было, но он становился все более хмурым и мрачным компаньоном, однако из чувства искренней благодарности за мое исцеление я не мог оставить его на попечение совершенно чужих ему людей, а потому заботливо убирался в его комнате и ежедневно удовлетворял все его потребности, правда, предварительно надев теплое пальто, специально приобретенное именно для таких визитов. Я также делал для него все необходимые покупки, и в недоумении взирал на

этикетки диковинных медикаментов и реактивов, которые он заказывал в аптеках и лабораториях.

В его апартаментах словно сгушалась необъяснимая атмосфера паники. Несмотря на то, что весь дом, как я уже говорил, был словно пропитан затхлым, каким-то заплесневелым запахом, в его квартире воздух был еще тяжелее, и, несмотря на все специи и благовония, а также на едкие ингредиенты его новых, ставших почти постоянными ванн, которые он принимал исключительно в уединении, я чувствовал, что все это каким-то образом связано с его недугом, и невольно вздрагивал при одной лишь мысли о том, в чем этот недуг может заключаться. Встречаясь с ним, миссис Герреро неизменно осеняла себя крестным знамением, и, по сути дела, полностью переложила на меня бремя ухода за ним, даже не разрешая своему сыну Эстебану бегать по различным его поручениям. В то же время, стоило мне однажды заикнуться о том, чтобы пригласить какого-нибудь врача со стороны, как несчастный страдалец впал в такое неистовство, которое только мог выдержать его организм. Несмотря на то, что он явно опасался физических последствий сильных эмоций, его воля к жизни, казалось, не только не ослабевала, но даже усиливалась, и он категорически отказывался быть постоянно прикованным к постели. Усталость начальных дней болезни постепенно сменилась рецидивом одержимой целеустремленности, и у меня даже складывалось впечатление, что он продолжал бросать открытый вызов демону смерти даже сейчас, когда этот древний враг целиком захватил его. Относясь и ранее к процедуре приема пищи как к какой-то досадной, хотя и любопытной формальности, он фактически совсем перестал есть, и я стал подумывать, что от полного упадка сил его, пожалуй, удерживала лишь чудом сохранявшаяся энергия мозга.

Вскоре у него выработалась привычка чуть ли не ежедневно составлять какие-то длинные документы, которые он затем тщательно печатывал и сопровождал приписками, кому из поименованных лиц мне предстояло передать эти бумаги после его смерти. В большинстве своем эти люди проживали где-то в Ост-Индии, но среди них странным образом оказался также один некогда известный французский врач, в отношении которого все думали, что он умер, и о котором ходили самые невероятные слухи. Впоследствии вышло так, что я сжег все эти бумаги неотправленными и нераспечатанными.

Внешность и голос доктора Муноса с каждым днем все более тревожили меня, а его поведение становилось все более эксцентричным и даже невыносимым. Как-то однажды в сентябре он бросил неожиданный, резкий взгляд на электрика, который пришел починить его настольную лампу, чем вызвал у того

сильнейший эпилептический приступ. Несколько минут спустя он, правда, сам же прописал несчастному необходимое и, надо признать, весьма эффективное снадобье, хотя и постарался сделать так, чтобы его поступок остался незамеченным окружающими. Как выяснилось позднее, пострадавший прошел ужасы и кошмары последней войны, однако не припоминал, чтобы на фронте с ним хотя бы раз случалось что-либо подобное.

Затем, уже в середине октября, неожиданно произошло что-то и вовсе кошмарное. Как-то вечером, примерно часов в одиннадцать, сломалась помпа его сложной машины, что на целых три часа практически прекратило выработку холода. Ожесточенными ударами шваброй в пол доктор Мунос срочно позвал меня к себе и я отчаянно пытался отремонтировать агрегат, в то время как хозяин квартиры на чем свет проклинал все и вся, причем делал это настолько безжизненным, даже каким-то дребезжащим тоном, что я даже не берусь его описать.

К сожалению, все мои любительские попытки не увенчались успехом, но когда я привел из работавшего круглые сутки близлежащего гаража квалифицированного механика, выяснилось, что вплоть до самого утра ничего нельзя поправить, поскольку надо было заменить какой-то поршень, которого у него сейчас не было.

Ярость и страх умирающего отшельника нарастали с неопишуемой быстротой и, казалось, готовы были в любой момент окончательно сокрушить то небольшое, что еще оставалось в его крайне ослабевшем организме. Один из спазмов заставил его стремительно прикрыть глаза руками и броситься к ванной. Наружу он вышел уже на ощупь, поскольку лицо его было тщательно перевязано, и с тех пор я никогда больше не видел его глаз.

В номере стало заметно теплее, и где-то часов в пять утра доктор снова отправился в ванную, попросив меня принести весь лед, который мне удастся отыскать в близлежащих и открытых в этот час аптеках и кафетериях. Вернувшись из своего суматошного путешествия и свалив многочисленные кульки и пакеты у закрытой двери ванной, я услышал доносившиеся из нее бесконечные всплески и произносимые низким голосом приказы: «Еще! Еще!»

Наконец настал очередной теплый день и стали один за другим открываться магазины. Я попросил Эстебана либо помочь мне в поисках новых партий льда, либо по крайней мере раздобыть где-нибудь требовавшуюся помпу, однако, проинструктированный мамашей, он наотрез отказался вообще чем-либо мне помогать.

Наконец я нанял какого-то убогого нищего, которого встретил на углу Восьмой авеню, наносить в квартиру льда из одного

известного мне маленького магазинчика, с хозяином которого я был немного знаком, а сам отправился на поиски требуемого поршня для помпы и соответствующих мастеров, которые могли бы его установить. Занятие это показалось мне бесконечным и я разъярился не меньше моего затворника, наблюдая за тем, сколь безрезультатно протекают часы отчаянных и лихорадочных телефонных звонков, а также совершаемой мною на голодный желудок беготни и поездок из одного места в другое. Где-то к полудню на самом краю города отыскалась нужная мне мастерская, так что к половине второго я вернулся домой, привезя наконец необходимое оборудование и сопровождаемый двумя крепкими и довольно толковыми механиками. Я сделал все от меня зависящее и искренне надеялся на то, что не опоздал.

Однако дома меня поджидал самый настоящий кошмар. Весь дом был буквально поставлен с ног на голову, и над хором иступленных голосов я услышал неожиданно густой бас молящегося мужчины. Все упоминали какие-то дьявольские творения, пальцы жильцов нервно перебирали бусины четок, а из-под дверей доктора доносился довольно-таки отвратный запах. Неожиданно из квартиры доктора Муноса с пронзительным криком пульей вылетел нанятый мною бродяга. Как впоследствии выяснилось, после своей второй ходки в магазин за льдом он просунул, было, голову внутрь ванной комнаты доктора и едва не лишился рассудка, став бы таким образом жертвой собственного любопытства. Естественно, он был не в состоянии закрыть за собой дверь, и все же сейчас она была плотно заперта, явно изнутри, и из-за нее сейчас не доносилось ни звука, если не считать звука падавших на пол больших и тяжелых капель.

Накоротке посоветовавшись с миссис Герреро и стоявшими рядом рабочими, я преодолел глодавший мою издерганную душу страх и предложил взломать дверь, однако хозяйка каким-то образом при помощи куска проволоки отперла замок снаружи. Мы же заблаговременно распахнули двери всех квартир на лестничной площадке и открыли все окна. И вот несколько фигур, тщательно прикрывая носы платками и отчаянно дрожа, вступили в эту зловещую комнату, которая, как выяснилось через несколько секунд, встретила нас теплыми лучами летнего солнца.

По полу, от дверей ванной в направлении холла тянулся какой-то темный, жидкий и, казалось, липкий след, который затем извивался в сторону письменного стола, возле которого образовалась небольшая лужица. Там же на столе лежал также отчаянно измазанный чем-то осклизлым кусок бумаги, на котором корявая, незрячая рука начертила карандашом несколько строк. Оттуда след вел в направлении кушетки, на которой и обрывался в виде нескольких беспорядочных полос и мазков.

То, что лежало, точнее, некогда лежало на кушетке, я не в силах описать ни сейчас, ни, пожалуй, когда-либо, да, и вряд ли у меня возникнет подобное желание. Но те слова, которые я с громадным трудом и дрожа всем телом все же разобрал начертанными на густо заляпанной бумаге, заставили меня тотчас же чиркнуть спичкой и сжечь злосчастную записку дотла. Хозяйка гостиницы и оба механика тотчас же опрометью бросились вон из этого дьявольского места, чтобы через несколько минут сбивчивыми, невнятными голосами поведать свою версию произошедшего в ближайшем полицейском участке.

Что же до меня, то тошнотворное содержание прочитанной мною записки показалось мне почти невероятным на фоне заливавшего комнату золотистого солнечного света, шума легковых машин и грохота грузовиков, натужно пронесившихся у нас под окнами со стороны Четырнадцатой улицы. И все же я готов поклясться, что вполне поверили тому, что тогда прочитал, хотя и не могу с определенностью сказать, верю ли в это сейчас. Есть, наверное, на свете такие вещи, насчет которых лучше не пускаться в долгие дискуссии, а потому скажу лишь, что с тех самых пор на всю жизнь возненавидел запах аммиака и буквально начинаю терять голову всякий раз, когда ощущаю дуновение холодного воздуха.

«Вот он, мой конец, — гласила та зловещая записка. — Лед кончился. Тот парень заглянул и куда-то убежал. С каждой минутой становится все теплее, и ткани долго не продержатся. Пожалуй, вы все поймете — на основании того, что я толковал о воле и нервах, а также о том, как может быть сохранено все тело после того, как его отдельные органы прекращают свою деятельность. Теория и в самом деле была хороша, да только это, похоже, не может длиться бесконечно. Я где-то проглядел возможность постепенного распада. Доктор Торрес знал, но шок от содеянного им же погубил его. Он не смог выдержать того, что ему было предначертано. Ознакомившись с содержанием моего письма, он поместил меня в странное, темное место, а потом стал за мной ухаживать. Вскоре он обнаружил, что мои органы больше не заработают. А просто все надо было делать именно по-моему — через искусственную консервацию, — и тогда, возможно, я жил бы и поныне, поскольку на самом деле умер восемнадцать лет назад».

Х.Ф.Лавкрафт

КАРТИНА В ДОМЕ





Общеизвестно, что в погоне за острыми ощущениями люди иногда посещают весьма экзотические и отдаленные места. Пожалуй, именно для них в старину были созданы катакомбы Птолемеев и спрятанные в глубине заморских стран резные мавзолеи. Они взбираются на залитые лунным светом развалины башен рейнских дворцов, и робко спускаются по черным, заросшим лишайником ступеням под каменные руины давно забытых азиатских городов. Заколдованный лес и одинокая, пустынная гора — их святыни, а потому они неустанно рыщут в поисках неведомых открытий вокруг зловещих монолитов необитаемых островов. И все же подлинные ценители чего-то необычного, а то и просто ужасного, для которых очередное потрясение при созерцании неописуемо отвратительного зрелища является неизбежным финалом, увенчивающим их долгие поиски, пожалуй, превыше всех этих древностей оценят самый обычный, одинокий фермерский дом, находящийся где-то в провинциальной глуши Новой Англии, ибо только там темные элементы потаенной силы, гнетущего одиночества, гротескной вычурности и дремучего невежества соединяются воедино, чтобы создать изумительное творение подлинного кошмара.

Примечательно, что самыми зловещими оказываются именно маленькие, обычно некрашенные деревянные домики, стоящие поодаль от проезжих дорог, обычно притулившись на влажном, поросшем травой склоне, или прислонившись к какому-нибудь гигантскому обнажившемуся пласту каменной породы. Двести, а то и более того лет назад они уже стояли там, покосившиеся и приземистые, и вьющиеся растения ползли по их стенам, а деревья вздымали и раскидывали над их крышами свои ветви. Сейчас же они, пребывая под охраной темных пологов тени, почти невидимы за буйным, неукротимым покровом зелени; однако их окна с узенькими, облупившимися рамами по-прежнему тревожно поглядывают на вас, изредка словно подмигивая и маня к себе сквозь пелену вечного оцепенения, которое притуляет воспоминания о ледяных душах вещей и событиях, и тем самым защищает разум перед неизбежным помешательством.

На протяжении поколений в таких домах жили странные люди, подобных которым еще никто и никогда не видывал. Окутанные туманом своей мрачной и фанатичной веры, заставившей их отдалиться от остальных людей, их предки искали именно самую дикую и запущенную природу, желая обрести в ней долгожданную вольность. В таких местах потомки этой свободолюбивой расы и в самом деле достигали некоего блаженства, необремененные ограничениями и тяготами жизни остального человечества, однако робея и пресмы-

каясь в рабских оковах невежества перед мрачными призраками их собственного разума.

Отдалившаяся от просвещенной цивилизации, сила этих пуритан текла по весьма странным каналам и находила подчас самые диковинные выходы, и в своей изоляции, в своем болезненном САМОограничении, служившем интересам борьбы за жизнь с безжалостной природой, они подчас перенимали и впитывали в себя самые темные и загадочные черты, дошедшие до них из доисторических глубин их холодного северного прошлого. По необходимости практичные, и по свойству духа строгие, эти люди отнюдь не были прекрасны в своих грехах. Ошибаясь, как и все смертные, они первым делом стремились найти для себя тайное убежище, к чему их подталкивал жесткий уклад жизни, а потому со временем даже сами начинали постепенно забывать, что именно столь старательно и ревностно скрывали. Теперь же лишь молчаливые, сонные, пугливо глазающие окнами домики, сокрытые в темной глуши лесов, могли бы поведать случайному путнику, что именно было сокрыто в них с незапамятных дней далекого прошлого, а они ведь обычно такие неразговорчивые, эти полуразвалившиеся хибарки, и так не любят стряхивать с себя дремоту, которая лучше любого иного средства помогает забыть былое. Иногда даже начинает казаться, что было бы гораздо лучше и милосерднее вообще снести эти домики — ведь им так часто снятся тяжелые сны.

Именно в одном из таких сокрушенных временем строений я и оказался в ноябре 1896 года, когда разразившийся во второй половине дня проливной дождь заставил меня искать какого угодно убежища, лишь бы не оставаться под его хлесткими струями. Я уже несколько дней путешествовал по Мискатонской долине в поисках кое-какой генеалогической информации, а поскольку интересовавшие меня сведения чаще всего носили весьма стародавний и расплывчатый характер, то в целях экономии времени я вскоре надумал обзавестись велосипедом, даже несмотря на столь неподходящее для такого вида транспорта время года.

Таким образом я оказался на старой и, очевидно, заброшенной дороге, которую сам же и выбрал, желая кратчайшим путем добраться до Эркхама, где меня застигла гроза, полностью исключавшая любую возможность добраться до любого из близлежащих населенных пунктов. В поисках возможного убежища я наконец наткнулся неподалеку от основания каменистого холма на одно-единственное, с виду весьма древнее и к тому же довольно неказистое деревянное строение, которое едва поблескивало мутными окнами, выглядывавшими из-за двух громадных, уже сбросивших лис-

тву вязов. Даже несмотря на разделявшее нас расстояние, это строение произвело на меня весьма неприятное и, более того, гнетущее впечатление уже в тот самый момент, когда я только заметил его с дороги. Мне почему-то подумалось тогда, что порядочные и благопристойные дома не смотрят на путешественника столь хитро, лукаво и одновременно завораживающе, тем более, что в своих генеалогических изысканиях я нередко встречал чуть ли не ветхозаветные легенды, содержание которых неизбежно должно было отвращать меня от подобного рода мест. Однако погодные условия были столь неблагоприятными, что я преодолел свой суеверный снобизм, и уже через несколько секунд крутил педали велосипеда вдоль по заросшему травой и кустарником склону в направлении запертой двери, один лишь потаенный вид которой наводил на определенные раздумья.

С первого взгляда мне показалось, что дом этот заброшен, однако, приближаясь к нему, я уже стал сомневаться в подобном мнении, поскольку хотя ведущая к нему тропинка действительно основательно заросла травой, она все же наводила на мысль о том, что ею изредка пользуются. Поэтому вместо того, чтобы сразу решительно потянуть на себя ручку двери, я осторожно постучался, чувствуя в душе смутный трепет и волнение, объяснение которым едва ли мог тогда найти.

Стоя в ожидании возможного ответа на грубом, поросшем мхом камне, служившем своего рода приступком, я бросил взгляд на ближайшие ко мне окна, затем посмотрел на располагавшееся над дверью оконце, и обратил внимание на то, что несмотря на ветхость, грязь, стекла в них разбиты не были. Из этого я заключил, что строение, при всей его явной запущенности и общей неказистости, должно быть, все еще обитаемо. Тем не менее, на мой стук так никто и не ответил, а потому я решил дернуть за заржавленную щеколду и обнаружил, что дверь незаперта.

Сразу за порогом находилась маленькая прихожая, со стен которой обильно осыпалась штукатурка, а из дверей доносился едва ощутимый, но определенно малоприятный запах. Я вошел, придерживая велосипед рукой, и закрыл за собой дверь. Прямо передо мной начиналась узкая лестница, завершавшаяся маленькой дверью, которая, очевидно, вела на чердак, тогда как внизу справа и слева от меня располагались двери, ведущие, скорее всего, в комнаты.

Прислонив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низкими потолками, мрачном от едва проникавшего сквозь запыленные окна света, и обставленном самым что ни на есть незамысловатым и даже примитивным образом. Похоже, это было чем-то вроде

гостиной, поскольку там стояли стол и несколько стульев, а кроме того имелся громадный камин, на котором стояли и определенно тикали старинные часы. Книг или газет было очень мало, а названия их в таком мраке разобрать было почти невозможно.

Больше всего мое внимание привлекла доминировавшая в доме атмосфера неимоверного архаизма, проступавшая буквально в каждой его детали. В большинстве домов в этой местности я и раньше встречал массу реликвий далекого прошлого, однако здесь эта поразительная древность казалась доведенной до своего предела, поскольку ни в одной из комнат мне не удалось обнаружить ни единого предмета, который относился бы к послереволюционным временам. Не будь это местечко обставлено столь скромной и неприглядной мебелью, оно вполне могло бы стать подлинным раем для какого-нибудь антиквара.

Обследуя эти старомодные апартаменты, я все более явно испытывал к ним чувство неподдельного отвращения, первоначально возникшее у меня при одном лишь взгляде на столь унылое строение. Но что именно это было — действительно неприязнь или, может, потаенный страх — я никак не мог определить, хотя отчетливо ощущал во всей атмосфере дома нечто такое, что, казалось, дышало темной, во многом порочной стариной, неопрятная грубость и затаенность которой, вроде бы, были давно забыты. Садиться мне почему-то не хотелось и потому я продолжал блуждать по комнатам, осматривая те или иные предметы, на которых изредка останавливался мой взгляд.

Одним из таких предметов, привлечшим мое внимание, была книга средних размеров, которая лежала на столе и имела настолько допотопный вид, что я даже подумал, что ее извлекли из какого-нибудь музея. Она была в кожаном переплете, с металлическими уголками, при этом, как ни странно, превосходно сохранилась, и мне показалось удивительным, что столь необычное издание находится в подобном затрапезном помещении.

Как только я открыл ее на первой странице, мое изумление возросло многократно, поскольку это было не чем иным как редчайшими записками Пигафетты о путешествии по району Конго, написанными на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса и изданными во Франкфурте в 1598 году. Я довольно часто слышал об этой книге, которая была снабжена крайне любопытными иллюстрациями, выполненными братьями Де Брай, а потому на какое-то время совершенно забыл про досаждавшую мне смутную тревогу, и очень захотел познакомиться с книгой поближе. Гравюры в ней и в

самом деле были весьма интересными, выполненными исключительно на основе собственных впечатлений автора, хотя и снабженными не вполне точными пояснениями, и изображали странного вида туземцев с белой кожей и кавказскими чертами лица.

Вероятно, я вскоре так и закрыл бы эту книгу, если бы не одно довольно странное, и одновременно вполне банальное обстоятельство, почему-то задевшее мои усталые нервы и вновь оживившее ощущение непонятного беспокойства. Дело в том, что книга эта странным образом всякий раз словно бы сама раскрывалась на одном и том же месте, а именно на иллюстрации XII, на которой была в омерзительных деталях изображена лавка какого-то мясника каннибала из древнего Анзика. Я невольно устыдился собственной восприимчивости какой-то заурядной картинки, однако иллюстрация эта почему-то еще больше меня встревожила, тем более, что к ней прилагалась своего рода справка по гастрономическим пристрастиям этих самых анзикийцев.

Затем я повернулся к соседней книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое — Библию XVIII века; «*Странствия пилигримов*» примерно того же периода, иллюстрированные вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исайей Томасом; основательно подгнивший громадный том «*Magnalia Christi Americana*» и еще несколько книг примерно такого же возраста, — когда мое внимание привлек внезапно донесшийся сверху звук.

По-началу изумившись, застыв на месте и вспомнив, что на мои предыдущие стуки в дверь так никто и не откликнулся, я уже в следующее мгновение решил, что передвигающийся человек, скорее всего, только что очнулся после долгого сна, и потому уже с меньшим удивлением прислушивался к поскрипыванию ступеней. Поступь спускавшегося по лестнице человека была весьма тяжелой и одновременно казалась какой-то настороженной, что особенно мне не понравилось с учетом его явно внушительных габаритов. Войдя в комнату, я инстинктивно запер за собой дверь, и сейчас, после мгновения тишины, когда хозяин, очевидно, осматривал мой оставленный в прихожей велосипед, услышал, как кто-то задыгал щеколдой, после чего дверь в гостиную стала медленно открываться.

В дверном проеме показался человек столь необычной внешности, что я едва было не вскрикнул, но все же каким-то образом сдержался. Это был явно хозяин дома — старый, с белой бородой, имевший вид и телосложение, которые внушали, как ни странно, некоторое уважение. Ростом он был где-то под метр восемьдесят и, несмотря на свой возраст и

явную нищету, казался крепким и энергичным. Его лицо, почти полностью сокрытое длинной бородой, которая росла чуть ли не от самых глаз, казалось неестественно румяным и не столь морщинистым, как того можно было бы ожидать. На высокий лоб падала прядь белых волос, правда, чуть поредевшая с годами. Его голубые глаза с чуть красноватыми веками ощупывали меня неожиданно пронзительным и даже пылающим взглядом. Если бы не его чудовищная неряшливость, старик, пожалуй, мог бы показаться весьма внушительной и даже важной персоной. Неудивительно, что именно эта неряшливость, несмотря на выражение лица и фигуру, делала его внешность особенно отталкивающей. Невозможно было определить, что представляла собой его одежда, поскольку мне она показалась сплошной массой каких-то лохмотьев, колыхавшихся над парой высоких, тяжелых сапог. Что же до его нечистоплотности, то она вообще не поддавалась никакому описанию.

Само появление этого человека, и тот инстинктивный страх, который оно мне внушило, невольно заставили меня ожидать чего-то вроде враждебности, а потому я почти вздрогнул от изумления и ощущения дикой несуразности, когда он указал рукой в сторону стула и обратился ко мне тонким, слабым голосом, преисполненным льстивым, даже слащавым уважением и чарующим гостеприимством. Речь его была довольно странной и представляла собой ярко выраженную форму североамериканского диалекта, который, как я полагал, уже давно вышел из повседневного обращения. Я не сводил с него взгляда, пока он садился напротив меня, после чего мы начали нашу беседу.

— Под дождь попали, да? — вместо приветствия проговорил он. — Рад, что вы оказались неподалеку и догадались заглянуть ко мне. Сам-то я, похоже, спал, иначе бы услышал как вы вошли. Годы уже не те, что раньше, теперь частенько хочется вздремнуть даже днем. Вы, я вижу, путешествуете? С тех пор, как отменили дилижанс на Эркхам, нечасто приходится встречать на этой дороге людей.

Я сказал, что действительно ехал в Эркхам, и извинился за непрошенное вторжение в его обитель, после чего он продолжал:

— Рад вас видеть, юноша. Редко в здешних местах удается повстречать нового человека, чтобы хоть немного поболтать с ним, развеяться. А вы, похоже, из Бостона, да? Сам я там никогда не был, но сразу могу по виду определить городского жителя. В восемьдесят четвертом был у нас здесь один учитель, но потом он неожиданно куда-то уехал, и с тех пор никто о нем ничего не слышал...

При эти словах старик неожиданно рассмеялся, но ничего не ответил на мой уточняющий вопрос об учителе. У меня сложилось впечатление, что он пребывал в довольно игривом расположении духа и был не слишком подвержен тем чудачествам, которых можно было бы ожидать от человека его возраста и положения. После этого он еще некоторое время болтал какой-то вздор, пребывая в состоянии почти лихорадочного радушия, пока мне на ум не пришло поинтересоваться у него, каким образом ему удалось раздобыть столь редкую книгу как «*Regnum Congo*» Пигафетты. Я все еще находился под впечатлением от этой книги и испытывал некоторое колебание, прежде чем заговорить о ней, однако любопытство все же одолело смутные страхи, которые постепенно накапливались во мне с тех самых пор, когда я впервые увидел этот дом. К моему облегчению, вопрос мой не показался ему неуместным, поскольку старик свободно и легко проговорил:

— А, та самая книжка про Африку? В шестьдесят восьмом ее продал мне капитан Эбenezер Холт — самого-то его потом в войну убило.

Что-то в упомянутом им имени Эбenezера Холта заставило меня резко взглянуть на старика, поскольку я уже когда-то встречал его в некоторых генеалогических документах, хотя все они относились исключительно к дореволюционным временам. Я подумал тогда, не сможет ли хозяин дома помочь мне в моих изысканиях, а потому решил позже расспросить его на этот счет. Между тем он и сам продолжил разговор на эту же тему:

— Эбenezер долгое время был сале́мским купцом, и в каждом порту скупал всякие забавные вещицы. Эту он привез, кажется, из Лондона — любил, знаете, захаживать в разные там местные магазины. Как-то раз я был у него дома — это на холме, он там лошадьми торговал, — вот там я и увидел эту книгу. Мне в ней картинки понравились, вот он и отдал ее мне в обмен на что-то. Довольно забавная книжонка — дайте-ка мне очки надеть...

Старик покопался в лохмотьях и извлек из них пару грязных и неимоверно древних очков с маленькими восьмиугольными стеклами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он протянул руку к лежавшей на столе книге и стал аккуратно, почти любовно листать ее.

— Эбenezер немного читал по ихнему — по-латыни, — а я вот не научился. Я просил двух или трех учителей почитать мне чуюток, и еще Пэссона Кларка — говорили, он потом утонул. А вы что-нибудь в этом понимаете?

Я ответил утвердительно и перевел ему один из первых абзацев. Если я и ошибся, старик в любом случае не мог бы

подкорректировать меня, а плюс ко всему он, похоже, и в самом деле был доволен, чуть ли не по-детски радуясь моему правильному английскому.

Между тем, находиться с ним рядом становилось все более невыносимо, однако я никак не мог найти подходящий предлог, чтобы уйти и при этом не обидеть старика. Мне в общем-то была даже симпатична эта детская увлеченность старца картинками в книге, которую сам он прочитать не мог; более того, я сильно сомневался в том, что он мог прочитать даже те немногочисленные английские книги, которые украшали его более чем скромный быт. Эта демонстрация подчеркнутой простоты и незатейливой искренности отчасти сгладила то смутное опасение, которое я до сих пор испытывал, и потому я с улыбкой продолжал слушать болтовню хозяина дома.

— А странно все-таки, как картинки могут показывать, что думает человеческое тело. Взять хотя бы вот эту, в самом начале. Вам приходилось видеть такие деревья — с большими листьями, которые качаются вверх-вниз, вверх-вниз? Или вот эти люди — это не могут быть негры, совсем не такие они. Скорее индусы, даже если в Африке живут. А некоторые и вовсе на обезьян похожи, или наполовину обезьяны, а наполовину люди. Я о таких никогда и не слышал.

В этом месте он ткнул пальцем в очередное порождение фантазии художника, изобразившего, как мне показалось, нечто вроде дракона с головой крокодила.

— А сейчас я покажу вам самую лучшую — вот здесь, ближе к середине... — Голос старика зазвучал чуть ниже, глуше, а в глазах появился чуть более яркий блеск. Его подрагивающие пальцы, казалось, стали еще более неуклюжими, но все же со своей задачей справились. Книга распалась почти сама по себе, как если бы ее особенно часто открывали именно на этом месте — на той самой двенадцатой иллюстрации, на которой была изображена лавка мясника каннибалов-анзиков. Ко мне вновь вернулось прежнее состояние тревоги, хотя я и старался не показать его. Особо нелепым казалось то обстоятельство, что художник изображал своих африканцев совсем как белых людей, а части тел, свисавшие со стен лавки, казались просто омерзительными, тогда как фигура мясника с топором в руке смотрелась зловеще. Однако хозяину дома эта иллюстрация, похоже, нравилась столь же явно, как самому мне внушала отвращение.

— Ну, что вы думаете по этому поводу? Наверное, никогда ни о чем подобном и не слышали, а? Когда я увидел это, то сказал Эбу Холту: «Прямо дрожь пробирает, когда смотришь на такое, и чувствуешь, как кровь по жилам бежит». Когда я в Библии читал про убийства людей — там много об

этом написано, так ведь? — ну так вот, я тоже об этом думал, вот только картинок там не было. А здесь все видно как на ладони — грех, конечно, все это, но разве все мы не родились в грехе, и не живем в нем?... Этот парень, которого на куски разрубили — я как гляну на него, всякий раз вздрагиваю. Но мне надо постоянно смотреть на это — видеть, как мясник отрубает ему ногу. Вот на лавке его голова, рядом с ней — одна рука, а другая уже на стене висит.

Пока старик бормотал все это в своем шокирующем экстазе, выражение его волосатого лица в очках стало неопишимо меняться, хотя голос его, как ни странно, однудь не повышался, а даже скорее затихал. Едва ли я был тогда в состоянии до конца осознать свои собственные чувства. Весь ужас, который я смутно испытывал до сих пор, вновь нахлынул с новой, живой силой, и я с особой ясностью почувствовал, что уже ненавижу это древнее и гнусное существо, которое сидит так близко от меня. Его безумие, или по крайней мере, почти патологическая извращенность, не вызывали у меня ни малейшего сомнения. Теперь он почти перешел на шепот и говорил с хрипотцой, которая была ужаснее крика. Дрожа всем телом, я все же продолжал слушать его.

— Вот я и говорю, странно все же, о чем эти картинки заставляют тебя думать. А знаете, молодой человек, ведь эта картинка в самый раз про меня. После того как я взял у Эба эту книжку, я помногу смотрел ее, особенно когда услышал, что Пэссон Кларк часто выходит из дома в своем большом парике. И однажды я придумал кое-что смешное — только вы не бойтесь, молодой человек, потому как все, что я сделал после того как посмотрел на эту картинку, так это зарезал овцу, которую сам же и отвез на рынок. Овцу лучше всего убивать после того как посмотришь на такое...

Голос старика совсем затих, так что я едва различал произносимые им слова. Я слышал дождь, стук его капель по замызганным, маленьким оконным стеклам, и чувствовал приближение грозы, столь необычной в это время года. Вскоре ужасающей силы вспышка и оглушительный грохот сотрясли ветхий домишко вплоть до самого фундамента, однако мой напештывающий собеседник, казалось, ничего не заметил.

— Как прирезал овцу, стало немного веселее, но знаете, все равно как-то не было *удовлетворения*. Странно даже чувствовать, как тебя охватывает жажда чего-то такого, особенного... Если вы, молодой человек, любите Господа нашего всемогущего, то никому не рассказывайте об этом, но я скажу вам правду — я глядел на эту картинку, и внутри у меня поднимался голод по *такой пище, которую я не мог ни купить, ни сам вырастить*... Нет-нет, сидите спокойно, что с

вами? — я же не сделал ничего такого, только подумал, что же будет, если и в *самом деле* сделаю... Часто говорят, что вся наша плоть происходит от крови и мяса, что они дают нам новую жизнь, вот я и подумал, что человек будет жить долго-долго, если будет есть то же самое, *что и он сам*...

На этом его шепот прервался, причем остановил его отнюдь не мой страх, и не все более усиливавшаяся гроза. Произошло это по самой что ни на есть простой, и в то же время неожиданной причине.

Между нами на столе лежала та самая раскрытая книга с ее обращенной к потолку омерзительной иллюстрацией. Как только старик прошептал слова «*что и он сам*», я услышал слабый звук, похожий на легкий шлепок, и на пожелтевшей странице появилось пятно. Я поначалу подумал о дожде и протекающей крыше, но ведь дождь не бывает красным. На изображении лавки мясника анзикских каннибалов это маленькое красное пятнышко поблескивало весьма живописно, придавая старинной гравюре особую силу и живость. Старик тоже увидел пятно, и тут же замолчал, причем еще даже до того, как выражение ужаса на моем лице вынудило бы его сделать это. Он быстро поднял взгляд к потолку. Я проследил за его взглядом и увидел прямо над нами, на отслаивающейся штукатурке старинного потолка, большое, неровной формы, мокрое пунцовое пятно, которое, как мне показалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал и не пошевелился, а всего лишь плотно сомкнул веки. Мгновение спустя раздался удар, а может и несколько оглушительных ударов грома, которые сокрушили этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами, и принесли мне забытье — то единственное, что еще могло спасти мой бедный рассудок.

Х.Ф.Лавкрафт

МУЗЫКА ЭРИХА ЗАННА





Я самым внимательным образом изучил карты города, но так и не отыскал на них улицу д'Осейль. Надо сказать, что я рылся отнюдь не только в современных картах, поскольку мне было известно, что подобные названия нередко меняются. Напротив, я, можно сказать, по уши залез в седую старину и, более того, лично обследовал интересовавший меня район, уже не особенно обращая внимания на таблички и вывески, в поисках того, что хотя бы отдаленно походило на интересовавшую меня улицу д'Осейль. Однако, несмотря на все мои усилия, вынужден сейчас не без стыда признаться, что так и не смог отыскать нужные мне дом, улицу, и даже приблизительно определить район, где, в течение последних месяцев моей обездоленной жизни, я, студент факультета метафизики, слушал музыку Эриха Занна.

Меня отнюдь не удивляет подобный провал в памяти, поскольку за период жизни на улице д'Осейль я серьезно подорвал как физическое, так и умственное здоровье, и потому был не в состоянии вспомнить ни одного из тех немногочисленных знакомых, которые у меня там

появились. Однако то, что я не могу припомнить само это место, кажется мне не просто странным, но и поистине обескураживающим, поскольку располагалось оно не далее, чем в получасе ходьбы от университета, и было отмечено рядом весьма специфических особенностей, которые едва ли стерлись бы в памяти любого, кто хотя бы однажды там побывал. И все же мне ни разу не довелось повстречать человека, который бы слышал про улицу д'Осейль.

По массивному, сложенному из черного камня мосту улица эта пересекала темную реку, вдоль которой располагались кирпичные стены складских помещений с помутневшими окнами. Берега реки постоянно пребывали в тени, словно смрадный дым соседних фабрик навечно сделал ее недоступной солнечным лучам. Да и сама река являлась источником невыносимой, неведомой мне доселе вони — кстати, как ни странно, именно с последним обстоятельством я связываю определенные надежды на отыскание нужного мне дома, поскольку никогда не забуду тот характерный запах. По другую сторону моста проходили огороженные перилами и мощеные булыжником улицы, сразу за которыми начинался подъем, поначалу относительно пологий, однако затем, как раз неподалеку от интересующего меня места, круто забиравший вверх.

Мне еще ни разу не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как д'Осейль. Прямо не улица, а какая-то скала, закрытая для проезда любого вида транспорта — в ряде мест тротуар на ней был даже заменен лестничными ступенями, —

и упиравшаяся наверху в высокую, увитую плющом стену. Дорожное покрытие улицы было довольно неровным и в нем периодически чередовались каменные плиты, обычный булыжник, а то и просто голая земля, из которой изредка пробивались серовато-зеленые побеги какой-то растительности. Стоявшие по обеим ее сторонам дома представляли собой высокие строения с остроконечными крышами, неизмеримо старые и рискованно покосившиеся. Изредка попадались и такие места, где как бы падавшие друг другу навстречу дома чуть ли не смыкались своими крышами, образуя некое подобие арки. Естественно, в подобных случаях они полностью и навечно скрывали пролежавшую внизу улицу от малейших проблесков солнечного света. Между иными домами были положены узенькие, соединявшие их мостики.

Но особо меня поразили обитатели тех мест. Поначалу мне показалось, что впечатление это происходит от их замкнутости и неразговорчивости, но потом я решил, что, скорее всего, причина заключается в другом, а именно в том, что все они были очень старыми. Не знаю, как получилось, что я поселился на этой улице, но решение это было словно продиктовано мне извне. Страдая от постоянной нехватки денег, я был вынужден сменить массу убогих лачуг, пока наконец не набрел на тот покосившийся

дом на улице д'Осейль, хозяином которого являлся старый, разбитый параличом человек по фамилии Бландо. Стоял этот дом третьим от конца улицы и являлся самым высоким на ней зданием.

Комната моя помещалась на пятом этаже и представляла собой единственное заселенное на нем помещение, поскольку почти весь дом пустовал. В первую же ночь после моего вселения я услышал доносившиеся из располагавшейся под заостренной крышей мансарды звуки странной музыки, и на следующий день поинтересовался у Бландо относительно их источника. Старик сказал, что это играл на виоле немой и старый немецкий музыкант — довольно странный тип, расписавшийся в его книге как Эрих Занн, работавший по вечерам в оркестре дешевого театра. При этом Бландо пояснил, что, по возвращении из театра, Занн любит играть по ночам, и потому специально выбрал эту высокую, изолированную комнату в мансарде, одинокое слуховое окно которой было единственным местом в доме, из которого открывался вид на пейзаж по другую сторону от венчавшей улицу стены.

С тех пор я почти каждую ночь слышал музыку Занна, и хотя мелодии эти определенно не давали мне заснуть, я был просто очарован ее непривычным, причудливым звучанием. В общем-то слабо разбираясь в искусстве, я все же был уверен

в том, что звуки эти не имели ничего общего с тем, что мне доводилось слышать когда-либо ранее, и потому вскоре пришел к выводу, что неведомый мне старик — скорее всего, настоящий музыкальный гений, причем весьма необычного, оригинального склада. Чем больше я слушал напевы его инструмента, тем все более завораживающее впечатление они на меня производили. Наконец я набрался смелости и решил познакомиться с этим человеком.

Однажды вечером я подкараулил в коридоре возвращавшегося с работы Занна и сказал ему, что хотел бы узнать его поближе, а заодно послушать, как он играет. На вид это был маленький, тщедушный, скрюченный мужчина в потертой одежде, с голубыми глазами на гротескном, похожем на физиономию сатира лице, и почти лысой головой. Первой его реакцией на мои слова был, как мне показалось, гнев, к которому примешивалась изрядная толика страха. Однако мое явно дружеское расположение в конечном счете растопило ледок его отчужденности, и он махнул рукой, призывая меня следовать за ним по темной, скрипучей, расшатанной лестнице в его мансарду.

Он занимал одну из двух располагавшихся в круто заострявшемся кверху чердачном пространстве комнат, а именно западную, которая как бы зависала над той самой завершавшей улицу стеной. Помещение было довольно просторным и казалось еще большим из-за почти полного отсутствия в нем какой-либо мебели и общей крайней запущенности. Если быть более точным, в ней стояли лишь узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу валялись хаотично разбросанные груды нотных тетрадей. Стены в комнате оставались совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки, а повсеместное обилие пыли и паутины придавали всему жилищу скорее облик необитаемого помещения. Очевидно, мнение Эриха Занна о комфортабельном жилище лежало далеко за пределами традиционных представлений на этот счет.

Указав мне на стул, немой старик закрыл дверь, вдвинул в косяк массивный деревянный засов и зажег еще одну свечу — в дополнение к той, с которой пришел сам. Затем он извлек из траченого молюю футляра свою виолу, и уселся с ней на один из стульев. Пюпитром он не пользовался, и играл по памяти, и более, чем на час буквально заморозил меня мелодиями, ничего подобного которым я никогда еще не слышал, и которые, как я предположил уже тогда, были плодом его собственного сочинительства. Для человека, совершенно не разбирающегося в музыке, описать их характер было поп-

росту невозможно. Это были своего рода фуги с периодически повторяющимися пассажами самого чарующего, пленительного свойства, тем более примечательными для меня лично, что в них совершенно отсутствовали те самые странные, фантастические звуки, которые я регулярно слышал, сидя и лежа по ночам в своей комнате.

Эти поистине колдовские мотивы хорошо сохранились в моей памяти, и я даже нередко неумело насвистывал их про себя. Как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не может ли он сыграть мне некоторые из столь заинтересовавших меня произведений. Как только я заговорил об этом, морщинистое лицо старика утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он играл до этого, и на нем вновь проступила характерная смесь гнева и страха, замеченная мной при первой нашей встрече. Я уже, было, хотел начать уговаривать его, памятуя о причудах старческого характера, и даже попытался настроить хозяина квартиры на тот самый «причудливый» музыкальный лад, насвистев ему несколько фрагментов из запомнившихся мелодий, которые слышал накануне ночью.

Однако продолжалось все это не более нескольких секунд, поскольку как только он узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как лицо его самым непостижимым образом преобразилось, и он протянул свою длинную, холодную, костлявую руку, чтобы закрыть мне рот и прервать эту грубую имитацию. Сделав это, он лишний раз продемонстрировал свою непонятную эксцентричность, бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окна, словно опасаясь с той стороны какого-то вторжения. Жест тот был тем более нелеп и абсурден, что комната старика располагалась на большой высоте, намного превышавшей уровень крыш всех соседних домов, а кроме того, как сказал мне консьерж, окно это было единственным выходившим на крутую улицу, из которого можно было увидеть простиравшуюся за монолитной стеной панораму ночного города.

Взгляд старика напомнил мне слова Бландо, и у меня даже возникло своевольное желание выглянуть из этого окна и полюбоваться расстилавшимся подо мной зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по другую сторону холма, поскольку из всех жильцов улицы д'Осейль оно было доступно одному лишь этому скрюченному музыканту. Я уже подошел к окну и хотел было отдернуть довольно ветхие и грязные шторы, когда с неистовством, по своей силе превосходившим даже то, которое мне уже довелось наблюдать прежде, немой жилец вновь подскочил ко мне, на сей раз решительно указывая головой в сторону двери и нервно уводя меня обеими руками в том же направлении.

Неожиданная выходка старика немало оскорбила меня, я потребовал отпустить мою руку, и сказал, что и так немедленно покину его жилище. Он ослабил хватку, а заметив мое возмущение и обиду, похоже, несколько умирил свой пыл. Через секунду рука его снова напряглась, однако на сей раз уже в более дружелюбном пожатии, подталкивая меня в сторону стула; после этого он с задумчивым и каким-то тоскливым выражением лица подошел к захламленному столу и принялся что-то писать по-французски своим натужным, вымученным почерком иностранца.

Записка, которую он в конце концов протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость к допущенной резкости и простить его. Занн также написал, что он стар, одинок, и страдает странными приступами страха и нервными расстройствами, имеющими отношение как к его музыке, так и к некоторым другим вещам. Ему очень понравилось то, как я слушал его игру, и он будет очень рад, если я и впредь стану заходить к нему, не обращая внимания на его эксцентричность. Однако он не может при посторонних исполнять свою причудливую музыку, равно как и не выносит, когда при нем это делают другие; кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди прикасаются к каким-либо вещам у него в комнате. Вплоть до нашей встречи в коридоре он и понятия не имел, что я слышал его игру у себя в комнате, и был бы очень рад, если бы я при содействии Бландо переехал куда-нибудь пониже этажом, куда не долетали бы звуки его инструмента. Разницу в арендной плате он был готов возместить лично.

Занятый расшифровкой его ужасающих каракулей, я невольно проникся большей снисходительностью к несчастному старику. Подобно мне, он стал жертвой ряда физических и душевных недугов, а моя увлеченность метафизикой во многом приучила меня быть терпимее и добрее к людям. Неожиданно, в наступившей тишине, со стороны окна, послышался какой-то слабый звук — видимо, на ночном ветру скрипнул ставень, — причем я, так же, как и старый Эрих Занн, невольно вздрогнул от прозвучавшего шороха. Покончив с чтением, я пожал хозяину квартиры руку и расстались мы, можно сказать, почти друзьями.

На следующий день Бландо предоставил в мое распоряжение более дорогую квартиру на третьем этаже, располагавшуюся между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного драпировщика. Теперь надо мной вообще никто не жил.

Впрочем, довольно скоро я обнаружил, что желание Занна видеть меня почаще оказалось не столь сильным, как могло показаться в ту ночь, когда он уговаривал меня съехать с

пятого этажа. К себе он меня не приглашал, а когда я по собственной инициативе однажды нанес ему визит, держался как-то скованно и играл явно без души. Встретиться с ним можно было лишь по ночам, поскольку днем он отсыпался и вообще никого не принимал.

Нельзя сказать, чтобы я стал проникаться к нему еще большей симпатией, хотя и сама комната в мансарде, и доносившаяся из нее причудливая музыка странным образом завораживали, манили меня. Я испытывал необычное желание выглянуть из того самого окна, посмотреть на доселе остававшийся невидимым склон холма, устремить свой взор поверх стены и взглянуть на простиравшиеся за нею поблескивающие крыши домов и шпили церквей. Как-то раз днем, когда Занн был в театре, я даже хотел, было, подняться в мансарду, однако дверь в нее оказалась заперта.

Тем не менее, я продолжал тайком слушать ночную игру старого немого музыканта. Для этого я сначала крадучись пробирался на свой бывший пятый этаж, а потом и вовсе набрался смелости и восходил по скрипучему последнему лестничному пролету, который вел непосредственно к его квартире. Стоя там, в узеньком холле перед закрытой дверью, в которой даже замочная скважина была прикрыта специальной заглушкой, я нередко слышал звуки, наполнявшие меня смутным, не поддающимся описанию страхом, словно

я являлся свидетелем какого-то непонятного чуда и надвигающейся неведомо откуда никем не разгаданной тайны. Причем нельзя сказать, что звуки эти были неприятными или, тем более, зловещими — нет, просто они представляли собой диковинные, неслыханные на земле колебания, а в отдельные моменты приобретали поистине симфоническое звучание, которое, как мне казалось, попросту не могло быть воспроизведено одним-единственным музыкантом. Определенно, Эрих Занн был гением некоей дикой силы.

Прошло несколько недель, и его музыка стала еще более необузданной, даже неистовой, а сам он заметно осунулся и совсем ушел в себя. Теперь он уже вообще в любое время суток отказывался принимать меня и, когда бы мы ни встретились с ним на лестнице, неизменно уклонялся от каких-либо дальнейших контактов.

Однажды ночью, по обыкновению стоя у него под дверью, я неожиданно для себя услышал, что звучание виолы переросло в некую хаотичную какофонию. Это был кромешный ад нелепых, чудовищных звуков, воспринимая которые, я уже начал было сомневаться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с этим звуковым бедламом, доносившимся из-за запертой двери мансарды, не различал горестных под-

тверждений того, что этот кошмар, увы, был самой настоящей реальностью — это были ужасные, лишенные какого-либо содержания и, тем более, смысла, мычащие звуки, которые мог издавать только немой, и которые способны были родиться лишь в мгновения глубочайшей тоски или страха.

Я несколько раз постучал в дверь, но ответа так и не дождался. Затем еще некоторое время подождал в темном холле, дрожа от холода и страха, пока не услышал слабые шорохи, явно свидетельствовавшие о том, что несчастный музыкант робко пытался подняться с пола, опираясь на стул. Предположив, что он только что очнулся от внезапно поразившего его припадка, я возобновил свои попытки достучаться до него, одновременно громко произнося свое имя, поскольку искренне хотел хоть как-то подбодрить старика.

Вскоре я услышал, как Занн прошаркал к окну, плотно закрыл не только его створки, но также и ставни, после чего доковылял до двери и с явным усилием отпер замки и засовы. На сей раз у меня не оставалось сомнений в том, что он действительно искренне рад моему приходу: лицо его буквально светилось от облегчения при виде меня, пока он цеплялся за мой плащ подобно тому, как малое дитя хватается за юбку матери.

Отчаянно дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам опустился рядом; на полу у его ног небрежно валялись инструмент и смычок. Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, нелепо покачивая головой, хотя одновременно с этим явно к чему-то внимательно и напряженно прислушиваясь. Наконец он, похоже, успокоился, удовлетворенный чем-то одному лишь ему ведомым, прошел к столу, нацарапал короткую записку, передал ее мне, после чего снова опустился на стул у стола и принялся быстро писать что-то уже более длинное. В первой записке он молил меня о прощении и просил ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит более подробное письмо, уже по-немецки, в котором опишет все те чудеса и кошмары, которые мучили его все это время.

Прошло, пожалуй, не меньше часа. Я сидел, наблюдая, как увеличивается стопка лихорадочно исписанных листов, и вдруг заметил, что Занн сильно вздрогнул, словно от какого-то резкого потрясения. Я увидел, что он пристально смотрит на зашторенное окно и при этом дрожит всем телом. В тот же момент мне показалось, что я также расслышал какой-то звук; правда, отнюдь не мерзкий и страшный, а скорее необычайно низкий и донесшийся словно откуда-то издалека, как если бы издал его неведомый музыкант, находящийся в одном из соседних домов или даже далеко за высокой стеной, заглянуть за которую мне так до сих пор ни разу не удалось.

На самого же Занна звук этот произвел поистине устрашающее воздействие: карандаш выскользнул из его пальцев, сам он резко встал, схватил свою виолу и принялся исторгать из ее чрева дичайшие звуки, словно намереваясь разорвать ими простирившуюся за окном ночную темень. Если не считать недавнего подслушивания под дверями его квартиры, мне еще никогда в жизни не доводилось слышать ничего подобного.

Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Занна в ту страшную ночь. Подобного кошмара, повторяю, мне еще слышать не приходилось. Более того, на сей раз я отчетливо видел перед собой лицо самого музыканта, на котором словно застыла маска невыразимого, обнаженного ужаса. Он пытался вымолвить что-то — словно хотел отогнать от себя, услатить прочь нечто неведомое мне, но для него самого определенно жуткое.

Скоро игра его приобрела фантастическое, бредовое, совершенно истеричное звучание, и все же продолжала нести в себе признаки несомненной музыкальной гениальности, которой явно был наделен этот странный человек. Я даже разобрал мотив — это была какая-то дикая народная венгерская пляска, из тех, что можно иногда услышать в театре, причем тогда я отметил про себя, что впервые Занн заиграл произведение другого композитора.

Громче и громче, неистовее и яростнее взвивались пронзительные, стонущие звуки обезумевшей виолы. Сам музыкант покрылся крупными каплями пота, извивался, корчился всем телом, то и дело поглядывая в сторону зашторенного окна. В его бешеных мотивах мне даже пригрезились сумрачные фигуры сатиров и вакханок, зашедшихся в безумном вихре облаков, дыма и сверкающих молний. А потом мне показалось, что я расслышал более отчетливый и одновременно устойчивый звук, исходящий определенно не из виолы — это был спокойный, размеренный, полный скрытого значения, даже чуть насмешливый звук, донесшийся откуда-то далеко с запада.

И тотчас же в порывах завывающего ветра за окном заходили ходуном ставни — словно таким образом природа вздумала отреагировать на сумасшедшую музыку. Виола Занна теперь исторгала из себя такие звуки — точнее даже не звуки, а вопли, — на которые, как я полагал прежде, данный инструмент не был способен в принципе. Ставни загрохотали еще громче, соскочили с запора и оглушительно захлопали по створкам окна. От непрекращающихся сокрушительных ударов стекло со звоном лопнуло и внутрь ворвался леденящий ветер, неистово затрещали сальные свечи и взметнулась куча

исписанных листов, на которых Занн намеревался раскрыть мучившую его душу ужасную тайну. Я посмотрел на старика и убедился в том, что взгляд его начисто лишился какой-либо осмысленности: его голубые глаза резко выпучились, остекленели и словно вообще перестали видеть, тогда как отчаянная игра переросла в слепую, механическую, невообразимую мешанину каких-то неистовых звуков, описать которую не способно никакое перо.

Внезапно налетевший порыв ветра, еще более сильный, чем прежде, подхватил листы бумаги и потащил их к окну — я кинулся, было, следом, но они исчезли в ночи. Тогда я вспомнил про свое давнее желание выглянуть из того окна — того самого единственного окна на улице д'Осейль, из которого можно было увидеть простирающийся за стеной склон холма и панораму раскинувшегося вдалеке города. Время было позднее, но ночные огни улиц всегда заметны издалека, и я рассчитывал увидеть их даже сквозь потоки дождя.

Но все же, стоило мне выглянуть из того, самого высокого в доме и всем районе слухового окна, я не увидел под собой ни города, ни малейшего намека на свет улиц. Перед и подо мной простиралась бесконечная темень космоса, сплошной бездонный, неопикуемый мрак, в котором существовали лишь какое-то неясное движение и музыка, но не было ничего из того, что я помнил в своей земной жизни. Пока я стоял так, объятый необъяснимым ужасом, новый порыв ветра окончательно задул обе свечи, и я оказался окутанным жестокой, непроницаемой темнотой, видя перед собой словно оживший безбрежный хаос и слыша за спиной обезумевшее, демоническое завывание виолы.

Я невольно отступил назад, не имея возможности вновь зажечь свет, наткнулся на стол, опрокинул стул, пока наконец не добрал до того места, где мрак сливался воедино с одуряющими звуками музыки. Даже не имея представления о том, с какой силой мне довелось столкнуться, я мог, по крайней мере, попытаться спасти и себя самого, и Эриха Занна. В какое-то мгновение мне показалось, что меня коснулось нечто мягкое и обжигающе холодное — я пронзительно вскрикнул, но голос мой потонул в зловещем, надрывном плаче виолы, откуда-то из темноты вылетел конец обезумевшего смычка, уткнувшийся в мое плечо — я понял, что почти вплотную приблизился к музыканту. По-прежнему на ощупь я двинулся вперед, прикоснулся к спинке стула Занна, отыскал его плечи и отчаянно попытался привести старика в чувство.

Он не отреагировал на мои настойчивые попытки, тогда как виола продолжала играть с неослабевающим пылом. Тогда

да я протянул руки к его голове, намереваясь остановить его машинальное кивание, и прокричал ему в ухо, что мы должны как можно скорее бежать из этого места сосредоточения ночных кошмаров. Однако он не прекращал неистовой, ошалелой игры, пока все, что находилось в этой мансарде, не пустилось в пляс в порывах и завихрениях неослабевающего ночного урагана.

Как только моя рука прикоснулась к уху старика, я невольно вздрогнул: Эрих Занн был холоден как лед, неподвижен и, казалось, не дышал. Я каким-то чудом отыскал входную дверь и укрепленный на ней массивный деревянный засов, резко отдернул его в сторону и в дикой спешке устремился куда угодно, только бы подальше от этого сидящего в темноте старца с остекленевшим взглядом, и от призрачного завывания его проклятой виолы, чье неистовство нарастало с каждой секундой.

Перепрыгивая через бесконечные ступени темного дома; очумело проносясь по крутым и древним ступенькам улицы с ее покосившимися домами; гулко стуча каблуками и спотыкаясь на булыжной мостовой и на окутанной мерзким зловонием черной набережной; пересекая с разрывающей от напряженного дыхания грудью темный каменный мост и устремляясь к более широким, светлым улицам и знакомым мне бульварам, я наконец достиг желанной цели, хотя воспоминания об этом бесконечном и ужасном беге, кажется, навечно поселились в моем сознании. Помню я и то, что на улице совершенно не было ветра, что над головой ярко светила луна, и вокруг меня приветливо помигивали огни ночного города.

Несмотря на мои неустанные поиски и расспросы, мне так и не удалось повторно найти улицу д'Осейль. Впрочем, я и не особенно сожалею — ни о ней самой, ни о потере в невообразимой бездне мрака тех исписанных мелким почерком листов бумаги, которые остались тем единственным, что могло объяснить мне музыку Эриха Занна.

Х.Ф.Лавкрафт

ЧУЖАК





*В ту ночь Барону снились многие напасти,
И гости — воины его в обличье диком, страшном —
Ведьм, демонов, червей громадных, трупных —
Предстали перед ним в одном кошмаре...
Китс**

Несчастен тот, кому воспоминания детства навевают лишь чувства страха и печали; вызывает жалость то создание, которое, оглядываясь назад, восстанавливает в своей памяти лишь долгие, одинокие часы, проведенные в громадных и гнетущих палатах с коричневыми шторами на окнах и сводящими с ума своим однообразием рядами антикварных книг; достойно сожаления и существо, испытывающее благоговейный страх при виде того, как в сгущающихся сумерках молчаливо теснятся причудливые, гигантские, оплетенные выжимися растениями деревья, молчаливо покачивающие где-то далеко наверху своими искривленными ветвями. Все это действительно достойно крайнего сожаления и даже скорби, но именно такой жребий уготовили мне боги — мне, потрясенному, разочарованному, выхолощенному, сломленному. И все же я испытываю странное удовлетворение и изо всех сил цепляюсь именно за эти почти увядшие воспоминания, причем делаю это особенно рьяно в те моменты, когда мой рассудок угрожает протянуться дальше — к воспоминаниям совершенно *иного* свойства.

Я не знаю, где и когда родился; известно мне разве лишь то, что замок этот всегда был бесконечно старым и столь же омерзительным со всеми его многочисленными и запутанными темными переходами и сумрачными, высокими потолками, где взгляд мог выхватить лишь скопления паутины и непроницаемую тень. Влажные камни в его осыпающихся коридорах всегда казались мне угрюмыми и гнетущими, и повсюду там стоял мерзкий, затхлый запах, словно исходивший от скопившихся за многие столетия и наваленных в кучу трупов. Там царил вечный полумрак, а потому я всегда зажигал свечи и подолгу вглядывался в их пламя, желая испытать хотя бы слабое облегчение; да и снаружи никогда не хватало солнечного света, поскольку окружавшие замок дикие деревья простирались далеко ввысь, смыкая свои кроны над самыми высокими башнями замка. Была там, правда, одна — черная — башня, которая сама возвышалась над деревьями и устремлялась в неведомое мне небо, однако время частично разрушило каменную кладку и потому взобраться на нее можно было лишь посредством почти невообразимого

* Джон Китс (1795 — 1821) — английский поэт-романтик.

карабканья по отвесной стене, цепляясь буквально за каждый камень.

Наверное, я провел в тех местах несколько лет, однако не в состоянии более точно измерить прожитое там время. Кто-то, видимо, заботился о том, чтобы у меня было все необходимое, хотя и не могу припомнить никого, кроме себя самого, и вообще ничего живого, если не считать бесшумно передвигающихся крыс, летучих мышей да еще разве что пауков. Мне представляется, что кто бы за мной ни ухаживал в те годы, он должен был быть чудовищно старым, поскольку мое первое впечатление о живом человеке заключалось в пародии на меня самого, к тому же изуродованной, сморщенной, едва ли не рассыпающейся на части, под стать самому замку. Лично для меня не было ничего нелепого и, тем более, страшного в костях и скелетах, наваленных в каменных склепах в подвалах замка, поскольку я фантастическим образом увязывал все эти вещи с повседневными событиями и считал их более естественными и привычными, чем цветные изображения живых людей, которые я встречал в многочисленных заплесневелых книгах.

Именно из этих книг я и узнал все то, что знаю теперь. Никакой наставник не учил и не направлял меня, и за все эти годы я не припоминаю ни одного случая, когда бы услышал звук человеческого голоса — даже своего собственного, поскольку хотя в тех книгах и встречались диалоги, мне ни разу не приходило в голову воспроизвести их вслух. Я также не имел ни малейшего представления о собственной внешности, ибо в замке отсутствовали зеркала, и я лишь инстинктивно оценивал себя как нечто подобное молодым фигурам, нарисованным и описанным в книгах. Я осознал свою молодость лишь потому, что слишком мало помнил о своем прошлом.

Я часами лежал снаружи, под росшими за зловонным крепостным рвом безмолвными, раскидистыми деревьями — лежал и мечтал о том, что прочитал в книгах, и часто с тоской представлял себя среди праздничной, веселящейся толпы в ином, уже солнечном мире, который простирался за пределами окружавших замок бесконечных лесов. Однажды я попытался было убежать, однако едва удалился от замка, как тени быстро сгустились, а воздух наполнился затаившимся, гнетущим страхом, а потому я как одержимый бросился назад, страшась одной лишь мысли о том, что могу окончательно заблудиться в лабиринте мрачного безмолвия.

Окутанный бесконечными сумерками, я грезил наяву и ждал — сам не зная, чего именно. Но однажды, окруженный сумрачным одиночеством, я испытал такую безумную тоску

по свету, что больше не мог уже терпеть, и воздел молящие руки к черной, почти развалившейся башне, которая возвышалась над лесом и устремлялась в неведомое мне, наружное небо. И в конце концов решился взобраться на эту рукотворную скалу, даже с риском сорваться с нее, поскольку мне казалось: лучше увидеть небо и погибнуть, нежели жить, так ни разу и не узрев по-настоящему светлого дня.

Как-то раз, в один из промозглых сумрачных дней, я поднялся по истертым старым ступеням, достигнув того уровня, где они кончались, после чего пустился в опасное путешествие наверх, цепляясь за каждый малейший выступ или углубление. Угрюмым и ужасным казался мне этот мертвый, лишенный ступеней каменный цилиндр, черный, полуразвалившийся, необитаемый и зловещий, наполненный потревоженными летучими мышами, крылья которых не издавали в полете ни малейшего звука. Однако еще более мрачным и гнетущим казалось мне то, сколь медленно я продвигался вперед, ибо сколько я ни карабкался ввысь, темнота над головой совершенно не прояснялась, тогда как меня все более окутывало леденящее ощущение чего-то заколдованного, словно передо мной развешалась многовековая могила. Я невольно вздрагивал при одной лишь мысли о том, что, наверное, так никогда и не доберусь до настоящего света, но все же не осмеливался посмотреть вниз. Мне показалось, что ночь совершенно неожиданно, как-то сразу окутала меня своим покрывалом, пока я тщетно пытался дотянуться свободной рукой до оконной амбразуры, из которой мог бы глянуть как вверх, так и вниз, и попытаться определить, на какую высоту я взобрался.

Совершенно неожиданно, после всего этого бесконечного, наполненного страхом слепого карабканья по угрожающе отвесной стене, я почувствовал, как моя голова уткнулась во что-то твердое, и понял, что достиг крыши или, по крайней мере, какого-то подобия потолка. В темноте подняв руку и ощутив препятствие, я обнаружил, что оно каменное и неподвижное. Вслед за этим я совершил опасный оборот внутри башни, цепляясь за все, что мог отыскать на этой осклизлой стене, пока моя испытующая ладонь не наткнулась на какое-то не столь монолитное препятствие — я тотчас же вновь потянулся ввысь и головой приподнял то ли плиту, то ли дверь.

Света наверху не было, и как только я вытянул руку вверх, то тут же понял, что мое восхождение отнюдь не завершилось, поскольку плита оказалась своеобразным люком, выходящим на ровную каменную поверхность, причем гораздо большего диаметра, чем нижняя часть башни, и, несомненно, являв-

шуюся полом высокой и просторной смотровой галереи. Я осторожно пролез через отверстие и хотел было придержать дверцу люка, предотвратить ее падение на прежнее место, однако это мне не удалось. Лежа на каменном полу, я, обесиленный, слышал зловещее эхо от удара, но надеялся, при необходимости, снова поднять дверцу.

Веря в то, что наконец-то оказался на достаточной высоте, намного превышающей проклятые заросли леса, я оторвал свое тело от пола и стал шарить в темноте в поисках окон, в надежде впервые увидеть через них небо, луну и звезды, о которых столько раз читал в книгах. Однако меня ждало полное разочарование, поскольку руки мои всюду натыкались лишь на громадные мраморные полки, уставленные иссохшими удлинненными ящиками самых зловещих очертаний. Я все больше поражался тому, какие же многовековые секреты могли таиться в этих высоких апартаментах, коль скоро их на столько эпох отрезали от всего остального, располагавшегося внизу замка.

Неожиданно мои руки провалились в нечто похожее на дверной проем, окаймленный своеобразной каменной коробкой, которую покрывала странная, причудливая резьба. За ней располагалась сама дверь — попробовав открыть ее, я обнаружил, что она заперта; однако, как следует поднатужившись, все же смог преодолеть сопротивление, и, открыв дверь, испытал невообразимый восторг, почти экстаз, подобного которому не знал в течение всей своей жизни. Дело в том, что сразу за дверью начинался узкий и короткий проход, в конце которого находилась украшенная декоративными узорами металлическая решетка, и за ней я сразу же увидел спокойное сияние полной луны, видеть которую мне доводилось лишь во сне да еще в тех смутных видениях, которые я даже не смею назвать воспоминаниями.

Предположив, что достиг самой вершины башни замка, я собирался было немедленно броситься вперед по лестнице, однако внезапно наплывшие облака скрыли от меня лунный свет, и я тут же споткнулся, после чего был вынужден снова на ощупь продвигаться вперед. Было все еще очень темно, когда я наконец добрался до решетки. Я потрогал ее рукой и убедился в том, что она не заперта, хотя и не стал сразу ее открывать, опасаясь падения с головокружительной высоты. И в тот же момент на небе снова показалась луна.

Самым демоническим из всех уготованных живому существу потрясений является то, которого никогда в жизни не ожидаешь и поверить в возможность которого просто невозможно. Из всего того, что мне доводилось пережить прежде, ничто не шло ни в какое сравнение с тем, что я увидел в тот

момент, когда передо мной предстали эти фантастические чудеса. Само по себе зрелище было столь же простым, сколь и ошеломляющим. А увидел я вот что: вместо поражающей воображение панорамы верхушек деревьев, которые я ожидал увидеть со столь безумной, почти запредельной высоты, передо мной простиралась располагавшаяся чуть ли не на одном уровне с резной решеткой абсолютно голая земля, которую отчасти украшали, внося в безрадостный пейзаж некоторое разнообразие, блеклые мраморные плиты и колонны, казавшиеся еще более темными из-за нависавшей над ними тенью от старинной каменной церкви, чей полуразрушенный шпиль призрачно поблескивал в лучах лунного света.

Не вполне отдавая отчета в собственных действиях, я открыл створку решетки и робко вышел на покрытую белым гравием дорожку. Мой рассудок, продолжавший пребывать в ошеломленном, хаотичном состоянии, по-прежнему отчаянно стремился к свету, и остановить меня не могло даже представшее передо мной фантастическое зрелище. Я не знал, а впрочем и не особенно мучил себя сомнениями относительно того, было ли пережитое мною безумием, сном или волшебством, но был преисполнен решимости любой ценой посмотреть на столь желанные и так долго вынашиваемые в моих сокровенных мечтах веселье и блеск. Мне было неизвестно, кто я, что я и где оказался, и все же, продолжая продвигаться вперед, я внезапно почувствовал, как в мозгу словно бы шевельнулись отголоски каких-то смутных, боязливых, глубоко потаенных воспоминаний, а потому продвижение мое нельзя было назвать движением только наугад.

Пройдя под аркой, я покинул пространство плит и колонн и пошел по открытой местности, большей частью ступая по отчетливо различной дороге, но иногда, любопытства ради, сходя с нее, чтобы пересечь дикие луга. Однажды я переплыл через быструю речку, у берега которой рассыпающиеся на части и поросшие мхом следы каменной кладки указывали на существование давно разрушенного моста.

Больше двух часов минуло, пока я достиг того, что вроде бы являлось целью моего путешествия — древнего, густо покрытого зарослями выющихся растений замка в пустынном и диковатом парке — безумно знакомого, и все же обескураживающе странного. Я увидел, что окружающий строение крепостной ров заполнен водой, а некоторые из хорошо знакомых башен разрушены, тогда как на их месте воздвигнуты новые сооружения, смущавшие воображение случайного путника.

Но главный мой интерес и восторг вызвало то, что я увидел

открытые окна, пылающие от исторговавшегося сквозь них света, и услышал шум веселой пирушки. Приблизившись к одному из окон, я заглянул внутрь и увидел довольно странно разодетую компанию. Раньше мне никогда не доводилось слышать человеческой речи, и потому я лишь догадывался о том, что именно там говорилось. Некоторые лица несли на себе выражения, вызывавшие в моей памяти смутные воспоминания, тогда как другие оставались совершенно неизвестными.

Через низкое балконное окно я вошел внутрь ярко освещенной комнаты и, как выяснилось, совершил тот самый шаг от лучезарного и сверкающего мгновения надежды к самому черному содроганию отчаяния и прозрения. Кошмар наступил очень быстро, поскольку, как только я вошел, произошло, пожалуй, самое поразительное и ужасающее из всех событий, которые мне довелось видеть в своей жизни. Едва я ступил через порог, как всю компанию словно охватил внезапный, дикий страх, отчего лица всех исказились, а их глотки исторгли из себя крики самого неподдельного ужаса. Состояние это, казалось, было всеобъемлющим, просто обвальным; в наступившем шуме и панике некоторые даже свалились в обморок. Некоторые стали прикрывать лица руками, и вслепую, неуклюже бросались куда-то, очевидно, ища путь к спасению, переворачивали мебель и натыкались на стены, прежде чем им удалось распахнуть одну из многочисленных дверей.

Крики этих людей могли свести с ума кого угодно, и пока я в полном уединении стоял в сияющем зале и с изумлением вслушивался в эхо их удаляющихся криков, мысли мои невольно и довольно тревожно блуждали вокруг самых немислимых предположений о том, что же было во мне особенного, что вселило в них такой ужас. При поверхностном взгляде комната казалась мне совершенно опустевшей, однако как только я подошел к одному из стенных углублений, мне показалось, что я заметил там чье-то присутствие — намек на какое-то движение под золотистой аркой, которая вела в соседнюю и, казалось, такую же комнату, как и та, в которой я находился. Подходя к арке, я стал более отчетливо различать это присутствие, после чего с первым и последним когда-либо изданным мною звуком — ужасным завыванием, которое вызвало у меня такое же резкое отвращение, как и его чудовищная причина — я со всей живостью и во всей полноте увидел непостижимого, неопишуемого монстра, который одним лишь своим появлением превратил веселую компанию в скопище обезумевших беглецов.

Я не в состоянии даже приблизительно описать, что это

было такое, ибо оно представляло собой сплошную мешанину всего самого омерзительного, грязного, порочного, злобного, ненормального и отвратительного. Это было зловещее олицетворение какого-то распада, дикой ветхости и полнейшего разложения; гниlostное, сочащееся зловонием существо-призрак, явившееся из какой-то неведомой вселенной — чудовищное проявление всего того, что земля доселе милосердно прятала от всего остального мира. Бог свидетель, это было существо не с этого света — или уже не из этого? — и все же к своему ужасу я различил в его выеденной, обнаженной плоти злобную и омерзительную пародию на человеческий облик, причем в своем обветшалом, почти истлевшем облачении оно ошеломило меня еще больше.

Я стоял, словно парализованный, однако не настолько, чтобы не быть способным хотя бы попытаться бежать. Невольно отшатнувшись, я обо что-то споткнулся, но так и не преодолел того колдовства, которым сковало меня это безымянное и безгласое чудовище. Веки мои, словно подчиняющиеся взгляду гнусно всматривавшихся в них остекленевших глаз чудовища, отказывались сомкнуться; впрочем, судьбе было вольно сжалиться надо мной, наделив меня близорукостью, и потому после пережитого шока я видел перед собой сильно расплывчатый образ. Я попытался было заслониться, хоть как-то отгородиться от него ладонью, однако нервы мои были настолько напряжены, что рука лишь слабо подчинилась моей воле. Сделанной попытки, однако, оказалось достаточно, чтобы нарушить равновесие моего тела, и потому, чтобы не упасть, я инстинктивно сделал несколько шагов вперед.

Едва это случилось, как я со всей ужасающей, внезапной отчетливостью почувствовал *близость* этого гниющего существа, глухое, зловещее дыхание которого, как мне казалось, я мог даже расслышать. Чуть ли не сходя с ума от отвращения, я все же нашел в себе силы протянуть вперед руку, лишь бы заслониться от этого гнусного зрелища, которое оказалось от меня так близко, и на какое-то леденящее душу мгновение бездонного кошмара пальцы мои *прикоснулись к полуразложившейся протянутой руке стоявшего в проеме золотистой арки монстра.*

Я не закричал, но в то же мгновение все злобные, враждебные вампиры, упыри и вурдалаки, кочующие с ночными ветрами, завопили вместо меня, поскольку в тот самый миг на мое сознание рухнула единая и стремительная лавина сокрушающего душу воспоминания. В ту же самую секунду я понял, что именно все это было; я вспомнил и этот странный замок, и деревья; воскресил в своей памяти это величествен-

ное помещение, в котором сейчас оказался; и, что самое ужасное, узнал это нечестивое, омерзительное чудовище, которое стояло передо мной, едва только оторвал от него свои замаранные пальцы.

Однако космос таит в себе не только горечь и страдание, но также утешение и исцеление, и исцеление это именуется забвением. В мгновения того бездонного ужаса я совершенно забыл, что именно вселило в меня такой ужас, и всплеск черных воспоминаний вновь исчез в хаосе фрагментов смутных образов. Словно во сне я бросился прочь из этого заколдованного, проклятого дома, быстро и молча побежал, освещаемый лучами лунного света. Вернувшись на то кладбище с мраморными колоннами и плитами, я спустился по ступеням, но обнаружил, что каменный люк закрыт. Впрочем, я отнюдь не опечалился, поскольку теперь уже всей душой ненавидел и свой древний замок, и те деревья...

Теперь я мчусь в потоках ночного ветра в компании с подраживающими и дружелюбными привидениями, а днем играю среди катакомб Нефрен-Ка в опечатанной и неизведанной долине Хадота на Ниле. Я знаю, что свет — это не для меня, если не считать света луны, восходящей по ночам над каменными гробницами Нэба; неведомо мне и какое-то веселье, если не считать таинственных пиршеств Нитокриса под Великой пирамидой. И все же в моей новой дикости и свободе я почти упиваюсь горечью от осознания своего статуса инородного тела, чужака.

И хотя забвение полностью успокоило меня, я навсегда запомню и всегда буду знать, что являюсь чужаком, пришельцем в этом времени и этом мире, населенном теми, кто все еще является людьми. И узнал это я именно тогда, когда протянул свои пальцы к тому чудовищу, стоявшему под сводами прекрасной золотистой рамы; протянул — и прикоснулся к *холодной, твердой поверхности полированного стекла...*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Зов Цтулху <i>пер. П.Лебедева</i>	9
Тень над Иннсмаутом <i>пер. Э.Серовой</i>	41
Запертая комната <i>пер. Э.Серовой</i>	123
Данвический ужас <i>пер. П.Лебедева</i>	163
Крысы в стенах <i>пер. Т.Талановой</i>	207
Единственный наследник <i>пер. Э.Серовой</i>	225
Наследство Пибоди <i>пер. Т.Мусатовой</i>	251
Лампа Альхазреда <i>пер. Т.Мусатовой</i>	273
В склепе <i>пер. Э.Серовой</i>	285
Темное братство <i>пер. Э.Серовой</i>	299
Станный старик <i>пер. Э.Серовой</i>	331
Холодный воздух <i>пер. Э.Серовой</i>	337
Картина в доме <i>пер. Э.Серовой</i>	349
Музыка Эриха Занна <i>пер. Э.Серовой</i>	361
Чужак <i>пер. Э.Серовой</i>	373

Л 13 В склепе. Пер. с английского —
М.: РИПОЛ, Джокер, 1993. —
384 с. (Сборник рассказов ужасов)

ISBN 5-87012-023-6

Ответственный за выпуск
Макаренков С. М.

Подписано в печать 22.01.93 г. Формат 84х108/32. Бумага газетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Физ. п. л. 12.
Усл. п. л. 20,16. Переплет 7Б.
Тираж 100 000. Зак. 2881.

Цена договорная

Издательства РИПОЛ, «Джокер»,
123000 Москва, а/я 21.

Отпечатано в АП «Курск»
305007 г. Курск, ул. Энгельса, 109.



Если вы любите по-настоящему страшный, изначально жуткий рассказ, словно вобравший в себя весь смард и стоны разграбленного кладбища, то это книга предназначена исключительно для вас!



В С К Л Е П Е

